

Виталий Шенталинский

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

В Особое Совещание
суд.
при
СНК

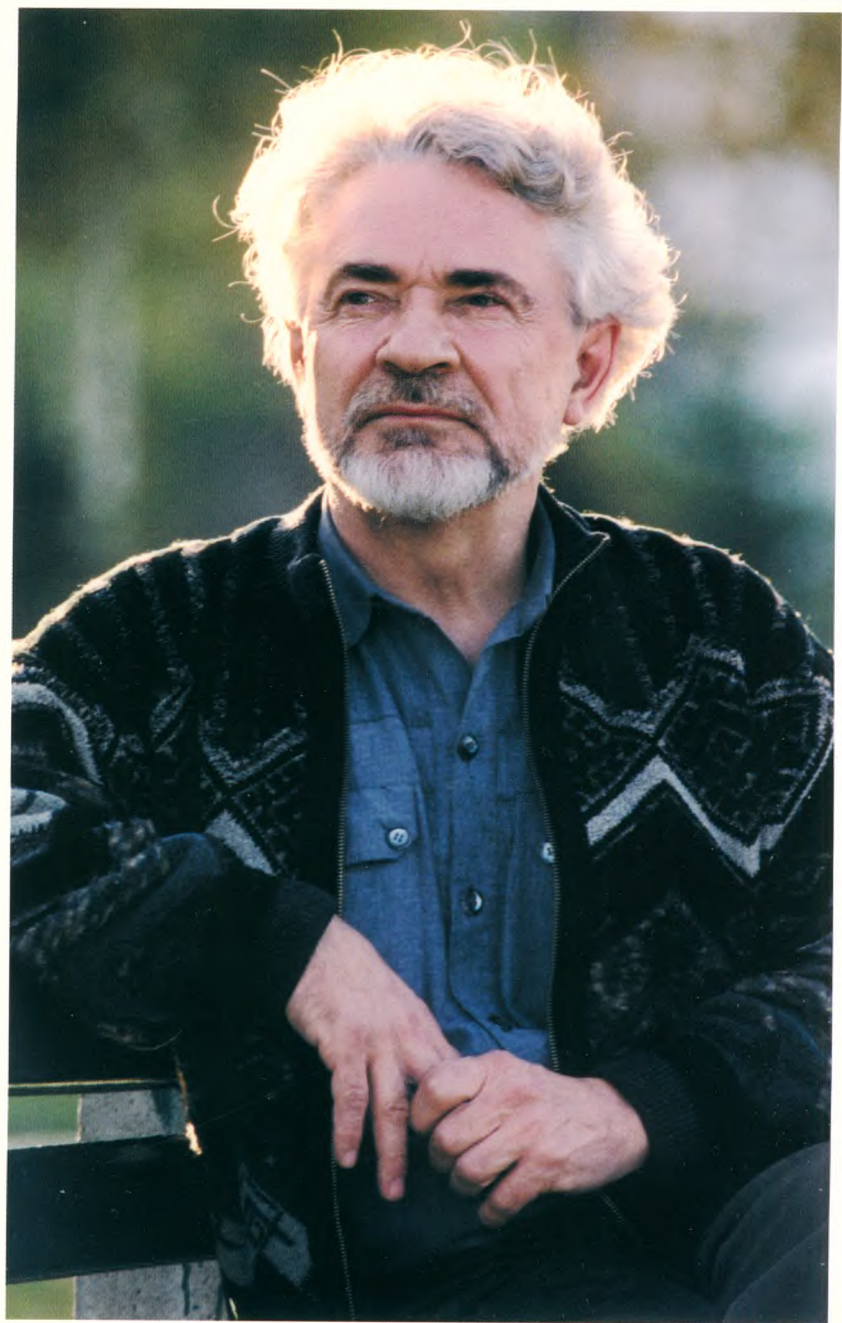
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

автомому Р. А. - 10 лет 6 мес
му Л. В. - 10 лет 6 мес
му Ч. - 10 лет 6 мес
ому В. Д. - 10 лет 6 мес
Б. Н. - 8 лет 6 мес

Для
расши
суд
СНК

По обвин





Виталий Шенталинский

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

Документальные повести

Москва
Прогресс-Плеяда
2007

УДК 82.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)1-5
Ш47

Художник
Валерий СЕРГУТИН

*В оформлении книги использованы лагерные рисунки
художника Бориса Свешникова (1927–1998)*

*Автор и издательство благодарят Общество «Мемориал»
за предоставленный иллюстративный материал*

Шенталинский, Виталий Александрович.

Ш47 Преступление без наказания: Документальные повести /
Виталий Шенталинский. Предисл. В. Леоновича – М.: Прогресс-
Плеяда, 2007. – 576 с., ил. – ISBN 978-5-93006-033-1

Книга посвящена судьбе Русского Слова, трагическим страницам нашей литературы. В ней рассказывается о писателях, погубленных или гонимых тоталитарной властью.

Повествование основано на новых, бывших до последнего времени закрытыми для общества материалах – документах и рукописях, которые автор обнаружил и исследовал, работая в архивах КГБ и Прокуратуры СССР как организатор и руководитель Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей России. Среди героев книги – и знаменитые имена, такие как Николай Гумилев и Анна Ахматова, и менее известные, но яркие таланты, казненные и сгинувшие на островах ГУЛАГа.

Книга – результат многолетней работы автора над этой темой, которой посвящены и другие его книги – «Рабы свободы» (М., 1995) и «Донос на Сократа» (М., 2001).

Издание иллюстрировано редкими архивными фотографиями и документами.

УДК 82.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)1-5

© В.А. Шенталинский, 2007
© Прогресс-Плеяда, 2007
© В. Н. Леонович, предисл., 2007
© В.Н. Сергутин, оформ., 2007

ISBN 978-5-93006-033-1

НЕ ИСЧИСЛИТЬ И НЕ ИЗБЫТЬ

З а м е т к и ч и т а т е л я

Книга Виталия Шенталинского – о феномене бездушия. Фактура ее безжалостна и строга. Перо не знает усталости. Лубянский следователи, сменяя один другого, доискиваются неправды, чтобы собрать «состав преступления» и осудить невинного. Наш автор с неутомимой дотошностью делает прямо противоположное – ИМЕЯ ПРАВО на такое дело. Имеет ли право вчерашний палач выдавать бумажонку о реабилитации того, кого пытал и убил? Ложность положения обсуждали две великие женщины – Ахматова и Чуковская. Чтó, у подобревших извергов не было соображений карьерных?

Мы сетуем на то, что не случилось «Нюрнбергского суда» в жестокой нашей истории. А кто – юристы и судьи? Это право – не их право. Подлинный состав ИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ накапливается десятилетиями, быть может, и столетия не хватит. Но делают это люди призванные, уполномоченные личной и ОБЩЕСТВЕННОЙ СОВЕСТЬЮ. Люди, на это обреченные...

Некрасов тяжело переболел польским синдромом. Герцен вопрошал Александра II – освободителя: почему тот не догадался умереть в том же 1861-м, в год подавления восставшей Варшавы? Вошел бы в историю без крови и грязи... Писатель, не Царь склонился повинно перед растоптанной страной.

Но ближе к предмету.

Спите крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь другу другу любовью!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихой, –
В целом мире тебя нет виновней!

(Иннокентий Анненский)

Не знаю, ведет ли Шенталинский дневник, но вчуже воображаю, КАКОВО давались ему иные страницы следственных и надзорных дел и что постигает душу и разум, когда эти страницы собираются в критическую массу.

Невыносимое он днесь выносит...

Как-то в телетитрах Шенталинского представили «писателем-публицистом». Будучи и поэтом, и прозаиком, он и задолго до выхода «Преступления без наказания» выполнял сходную задачу. О своей «безумной идее» воскрешения Русского Слова, вырванных страниц истории нашей литературы, возвращения из небытия биографий и рукописей расстрелянных и сгинувших в тюрьмах и лагерях, о Комиссии (Миссии!) по творческому наследию репрессированных писателей, которую он создал в шанс перестройки, о своем проникновении в архивы Лубянки, чтобы распечатать ее «черный ящик», тот, над которым до сих пор бьются друг с другом два грифа – «Совершенно секретно» и «Хранить вечно», – обо всем об этом и о многом другом Шенталинский успел рассказать сам в книге «Рабы свободы» (1995). Потом была вторая, органичное продолжение, но с другими героями – «Донос на Сократа» (2001). И вот перед нами последняя, завершающая и обобщающая книга Трилогии, названная прицельно точно – «Преступление без наказания».

Как ныряльщику на большую глубину, понадобилось Виталию всплыть и отдышаться – и раз, и два, и десять раз... Я написал, а он это проделал:

Пойду – не по лицу земли – так по изнанке:
На той, на левой стороне, на черной воле
Понадобятся жабры мне иль что-то вроде.

Взрывая и бугря поверхность или совсем исчезая, он проделал этот путь в первой книге: досье Исаака Бабеля – Михаила Булгакова – Павла Флоренского – Бориса Пильняка – Осипа Мандельштама – Николая Клюева – Андрея Платонова – Максима Горького...

Насыщена материалом буквально на разрыв и вторая книга Трилогии – «Донос на Сократа». На обложке имена: Толстой, Коро-

ленко, Савинков, Бердяев, Карсавин, Белый, Волошин, Булгаков, Цветаева, Кольцов, Платонов, Шолохов, Эрдман, Пастернак...

И наконец, новая книга, которую мы сейчас взяли в руки, с ее героями, от древнерусского пермского мудреца, протопопа Потапа Игольнишниковца до нобелевского лауреата, академика Ивана Павлова, от звездных имен Серебряного века – Николая Гумилева и Анны Ахматовой и их сына Льва до жертв расстрельных ночей – коллективных казней писателей в пору Большого террора.

Все эти книги дышат и живут и вместе, как части единого целого, и каждая сама по себе, независимо. Все они интересны и содержательны каждая по-своему и все обогащены «свежими», явленными автором на свет материалами из потаенных хранилищ КГБ и Прокуратуры.

Я убоился – Шенталинский сделал дело. Он перечисляет слышанные им упреки, опасенья, пожеланья – целый хор. Он отвечал и себе, и другим: иду – к Андрею Платонову – не к служащим ГБ. Не хотите ли со мной?

Год ухлопан был на создание Комиссии по наследию репрессированных писателей. Еще год – на протискивание в дубовые двери ГБ.

– Кажется, вы первый писатель, который пришел сюда добровольно, – встречает его работник лубянского архива полковник Краюшкин. – Куда вас посадить?

Если соль потеряет силу, то что сделает ее соленую? На библейский вопрос долгое время ответ был: кровь.

Книги, подобные Трилогии Виталия Шенталинского, это отвергают.

По делóм их узнаете их.

Полицейское ведомство набрало в XX веке силу и значимость, какие не снились никогда ни одной стране. Оно фактически и правило народом – средствами испытанными, но доведенными до абсолюта – абсурдом и страхом. Но с могуществом сочетались такие проявления его сути, как мелкая подлость, жульничество, глубокое невежество. Сии последние должны были бы, по Аристотелю, сообщать действию комический эффект, но вместо него внушают чувство гадливости.

Оглянувшись на свинцовый век, только и скажешь: Боже! Кто нами правил?

Проза Шенталинского документально насыщена, вопиют и протоколы допросов, и дикие резолюции «свыше», и самооговоры, вымученные и доведенные следователями, порой не лишенными литературных способностей, до торжествующей нелепости. И особенно доносы. Имена самих стукачей еще в потайных святцах, большей частью в самых черных потемках секретности – да там бы им и сгинуть!

Представьте себе «агентурные данные» в писательских досье – плод старательной многолетней слежки добровольных и штатных стукачей. Одни глядят в каждую замочную скважину, будь то за рубежом или на родине, другие изо всех сил стараются уследить сам ход мысли в образной речи «патрона», придать доносу «товарный вид». «Источник сообщает...» Таков зачин.

Кто были эти эккерманы, каковы были их ставки? Это еще тайна. Но прекрасно видно, какой «идеологией» держится полицейская власть.

Иные досье похожи на задворки большого романа в духе Бальзака, романа на смертных разнообразных связях, когда доносят друг на друга любовники, муж отравляет жену, а друг убивает друга, знающего слишком много. Так это выглядит в случае Исаака Бабеля, но лишь вначале. А дальше, дальше сюжет «романа», напрягающий действие, уже не бальзаковский, а совсем особенный, заставляющий вспомнить об античной слиянности царства мертвых и юдоли живых. Это – щемящая немота «молчуна» Бабеля, немота долгого и знакомого нам вызревания Книги. Книга копится в блокнотах и папках, немота интересует и пугает ждановых-ежовых, немота разрешается... где-то в застенках Сухановки – доносом на себя в соавторстве с мучителем-следователем. Но сильнее всего автора мучит сама Книга! У этого бонвивана воля к творчеству сильнее, чем воля к жизни! Так не просят хлеба, не просят пить, как молит он о рабочем столе, о времени для Книги...

Не за себя прошу, не за себя, мой Боже...

Ухмыляется Дьявол, когда с этой мольбой обращается бедняга к наркомуну Берии. Вместо покаяния – самопоклеп: «Меня жжет жажда работы, жажда искупить и заклеить неправильно, преступно растраченную жизнь...»

Все перевернуто. И с этим Бабель уходит из жизни. Но поздний свидетель вопиющего сюжета, сам, быть может, умирающий над этим воплем, на свой лад продолжит что-то из того огромного, что рвалось БЫТЬ, со всею силою таланта, но было пресечено 27 января 1940 года.

Было бы легче одолевать Книгу Шенталинского, если бы материал легче поддавался определенью, осмысленью, переживанью. Сюжет о Бабеле заехал в область смерти. 24 папки рукописей, сгинувших со света, что-то значат в обеих пограничных областях. Как об этом сказать? Микеланджело:

Я только смертью жив...

В апреле 35-го года вышел исторический – масштаб тысячелетий! – указ об отстреле «малолетних преступников» от 12 (двенадцати) лет. Когда я прочел об этом внеисторическом указе – слег с температурой. То же самое произошло со мной после знакомства с материалами ДСП¹ о переброске северных рек... Работать в архивах ГБ я, стало быть, слаб. С ужасом смотрели флорентийцы на поэта, «побывавшего в аду», их чувство мне понятно. И завидно рабочее мужество тех, кто спускается в отечественный инферно – неизмеримо страшнее, неизмеримо позорней...

Шенталинский дарит нам, читателям, эту суровую, а порой и занимательную беллетристику – и бесценный материал историку и литературоведу. Кое-что пригодилось бы хоть эстраднему юмористу, но юмористу высшего полета и его аудитории, СПОСОБНОЙ СМЕЯТЬСЯ над вещами, что повыше обиходной пошлости, опертой на «человеческий низ» и только.

Так посмеялся Флоренский надо всей системой фашиствующего государства, когда, признав себя главой национал-фашистского центра (!!!), завершил свое признание еще одним

¹ Для служебного пользования.

признанием: «Я, Флоренский Павел Александрович, по складу своих политических воззрений – романтик Средневековья примерно XIV века...»

То-то вогнал он в тупик следственную бригаду!

Павел Флоренский, который знал все и видел загодя, а верил Власти совсем не той, что сидела в Кремле, говорил художнице Нине Симонович-Ефимовой:

– КОНЕЧНО, НЕ ЗНАТЬ – БОЛЬШОЙ ГРЕХ. НО НЕ ЖЕЛАТЬ ЗНАТЬ – УЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

Каков словарь! Термин религиозный и термин юридический взрывают фразу, но и сопрягают мирское и церковное.

Другим романтиком Средневековья был Николай Клюев. Шенталинскому принадлежит счастье (помню, как он ликовал!) открытия в лубяньских архивах и первой полной публикации клюевской поэмы «Песнь о Великой Матери». Эта публикация в книге «За что?» как бы предваряет другую работу Виталия – повесть «Статирь» в книге «Преступление без наказания» – последней в Трилогии. Но об этой книге – в своем месте.

Николай Клюев – человек и поэт, не умевший молчать, когда требовалось Слово.

«– Каковы ваши взгляды на советскую действительность?»

– Практические мероприятия (принимаемые компартией. – В.Л.) я рассматриваю как насилие государства над народом, истекающим кровью и огненной болью...»

Так кто кого судит? По всем статьям, политику и строй осуждает подследственный Клюев. Поэт сослан в Сибирь. Слово – Шенталинскому:

«А в это время в Москве с большой помпой проходит Первый съезд советских писателей. Клюев послал заявление – письмо на съезд, даже не обсуждали – не до того! Никто из делегатов не смел коснуться опасной темы. Все они приветствуют светлое настоящее и еще более светлое будущее...»

За время работы в архивах Лубянки передо мной прошли десятки писательских судеб. По-разному вели себя люди. И только Клюев и Мандельштам держались на следствии бескомпромиссно и твердо».

По-разному вели себя люди в пыточных домах и лагерях. Больно читать у Шенталинского о тех, чьи книги ты любил, но кто оказался не достоин их. Не надо бы знать...

Да будет проклят правды свет...

На дворе февраль 34-го года. Клюев не допускает соавторства следователя Шиварова, диктуя свое завещание. Его измучат, потом убьют, но в досье останутся и переберутся в книгу Шенталинского слова русского поэта, в чьих жилах текла кровь протопопа Аввакума. Спасенные от забвения провидческие строки:

К нам вести горькие пришли,
Что больше нет родной земли...
Что Север – лебедь ледяной –
Истек бездомною волной,
Оповещающая корабли,
Что больше нет родной земли...

«Бездомная волна Севера», проект поворота северных рек, проект века, простите, тысячелетия, – не забудем о масштабе, – был уже подготовлен и – слава Богу! – не случился, но ведь еще и не отменен властью без лица и без имени, еще висит над душой.

Поэт забегает далеко вперед и оттуда кричит нам, где гибель и в чем спасенье. Такие сигналы нам посланы из келий Сухановки, из камер Лефортова, из рвов и оврагов вокруг больших и малых городов.

Наши мертвые нас не оставят в беде.

(Владимир Высоцкий)

Отец Павел Флоренский, из письма 1917 года: «Я уверен, что худшее еще впереди, а не позади... Но я верю, что кризис очистит русскую атмосферу». Сколько же лет надо считать кризисными? С обществом, пишет Флоренский уже с Соловков, «я разошелся лет на 50, не менее, – забежал вперед...» Шенталинский говорит: это – горькая арифметика. Вовсе нет. Кабы через полвека общество в нравственном отношении «догнало» этого человека, мы бы и горя не знали: осудили бы ничтожество и все то, что названо было еще Шекспиром в 66-м сонете, – просто «перевернули» бы классическую иерархию, где зло торжествует над добром.

Блок писал, что на его тетради в разоренном Шахматове остался след человеческого копыта. Но почти невозможно – дух перехватывает читать вот такие вещи: «Труд всей моей жизни... пропал... Уничтожение результатов работы моей жизни для меня гораздо хуже физической смерти...» Это Флоренский, «русский Леонардо».

Итак, «на служение человечеству ушли все силы». Масштаб (категория), о котором условились мы, определяется еще раз. Человечество – не менее того – отвечает деяниям этого человека, уничтоженного под конец второго тысячелетия. Ответствует оно и преступлению, состав которого растет и полнится благодаря книгам, подобным Трилогии Шенталинского, о которой пишу... И чем больше пишу, тем больше остается сказать.

И не раз еще, если продолжить, возникнет пестрый, как тревога (Пушкин), неохватный, разноречивый до абсурда и единый, увы, лишь в поступательном движении оползня – образ Человечества перед взыскающей Личностью Человека. Будь то Вавилов или Вернадский, Короленко или Толстой (его письмо как вещдок тоже попало в лубянокское досье!), Георгий Демидов (автор уцелевших замечательных рассказов и нескольких сожженных книг) или Нина Гаген-Торн, чья фотография украшает стену нашей Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей, чьи книги вышли наконец на родине и востребованы за рубежом...

Кто-то не вытерпел и на портрете юной Гаген-Торн, студентки Петроградского университета, написал: «Солнышко!» Коса через плечо, ослепительная улыбка, лицо человека, которому жить и жить и приносить вам радость. Пастернак уподоблял гения красавице. Лицо, в котором я не могу уловить скандинавских черт – но кровь предков замечательно пенится в ней веселостью наперекор угрюмой серьезности очередного следователя, даже ликованьем по причине своего безмерного превосходства над бездной истязателей, – лицо Нины Ивановны часто возникает передо мной, избавляя от ненужных усилий воображения, когда я читаю о женской доле всех без вины виноватых, которых сама Природа не велит обижать.

«Сердце замирает в священной робости...» – цитирую не помню кого, делающего предложение невесте.

И все же прямая речь к человечеству звучит и набирает звук. Так накат волны набирает силу, но до какого-то предела, отмеченного баллом. Речь, дошедшая через 60 лет, звучит и крепнет впредь – сила ее безгранична. Сила убежденья сравнима только с силами человеческого идиотизма, звук – с бесконечной глухотой.

В «Дневнике» Булгакова, который был изъят ОГПУ, затем возвращен автору и сожжен им, читаем... Именно так! Шенталинский нашел и опубликовал его фотокопию, уцелевшую в лубянском архиве. Читаем и перечитываем так много, что булгаковеды напишут не одну еще книгу по его материалам. Но сейчас читаем запись Булгакова от 5 января 1925-го – о журнале «Безбожник»: «Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно... Соль в идее: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены...»

Нет цены каждому отдельному обломку разрушенного в пору собирания обломков. Нет цены этой работе.

Для Булгакова в темную, провальную полосу жизни песнью утешенья (Некрасов) прозвучало письмо читательницы Софьи Кононович. Счастлив писатель, получающий такие письма... Ей 28 лет, она библиотекарь. В частности, она замечает: «Содержание Ваших произведений так разнообразно и глубоко, что я и думать не могу охватить его. Ведь я пишу не критическую статью и, следовательно, не имею права быть неискренней и повторять общие места».

Я тоже пишу не статью и уж никак не критическую. Я просто не мог отказаться от предложенной чести – участвовать хоть сбоку припеку в появлении на свет настоящей книги, завершающей Трилогию. Я до сих пор не могу в его чистоте определить жанра этих книг. Пастернаковское КУСОК ГОРЯЩЕЙ СОВЕСТИ – тут ближе всего. Общих мест, неизбежных, по мнению Софьи Кононович, в критической статье, я, конечно, не избег, хоть и писал не статью, а...

А пишу я, что́ сам пережил, передумал и продолжаю переживать. ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ – быть может, это получается у меня?

«История осудит тех, кто платит черной неблагодарностью Сталину. Все было справедливо... Какую змеиную злобу таят в себе отпрыски предателей родины – вот такие все они Шенталинские-Амалинские эти, и их множество, которые чернят нашу историю и И.В. Сталина!» – это тоже читательский отклик, полученный автором Трилогии. Нет, недалеко мы ушли, покинув Зону.

Наследство наше богатое, часто неопознанное.

Когда распустят плот, бревна, словно почувяв волю, спешат расплыться в стороны и успокаиваются, только покрыв В ОДНОРЕТЬ свой участок в за́пани. Тогда можно перебежать по бревнышкам, ПО ЖИВУЛЬКАМ это небольшое пространство. Бег тут ударный и стремительный. Ни одну из книг Трилогии по живулькам перебежать нельзя. Остановишься на Мандельштаме, к примеру, и с удовольствием тонешь. С удовольствием скорбным, если такое бывает.

Но пусть тонет самостоятельно сам читатель. Посреди сонма тонкошеих вождей, рядом со смрадным карликом Ежовым он, читатель, увидит вождя-человеконенавистника, СИЛЬНОГО СМЕРТЬЮ чужой. И его жертв. Шенталинский каждый раз предлагает нам личную драму имярек. Она или глубоко и подробно прописана – как драма Исаака Бабеля, или широко и контурно схвачена – как драма, а то и трагедия Максима Горького. (Последнее, что держала в руках и усиливалась читать в свои последние часы Лидия Корнеевна Чуковская, была книга «Рабы свободы», как раз глава о Горьком.)

Печальнейшие страницы посвятил Шенталинский Максиму Горькому. Не тому, молодому и хмурому, умевшему жить и играть себя как героя собственной пьесы, было от «свинцовых мерзостей» горько – горше стало ему под старость. На языке вертится паршивое слово: бытовуха. Оно никак не вяжется с другим – с трагедией. Борются они бесконечно – этакая нанайская борьба двух атлетов в одном балахоне: в конце же концов нет ни одного, ни другого – встает с четверенок один искусник и скидывает балахон.

Читающий Шенталинского испытает все чувства – от презрения и гнева до слезной жалости. Он разобрал кровавую невыносимую бытовуху вокруг своих героев с возможной аккуратной отчетливостью и тактом – видимо, помогла жалость к человеку (когда-то ошельмованное Горьким чувство), попавшему в сталинскую да и в собственноручно подготовленную западню. Прочитую автора, пеняющего Горькому: съездив в 29-м году на Соловки и умилившись методом «перевоспитания» «преступников», основоположник «выразил восторг от первого советского концлагеря. Уже тогда он предал свой народ, благословил тиранию».

Василий Князев, истый идеолог (вспомним: «партия сильна только идеологией») большевизма, убит на Колыме. Как рассматривают останки диплодоков в зоомузее, читаем мы его «Красное Евангелие»:

Нервными пальцами белую грудь раздираю
И наносу оголенному сердцу удар...
Жадно прильнув в опененному алому краю,
Пей, коммунары!

Уже можно ставить медицинский диагноз, но что-то мешает. Вот что мешает: «психическое заболевание, которое характеризуется бредовыми идеями, а иногда также и галлюцинациями», мучило не одного только несчастного Князева. Паранойя этого рода поразила мою родину, как чума, зародившись в «бесовщине» русских яковинцев еще до появления на свет Федора Достоевского. Пушкинский Сальери «мало любит жизнь» и, возможно, убьет себя (речь о персонаже, и только), но сначала убьет гения. Идеологи русского яковинства возвели зависть, ненависть и жажду убийства в степень теории, прикрыв сущность фразеологией, как яму западни прикрывают хворостом. Фразеология взывала к лучшим чувствам и пленила самых доверчивых.

В затхлые глубины этой западни много раз спускался Виталий Шенталинский. С ним мы и читали, и переписывали «Красное Евангелие» 1918 года. То было на Соловках летом 89-го, я запомнил дату – 3 июня: с трибуны Верховного Совета согнали Андрея Сахарова под улюлюканье зала. Он сказал об Афганистане – его не захотели понять и получили Чечню.

А на белом песке – золотая лоза,
Золотая густая лоза-шелюга,
И соленые брызги бросает в глаза,
И холодной водой обдаёт берега...

Стихи Жигулина о Соловках. Золотой шелюги что-то я не помню по берегам Анзера и Большого Соловецкого, когда в 1989-м добрались мы туда с Виталием Шенталинским и Александром Дуловым. Помню ревматические изломы и вздутья березок, низведенных до состояния кустарника. Их стволики, одинаково черноватые, с намеками на бересту. Вдоль берега, клонясь в одну сторону, они тащатся этапом, готовые упасть на колени по команде. Ветер и холод запечатлели на них свою работу, напоминающую постоянный напор партийной идеологии на мозг и душу человека.

А через два года мы с Виталием начали серию вечеров «Острова ГУЛАГа». Первый замахнулся на Большой зал ЦДЛ. Родственники выступавших и несколько пожилых людей с улицы заняли четвертую часть зала...

Условимся о масштабе. Эпоха, зародившаяся в кровавой неразберихе Первой мировой войны, триумфально шествовавшая несколько десятилетий под знаком беды, не угомонилась и нынче. (А мы-то думали: похмелье! Мертвая зыбь!) Бодро и нагло напирает она и на новое столетие... Однако нет. Масштаб тут библейский. Явление принадлежит второму тысячелетию мировой истории, откликается же ему и дохристианская и доисторическая дикость.

Эпоха, универсальная по количеству разнообразного зла, быть может необратимого и рокового, тяготеет над каждым из нас непрошеным наследством. Отношение к ней – личное прежде всего. Я знаю человека, гордящегося тем, что отец его ликвидировал жида Михоэлса. Знаю другого человека и хочу это имя назвать: Наталья Астафьева, замечательный поэт, наследница Анны Барковой и дочь польского революционера Ежи Сохацкого. Он выбросился из окна пыточного дома на Лубянке, оставив дочери все свое невысказанное и самое кровь, которой только и можно писать детям нашей эпохи. У пасынков другие чернила.

Мне книгу зла читать неволю,
А книга блага вся перелисталась...
(Борис Чичибабин)

Трилогия Виталия Шенталинского – не для глотателей литературной попсы. Это тяжелое чтение. Мрак – мрак – мрак. Технология человекоубийства, достаточно известная и разобранная уже «до винтика» (Л. Чуковская), продолжает гнестить душу. Продолжает изумлять, как бы это назвать, Гений подлости – его крупные судьбоносные движения, сродни стратегическим ходам фронтов и армий, в сочетании с бытовой мелкой пакостью. Кит питается мелким рачком – не такова ли чесотка житейских побуждений – причина «великих» доктрин, расписанных и озвученных так, как всегда умели это делать на Руси, но в тысячу раз ярче и громче? Заставь дурака Богу молиться...

Скажем так: книги, о которых веду речь, чтение хоть и тяжелое, но просветляющее. Мрак потому и мрак, что не сплошь. Даже в самой своей гуще: *in media noctis vim suam lux exerit*¹. Не вся книга Блага излисталась. Быть может, в третьем тысячелетии откроем ее второй том? Так в Ветхом Завете веет Новым.

«...У людей, которых захватила петля в родной стране, создавались ощущения гонимого на убой стада». Пишет этнограф, поэт и прозаик, человек европейской культуры, повторница-колымчанка Нина Ивановна Гаген-Торн. Одна из светоносных героинь книг Виталия Шенталинского. В словах, которые я сейчас перепису, не просто свет, возникающий в той самой середине ночи, – нечто большее и сообразное масштабу тысячелетий, эр, о чем я заикнулся в самом начале. Продолжаю прерванную цитату: «Пребывание подъяремным животным дало мне ВЕЛИКУЮ ЖАЛОСТЬ ко всем подъяремным, закованным, на цепи посаженным существам. Я убедилась: выражение глаз, поведение отданного в безраздельную власть существа – почти не отличается у человека и у четвероногого... Это требует не презрения, а уважения к животным...»

Ответ Шаламову, заметившему, что лагерный опыт – сплошь зло и не может никому пригодиться.

¹ В середине ночи свет являет силу свою (*лат.*).

После драматического эшафота и долгих лет «Мертвого дома» потрясенный заговорщик Достоевский возвращается к жизни великим гуманистом и прозорливцем, чутким и к святости русской, и к бесовщине.

Европе, если принять рассуждение Пушкина, «помогло» наше рабство под татарами. Немцам помог ужас осознания их преступлений перед человечеством. У нас таких слов мы не слышали с высоких кафедр. С них мямлили об искривлениях партлинии, нарушениях соцзаконности и т. п. Та из «Двух России» (Ахматова), которая сажала и охраняла, Россия-II, более многочисленна. Так что

Еще могут сто раз на позор и на ужас обречь нас...
(Борис Чичибабин)

«По стране катились “волны озверенья” (Короленко), и каждая несла с собой новые убийства, грабежи и насилия. Погибая, спасай других! – сказал кто-то. И старый больной писатель сражался за других, отстаивая человеческую жизнь перед лицом смерти».

Так пишет Шенталинский. О спасении же через собственную гибель говорит Исайя.

Я загадал на тебя. Вот что сказал мне Исайя:
ИЛИ СПАСЕШЬСЯ – СПАСАЯ, ИЛИ ПОГИБНЕШЬ – ГУБЯ.
Много чудесного знал сын прозорливый Амосов,
Но посторонних вопросов я ему не задавал.

Я несколько переиначил стих великого пророка: уж очень много невыносимой скорби в этой обязательной гибели ради спасения...

Поразительна не только драма персонажей Шенталинского – замечательных людей, прошедших сталинские адовы круги. Поразительна драма, постигшая язык, образ мысли человека, понимание им ценностей жизни, всего того, что для одного составляет смысл существования, а для другого – «факультет ненужных вещей». Драма состояний двух современников, один из которых распоряжается жизнью другого: полное ничтожество, недочеловек, нечеловек – отправляет на тот свет того, кем гордиться может отечество. Пьяный расстрельщик ставит на колени свою

жертву и стреляет, подло стреляет в затылок. Не все, правда, принимали такую смерть, не все становились на колени. Кто-то остался свидетелем кончины Николая Гумилева. Это словно бы о ней говорит Короленко: «Смерть? Ну так что же! Жизнь писателя тоже должна быть литературным произведением...»

«Преступление без наказания» завершает Трилогию. И завершает достойно. Изумительны по своей значимости главы «Статирь», «Поэт-террорист» и последняя глава, глава-реквием «Расстрельные ночи». Остаюсь благодарным читателем этой прозы и признаю за автором право на «выстрел посредине спектакля», о котором говорил еще Стендаль и который исключали авторы многочисленных поэтик и правил.

В классное и внеклассное чтение следует включить многое из написанного Виталием Шенталинским, ДОБЫТОЕ им из глубины десятилетий, которые кажутся теперь столетиями. Огромность труда и его добросовестность налицо. Вероятное воспитательное значение... Но тут опять вижу шествие образованцев и покорство чиновников, ведающих наукой и образованием на той высокой и медленной волне милитаризации и стандартизации жизни, волне, которая нас накрывает. Дебилизация идет широко и напоминает массовое торжество примитива над интеллектом.

Об этом тревожно предостерегают книги Шенталинского. Преступление не повлекло наказания. ТЬМА УПОРСТВУЕТ, СТОИТ И ПИТАЕТСЯ САМА СОБОЮ – библейским слогом говорит об этом поэт и рыцарь чести, смертник чести – Леонид Каннегисер, убивший убийцу, чекиста Урицкого.

Упадок, где твой Рим?

Первые две книги Шенталинского появлялись сначала в Париже, переведенные на французский, и уж потом, с оглядкой на Европу – в родном отечестве. Книгу «Полюс лютоści» отвергло издательство «Современник», предпочтя колымским рассказам и стихам – что, как вы думаете? Фаддея Булгарина!

Мы с Шенталинским составили огромный том из прозы и стихов, написанных теми, кто побывал ТАМ. Бориса Чичибабина я попросил что-нибудь написать для книги, с его вступительным словом она и напечатана. Из него следует, что из лагеря мы так

и не вышли, сменили только паханов, сменили феню вывески. Кажется, этот листочек был последнее, что написал он... Книга называлась «За что?». Это очередной русский вопрос, рожденный эпохой сталинского фашизма. ЗА ЧТО погибли миллионы людей, еще неясно.

В издании этой книги нам помогли Фонд Солженицына и Фонд Генриха Бёлля. Издать «Донос на Сократа» помог сын Грэма Грина Френсис. Кровавые слезы родины утирал нам Запад, утирали наши зэки...

Несколько слов о повести «Статирь».

– Рабби, – говорит Петр, – мытари просят денег на храм.

– Ступай к морю, – отвечает Учитель, – забрось удю, а поймаешь рыбу – отверзи уста ей и найдешь СТАТИРЬ...

Этим словом именует герой повести, отец Потап Игольничников книгу своих проповедей, злословий жизни своей, книгу упований – житие свое в лихую пору второй половины XVII века. Есть подозрение, что церковнослужитель погулял и с ватагой разинцев, но об этом ни слова в его рукописи, определенно «репрессированной», таящейся за дерзостное свободомыслие в архивах Румянцевской библиотеки.

«Вверзи, яко удицу, ум твой внутрь многомятежного смысла своего – и обрящешь с т а т и р ь».

И до сего дня не пришла к читателю, не стала книгой эта рукопись, которая сегодня кажется мне насущной, настольной...

Станислав Лесневский в издательстве «Прогресс-Плеяда» издал «Дневник» нашего общего друга, костромича Игоря Дедкова. События отечественного террора не оставляли совести Игоря до последней минуты, всю сознательную жизнь его, жизнь ИНТЕЛЛИГЕНТА. «Интеллектуал» ему не подходит. «Образованцев» же он терпеть не мог – как и человек, придумавший это слово. И вот что записал Игорь в своем «Дневнике» 23 ноября 1978 года:

«Прекрасное, великое было время, – говорит Шагинян о двадцатых–тридцатых годах, – несмотря на трагические ошибки и беды. Характернейшее умозаключение выживших... Но истины в их словах нет, потому что существует угол зрения тех, кто не выжил, не уцелел, тех, кто скрыт за словами о трагических ошибках и бедах, и этот угол зрения не учтен, и нужно многое сделать и восстановить, обнародовать, чтобы он был учтен, насколько это теперь возможно. Радость выживших и живущих хорошо понятна. Как нам представить себе и понять отчаяние и муку тех, кто не дожил, кто так навсегда и остался в тех великих временах со своей единственной, бесцеремонно оборванной жизнью. И еще – неизвестно, когда дойдет черед! – как представить себе судьбы семей, жен, матерей, братьев и сестер, но более всего – детей! – вот где зияние, вот где самое страшное, вот где те неискупимые слезы, которые никогда не будут забыты, иначе ничего не стоим мы, русские, как народ, и все народы вокруг нас, связавшие с нами свою судьбу, тоже ничего не стоят, и ни до чего достойного и справедливого нам всем не дожить. Не выйдет. Достоевский знал, что те слезинки неискупимы, он откуда-то знал эту боль, перед которой вся значительность, все надутые претензии, все возвышение человеческое, все самовосхваление власти и преобразователей русской жизни – ничего не значат. Пустое место. Шум. Крик. Безумие. Тщета. Ничто. Сколько бы силы ни было бы за теми претензиями, сколько бы могущества ни пригнетало нас, ни давило, – все равно ничто, потому что те слезы переступлены и сделан вид, что не было их вовсе. Вот вид так вид: не было. То есть было, но все равно не было. Не было. По всем лесосекам давно уже сгнила щепка и поднялись мусорные заросли. Не было. Ничего. Так вырежьте нам память, это самое надежное. В генах ту память нарушьте, и пусть дальше продолжается нарушенная; то-то всем станет легко. И ткнут меня носом и скажут: гляди, это рай, а ты, дурак, думал, что обманем, и ударят меня головой о твердый край того рая, как об стол, и еще, и еще раз – лицом – о райскую твердь, и, вспомнив о безвинных слезинках своих детей, я все пойму и признаю, лишь бы не пролились они, – жизнь отдам, кровью истеку, отпустите хоть их-то, дайте пожить, погулять

по земле, траву помять, на солнечный мир поглядеть, – и еще взмолюсь втайне – да сохранится в наших детях память, пусть выстоит и все переборет, и пусть достанет им мужества знать и служить истине, которая не может совпадать с насилием, потому что насилие ничего не строит...»

Не прошу прощения у читателя за столь длинную цитату. Она тут как нельзя кстати. Ибо горячее, мудрое слово Игоря Дедкова имеет прямое отношение к «Преступлению без наказания» – обобщающей книге Трилогии Виталия Шенталинского. Словно бы Дедков заранее, почти тридцать лет назад, написал к этой книге свои «Заметки читателя». А час ее рождения пробил только сейчас.

Поверьте, я не кладу книгу Шенталинского в божницу, но и со стола не уберу. Она хорошо написана, автор одолел огромный материал и не погиб в нем. Это мне едва достало сил все прочесть так, как и следует читать эти книги: будто про тебя или сам будто пишешь... Страшно, соотечественники! Горько, родные! Гордо, однако...

А гордо потому, что все же русский Гений, «русский Леонардо», совокупный герой Виталия Шенталинского, всей жизнью и смертью, всеми книгами, включая сожженные на Лубянке и ненаписанные, сказал человечеству то, что поручено было ему Свыше. Слова спасения.

Владимир Леонович

СТАТИРЪ

Житие протопопа Потапа

Слово Божие

Последний бой Ильки-атамана

В челе человеческом есть свет

Слово и слова



В начале было Слово:

Превозлюбленный читатель, Божественных словес рачитель, глубины словес премудрый пытатель, жизни вечной желатель!.. Когда благоволишь святые книги читать, то не откажись принять в десятиструнные длани и сию книгу убогого труда моего. Я думаю и верую, что Божья благодать споспешествовала мне ее написать. А себя вменяю ни во что. Многожды, когда я писал и слагал, то был как бы в буре шумной и во мраке; ум мой безмолвствовал в великой пустыне, смысл мой засыпал или был в исступлении, и вся моя разумная сила оскудевала...

– Что это? Откуда?

Гостью звали Ларисой Владимировной. Сговорившись о встрече, она принесла мне эту потертую толстую папку, перехваченную выцветшим платочком, молча развязала и, выхватив листок, протянула – вот!

– Понимаете, мне бумаги от одной знакомой старушки достались. Завещала сберечь, перед смертью. А ей – от ее брата, умершего еще раньше, богослова Павла Терентьевича Алексеева. Этот текст, что вы прочли, – из древнерусской рукописи, которой он, Павел Терентьевич, всю жизнь посвятил...

Гостя волновалась, говорила быстро, будто боясь, что ее перебьют, не дослушают, не поймут.

– А сама рукопись, что же – погибла?

– Господь с вами! Слава Богу, цела. Хранится в Ленинке, в отделе рукописей. Единственный авторский список.

– А печаталась?

– Да в том-то и дело, что нет! Только отрывки мелькнули в девятнадцатом веке, и снова молчок. О ней мало что знают, и главное – кто автор? Скрыл он свое имя, предпочел остаться неизвестным. А вот Павел Терентьевич, – Лариса Владимировна огладила ладонью папку, – он громадное исследование сотворил. Еще до революции, после окончания Духовной академии, он в своих архивных поисках наткнулся на эту уникальную рукопись – и с тех пор мысленно уже от нее не отрывался.

Даже когда потом, в тридцать проклятом, за решетку попал – контрреволюционный заговорщик! – она ему мерещилась. Двадцать лет – тюрьмы, лагеря, ссылка... И первое, что сделал на свободе, – побежал в архив, убедиться, цела ли рукопись. На месте! Лежит как лежала. И возобновил работу. И все-таки достиг цели: по старым писцовым книгам открыл имя автора! Это случилось, есть точная дата, – 4 июля 1958 года.

Еще семь лет, что ему оставалось жить, Павел Терентьевич пытался опубликовать свой труд, явить миру старинного автора, воскресить его слово, издать рукопись: готовил ее к печати, перевел на современный язык. Стучался во все двери: и патриарху писал, и выступал с докладами перед академиками – ну и что?! Все изумились, единодушно одобрили, а воз и ныне там. После смерти Павла Терентьевича опять все заглохло... Я вам это оставлю, почитайте. Может, хоть теперь удастся напечатать?

Житие протопопа Потапа

«С т а т и р ъ» – значилось на обложке. С древнегреческого – драгоценная монета. По евангельской притче, подошли однажды сборщики податей к Петру, ученику Христа: не даст ли его Учитель денег на храм? И Спаситель сказал Петру:

– Ступай к морю, забрось уду, а когда поймашь рыбу, отверзи ей уста – и найдешь с т а т и р ъ, отдай его и за меня, и за себя!

Вот как уразумел притчу эту автор древнерусской рукописи: море – мир сей, рыба – человеческое естество, а с т а т и р ъ – исповедание Слова Божия.

Рече мне Божия благодать: не унывай, человече! Что влаешися унынием, яко безгласная рыба в море непостоянного века? Вверзи, яко удицу, ум твой внутрь многомятежного смысла своего, – и обрящешь с т а т и р ъ. Дажь его во славу имени Моего и в свое искупление...

И так начал я сей труд содевать, уповая на Создавшего мя... Си есть за мя и за ся. Первая часть – во славу Божию, вторая – во спасение людское и свое.

Представьте себе фолиант размером тридцать на двадцать пять сантиметров, более чем в полторы тысячи страниц, в переплете из тонко выделанной кожи, протертой по краям. Корешок отделан потускневшим золотым тиснением, с наклейкой бордового цвета, на которой крупными золотыми буквами сияет: «С т а т и р ъ».

Поднимем крышку. Книга, написанная полууставом, на голландской бумаге с водяным знаком «герб Амстердама», сохранилась отлично, будто не пролежала века: бумага не пожухла, чернила и киноварь, которой написаны заголовки, не выцвели, буквы не потеряли отчетливости. Почерк

некрупный, прямой, аккуратный. Текст отделен справа ровной вертикальной линией.

На полях – множество пометок, из каких источников автор брал цитаты для своих поучений, и приписок о времени сочинения. В конце книги – запись: «Вскую¹ прискорбна, душа моя, и вскую смущаешься? Уповай на Бога» – и с новой строки – «что...», фраза оборвана. И последние слова, словно вздох, на отдельном листе, посередине: «Боже мой и творце...»

Жанр книги – ораторская проза, это сборник страстных, философско-публицистических церковных проповедей, которые автор именует «Словами»: Слово 6... Слово 33... Слово 94 («Сие Слово написано прежде всея книги») и так далее. Всего – 156 слов-поучений на воскресные дни и праздники всего годового круга, в честь святых, на разные торжественные случаи; поучения предваряются двумя предисловиями, дополняются авторскими молитвами по совершении первой части и всего труда, и вдобавок еще виршами – 68 силлабическими двустушиями, обращенными как к доброжелательному читателю, так и к завистливому хулителю, уж в чьи руки попадет книга.

Писалась она один год, четыре месяца и двенадцать дней. Время и место создания автор указал точно, приписал киноварью в предисловии к читателю: 8 апреля 1683 – 20 августа 1684, в царствие Государей, братьев Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, в вотчине именитого человека Григория Дмитриевича Строганова – Орле-городке, на Каме-реке, в устье реки Яйвы. Указал автор и то, что служил тогда священником соборной церкви Похвалы Богородицы.

Просто невероятно, как мог появиться в таком медвежьем углу, в такое, еще достаточно средневековое время пре-

¹ Почто, почему, для чего (*церк.-слав.*).

мудрый пастырь, блестящий самородок, стоявший головой выше своих земляков. И почему он скрыл имя?

Биографию этого уральского Златоуста можно восстановить лишь прерывисто, в самом общем виде – по его книге, по изысканиям Алексеева и других современных ученых, подтвердивших открытие репрессированного богослова.

Но, выйдя на след автора «Статира», уже нельзя было не увлечься, не устремиться за его удивительной судьбой – и не только в библиотечных и архивных розысках, но и в путешествиях по тем местам, где все происходило.

Стоял некогда на Кама-реке, в глухих пермских лесах, славный Орел-городок, Кергедан, как называли его местные племена, коми и пермяки, – селение в речном устье. Мал городок, да удал, крепость, опорная точка державы, столица обширных уральских владений именитых людей Строгановых. Именно здесь снаряжал свою дружину покоритель Сибири, казак Ермак, отсюда отправился вглубь азиатского материка, раздвигая границы России. А в другую сторону везла река на потребу всех россиян соль «пермянку».

Но к тому времени, когда автор «Статира» появился на свет, былая слава Орла-городка уже закатилась. Далеко на восток отошла граница государства, оставив в тылу эти места. К тому же истощились здесь природные запасы соли, на которой, как на дрожжах, пухли строгановские капиталы, шагнули трубы соляных варниц чуть поодаль, в Новое Усолье.

Тогда же постиг Орел-городок великий потоп. Кама – главная дорога и кормилица – начала прорывать себе новое русло и, заливая посад, снесла часть оборонительной стены. Что не удалось врагам, сибирским татарам, сделала река: взяла крепость приступом. И Орел-городок, как сказочный Китеж-град, стал медленно и неудержимо, год за годом, погружаться в водную бездну, покрываться волнами...

И все же люди не спешили покинуть обжитое место.

Что представлял собой Орел-городок в те времена, когда по его улицам бегал пацаном будущий автор «Статира»?

Это был острог, с северо-запада уже порушенный рекой, но с других сторон еще огражденный стеной – дряхлеющим бревенчатым частоколом в несколько рядов, заполненным внутри камнями и щебнем, – с двумя глухими башнями и двумя воротами, а с юга еще и опоясанный широким рвом с водой. Вокруг острога кишел и лепился посад: несколько десятков изб, рубленных «в лапу», с двухскатными крышами из тесаных досок, торговые лавки и мастерские, амбары и сараи, скотные дворы и огороды. Обитали в посаде вперемежку, как в Ноевом ковчеге, каждой твари по паре – рабочие солеварен и охотники, рыбаки и крестьяне, но больше – ремесленники. На их труде стоял теперь городок, ими славился, снабжая всю округу изделиями искусных плавильщиков, кузнецов, гончаров, плотников, кожевников, косторезов. Работали здесь и умельцы, выписанные из Москвы, – пекли, как пряники, полихромные изразцы с дивными цветами и картинками, из которых наибольшим успехом пользовался, конечно, орел – царская птица.

Городок имел поначалу правильную планировку, улицы шли с запада на восток, с выходом к реке. Однако когда она метнулась в сторону, порушился и замысел людской: полузатопленный городок пришел в замешательство, дома стали строиться вразброд, как попало, превращаясь в сплошной лабиринт тупиков.

А головой всему, на самом краю мыса, подмытого рекой, – две каменные постройки: соборный храм Похвалы Богородицы, другой, поменьше, – Воздвижения Честного Креста и чуть поодаль – палаты Строгановых, срубленные из отборных, толстых и прочных бревен.

Похвала Богородицы встала совсем недавно, на месте деревянной старушки того же имени, шатровой, о пяти верхах, и очень отличалась по стилю от местных церквей – как нарядная городская барышня от застенчивых сельских простушек. Слаженная приезжими московскими строителями в новомодном стиле барокко из красного кирпича, богато украшенная разноцветными изразцами, поблескивая слюдяными окнами, она высилась крепко и стройно, а если взглянуть снизу, легко летела среди облаков – двухсветный четверик, расчлененный пилястрами и увенчанный классическим карнизом, на нем – восьмерик с арочными окнами, еще выше – широкий купол и, наконец, на самом верху – граненый фонарь вместо главки, завершенный ажурным металлическим крестом. Горизонталь церкви – примыкающая трапезная, два придела и алтарный выступ – не утяжеляли, а уравнивали вертикаль.

Вот и весь Орел-городок. А вокруг – просторы речные и заречные, озерные и лесные, поля и луга. Небо, ничем не закрытое, не загороженное – на все стороны света.

На посаде, по писцовой книге 1647 года, среди других дворов значится и двор Проньки (Прокопия) Сергеева, сына Игольнишникова, и у него дети – Потапка да Андрюшка.

П о т а п к а – первый след нашего героя в анналах истории. Потап Прокопьев Игольнишников – по тем же писцовым книгам – был священником церкви Похвалы Богородицы в сроки, указанные автором «Статира».

Я поселянин и навозогреб, сущий невежа. Хотя от правоверных родителей, но от простейших, – неосвященного корня, не от славного рода, ибо отца имею усмаря¹, деда – портнягу, прадеда – скотопаса, а больше сих не знаю. Не их, родивших, поношу, но свою худость изъявляю. Они

¹ Кожевник, сапожник (церк.-слав.).

хотя бы ремесло знали и от своих трудов пищу приобретали. А я и того не постиг. К дровосечеству немощен, к земледелию – ленив, не умея соху тянуть, в скотопаство труден, к купле несмыслен, в просительство – стыжусь.

Так безжалостно расправляется с собой Потап. Документы переписей – писцовые книги – подтверждают и уточняют его родословную: дед Сергей действительно портной, отсюда и прозвище-фамилия – Игольнишниковы, а вот отец Прокопий, тот лишь поначалу – усмарь, затем он числится пономарем, а после даже и попом у Похвалы Богородицы. Но в любом случае автор «Статира» прав: родом он – из самых низов, в четвертом поколении крепостных у знатных людей, промышленников Строгановых.

Куда же податься при таком происхождении и слабосилии, без всякого ремесла? А тут еще рано семьей обременился – жена, детей уже двое, всех кормить надо. Хоть в монастырь беги...

И подался Потап в монастырь.

И от таковой худости и от последней грубости, поступил я несмысленно, восприяв сан дьяконства, – не чтобы Богу служить, но для своего чрева и тунежительства ради, и жены и чад пропитания. И препроводил лет пятерицу во обители Спаса Преображения Пыскорского монастыря и тут покусился отчасти святые книги читать, немного узнал закон Божий и едва различился от первого скотомыслия.

Что-то уж слишком клеймит и позорит себя Потап. Нет ли здесь лукавства, уничижения паче гордости? Этот самоанализ и самобичевание выдают тип, до боли знакомый в русской истории. Раб по положению, но интеллигент по призванию, слабый в обыденной жизни, но рожденный

для духовного подвига. Мятеж чувств, водоворот сомнений. Бесстрашие мысли и слова. Раннее предчувствие своей избранности, предназначения, без всякой, кажется, возможности его исполнить, интуитивный, полуслепой, даже порой неохотный, будто кто в спину толкает, путь к реализации Богом данного дара.

Однако не был доволен злой мой и многовозжеланный нрав саном дьяконства; нетерпелив имея обычай, бежал из дому Спасова, не хотел в послушании быть, но возжелал повелевать. Восприяв сан священства, служил во граде Соли Камской, через два лета, у церкви Рождества Христова. И тут меня объяли беды, и начали, непостоянного, меня помыслы смущать и бедную мою душу колебать. Будучи сам убог, как другим слово утешения подам?

Люди же сущие начали меня по первому моему желанию почитать и духовным отцом своим меня нарицать и в нуждах душевных меня вопрошать. Я же не ведал, что делать, но всячески старался от такового ярма себя освободить.

Слава о новоявленном пастыре, врачевателе души, скоро облетела округу. И дошла до слуха самого хозяина края, Григория Строганова, который к тому времени, по смерти родителя, сделался наследником баснословных богатств семейного клана, владельцем немереных земель вместе с населявшими их людьми – государства в государстве, вдвое больше Голландии.

Этому промышленному, финансовому и торговому феодалу минуло тогда чуть более двадцати лет. Молодой да ранний. Предприниматель редчайшего типа и склада, цивилизованный и человечный. Не только умом остер и в деле хват, но и, по дружным отзывам современников, щедр, благочестив, дышит любовью к просвещению и новшествам.

Большому кораблю – большое плавание. Скажем сразу, молодого Строганова ждет блестящее будущее. Со временем он еще более умножит владения, станет богатейшим человеком своего века и славнейшим государственным мужем, сподвижником и личным другом Петра Великого, на деньги Григория Строганова будут осуществляться многие грандиозные преобразования, строиться русский флот, отливаться пушки для Полтавского сражения. Он явится первым человеком в стране, которому Петр позволит официально именоваться по отчеству, с суффиксом «вич» – Григорий Дмитриевич. А будущая жена его Мария Яковлевна родит ему трех сыновей (сам Царь был крестным среднего, Николая), сделается первой статс-дамой при дворе, ей, единственной из всех дам, разрешалось появляться на приемах и балах в русском платье.

И всю жизнь Григорий Строганов будет возводить храмы, развивать ремёсла, радеть за просвещение и поощрять искусства. Это во многом с его легкой руки получили известность строгановское зодчество, иконопись, золотое шитье и скань, резьба по дереву и кости, созданы, собраны и сохранены дошедшие до наших дней уникальные книжные собрания и коллекции картин. Возник даже особый строгановский стиль в русском искусстве, самостоятельная культура.

Но все это у Григория Строганова – впереди. А пока он – еще только в начале своего поприща – сидит с матушкой Анной Ивановной в пермской вотчине, в Орле-городке и, глядя на камские просторы из высоких палат, учится управлять обширным хозяйством. И, должно быть, нужна юноше какая-то духовная опора, раз он, только прослышав о премудром батюшке из Соли Камской, тут же призывает его к себе.

Встреча эта решила судьбу отца Потапа.

Тот же боголюбивый господин Григорий Дмитриевич милостливым своим изволением меня к той церкви Похвалы Богородицы призвал... зело любезно и с честью принял меня как сущего отца и великую мне покорность показал и во всем меня, по воле Божьей, радостно слушал. И всем домочадцам своим строго заповедал, чтобы в великой чести имели меня, грешного. Отдал же мне и церковное правление. Зело меня удовольствовал в домашних потребностях, – и не меня единого, но и многих. Меня же, грешного, паче всех любил и покоил, так, чтобы во всем было у меня изобилие... Но и сам он, господин, всякому любомудрию рачитель, ибо велми¹ остроестествен природою и, в юных летах будучи, многоденные седины превзыде разумом смысла своего.

Так вернулся отец Потап в родной Орел-городок протопопом, въехал, как говорится, на белом коне. Произошло сие знаменательное событие до 1678-го, ибо в писцовой книге того года уже отмечено: «На посаде церковных причетников Похвалы Богородицы – поп Потап Прокопиев, у него дети Ивашко да Павлин».

А соборный храм юный попечитель щедро одарил всяческим довольством и красотами – иконами, книгами, ризами, звоном и сосудами. Служба сопровождалась ангельским пением – о нем у Григория Дмитриевича особое попечение: и сам хорошо поет, и домочадцев учит. Здесь, в церкви Похвалы Богородицы, звучали новые на Руси многоголосные, партесные песнопения, которые вводил композитор Николай Дилецкий, специально приглашенный Строгановым регентом своего московского хора. Тот явился не с пустыми руками – преподнес Григорию Дмитриевичу рукопись собственной книги «Идея грамматики мусикийской». Вскоре партесное пение аукнулось на Каме, да так, что слава о хоре

¹ Весьма, очень (церк.-слав.).

спеваков из Орла-городка докатилась аж до Кремля, откуда просили прислать в столицу «альтистов и басистов».

Целый хоровод Муз вдруг закружился в пермской глубинке.

Тут-то и стал отец Потап с одобрения высокого покровителя сочинять и произносить по воскресеньям с церковного амвона свои «Слова», поучительные беседы, устные проповеди. Знал он, что есть на Руси священники, не только читающие по готовым книгам, но и глаголящие от себя, хотя сам такого никогда не слышал. Живое слово в церкви тогда еще не было в обычае. Осмелился отец Потап добавлять к Святому Писанию и что-то свое, дальше – больше, а потом и вовсе разошелся: стал толковать людям не только божественное и небесное, но и об их земной, греховной жизни, корявой и неустроенной, потной, слезной и кровавой, как она есть. Будто сошел с облаков и перекинул мост между Богом и ими, Богом забытыми...

С тех пор, как премудрый Художник всесильным словом Божества Своего привел все созданное из небытия в бытие, все видимые твари сохраняют неизменно свой чин и порядок, каждая ненарушимо соблюдает повеление Творца. Это великое круговидное небо старея младенчеству и обновления не требует, имея красоту неизреченную. Солнце, луна и звезды шествуют путем своим, в пределах положенных, день от ночи разделяют, времена и лета указывают. Земля стоит твердо, хотя ни на что не опирается, приносит плоды и дает пищу всему живущему. Море знает свои пределы и песочных оплотов не разрушает, но само в себе, на своей груди разбивает свирепые и бесчисленные волны...

И сотворил Бог человека по образу своему и подобию, не сотворил царя, князя, воина, богатого, нищего, но просто – человека – существо духовное и телесное. Ничем не

отличил одного человека от другого, всем небо – покров, солнце – светильник, земля – трапеза, море – данник. Произволом человеческим и научением дьявольским произошли раздоры между людьми, уничтожилось равенство, всякий стал стараться присвоить себе как можно более. Снедаемые завистью, они, кажется, готовы были бы отделить себе и свод небесный, и светила, и капли дождевые, если бы это было возможно. От этого умножились между людьми насилия и убийства, брат восстал на брата, не щадя общей обоим природы...

А в наше время что видят очи мои? А наши господа что делают? Они только до тех пор раба своего содержат и милуют, пока им угрождает, злой нрав их тешит и прибыль им приносит. А если раб хоть в малом чем-нибудь провинится, то не показывают ни милости, ни человеколюбия, но считают его хуже пса, наказывают без жалости и пощады, бросают в темницу, сковывают железом. О, безумие и срам господ наших! О, бесчеловечие! А о других злодействах умолчу и скорбь мою слезами утолю... Каковы беззакония, такова и казнь.

Это было неслыханно! Пошли в Орле-городке суды-пересуды, неизбежно возник и стал нарастать ответный ропот паствы, которая вовсе и не желала слышать о себе правду и чтобы ее учили. И так эти роптания язвили отца Потапа, что вписывал он их в сокровенную рукопись свою, делился обидой.

– Почто умы возмущает, народ мутит?

– Были у нас и прежде священники добрые и честные и так не делали. Жили попросту, а мы были в изобилии. А этот откуда вводит странное?

– Он сын Проньки Сергеева, Игольнишников, такой же, как все. Так чего вывихивается?

А отца Потапа уже не остановить. С великим трудом, но с превеликой охотой сочиняет и затверживает наизусть, а иногда пишет на малых тетрадках и свитках, благо и бумаги, и чернил у него в достатке. Хоть и рождается слово в душе, но не вкореняется, стирается, пока не запишешь. И осмелился отец Потап на дерзость несусветную – самому составить книгу! Поначалу себя испугался:

Ибо кроме букваря, Часослова и Псалтири, я ничему не учился, и то несовершенно. О грамматике же не слышал, как ей навикают, зря ее, как она иноязычными зрится, риторики совсем не пробовал, а философии и в глаза не видал, мудрых же мужей нигде на пути в лицо не встретил, но только на писание святое и на всемогущего Бога уповаю...

Раб греха, как буду возвещать вам о свободе?

Опять и то смущает меня: вижу, что вы не любите, что вы ненавидите меня, называете злоязычным, не хотите внимать словам моим, сплетаете на меня хулы и злословия, может быть, уже и камни бросаете в меня в сердцах своих, а всего чаще смеетесь над моими увещаниями. Однако же не должен же я из-за ваших насмешек оставлять служение, которое сам Бог поручил мне. Много я знаю причин и доказательств, почему не могу я оставить своего подвига. Видал я, как ручей, чистый и прозрачный, течет между гор и диких деревьев; никто не пьет из него, никто не черпает. А он все не перестает течь и глубины своей не умаляет, так и я не перестану проповедовать, по мере дарования Божьего во мне, пока я здесь.

Что сильно заботило отца Потапа – а готов ли он к столь высокому служению, не станет ли самозванцем в кругу посвященных, многоразумных духовных писателей?

И тут помог заступник и благодетель Григорий Строганов. Не только дерзкому замыслу волю дал, но и книгами душеполезными щедро одарил; всю строгановскую книжную клеть для отца Потапа приветливо распахнул, пригласил на пир духовный.

И уж попиrowал отец Потап власть! Пожаловали к нему в гости, в постоянные собеседники и бесподобный Кирилл Транквиллион с его «Евангелием учительным», и высокоученый Симеон Полоцкий разделил с ним свои «Обед» и «Вечерю» «душевные», но ближе всех к сердцу пришелся улей меда словесного – предивный «Маргарит» Иоанна Златоуста. Да и многие другие древние и новые достопочтимые авторы явились в храм Похвалы Богородицы побеседовать с отцом Потапом: блаженный Феофилакт и Иоанн Дамаскин, Григорий Богослов и Афанасий Великий, Кирилл Туровский и Иннокентий, папа римский, Иоанн Лествичник и Василий Великий, Ефрем Сирий и Иосиф Флавий... И не было тесно за пиршественным столом отца Потапа, как и в его голове. Даже и место оставалось для своих мыслей и своего слова.

Жадно впитывая чужие речения, отец Потап обильно, но к месту вставлял их в свои проповеди или свободно перелагал, понятнее для паствы. Ибо весьма препросты были жители страны сей, в которой ему привелось жить, и невразумительны к златоустам, принимая их язык за иностранный. Многие рассуждали примерно так, как московский богослов Иван Наседка, живший в том же веке:

– Нас, овец Христовых, не перемудряйте софистиками своими, нам ныне некогда философия вашего слушать!

Если уж столичный богослов так речет, что говорить о пермяке–соленые уши, не разумевшем простой грамоты. Не по зубам ему высокий слог, приходилось для него твердую

пищу разжевывать, чтоб была усвоена. И честно оговаривал притом отец Потап на полях своей книги, откуда что берет, так чтобы не подумал его любезный читатель, что он чужой труд себе присвоил, чужим разумом желает прославиться. Но между речениями других слагал и вписывал отец Потап и свои, будто вступая в доверительную беседу с высокочтимыми, славными духовидцами.

Уж не тогда ли была написана и появилась в его церкви большая многоцветная икона, сияющая здесь и по сию пору: в центре – юная, стройная Богоматерь с младенцем, на золотом фоне, как в солнце, и в облачном кольце, а по сторонам – воздающий ей похвалу хор речетворцев с развернутыми свитками?

Пришел в большое изумление отец Потап от премудрости, явленной в Слове Божиим, и от того, сколь прискорбна судьба тех поборников духа, кои претворили это Слово на земле.

Слаще меда и сота душеспасительные словеса, которые носят духовные учителя, философы премудрые: они день и ночь, не зная себе покоя, обтекают всю вселенную скорошественным и яснозрительным умом своим, касаются горних пределов и самого престола Владыки и оттуда почерпают глубину премудрости небесной... А вы, неблагодарные, от них лицо отвращаете, уши затыкаете, а словеса их, драгоценнейшие злата и камней многоценных, презираете, как свиньи, ногами своими попираете. Зубами скрежете и в злобных сердцах своих бросаете камни на благодетелей, которые подадут вам благословение вечное.

Слово Божие

Знал ли отец Потап в своем пермском далеке, что, прежде чем воплотиться в книги и дойти до читателя, почти все его наставники в премудрости считались еретиками и претерпели гонения, а то и смерть мученическую?

Творения Кирилла Транквиллиона – старшего современника Потапа – изымались по приказу патриарха из церквей и у частных лиц и даже были однажды сожжены на костре в стольном граде Москве. За что же, Господи? За слог еретический, за то, что автор этот, как и отец Потап, отстаивал равенство людей, обличал преступления власть и злато имущих.

Простота святая, да ее ж и на зубы подымают! Ровно за год до того, как автор «Статира» решился на свой труд, был сожжен заживо за пламенные письма другой протопоп, хоть и простодушный, но отнюдь не простака, говоривший с народом на его языке, – автор знаменитого «Жития», учитель старообрядцев Аввакум.

«Видишь ли, самодержавне! – писал он в челобитной Царю Алексею Михайловичу. – Ты владеешь на свободе одною Русскою землею, а мне Сын Божий покори́л за темничное сидение и небо, и землю!» Казнили Аввакума после одиннадцати лет сибирской ссылки и пятнадцати – заточения в срубе, засыпанном землей, с одним окошком, через которое подавались и пища, и дровишки. Вместе с ним сгорели на костре инок Епифаний, священник Лазарь и дьякон Федор Иванов, все они тоже были писателями.

Еретиком считался поначалу и Симеон Полоцкий, творивший в одно время с отцом Потапом, как и он, произносивший свои «Слова» перед народом по воскресеньям и вводивший устную проповедь в Москве. Да и после, уже укрепив свое положение, сделав блестящую карьеру и даже

став воспитателем Государевых детей как самый высокоученый муж в Московском государстве, он считал место поэта под солнцем выше царского.

Рождалось новое мировосприятие, личность восставала в рабе, автор являл свое лицо в коллективном и безымянном. И взгляды Симеона Полоцкого, первым на Руси осознавшего себя профессиональным литератором, оказались созвучны самородной философии отца Потапа. Как мыслил пермский мудрец, –

Все сколько-нибудь видимое и невидимое, премудрым Творцом созданное, вещественное и мыслью постигаемое, тлеющее и вечное востребует к своему бытию именованию. Всякая бытность от Создателя своего именем изображается и нами, людьми, познается.

Подобно тому как Бог Словом своим творит мир, так и поэт или писатель своим словом спасает мир от небытия. Мир – книга, и его можно преобразить словом.

А вот судьба ближайшего ученика Симеона Полоцкого, которому он завещал свою миссию просвещения, – поэта и историка Сильвестра Медведева – куда плачевней. Ученый монах, по мнению суда, «язык имел столь неумолчно блядущ¹, что, казалось, все его тело превратилось в язык», за что, после пыток на дыбе, бичами и огнем, и отсекли ему этот язык топором, вместе с головой, на Красной площади, казнили как чернокнижника и колдуна. Получилось совсем по его же, Сильвестра, слову: «Ныне увы! Нашему такому неразумию вся вселенная смеется: Русь глупая, ничтоже сведущая!»

Еще раньше, в первой четверти того же XVII века, другой инакомыслящий, молодой князь, поэт и публицист Иван Хворостинин, ожег московских людей афоризмом:

¹ Пустословный, болтливый, лживый (церк.-слав.).

Сеют землю рожью,
А живут все ложью! –

и вскоре был закован за вольнодумие в железы и брошен в темницу. Многие сочинения его казнены: изъяты при обыске и уничтожены. А ведь, как и отец Потап, хотел только «нечто понять и полезное предложить».

«Странен я был в этой стране благодушных, обречен на поношение и стыд, – горько сетовал князь. – Хлеб, как пепел, ел и питье мое слезами растворял, на ложе пребывал без сна, камнем стала постель моя... Золотая дорога была к дарованию моему». Прожил Иван Хворостинин всего тридцать пять лет, но нагляделся много «дивных видений». Был, еще юношей, на похоронах Бориса Годунова, когда все головы «от печали восклонили». А скоро тот же люд с таким же неистовством извергал тело бывшего Царя из Архангельского собора за то, что «убил безвинных много». Оторопь берет, как близко это далекое прошлое «дивным видениям», шатавшим нас совсем недавно: от кровавых слез на похоронах Сталина – до его выброса из Мавзолея, правда, близко метнули – Кремлевскую стену подпирать.

Тогда же, при Иване Хворостинине, написал гневный памфлет против страха – «Слово о расслабленном, и немужественном, и изумленном страховании» – подьячий Антоний Подольский. «От безмолвия бывает страх», – определил он причину болезни. Стихи и проза его – голос народной правды – ходили в списках, в тогдашнем самиздате, автора же отправили в цепях на Север, в места не столь отдаленные.

Таков был век отца Потапа по части свободы мысли и слова. А что же столетием раньше, когда, собственно, и возникло в России книгопечатание? Да, это был век первой печатной русской книги, но и век Ивана Грозного, развязавшего такой террор против своего народа, что его превзойдет

разве что только Иосиф Сталин через четыреста лет! Это был век знаменитого опричника, карателя и пытателя Малюты Скуратова, чье имя станет нарицательным в русской истории и с которого пойдет череда кровавых карликов – палачей при власти, как на подбор маленького роста – через Степана Шешковского, главу Тайной канцелярии при Екатерине Второй, до наркома Николая Ежова.

«Откуда такая тщета нам? – вопрошал блестящий публицист, князь Андрей Курбский, первый русский западник, бежавший от царского гнева в Литву как раз в незабвенном 1564 году, когда появилась в Москве первая типографская книга. – Мы неискусны и учиться ленивы, и вопрошати о неведомых горды и презрительны. Но простерты лежим, в леность и гнусность погружены». С ним перекликнется через два с половиной века Пушкин: «Мы ленивы и нелюбопытны».

В центре Москвы, рядом с Лубянской, красуется памятник первопечатнику Ивану Федорову, и мало кто знает, как отблагодарили наши соотечественники этого человека за его духовный подвиг. Дивному мастеру Ивану Федорову и его товарищу Петру Мстиславцу удалось выпустить в Москве лишь две книги, после чего зависть и ненависть многих начальников, светских и церковных, их из родимого отечества изгнали. Пришлось бежать в эмиграцию нашей гордости, обвиненной в «грамматической хитрости», и там закончить свои труды и дни в бедности. А первый печатный двор близ Кремля ненавистники спалили дотла, чтобы через несколько лет другие мастера, на свой страх и риск, начали все сначала, возобновили книгопечатание. Факт, что первая русская грамматика и первый русский букварь, к нашему историческому стыду, появились не в первопрестольной, а в Литве, хоть и указал неистребимый патриот Иван Федоров, что напечатал он их «для пользы русского народа».

Наш Гутенберг все же, слава богу, не забыт, вошел в историю, но вот кто, кроме спецов по древней литературе, знает про монаха Артемия Троицкого, тоже жившего при Иване Грозном? «В мире скорби будете, – предупреждал Артемий своих учеников. – Ибо обычай есть живущих временными интересами ненавидеть Христовых учеников. Потому что премудрость Божия супротивна мудрости мира сего. Ее никто из князей века сего не разумел!» И перед самим Иваном Грозным не дрогнул Артемий. Бросил в послании ему: «Учить следует, а не мучить!» Простенькая формула, а достойна быть классикой, учебным пособием для русской власти на много веков вперед.

Ну и, конечно, схватили монаха и, заковав в кандалы, заточили поукромнее – аж на Соловки. Балакай там с чайками поморскими, учи их уму-разуму!

Так ведь и оттуда он исхитрился утечь – все в ту же Литву, ближнюю за границу. И там не опустил пера, продолжал строчить послания на родину, братьям по духу: «Душевный человек не приемлет духовного, но считает за сумасшедшего. Поэтому пророки, прежде возглашавшие Слово Божие, какие гонения от соплеменников приняли! Многие из них и уморены были различно, потомки же их соплеменников переполнили меру отцов. И после них бесчисленно оказалось мучеников за правду и за веру. Этого ли не довольно нам в утешение?.. Бог хранит все. Если даже все осудят нас, как злодеев, – это не беда для нас, за слова Бога страдающих. Не усомнимся в истине!»

Каково бесстрашие и готовность пострадать за Слово Божие – если в утешение судьба древних мучеников, а не в страх!

Уже точно не мог читать это послание автор «Статира», но ведь сам думал и говорил сродно, будто перекликаясь с Артемием, зажигая свою свечу от его свечи.

Будучи до опалы и суда игуменом Троице-Сергиевой лавры, Артемий заступился перед Царем за другого подвижника и просветителя – Михаила Триволиса (Максима Грека), что позволило тому хотя бы умереть на воле и в покое. Тридцать лет провел в жестоком монастырском заточении этот самый образованный тогда человек на Руси!

Он был приглашен с Афона в 1518 году Великим князем Василием III как гость для переводов и исправления книг. Успевший пожить в юности в Греции и Италии, подружиться с виднейшими европейскими гуманистами, Максим Грек рассказал москвичам об очагах земной цивилизации – Венеции, Флоренции, Парижском университете, первым открыл им Америку, то есть сообщил о существовании этой части света, подал идею книгопечатания. Очень скоро он понял, куда попал, и запросился обратно, в Европу. Но было уже поздно, ловушка захлопнулась. Мотивировка отказа в отъезде очень похожа на советскую:

– Человек он разумный, увидел наше доброе и лихое и, когда пойдет из Руси, все расскажет...

Максима Грека судили дважды. Обвинений было много: и что, мол, не так и не то переводит, и что старые книги неправильно исправляет (а он возвращал их к первоисточнику, снимал искажения), и что речи недозволенные ведет, и что в непримиримой борьбе в церкви между «стяжателями» и «нестяжателями» встал на сторону «нестяжателей», естественно, теснимых и гонимых. Его слова – «ведаю все везде, что деется» – были поставлены в вину как «волхование еллинское и еретическое». И вот что еще донесли на него окружающие его монахи: колдует, пишет водкой на дланях тайные знаки и, когда Великий князь на него гневается, выставляет эти длани навстречу, и князь тут же гнев свой смирят и начинает смеяться.

Ученый-энциклопедист, философ и выдающийся писатель, владевший многими языками, принесший в средневековую Русь идеи античности и европейского Возрождения, был лишен возможности «иметь мудростование». Приговор гласил: «Да не беседует ни с кем, ни с церковными, ни с простыми, как и писанием не глаголет. В молчании сидеть и каяться в своем безумии и еретичестве». Рассказывают, что одно из самых ярких своих сочинений, гимн истине – «Канон Пераклиту» – Максим Грек написал углем на стене своей кельи-камеры, где его мучили стужей, угаром и голодом.

И все же, несмотря на нечеловеческую участь, этот вестник другого мира оставил после себя целую библиотеку творений – больше 350 сочинений разных жанров, которые, увы, до сих пор еще не до конца изучены и прочитаны. В одном из них – «Слове печальном, пространно излагающем, с жалостью, нестроения и бесчиния царей и властей последнего жития» – Максим Грек дал потрясающий образ многострадальной Руси – неутешно плачущей вдовы, лишенной опоры – надежного и крепкого мужа – и сидящей при дороге в окружении диких зверей. Звери эти – славолюбцы и властолюбцы, сребролюбцы и лихоимцы, извечные персонажи жизни, а пустынный путь – последний окаянный век, лишенный всякого благочестия.

Удалившись вглубь времен еще на столетие, вспомним и о загадочной судьбе блестящего политика, министра иностранных дел при дворе Великого князя московского Ивана III, про несчастного Федора Курицына, который был сожжен заживо в клетки вместе с единомышленниками. В чем провинился? Книги осмелился писать. Слово супротивное произнес. Душа, мол, у каждого человека по своей природе свободна. И ограда у нее, чтоб свобода не стала произволом, только одна – вера.

Минуем те времена, когда под гнетом двойного ига – и собственных, безжалостных князей с их опричниками, и чужеземных захватчиков – татаро-монголов, кажется, все на Руси замолкло и замерло, как в пустыне. Но что там дальше, до монгольского нашествия, уж не мерцает ли свет? Век XIII. Чей голос доносится к нам оттуда?

А вот: «Когда возлежишь на мягкой постели под соболями одеялами, вспомни меня, под дерюгой лежащего и холодом умирающего, и струями дождя, как стрелами в сердце, пронзаемого... Господине мой! Не лишай же хлеба мудрого нищего, не возноси до небес глупого богатого».

«Слово» или «Моление» Даниила Заточника. Родной брат по духу Потапа Игольнишникова взывает об истине и справедливости и напоминает суетному, скоропостижному веку своему о вечных ценностях. И кажется не раз – это наш пермский правдоискатель говорит устами далекого предка: «Ведь я ни за море не ездил, ни у философов не учился, но был как пчела, во многих книгах собирая сладость словесную».

Даниила Заточника называют первым русским интеллигентом, он впервые в нашей литературе подал глас в защиту отдельной человеческой личности, независимо от положения в обществе, суверенной по праву рождения. По легенде, Даниил, княжеский дружинник, был невинно заточен в тюрьму на Белоозере. Там-то он и написал свое «Слово» и, запечатав в сосуд, кинул в озеро. Сосуд проглотила рыба, рыбу выловили и подали на княжеский пир. Так попало в руки князя это послание.

Ну чем не **С т а т и р ь** – образ потаенного Слова, которое чудесным образом то ныряет в волны времени, то всплывает опять, не просто для житейской пользы или досуговой забавы, но ради спасения человека.

Вот мы и спустились по древу Русского Слова до самых его корней, в летописное время. XI век, Киевская Русь. Тру-

дами игумена Никона составлен «Первый Киево-Печерский свод» летописей, которые положили начало нашей словесности. А что же автор их, Никон? Бежал от гнева князя Изяслава в далекую Тмутаракань...

Тартуский книжник XX века Юрий Лотман говорил, что в Древней Руси авторитетность текста удостоверялась мученической биографией его создателя. Проще выразился вечно актуальный сатирик Салтыков-Щедрин: «Русская литература возникла по недосмотру начальства».

Как солнце в полярной мгле, пробивался свет разума, просвещение, крестным был путь Слова на Руси. И кажется, долгие века мрак невежества освещался не столько светом мысли, сколько пламенем сжигаемых рукописей.

А не так ли оно было и на всей Земле, во все времена? – спросите вы. Неужели Русь – исключение?

Разве не побывал трижды за тюремной решеткой современник Ивана Федорова и Максима Грека – Мигэль Сервантес, писавший своего «Дон Кихота» в севильской тюрьме? И автор «Божественной Комедии» Данте не был дважды приговорен к смерти и не бежал из родной Флоренции? И любимый учитель отца Потапа из Византии, святой Иоанн Златоуст, тоже был сослан властями за свои идеалы и неустрашимые обличения, через год из страха перед народом возвращен, а потом снова отправлен в ссылку.

А в классическом Риме – иначе? Изгнан и убит красноречивый Цицерон; десять лет пробыл в изгнании, где и умер, певец любви Овидий. И эпохой раньше, в Древней Греции – не то же? Подвергнут изгнанию трагический гений, автор «Прикованного Прометея» – Эсхил; величайший мудрец Сократ приговорен к принятию яда.

Даже и сам легендарный Орфей, очаровавший пением богов и людей и укрощавший стихии природы, был растерзан

менадами за недопочитание Диониса... Миф, скажете вы, сказка! Да, миф, который мудрее голой правды, потому что в нем больше, чем правда, – истина!

Превозлюбленный читатель, Божественных словес рачитель, как сказал бы отец Потап Игольнишников, возьми в десятиструнные длани свои Священное Писание, Библию, величайшую книгу, перед которой, благоговая, молясь, преклоняются целые народы и на которой, как на незыблемой скале, покоится храм христианской цивилизации. Плачевна судьба ветхозаветных пророков. За что был распят сам Иисус, как не за свое Слово, хотя и устное – святое предание, а не святое писание.

Апостол Лука, по сказаниям, умер мученической смертью; автор другого Евангелия, Матфей, сожжен в Эфиопии. А любимый ученик Христа, Иоанн, после истязаний у Латинских ворот Рима и попыток убить его ядом и кипящим маслом, сослан на остров Патмос за Слово Божие, где и возник его нетленный «Апокалипсис» – видения о конечных судьбах мира.

В начале было Слово, И Слово было у Бога, И Слово было Бог...

В Нем была жизнь. И жизнь была свет человеков.

Так начинается Евангелие от Иоанна.

Нам не дано знать, откуда взялся этот свет и кто первый зажег его во вселенной, но чередой мерцающих свечей исходит Слово-свет из глубины времен.

А дальше Иоанн Богослов произносит слова, может быть, самые прекрасные из сказанных человеком:

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

Эти слова дышат надеждой для нас, как дышали и для отца Потапа Игольнишникова, когда он возжигал свою свечу в той мерцающей в веках цепочке Слова-света.

Хотя познал он на себе в полной мере и другое, тоже предреченное Иоанном:

– Кто же ты?

Что ты скажешь о себе самом?

– Я глас вопиющего в пустыне.

Трудился же я так полторы години. И о том единому Богу известно, как люто оскорблял меня враг через досады человеческие. Те, которых я прежде любил душевно, и они меня, и премного от меня по моей силе облагодетельствованы были, – и те на меня вооружились завистью и порицанием, и всяким злословием. И так бедную и непостоянную мою душу возмущали и нетвердый разум мой колебали... Зело невежества исполнены жители страны сея, как я и прежде сказал. Многие меня укоряли, и порицали, и сопротивлялись мне, и посмеивались, и всякими обидными именами называли; всем я был в претыкание¹. Мало было у меня истинных любителей, но едва не все ненавистью дышали!

А впрочем, пусть, кто хочет, меня порицает, пусть укоряет, пусть смеется! Если меня по праву поносят – грехи мои очищают, если же втуне – награды венец мне сплетают. На то я родился и позван был... Если кто, завистью дьявола наущен, и огню предаст мою книгу, то верую, если угодно Богу, труд мой незабвен у него будет, но Он его в воню² небесного благоухания примет, а меня со второнадесятым³ деятелем причастия сподобит. А я с губителем труда моего буду судиться в день страшного испытания, пред нелицемерным Судиею, у него же нет пристрастия.

¹ Препятствие, помеха (церк.-слав.).

² Аромат, благовоние (церк.-слав.).

³ Двенадцатый счетом, замыкающий дюжину (церк.-слав.).

Все злобились на него, особенно же коллеги, завистливые жрецы: когда невежи над отцом Потапом надсмехались, собратья его величались и будто на крыльях носились, не пресекая нападки, а при споре не помогали, становились немые и безгласны. Многие, ненавидя, и порога сияющего храма Похвалы Богородицы не переступали, встретив же где отца Потапа, притворно оказывали почтение, только из страха перед его патроном. Ярились и хозяева солеварен – конкуренты Строгановых, в коих метал громы и молнии отец Потап за то, что выжимают все соки из своих рабов и хотят на их горбах в рай въехать, пока те в условиях «геенны огненной» «земную глубину провертывают». Роптали богатеи:

– Старец Потап, живя праздно, позорит нас, из тщеславия пишет книгу, по своему своеволию и нам в укоризну. А не довольно ли и кроме него святые отцы написали?

Все восстали против новоявленного пророка и обличителя, а защитник был один. Один – но всемогущий. Поговаривали, правда, что не без задней мысли молодой Строганов безумному попу язык развязал, а с дальним прицелом – уязвить, опорочить своих соперников, разорить их и прибрать себе их хозяйство, пустить по миру с протянутой рукой.

А отец Потап будто в колокол гремел:

Скорчена душа наша, если смотрит только на земное, а о небесном и Божественном не помышляет...

Как хамелеон изменяется из цвета в цвет, кроме белого: так и мир сей переходит от одной злобы к другой, но не делается добродетельным. Ибо и ныне, в наши плачевные времена, в нашей российской стороне не мало беспокойства и огорчений воздвиг сатана. Посмотрите, как умножились ныне беззакония в роде христианском. А у нас сколько зол: грабительство, клятвопреступление, суд неправедный, объядение, пьянство, блудонеистовство, лихоимства, на-

сила, воровство, кощунство, слова смехотворные и другие бесчисленные злобы. Хоть мы и не клянемся идолам, но греху всячески служим.

Ну что тут скажешь – настоящий демократ, социалист объявился в уральской глуши за сто лет до провозвестника свободы Радищева. Как медведь в лесной берлоге, среди зимы очнулся и заревел. Вот ведь что возвестил местному люду в пресветлый день Рождества Христова:

О человек, познай свое достоинство!

Диссидент какой-то, правозащитник, предтеча Солженицына и Сахарова, за три века до них, может быть, первым на Руси возгласил:

О человек, познай свое достоинство!

Хоть пиши светящимися буквами на глухой кремлевской стене нашей казенной государственности, на всю страну транслируй и хором учи-повторяй для вразумления и затвержения, троекратно, как полагается:

О человек, познай свое достоинство!

Уже подумывали уязвленные пермяки, как укоротить язык самодельному Златоусту, захлопнуть рот, затворить уста. Неужто некому крикнуть государево заветное – «С л о в о и д е л о!»? Давно полагалось отцу Потапу за его «Слово» – «Дело», в Приказе тайных дел, в царском застенке!

«Слово и дело!» – не что иное, как родимый, привычный нашему человеку донос, заявление властям о чьем-то преступлении. По этому возгласу хватали царевы слуги того, кто кричал, а следом волокли и того, на кого крик, поскольку он уже был «в слове», под ответом, подпадал под обвинение.

И оба, доносчик и оговоренный, подвергались перекрестным допросам «с пристрастием», то есть с пытками – пока не докажут, кто прав. Каждый подданный под страхом смерти обязан был доносить об умыслах против власти.

Этот общественный институт – политический сыск – замечен на Руси еще в XIV веке, но наверняка существовал изначально, только под другим названием и с вариациями. И действовал всегда эффективно, поскольку методы тайных канцелярий всех времен и народов, как то: инквизиций, гестапо, НКВД и прочее, – испытаны долгим опытом, разнообразны и почти безотказны. Не скажешь «подлинную» правду при избиении длинниками – хлыстами, так скажешь «подноготную» – когда ногти сдирать начнут...

Или не знал всего этого отец Потап, не боялся? Еще как боялся и знал. Чувал грозу, что собиралась над его головой, и даже остерегал себя:

Иные безумцы за вино готовы продать свою душу! Как? Пьяницы идут под присягу и показывают ложно, в пользу лукавых людей.

Но ничего он не мог поделать, пока не кончит книгу. Высшая сила его вела.

Ибо не опочила мысль моя, пока я трудился в писании книги сей; во время молитвы и святого служения рыскал ум мой и сограждал речи к сочинению словес. О домовном же правиле не радел, на дело сие спеша...

И все мучительней душили предчувствия и страхи. О том – никому, лишь в молитвах пресвятой Деве Марии:

Призри на мою немощь, мати Всемилостливого Бога. Разжигаются вражий шум и неистовства, кои хотят меня низринуть в ров погибели. Окрыли меня крылами материн-

ских своих щедрот в день отлучения бедной моей и окаянной души от скверного тела. И избавь меня от лютых испытателей, что ждут похитить душу мою, как псы голодные, и низвести ее в ров геенский.

Августа 20 дня 1684 года он поставил точку. И молился:

Прими, Милостливый, сию книгу на украсу дома Твоего. Дай рабам Твоим за истинного и бодрого стража и за непостыдного спутника до вечной жизни. Дай за руководство заблудшим, за свечу ясную во тьме греха и неведения живущим...

Прими, Господи мой, малое зерно пшенично, изросшее в иссохшем колосе ума моего. Сотвори его в мире вкорениться, умножь и расsey по лицу всея Российской державы и во всех верных, где прославляется имя Твое... Аминь.

Поставил точку. Исполнил труд, завещанный от Бога. А имя свое не вписал, оставил в тайне. Почему?

По старой традиции? Древнерусская литература, как правило, анонимна, это не собрание солистов, а скорее хор, и ценность каждого голоса не в том, что он выделяется среди других, а в том, что органически вплетен в единую, великую полифонию. Авторы не подписывали свои книги, как и иконы, из смирения: ведь Слово – это Бог, а ты – лишь искра в Божьем огне, откуда явился, туда и перейдешь.

И правда, есть в авторском самоутверждении нечто варварское, вроде надписей на храмах и дворцах: «Здесь были Вова и Люся». Бог и так все знает и помнит. Не самовыражение через слова важно, но приобщение к миру больших величин – через Слово, а это не столько отпечаток твоей неповторимости, сколько слияние с божественной тайной, попытка угадать замысел Бога о тебе и воплотить его.

Или все проще, и не мог автор «Статира» поставить свое имя по холопскому положению, – ведь все, что он делал, принадлежало Господину?

Что же стало дальше с отцом Потапом? А дальше – ничего... Пропал, исчез. Не нашел я больше никаких известий о нем, сколько ни листал, ни перечитывал папку с бумагами богослова Павла Терентьевича Алексеева.

Ничего не оставалось, как позвонить хранительнице его памяти.

– Лариса Владимировна, а что же случилось дальше с автором «Статира»?

– Вижу, вы все прочитали до конца, – весело отвечала она. – Будет продолжение, вы заслужили.

И она привезла еще одну папку с бумагами Алексеева, тоже заботливо перевязанную выцветшим платочком. В ней была вторая, тайная и неожиданная судьба автора «Статира».

Последний бой Ильки-атамана

Вживаясь в биографию своего героя, Алексеев обнаружил загадочный провал: несколько лет жизни Потапа Игольнишникова, до поступления его в Пыскорский монастырь, выпадают почти бесследно, между тем как дальше он говорит о себе подробно и охотно.

Упорный богослов отметил целый ряд темных и путанных мест в тексте «Статира», умолчаний, намеков и явных хитростей и пришел к выводу, что автор что-то скрывает о себе, замечает следы прошлого.

В самом деле, о чем говорит такое откровение отца Потапа в его молитве Богу, перед которым он не смеет притворяться и лгать:

Я же, окаянный и злонаправный, ленивый раб и непотребный, был воли Твоей преступник и столько даров Твоих возгордитель. Обезумел в юности моей, воссвирепел в гордости, разыграл, как бессловесный жеребец, не имея обращения, узды страха Твоего. Вскочил в погибельные стремнины, отошел на сторону, беззакония творя, вдался в работу врагу и тамо погубил сыновство Твое и одежду духовную скверной измарал и данный мне талант скрыл в темноте злого сердца моего и прельщен был сладостью мира сего. И так умножил беззакония, что превзошли главу мою...

Но благодатью Своей, Господи мой, Ты не оставил меня во зле вконец погибнуть, нашел меня, заблудшего, обрел, погибшего, возвратил, отбегшего, и через реку беззаконий моих, как мертвого, перевез... Прими, пресвятой Боже, из глубины вдохновение мое о злах моих, в юности содеянных. Если и грешен есть, но дело рук Твоих и на Тебя всю надежду возлагаю.

Или такое, из предисловия к читателю:

Ох, горе себе помышляя! Зрю стадо Христово не на пажити духовной мною пасомо, но по стремнинам всякого беззакония волком душегубителем расхищаемо. Ведаешь ли ты, о окаянный человеке, как сих погибших овец от тебя Христос взыщет? Я в уныние впал и в отчаянье себя поверг, – не ведаю, что творю. И тогда восставила меня Божия десница, и блажий глас Владыки моего пробудил меня...

Что же приключилось с отцом Потапом до обращения к Богу – поступления в монастырь? На какую сторону он отошел, беззакония творя, в какие для себя и других овец стада Христова погибельные стремнины?

Погибельными стремнинами – от Дона до Камы – бурлили в ту пору по стране народные бунты. Зарылся богослов

Алексеев в материалы крестьянской войны Степана Разина, озарившей своим пожаром юность Потапа. И обнаружил, что след одного лихого разинского атамана обрывается в Пыскорском монастыре, в том самом 1670 году, когда туда подался Потап Игольнишников.

Этот атаман действовал в лесном Заволжье под кличками и именами Ильки Иванова, Пономарева, Попова, Долгополова. Один из тринадцати ближайших к Стеньке Разину, был он вместе с ними как разбойник, вор, изменник, душегубец и кровопиец предан анафеме и приговорен к смерти. Отличился Илька сочинением воровских писем, прелестных грамот, которые иные попы читали вслух крестьянам и холопам, и подымали их тем самым на восстание против властей. А в селах Ильку со товарищи встречали с образами и хлебом-солью как освободителя. Умел, значит, с народом говорить, раз специально грозная грамота была выпущена правительством против его прелестных грамот.

По одним документам атаман был пойман и повешен. По другим же «вор и богоотступник Илька Иванов с немногими людьми побежал к Соли Камской... и взял он, Илейка, с собою женку с двумя робяты». Побежал наутек, обрядившись в простое крестьянское платье, но для маскировки имел и костюм чернеца – монатью и клобук. Примечательно, что среди товарищей Илейки были люди из Усолья, в окрестностях Орла-городка. Власти опасались даже восстания работных людей в Соликамском уезде.

Не укрылся ли Илька-атаман за стенами Пыскорской обители, этого могущественного, богатого, ставропигиального, то есть подчиненного непосредственно Москве, монастыря, отбросив преступную кличку, под своим настоящим именем – Потап Игольнишников?

Изучив воровские письма разинского атамана Ильки Иванова, Алексеев обнаружил разительное сходство с тек-

стами из «Статира»: и в особенностях стиля, и в написании слов, и даже в ошибках. Бросалась в глаза общность обоих персонажей истории: мятежный разум, вера в изначальное равенство всех людей и в справедливость – сокровенная народная мечта – в о л я, которая двигала народ под водительством Степана Разина.

В проповедях отца Потапа то и дело пробивается голос бунтаря-освободителя. Для чего сам Царь Славы, Иисус Христос, будучи Богом превечным, сделался смертным человеком?

...Чтобы обновить все естество человеческое, возставить падшего Адама, просветить во тьме сидящих, разрешить связанных смертью, сокрушить силу вражью, связать мучителя, освободить от рабства род человеческий и привести всех в познание истины.

Да и другие факты подтверждали догадку богослова: и то, что отец Ильки, как и Потапа, был из церковного причта, отсюда имена-клички – Пономарев, Попов, Долгополов; и то, что оба имели в 1670-м жену и двух сыновей. Разъяснялись и откровения отца Потапа о злодейской юности, которые невольно вырывались в исповеди перед Богом, – от него не спрячешься, Бог помнит и хранит все.

Результат изысканий неутомимого богослова был ошеломителен: протопоп Потап Игольнишников и разинский атаман Илька Иванов – одно и то же лицо! И в начале у него было не «Слово», а «Дело», прежде чем стать автором, был он бунтовщиком. В молодые лета, от безысходности, как многие тысячи других крепостных, ударился в бега и примкнул к разинской вольнице, после чего спрятался в монастырь. Беглый холоп-разбойник в монастырской рясе – распространенный образ того смутного времени.

Тогда же родилось в этих краях уникальное явление духовного творчества – знаменитая пермская деревянная скульптура. Одним из центров ее создания был как раз Пыс-корский монастырь. Когда видишь эти скульптурные фигуры в натуральный человеческий рост, библейские персонажи с простонародным, провинциальным обликом, кажется, ты – среди современников отца Потапа.

Вот мыслитель, но не роденовский, классический образец, налитая мощью бронза, а простой, худенький мужик, с теплым, цвета дерева, телом, приложив ладонь к виску, пригорюнился, задумался на минутку о своей судьбе, – сейчас вот встанет, возьмет косу, соху или сеть и продолжит каждодневную заботу-работу, впряжется в ляжку подневольного труда. А может, схватит вилы и поднимется с ними на господ.

«Христос в темнице» – излюбленный образ пермской скульптуры. И популярность его, конечно, не случайна. По всей стране царские ищейки хватали, сажали в темницы и казнили таких взбунтовавшихся горемык, участников разинского восстания – у политического сыска руки длинные.

Кто-то из старых друзей или новых врагов донес в конце концов и на отца Потапа, крикнул: «Слово и дело государево!» Вот почему, как и Илька-атаман после последнего боя, исчез он бесследно, успев, однако, поставить точку в заветном труде. Не нашлось больше о нем ничего в анналах истории.

Автор «Статира» был репрессирован – сделал вывод Алексеев, невольно соотнеся свою судьбу с судьбой своего героя.

С отцом Потапом что-то вдруг произошло, об этом свидетельствовало еще одно странное обстоятельство: в си-

нодке – списке умерших для церковного поминовения – положенном Григорием Дмитриевичем Строгановым в храм Похвалы Богородицы, нет имени его духовного учителя, чтимого, как отца. Теперь и это объяснялось – ведь осужденные и проклятые лица лишались права церковного поминания.

Однако совсем недавно в этой версии появилась новая интрига. Уральский археограф Наталья Александровна Мудрова нашла на отдельном листе, вклеенном в строгановский синодик 1703 года, запись: «соборный священник церкви Похвалы Богородицы Стефан Прокопиев» – и предположила, что это и есть отец Потап, принявший перед смертью монашеский постриг под именем Стефана. Пока и это только догадка, требующая проверки и изучения, однако интересная, если вспомнить, кем был в христианской истории святой Стефан.

По Новому Завету, двенадцать апостолов искали себе учеников для службы Слову Божию. И первым избрали Стефана, исполненного духовной силы. Но, как всегда, недремлющие враги обвинили Стефана в хульных словах на Бога и на закон и нашли тому ложных свидетелей, которые якобы слышали, как он, Стефан, говорил: разрушит-де Иисус Назорей место сие и переменит Моисеевы обычаи.

Но разве не ложных свидетелей боялся отец Потап? И разве не разрушил Господь место сие – Орел-городок, как в свое время Иерусалим?

И так же крекетали зубами современники Стефана и затыкали уши. А потом, выведя его за город, побили камнями. Только и успел сказать:

– Жестоковейные! Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы: кого из пророков не гнали?

И, пав на колени, воззвал:

– Господи Иисусе! Приими дух мой. Не вмени им греха сего...

И, сказав сие, почил.

Нет ли в монашеском имени отца Потапа философского символа – тайного намека на его отверженную судьбу? Почему он так лихорадочно спешил закончить книгу, будто кто-то гнался за ним по пятам? И почему так неотступно и мучительно преследовали его страхи, которые он отгонял, молясь между поучениями своему Учителю – Иоанну Златоусту?

Да не достигнет враг душу мою и не попрет злобную жизнь мою, да не лишит меня желания моего, да не низведет во ад бедную душу мою. О, Отче святой! Взгляни на непостоянство мира сего и неусыпную вражью войну и моей немощи перемогание. Будь ходатаем моего спасения. И в день разлучения моей души и окаянного сего тела избавь от воздушных испытателей, князей века тьмы...

В 1686 году так же внезапно исчезает настоятель Спасо-преображенского Пыскорского монастыря, архимандрит Пафнутий, который в свое время принял к себе молодого Потапа Игольнишников и окармливал его хлебом духовным пять лет. Богатая и крепкая обитель, твердыня православия в обширном крае, вознесенная на крутой горе над Камой и видная отовсюду, издалека, стала быстро хиреть, пока ее не перевели в Соль Камскую, затем в Пермь, а после и вовсе упразднили. Была почему-то нарушена крепкая традиция предков – члены строгановского рода, где бы они ни умирали, завещали хоронить себя в стенах Пыскора, фамильной духовной вотчине, а некоторые из них уходили сюда на покой еще при жизни, постригались в монахи, как родоначальник прикамских Строгановых – Аника, наказавший «не оставлять своим попечением основанной им обители». А вот Григорий Дмитриевич, вопреки обычаю, распорядился упокоить его

в Москве, что и было выполнено, – так отвратил его чем-то монастырь на Каме.

Вся цепочка событий, по мысли Алексеева, – следствия одной причины: разоблачения отца Потапа как крупного государственного преступника, преданного анафеме. Конечно, это гипотеза, слишком смелая, чтобы не вызвать споров и возражений, но и вполне правдоподобная, до сих пор не опровергнутая.

Когда и как умер отец Потап – возможно, так и останется загадкой. Был казнен или замурован в тюрьме? Или, еще раз сменив имя, опочил в 1703 году глубоким старцем – монахом Стефаном? Но наверняка последнее, о чем он думал, расставаясь с жизнью: что будет с его «Статиром»? Останется ли от смертной судьбы бессмертная искра?

Остров жизни его все сужался. Таяли годы и силы. Уходил под воду Орел-городок. Жители разбирали и перевозили через Каму дом за домом – на более высокое правобережье, пока паводки, поднимаясь все выше, не затопили остатки посада. В тихую погоду со дна реки вставал призрак былой жизни – с лодки можно было разглядеть остатки соляных труб, городской стены, еще совсем недавно теплых жилищ.

Река уже вплотную подступила к храму Похвалы Богородицы, и приходилось вбивать в берег сваи для укрепления фундамента. В 1706-м строгановский приказчик Прокопий Воронов просил разрешения перенести подмытую водой церковь Похвалы Богородицы, которой «стоять впредь на старом месте уже невозможно». Храм успели разобрать, перевезли и поставили на противоположной, правой стороне реки, где он красуется и поныне. Вместе с ним перебрались и последние жители, уставшие бороться со стихией. Орел «перелетел» на другой берег.

Скрылось под волнами кладбище, где могло сохраниться надгробье с именем отца Потапа – Стефана, постепенно ушли в мир иной люди, знавшие его, хранившие его в памяти. Сомкнулись воды Камы-Леты...

А что же заветный труд отца Потапа – его дерзновение, его подвиг?

Можно представить себе гнев Григория Строганова, приютившего и обласкавшего царского врага. Не мог этот гнев не обрушиться и на сочинение, поощренное пермским властелином и созданное явно с намерением его напечатать и распространить, превратить рукопись в книгу. Что бы ни случилось с самим автором, но труд его не только не был издан, а даже и не переплетен (это случилось гораздо позднее), но захоронен в книжную клеть Строгановых, заточен в темницу, поглубже от глаза и слуха, чтоб никто не прочел, не переписал, не распространил и не соблазнил нестойкую душу.

«Статирь» канул в пучину времени, обреченный на забвение.

В челе человеческом есть свет

Ты же, брат мой и присный¹ друже, равный мне в смысле, подобный мне в разуме! На мою же грубость не уборзися², но собою потрудися и премудр явися...

Такое послание оставил потомкам отец Потап. Предрек он и впредь крестный путь Слова – главного еретика и мятежника.

Петр Великий, великий во всем, и в благих свершениях, и в зле, не только упрочил и модернизировал

¹ Истинный, искренний (церк.-слав.).

² Спешить, торопиться (нападать) (церк.-слав.).

политический сыск, но и сам был верховным палачом, вел допросы «с пристрастием», водил на них гостей, пытал и приговорил к смерти собственного сына. Это он, «первый большевик», изобрел у нас каторгу. Весьма почитал своего предшественника – Ивана Грозного, распорядился повесить на триумфальных воротах его портрет с надписью – «Начал» и рядом свой – «Усовершенствовал». Совсем как на нашей памяти – «один сокол – Ленин, другой сокол – Сталин». Сталин, кстати сказать, тоже чуял в Иване Грозном да Петре с в о и х в веренице русских царей, поощрял канонизацию их в советском историческом сознании.

Петровский Преображенский приказ, а вслед за ним Тайная канцелярия преследовали Вольное Слово как матерого преступника. В ы р е з а́ л и я з ы к – и в переносном, и в прямом смысле слова. А сколько неизданных книг погубили втихую, так что и концы в воду! Как предлагала Екатерина, тоже Великая: «истребить не палачом», не публично, а без лишнего шума, поскольку там Цари упоминаются и о Боге написано. И сколько писем, дневников, рукописей изорвали и сожгли сами авторы, под угрозой обыска и ареста, когда опасно было не только писать, но и читать книги.

Те немногие исследователи, кто сумел заглянуть в архивы Тайной канцелярии, нашли там точно то же, что и мы в архивах Лубянки: доносы – тогда они назывались изветами, подметные письма, застеночные документы – протоколы допросов и очных ставок, показания и приговоры, справки, частные письма и сочинения узников. И методы повторялись из века в век: «взятие в железы», допросы «с пристрастием», от чего человек «в изумление приходит», очные ставки – это называлось «ставить с очей на очи», чередование «доброе» и «злого» следователей, чтобы расколоть жертву не мытьем так катаньем, кляп в рот, чтоб узник не раздражал слух

зверинными воплями, сечение кнутом, плетью, батогами или прутьями – «память к жопе пришивали».

А кого выпускали после следствия, тем под страхом смерти наказывали никому ничего никогда не говорить, что видели и слышали.

Бесконечная вереница судеб, лиц и характеров, будто высушенных или заспиртованных в петровской кунсткамере, – в нескончаемых рядах розыскных дел: «кликуши, зауряд со всеми чудодеями, странниками, предсказателями, затворниками, раскольниками и прочими людьми, волновавшими народ словом и делом».

Что это за маленький, серенький человек, затянутый в форменный мундирчик, застегнутый на все пуговицы, спешит на высочайший прием и почему почтительно расступаются перед ним блестящие, надутые государственные мужи? Опричник-палач Малюта Скуратов предстает перед безумными очами Грозного-царя? Или нарком НКВД Николай Иванович Ежов припадает к сталинскому сапогу? Нет, это явился на доклад к Екатерине Второй Степан Иванович Шешковский, глава Тайной экспедиции Сената, так теперь называется Тайная канцелярия, в свою очередь вылупившаяся из Преображенского приказа, – метаморфоза, напоминающая знакомую до боли матрешку ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ.

Оба Ивановича, эти ничтожества с историческими фамилиями, – всевластны, поскольку олицетворяют собой государственный страх и опускают до себя всех в стране и всю страну. И тот и другой любят покопаться в чужом грязном белье, ведь так приятно сознавать, что все вокруг – мерзавцы, поневоле вырастаешь в собственных глазах! Правда, у Николая Ивановича охват куда шире, а в остальном – сработались бы!..

Так с чем это явился к Ея Величеству Николай – тьфу, Степан – Иванович? Что у него на уме – «Манифест о молча-

нии» или «Указ о неболтании лишнего»? И т а к и е шедевры рождались в недрах Тайной экспедиции. Немедля, без очереди принимает Царица своего мастера заплечных дел, ценит и поощряет: как же, ведь, по ее словам, «Шешковский пишет день и ночь злодеев историю».

«ОГПУ – наш вдумчивый биограф», – скажет побывавший в руках Лубянки советский поэт Леонид Мартынов.

Политический сыск – неизменная основа, железный стержень, на котором держалась власть.

24 июля 1790-го приговорен к смерти посредством отсечения головы за злонамеренную книгу Александр Радищев, бывший паж Императрицы. Радикальное решение – покончить одним махом и с автором, и со всем, что он, не дай бог, еще насочиняет! Книга называлась «Путешествие из Петербурга в Москву» – хрестоматийное произведение в школьных программах русской литературы.

Царица – в бешенстве: «Бунтовщик хуже Пугачева!» Пусть сам выберет себе вину! Выбрал: виноват, хотел прослыть автором... Царица сделала ловкий ход: заменила смерть десятилетней ссылкой в Сибирь, – сумела прослыть не только суровой, но и гуманной.

Закованный в кандалы, Радищев сочинял:

...Я тот же, что и был и буду весь свой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!

Эхо Потапову «достоинству»!

Делом Радищева занимался граф Яков Брюс, главнокомандующий в столице, знаменитый тем, что изобрел выжигать каторжникам на лбу клеймо раскаленным железом.

– А если произойдет ошибка? – спросили его.

– Если, к примеру, человека клеймили «вор», а он невиновен, надо прибавить на лоб еще две буквы – «не». Только и всего!

Таков век Просвещения – пышный и убогий, галантный и грязный, славный и позорный. «Черни не должно давать образование, – простодушно признавалась Великая Екатерина. – Поелику она будет знать столько же, сколько вы да я, то не станет повиноваться вам в той мере, в какой повинуется теперь».

Тезка и подруга Царицы, блистательная княгиня Екатерина Дашкова, президент Академии наук, автор знаменитых мемуаров – впервые в русской литературе женщина осмелилась рассказать о себе! – впад в немилость, была отстранена от дел и удалилась в свое подмосковное имение. Ее девиз: «Свобода через просвещение» – чем не национальная идея России и по сей день, еще один вариант Потапова «О человек, познай свое достоинство!»?

Заглянул далеко вперед отец Потап, вплоть до наших дней:

Безумец! Кого к еретикам причисляешь? Патриархов, пророков, апостолов! Высокую честь и достоинство свели в бесчестие, укоризну в посмеяние. От худых людей, как от шелудивой овцы и от смрадного козла, пастырь бедный срамоту, хуление, злоречие, досаждение и биение, узы и смерть принимает. О прочем помолчу и слезами утолю...

Темная ночь простерлась над Петербургом. Покойно почивает в Зимнем дворце Император. А напротив, через Неву, рукой подать – самая страшная тюрьма России, Петропавловская крепость, и там горит свеча в тесном каменном мешке и, заживо погребенный, склонился над бумагой человек, которого Император объявил сумасшедшим. Перо выводит: «В челе человеческого есть свет, равный свету. Мысль».

Поистине – «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»!

Ужасная участь постигла декабриста Гавриила Батенькова – двадцать лет одиночки в Петропавловской крепости и еще десять лет сибирской ссылки. И несмотря на такую судьбу, он оставил феноменальное литературное наследие – от стихов до переводов, от политических проектов до оригинальнейших писем-дневников. Большая часть работ этого репрессированного автора XIX века до сих пор не увидела свет.

Долгие годы отрезанный от внешнего мира и не имеющий другой жизни, кроме сферы духа, «Одичалый» – такое литературное имя выбрал себе Батеньков – произвел над собой невольный эксперимент: поместил себя внутрь Слова и обрел его первичное и высшее, евангельское понимание: «Человек Божий весь внутри себя. Лицо его обращено к Свету, явно ему сияющему, и ухо к Слову, явно с ним беседующему... Было откровение: с л о в о Б о ж и е...»

И узник «Одичалый» не был одинок в своем духовном порыве. Во время суда над декабристами Петропавловка не вмещала преступников, выгородили деревянные временные клетки в коридоре, по обе стороны. И вот сидящий в одной из клеток Михаил Лунин вдруг услышал голос, произносящий стихи на французском. В наши дни они будут переведены так:

Земным путем пройду до срока,
Мечтательно и одиноко,
Не узанный при свете дня.
Но там, где небо тьмой одето,
В конце пути, по вспышке света
Вы опознаете меня¹.

– Кто сочинил эти стихи? – спросил голос в тюремном коридоре.

– Сергей Муравьев-Апостол.

¹ Перевод А. Чернова.

Он был повешен вместе с четырьмя его товарищами, жожаками восстания, на рассвете 13 июля 1826 года.

Тьма объяла поэта, но вспышка его Слова и во тьме светит...

У штурвала державы стоял новый Император – Николай I. Восстановил спокойствие и стабильность. И повел государство по единственно верному пути. А чтобы впредь не повторились опасные сотрясения, было создано Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии – любимое детище Царя, «всевидящий глаз» и «всеслышащее ухо», опора трона. Цель – все та же: борьба с крамолой во всех ее проявлениях, но выраженная изящней: пресекать «умствования» и «мечтательные крайности». И методы – изощренней и грамотней.

В жандармы, под личное крыло Царя, шла элита – самые преданные, самые разумные, из лучших аристократических фамилий офицеры. Безоблачный, безмятежный, как небо, голубой жандармский цвет стал моден. Прибавьте сюда белоснежные, как совесть праведника, перчатки. И выпирающий в лосинах мужской причиндал. И перед вами – идеал. Желанная вертикаль власти.

По легенде, Царь дал шефу жандармов, графу Бенкендорфу, своему личному, близкому другу, платочек вместо инструкции:

– Вот тебе вся инструкция. Чем больше слез промокнешь, тем вернее мне послужишь!

Этот платочек будто бы хранился потом в архиве Третьего отделения как святыня и едва ли не мироточил. «Прошлое России удивительно, – вполне литературно выражался шеф жандармов, – настоящее более чем великолепно, а уж будущее таково, что недоступно самому смелому воображению».

Идеал достигнут. И только смерть Императора может что-то изменить. Совсем иной, беспощадный взгляд бросал на мир великий современник Бенкендорфа:

В наш гнусный век <...>
На всех стихиях человек –
Тиран, предатель или узник...

В русской жизни возродилась перенаряженная, наученная светским манерам и лоску Тайная канцелярия. Конечно, граф Бенкендорф казался после Степана Ивановича Шешковского интеллигентом, чем-то вроде Андропова после Ежова и Берии, но суть та же. Бенкендорф докладывал в отчете за 1828 год: «За все три года своего существования надзор отмечал на карточках всех лиц, в том или ином отношении выдвигавшихся из толпы. Так называемые либералы, приверженцы, а также и апостолы русской конституции в большинстве случаев занесены в списки надзора. За их действиями, суждениями и связями установлено тщательное наблюдение».

По отношению к пишущей братии с успехом применялись два основных метода: цензура и литературный шпионаж. Массовое, добровольное участие литераторов на службе у Третьего отделения – факт, и в числе штатных чиновников, и в рядах цензоров, и среди доносителей-осведомителей. Литературные сотрудники жандармов полагали честью, а не позором служить в Третьем отделении или помогать ему, гордо несли свою голову, считали себя не подлецами, а искренними борцами за правое дело, верными слугами Царя и отечества. Многие мечтали оказаться под жандармской «крышей», видя в ней гарантию своей безопасности и карьеры. Ограждаться приходилось от их усердия, щелкать по носу слишком ретивых. Управляющий Третьим отделением Дубельт старался выдавать им вознаграждение в сумме, кратной трем, «в па-

мать тридцати сребреников», как он язвил. А клеветников, случалось, награждал пощечиной.

Но при всем остроумии и образованности жандармы оставались жандармами: не жаловали творческий гений и были чужды внутренней свободе человека. «В России кто несчастлив? – чеканил в дневнике Дубельт. – Только тунеядец и тот, кто своеволен. Наш народ оттого умен, что тих, а тих оттого, что не свободен».

В этот момент и вынырнул из океана забвения, блеснул, как золотая рыбка, «Статирь».

И обнаружился он возле Кремля – в знаменитом Доме Пашкова, до сих пор самом красивом доме в Москве, где располагался Румянцевский музей. Как он туда попал, совершив загадочное путешествие из Орла-городка?

Выскажу предположение. В первой четверти XIX века по инициативе графа Румянцева, государственного канцлера, мецената и просветителя, был проведен поиск по всей России древних рукописей и книг, в том числе и Пермская экспедиция, которая перетряхивала государственные, частные и монастырские архивы в этом крае. Тут-то, вероятно, в каких-нибудь церковных схоронах и нашелся «Статирь».

Кажется, теперь ему повезло. О нем сообщили при описании рукописей Румянцевского музея и ввели тем самым в научный оборот. Но годы шли своим чередом, на дворе уже был 1847-й, когда анонимную рукопись прочитал назначенный заведующим музеем писатель, князь Владимир Федосеевич Одоевский. И был потрясен. Он тут же обратился к директору Императорской публичной библиотеки, настаивая на необходимости неотлагательно издать «Статирь»:

«Книга эта замечательна не только тем, что освещает личность человека, ее написавшего, происходившего из

крестьян и выбившегося при тогдашних препятствиях из невежества и темноты, в которой родился и жил, но вместе с тем представляет образцы сильного красноречия, напоминающего собою лучшие произведения отцов церкви. Находясь посредине народа грубого, на невежество которого он беспрестанно жалуется, подкрепляемый верою в Бога и сознанием правого дела, бедный, неизвестный приходской священник старается своими поучениями пробудить чистые нравственные начала в душах своих прихожан и дать им вместе с тем истинные понятия о Боге и мире. В этих проповедях, написанных языком простым, но сильным, заключаются не только превосходные памятники красноречия, но еще можно найти множество указаний на нравы, обычаи и образ мыслей того времени, словом, что собственно составляет историю народной жизни и о чем доньше мы имеем столь мало сведений.

Имя автора осталось неизвестным. Издание в свет подобного памятника может быть услугою литературе и воздаянием памяти талантливому проповеднику».

Увы, призыв просвещенного князя не нашел отзвука в глухих коридорах российской бюрократии – рукопись и на этот раз не была напечатана.

Время от времени о ней вспоминали, начинали исследовать; духовный писатель И. Яхонтов даже публиковал отдельные извлечения в собственной переработке. И никто не мог установить авторство, хотя не раз пытались. Была рукопись, было Слово, а вот автора уже и след простыл.

«История нашей литературы – это или мартиролог, или реестр каторги», – говорил Герцен. Вовсе не от хорошей жизни, а по необходимости литература приобрела героический характер, да так и пошло. «У нас, чтобы быть писателем, надо быть героем», – скажет через сто лет Михаил Булгаков.

Слышите, бьют барабаны? 22 декабря 1849 года. Петербург, Семеновский плац. Оглашается приговор: «Военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за н е д о н е с е н и е о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева... подвергнуть смертной казни расстрелянием». Жить оставалось не более минуты. И тут зачитали милостливый указ Императора о замене казни каторгой. Писателя сослали в Сибирь. Что было дальше – читайте в «Записках из Мертвого дома».

Но вот ведь что – вопреки жандармскому гнету и свирепой цензуре, гонениям и казням, именно в XIX веке Россия духовно «созрела», обрела наконец-то общественное мнение и пресловутую, во многом мифическую, единственную в своем роде интеллигенцию. Тонкий, но плодородный слой, состоящий из людей всех сословий, объединенных культурой и образованием, – самосознание народа. И все это сделала великая и многострадальная наша литература. Действие равно противодействию, страшное давление расплющивает, стирает в порошок, но и рождает алмазы!

В несвободном теле – свободный дух? Возможно ли? Да, парадокс, такой же, как две, казалось бы, несовместимые, взаимоисключающие черты в русской натуре: с одной стороны, непостижимое терпение, покорность, фатализм, а с другой – взрывчатость, стихийность, желание во всем идти до края и даже за край.

Важнейшее событие – родился конгениальный читатель. Слово и общество наконец встретились.

Это был поистине триумф, золотой век Русского Слова, прославившего нашу страну во всем мире. С тех пор истинный путь в Россию, познание и понимание ее ведет через литературу.

Гений нашего народа сильнее всего воплотился в Слове, и ярче всего – именно в XIX веке, ни раньше, ни позже ничего лучшего и большего он уже не создал. Пушкинская эпоха! – время удостоилось имени поэта, отодвинувшего имена царей на второй план. И оказалось, не поэт существовал при царе, а царь – при поэте.

Но ясно это стало только в будущем. А при жизни – спеленали, опутали свивальником государственной опеки, как с маленького мальчика не спускали глаз, пасли всюду – и на светских балах, и в глухой деревне, унижительный, неусыпный полицейский надзор поручался даже родному отцу.

«Никогда, никакой полиции не давалось распоряжения иметь за вами надзор», – врал поэту шеф жандармов. А через сто лет выйдет целая книжка документов «Пушкин под тайным надзором». Приказ о слежке отменили только в 1875 году, спустя 38 лет после его смерти, – фантазм, достойный пера Гоголя. Они его и мертвого боялись.

Кому принадлежит история? Пушкин вступает в спор с современниками. «История народа принадлежит Царю» – такой эпиграф предпослал Карамзин своей «Истории государства Российского». «История принадлежит народам», – говаривал декабрист Никита Муравьев. А у Пушкина свое мнение: «История народа принадлежит поэту».

Пробудить память России, без чего немислимо ее самосознание: поэт просит о доступе в архивы. А многие из них – под замком. «Хранить вечно», но «Совершенно секретно». Почти уже век прошел, как царским указом Тайная розыскных дел канцелярия уничтожена «отныне навсегда», но дела оной «за печатью к в е ч н о м у з а б в е н и ю в архив положатся».

Пушкин ходит в архив прилежно, как чиновник, не жалеет поэтического вдохновения. На рабочем столе – «История Петра», «История Пугачевского бунта»...

Не дали закончить. Архивы запрещены. Козни сродни казни. Загнали, как волка флажками. «Дурной был человек» – такими словами проводил поэта в могилу Царь...

А вот поэт, его слово, словно в ответ: «Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияния обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографского снаряда».

Слово и слова

А на Каме все так же замороженно глядела вдаль ладная красавица – церковь Похвалы Богородицы. Только уже с другого берега. Перед ней, через водную гладь, виднелся пустынный мыс, на который высаживались летом только рыбаки и сенокосцы, да еще ловцы удачи наезжали покопаться в земле, возбужденные слухами о баснословных кладах бывшего Орла-городка. Поговаривали, что там, на этом безлюдном пятачке, нырявшем в воду в весеннее половодье, запрятаны несметные строгановские богатства и, вдобавок еще, те басурманские сокровища, что привез казак Ермак из покоренной Сибири.

В самом же Богородицком храме, бережно, по кирпичику – как был! – восстановленном на новом месте прихожанами, все оставалось с виду как при отце Потапе. Тот же замечательно тонкой работы, блистающий позолотой, резной, деревянный иконостас, притемненные ряды икон, намоленных многими поколениями, позеленевшая от времени утварь, толстые книги-ковчеги с медными застежками, которые знал почти наизусть автор «Статира».

Правда, в начале XX века сквозняк времени занес сюда новую фреску. В одном из приделов, сразу у входа, на

левой стороне местный богомаз изобразил бородатого Льва Толстого в аду! Случилось это после «отлучения» писателя от церкви, за его выступления против мертвого отношения к вере – идеологический заказ, тогда Синод рекомендовал всем церквам покарать адом непослушного классика.

«Статирь» между тем покоился себе в красноречивом молчании в шкафу Румянцевской библиотеки. До 1912 года, когда на него в благословенный час наткнулся юноша Павел Алексеев и, увлеченный магией слова, задумал заново прочитать и открыть миру этот памятник-фолиант уже, увы, далекой древности.

И глас Твой сладкий пробудил меня, и десница Твоя простерла крыло ума моего, и восставила меня труд сей начать и великую пучину моря меня, не знающего пути, сподобила пройти.

Не мог и представить себе начинающий кандидат богословия при чтении этих строк, что для осуществления его замысла понадобится вся жизнь, да и ее не хватит!

Тут грянул такой ураган событий – мировая война, две революции, одна за другой, военный коммунизм, Гражданская война – не до книжных раритетов людям, уцелеть бы, остаться живу! Новый океан бедствий... И «Статирь» опять канул в вечность, скрылся в глубине. Пришли времена куда кромешнее тех, в которые неистовый протопоп из Орла-городка создавал свое живое Слово, начинал традицию устной, свободной проповеди. В Государственном архиве Пермской области сохранилось свидетельство – удивительно, что уцелело такое! – о том, как проходило здесь «триумфальное шествие» советской власти. Это письмо профессоров местного университета к коллегам в университетах Европы и Америки, перехваченное властями и не дошедшее до адресатов. Вот что творилось на родине «Статира» в 1918-м:

«За неосторожное слово или по доносу вашего врага вы попадаете в ведение ЧК, которая сажает вас в тюрьму, где вас подвергают мучениям, морят голодом и где вы живете под страхом, что с вами поступят так же, как с вашими соседями по заключению, которых на ваших глазах десятками уводят на расстрел... Свободная проповедь в церкви влечет за собой тюрьму и расстрел. Провозглашенная в конституции свобода совести на практике превратилась в сплошное гонение религии с дикими расправами над духовенством. Малейшее проявление недовольства вызывает карательные экспедиции, которые проводят массовые расстрелы и даже разрушения целых селений».

Погребальный звон колоколов разносился над Россией. Но вскоре и колокольный звон запретили. Вместо него – бодрые марши из репродуктора-громкоговорителя. Коллективизация, индустриализация... ГУЛАГ. И погнали в Пермский край зэков – эшелон за эшелонем. Крики охранников, лязг винтовочных затворов, лай конвойных собак. Какое там «Слово и дело»! Недавно в Перми умер бывший зэк Зальмансон, достойный войти в историю, – среди обвинений ему было такое: «Антисоветски улыбался...»

В 1937-м Павел Терентьевич Алексеев преподавал историю в Клину, в школе усовершенствования командного состава. Жил, как многие, двойным сознанием. Публично говорил, что положено, а тайно продолжал свой сокровенный исследовательский труд, готовил «Статирь» для издания, переводил на современный русский, писал комментарии. Не успел. Известная цепочка: донос – обыск – арест – допрос – приговор. Десять лет – за участие в контрреволюционном заговоре. Орловская тюрьма, Александровский централ, Тайшетские лагеря. Потом к сроку автоматически добавили еще пять лет, затем – ссылка.

Все близкие Павла Терентьевича тоже были репрессированы. Жена, отсидев свой срок в Темниковских лагерях,

вернулась в столицу и одиноко умерла в доме престарелых. Сестра Лиза, сосланная в Красноярский край, каким-то чудом добилась, чтобы брата, измученного неволей, перевели к ней, и тем самым спасла. В 1956-м они наконец вышли на свободу. Судьба подарила Павлу Терентьевичу еще девять лет жизни, чтобы закончить свой труд. Труд закончил и даже открыл имя автора! А вот вручить «Статирь» читателям так и не успел¹.

В те же годы, когда был репрессирован Алексеев, случилось, что через Орел на Каме-реке гнали политический этап, куда-то на север. Стояла лютая зима, зэки были без валенок, легко одеты. Где разместить? В церкви Похвалы Богородицы. Отгородили алтарь дощатой стенкой и устроились. Держали здесь полгода, и старожилы рассказывают, что гремели выстрелы возле церкви, расстреливали, а на колокольне устроили карцер – замораживали людей живо. Этап ушел, оставив после себя яму, наспех закиданную землей. Жителям же наказали помалкивать: ничего, мол, не видели и не слышали, ясно?²

¹ Впервые об открытии П.Т. Алексеева сообщил А.А. Введенский (Дом Строгановых в XVI–XVII вв. М., 1962. С. 240–241). См. также: *Алексеев П.Т. «Статирь»* (описание анонимной рукописи XVII в.) // Археографический ежегодник за 1964 год. М., 1965; *Мудрова Н.А.* Книга в культуре Урала XVI–XIX вв. Свердловск, 1991; *Елеонская А.С.* Русская ораторская проза в литературном процессе XVII в. М., 1990. Однако вопрос об имени автора и о тождественности Потапа Игольнишникова и разинского атамана Ильи Иванова некоторые ученые считают еще открытым.

Архив П.Т. Алексеева, включающий подготовленный к изданию текст «Статира» (1606 с.) и исследование памятника (300 с.), Л.В. Петрашева передала в Российскую государственную библиотеку, где хранится и сам оригинал «Статира» (РГБ. Ф. 256, Румянцев. № 411). Публикация их включена в планы издательского отдела библиотеки, идею поддержал и издательский отдел Патриархии. Однако новые времена – новые беды. Нет денег. Судьба книги теперь зависит не от властвующей идеологии, а от долгожданного жениха – спонсора.

² Об этом мне рассказал нынешний настоятель храма – отец Владимир (Лобанов). Прочитают ли когда-нибудь его одиннадцать детей и четырнадцать внуков книгу под названием «Статирь»?

Мог ли вообразить отец Потап, что будут творить потомки в его церкви через двести пятьдесят лет, когда писал:

Что видят очи в роде моем? Сокрылся уже ныне свет правды Божьей, потуск светильник премудрости, горящий в дому Божьем, и слава его в дым превратилась... Ох, ох, горе!

А все-таки был в советской империи человек, который осмеливался говорить вслух правду!

Случалось, даже в трамвае этот шустрый старик, с профессорской внешностью, колючими глазами, задорно торчащими усами и седой окладистой бородой, вел себя отнюдь не по-профессорски: с юношеским пылом, на чем свет стоит, ругал советскую власть. Попутчики шарахались, ежились, отодвигались подальше, закрывались газетами.

И большевистским вождям он бросал прямо в глаза правду-матку, настаивая на «рефлексе свободы», безусловно присущем человеку. Его громкие, кинжальные афоризмы нельзя было повторять, а лучше было и не слышать.

«Вы прививаете населению условный рефлекс рабской покорности».

«На тот социальный эксперимент, который проводят большевики, я не пожертвовал бы лягушачьей лапки».

«Тяжело, невыносимо тяжело сейчас на моей родине жить, особенно русскому по национальности».

21 декабря 1934 года – три недели назад убит Киров, страна на пороге новой волны массового террора – этот седебородый колючий старик шлет письмо в Совнарком: «Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было. Под вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный мир, исключая могучий англо-саксонский отдел, который воплотит-таки в жизнь ядро социализма и

достигнет этого с сохранением всех приобретений культурного человечества... Пощадите же родину и нас».

И что же власть? Отмахивалась, увещевала, убеждала, успокаивала. Так она возилась только с одним человеком во всей стране.

Кто же был этот безумец, этот неприкасаемый, этот несусветный, неумный старик?

Первый русский нобелевский лауреат, ведущий физиолог мира, академик Иван Петрович Павлов. Другие почетные академики без колебаний отдавали ему пальму первенства и ставили наравне с Аристотелем и Галилеем.

Преуспевающий диссидент, он один в Советском Союзе говорил во весь голос! И прекрасно понимал свое уникальное положение и роль. В 35-м, за год до смерти, писал выдающемуся физику Капице: «Знаете, Петр Леонидович, ведь я только один здесь говорю, что думаю, а вот я умру, вы должны это делать, ведь это так нужно для нашей родины, а теперь эту родину я как-то особенно полюбил, когда она в этом тяжелом положении».

И неужели все запросто сходило ему с рук? Да нет, не все, конечно, всякое случалось. И агентурные справки ГПУ на него составляло – еженедельно, и обыскивали – три раза, даже Нобелевскую медаль и ту отобрали – и не сразу вернули, и на допросы таскали, особенно после поездок за границу. Даже посадили однажды для острастки, правда, выпустили скоро. А уж аресты сотрудников, близких – это бывало часто, и за каждого он бился до последнего; в конце концов сфабриковали целую антисоветскую группу во главе с его сыном Всеволодом, чтобы хоть так укротить, испугать. Не успели привести в исполнение – сын их опередил, умер от рака.

Что с ним делать? – обсуждали не раз в Кремле. Посадить? Весь мир завопит, опозоримся. Выслать за границу?

Тоже позор, да и обругает он нас там. Был и еще один вариант – подкуп! Луначарский предложил Совнаркому план, как поступить с творческими исполинами, как их успокоить: пообещать оплату золотом трем артистам (Давыдову, Ермоловой и Шаляпину), двум композиторам (Глазунову и Метнеру) и, конечно, – Горькому. И в науке был найден такой гигант – Павлов.

Но вождь мирового пролетариата знал, что для этого человека есть нечто дороже золота – возможность работать. Оставить! Национальное достояние! Создать условия! Так что теперь всякий раз, когда ученого припирали к стенке, он вытаскивал охранную грамоту – специальное постановление Совнаркома 1921 года «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика Ивана Петровича Павлова и его сотрудников», за подписью самого Ленина! – и тряс ею перед чекистами, и поднимал такой шум, что те рано или поздно разбегались, оставляли его в покое. Единственному гражданину на одной шестой части земной суши – все права и возможности! Известный кораблестроитель академик Крылов однажды, встретив его, попросил: «Возьмите меня к себе в собаки».

Кроме охранной грамоты и мировой славы, спасало еще и то, что опыты Павлова над животными могли пригодиться большевикам в их опытах над людьми.

П е р е д е л к а ч е л о в е к а. Эта идея, попытка перемудрить саму природу, социально клонировать человека – чтоб любил палачей и испытывал счастье в рабстве – была особенно по сердцу большевикам. Она разом решала все проблемы. «Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их, как на фабрике», – весело разъяснял Бухарин. Недаром он, один из главных энтузиастов этой идеи, и был персонально приставлен к Павлову для воспитания (как к писателю Короленко – нарком Луначарский).

Не трогали – зато и опека особая, попытка-пытка приручить великана интеллекта и духа.

В одном следственном досье на Лубянке обнаружилась агентурная записка литератора-стукача по кличке «Саянов», который доносил в НКВД: «Вспоминаю рассказ Бухарина на совещании у Горького о том, как он, Бухарин, обрабатывал академика Павлова. Рассказ был очень образен. Бухарин говорил Павлову: “Нашу беседу, наш разговор на набережной опишет какой-нибудь романист через несколько десятилетий. Беседу коммуниста со старым ученым”».

Павлов и впрямь смотрится Гулливером среди лилипутов на фоне массовости, коллективизма, нивелировки, маршей в ногу, культа безличности. Любимое его слово – «достоинство». Вот уж кто понял бы отца Потапа Игольнишникова с его «О человек, познай свое достоинство!». В 1920-м Павлов устраивает очередной переполох – произносит речь по случаю столетия своего учителя, великого физиолога Ивана Михайловича Сеченова:

– Мы живем под господством жестокого принципа: государство, власть – все. Личность обывателя – ничто. Естественно, господа, что все обывательство превращается в трепещущую, рабскую массу, из которой – и то нечасто – доносятся вопли: “Я потерял (или потеряла) чувство собственного достоинства!” На таком фундаменте, господа, не только нельзя построить культурное государство, но на нем не могло бы держаться долго и какое бы то ни было государство.

Без Иванов Михайловичей с их чувством собственного достоинства и долга всякое государство обречено на гибель изнутри, несмотря ни на какие Днепрострои и Волховстрои. Потому что государство должно состоять не из машин, не из пчел, а из представителей высшего вида животного царства – homo sapiens...

Еще весной 18-го Павлов прочитал в Петрограде три публичные лекции, которые наделали много шума: «Об уме вообще», «О русском уме» и «Основа культуры животных и человека». Власти расценили их как контрреволюционный выпад, за Павловым прочно закрепилась репутация инакомыслящего. Лекции эти были запрещены к публикации и, пережив советскую власть, напечатаны полностью только в 1999-м, уже после горбачевской перестройки и ельцинской постперестройки. Что же за крамола таилась в них, если все цензуры не пропускали? Ведь всем известно, что академик проводил сугубо научные опыты на собаках, при чем здесь человек? А вот при том же, оказывается, что и у Михаила Булгакова в его «Собачьем сердце»!

Великий Павлов сделал безжалостные наблюдения, важные открытия о природе русского ума. Сказал свое слово и об интеллигенции, и о революции. Это был суровый, но правдивый диагноз, поставленный гениальным врачом своей стране еще в самом начале постигшей ее болезни, но утаенный и обнародованный лишь теперь. Ничего нового с тех пор, по существу, не прибавил никто. И наша беда, что голос Павлова не был услышан и мысли его только сейчас доходят до людей.

Свою лекцию «О русском уме» он начинает необычно для ученого патетически:

– Наша интеллигенция, то есть мозг родины, в погребальный час великой России не имеет права на радость и веселье. У нас должна быть одна потребность, одна обязанность – охранять единственно нам оставшееся достоинство: смотреть на самих себя и окружающее без самообмана...

Опять во главе угла – достоинство!

Павлов выделяет несколько видов русского ума: научный, но он мало влияет на жизнь и историю; «ум низших масс», крестьянский по преимуществу, прикладной, который

остаётся ещё в диком состоянии; и, наконец, то, что определяет будущее, – это ум интеллигентский.

Опять же вспоминается Булгаков, который во время допроса на Лубянке в 26-м году на вопрос, почему он не пишет о рабочих и крестьянах, ответил, что знает их плохо, да и интересуется мало, его остро интересует русская интеллигенция, которую он любит и считает хоть и слабым, но важным слоем в стране.

Революция, говорит в своей лекции Павлов, дело интеллигентского ума, массы сыграли при этом пассивную роль, что надо честно признать и нести за все ответственность. И ничего случайного в том, что произошло, нет, причины – в нас самих, в наших коренных свойствах. Но в результате столь резкого социального толчка Россия словно перевернулась, встала с ног на голову.

– Мозг, голову поставили вниз, а ноги вверх, – горячился академик. – То, что составляет культуру, умственную силу нации, то обесценено, а то, что пока ещё является грубой силой, которую можно заменить и машиной, то выдвинули на первый план. И все это, конечно, обречено на гибель, как слепое отрицание действительности... У нас есть пословица: «Что русскому здорово, то немцу смерть», пословица, в которой чуть ли не заключается похвальба своей дикостью. Но я думаю, что гораздо справедливее было бы сказать наоборот. «То, что здорово немцу, то русскому смерть». Я верю, что социал-демократы – немцы приобретут ещё новую силу, а мы из-за нашей русской социал-демократии, быть может, кончим наше политическое существование...

(Кстати сказать, российские социал-демократы как раз тогда, в 18-м, стали именовать себя коммунистами.)

Павлов выделяет восемь универсальных свойств ума и анализирует качество русского (интеллигентского). Вывод неутешителен: по всем этим свойствам мы не блещем,

а результат плачевен – неизбежный и постоянный разлад с действительностью.

– Для чего я читал эту лекцию, какой в ней толк? Что, я наслаждаюсь несчастьем русского народа? – заключает свою лекцию Павлов. И отвечает: – Нет, здесь есть жизненный расчет. Нам важно отчетливо сознавать, что мы такое. Невзирая на то, что произошло, все-таки надежды мы терять не должны.

И последняя лекция 1918-го – «Основа культуры животных и человека». Снова трезвая, острая, как скальпель, мысль. Павлов сравнивает русских с другими, передовыми нациями, которые достигли в своей общественной жизни разумного сочетания дисциплины и свободы. А что у нас? Все иначе. Русский человек, как ребенок, не умеет себя тормозить. Он не хочет иметь над собой никакой внешней власти, он раб своих желаний, причем раб не столько внешний, сколько внутренний.

– Разве наши законы исполняются? – спрашивает Павлов. – Нет. У нас все только на бумаге. И так насквозь. Русский человек еще не дождался до той истины, что жизнь состоит из двух половин, из свободы и дисциплины, раздражения и торможения. А отказываться от одной половины значит обрекать себя на жизненный позор...

Вот наш жребий! – жизненный позор – предрекает Павлов возможный исход болезни. И переходит к описанию ее нынешней, горячечной стадии.

– Что такое революция вообще? Это есть освобождение от всех тормозов. Старого не существует, нового еще нет. Торможение упразднено, остается одно возбуждение. И отсюда всякие эксцессы и в области желаний, и в области мыслей, и в области поведения. Разве это не есть революционное безумие?

Таким образом, по заключению великого физиолога, революция – это социальная болезнь, незрелость, невоспитанность нации. Другими словами, историческое хамство, истерика истории.

И тут Павлов как истинно русский человек вдруг сбрасывает с себя ученую узду (и где она трезвость, где торможение?!) и разражается стихотворением! Так эти мысли его вдохновляют, такими кажутся важными – о том, какая нам и миру нужна Россия.

– Я, как говорится, на старости лет в первый раз составил стихотворение – в прозе, в прозе, господа!.. «Где ты, свобода, вечная пленительница человеческих существ? Мы обречены ждать тебя в конце длинной и непрерывной твоей борьбы с твоей безотступной соперницей – уздой. Ты придешь, замиренная и прекрасная, придешь и останешься неразлучной с нами, придешь тогда, когда ты и твоя соперница подадите друг другу руку мира, дружески обниметесь и наконец родственно, как две половины, сольетесь в единое целое. И этот момент будет началом высшей человеческой культуры и высшего человеческого счастья...»

В этом месте Павлов, очнувшись от поэтического приступа, спохватывается:

– Но, господа! Меня гложет мучительное сомнение. Это слияние и это счастье возможны для русского человека и славянина в о о б щ е или невозможны?..

Сказал Иван Петрович Павлов в лекциях 18-го года и свое слово о Слове, о роли слова в русском сознании. Эти важные наблюдения, равносильные научному открытию, тоже нами, похоже, до сих пор не услышаны и не усвоены.

– Русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует, – заключает Павлов. И доказывает

эту мысль фактами. И снова и снова повторяет на разные лады, чтобы его слушатели, а с ними и мы, поняли:

– Таким образом, господа, вы видите, что русская мысль несколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни... Мы всегда в восторге повторяли слово «свобода», и когда доходит до действительности, то получается полное третирование свободы.

Через шесть лет Павлов развил свои наблюдения. 20 апреля 1924-го он прочитал в центре Петрограда, на Невском проспекте, в здании бывшей Городской думы, очередную взрывную лекцию под скромным названием «Несколько применений новой физиологии мозга к жизни». Текст этой лекции не сохранился, но суть можно понять по цитатам из нее в большевистском журнале, объявившем Павлова «ученым союзником и защитником эксплуататорского класса». Этому публичному политическому доносу мы обязаны тем, что мысли великого человека все-таки дошли до нас.

Из-за резкого слома и замены традиций, ценностей, веры, уклада и образа жизни, считает Павлов, в головах россиян, и так предрасположенных верить словам больше, чем жизни, произошли «сшибки» процессов возбуждения и торможения, что привело в полное расстройство всю нервную систему населения. В таком состоянии в деятельности мозга возникает парадоксальная фаза: он перестает реагировать на сильные раздражители (действительность), зато еще более усиливает реакцию на слабые (слова). Так что теперь, на седьмом году революции, у большинства людей «условные рефлексy координированы не с действительностью, а со словами. Слова для них значат больше, чем факты».

Условные рефлексы вырабатываются в течение жизни, в отличие от безусловных – врожденных. Стало быть, преобладающее значение для русских слова, а не реальности, черта не этническая, генетически предопределенная, а социально, исторически усвоенная. И речь идет не о русской нации, а о России-империи, со всем ее многонациональным, пестрым, евразийским населением – о России-цивилизации.

Для примера Павлов привел такой опыт. Пациентке клиники нервных болезней показывали красную лампочку и настойчиво говорили, что это не красный цвет, а зеленый.

– Да, – прозрела она в конце концов, – я всмотрелась внимательней и вижу, что это не красный цвет, а зеленый...

Абсолютно схема допросов подсудимого на Лубянке! Не верь глазам своим, а верь тому, что говорит тебе партия! И эта схема была внедрена в сознание миллионов – успешный результат опытов большевиков, переделки человека, создания homo soveticus.

И в дальнейшем только слово «красный», а не красная лампочка убеждало пациентку Павлова в наличии «красного».

Вот это и есть парадоксальное состояние, когда, при болезненной нервной системе, теряется восприимчивость к действительности, а остается восприимчивость только к словам. В таком состоянии, считает лучший физиолог мира, находится сейчас почти все население России.

Можно добавить к этому павловскому заключению множество других примеров.

Крепкие работники, подлинные хозяева земли, объявлялись паразитами, «кулаками», и толпы гневно кричали «кулаки!», веря слову больше, чем жизни. Лучшие сыны и дочери народа клеймились «врагами народа», и массы «сто-зевно и лай» повторяли бред. Психологи назовут это потом

«теорией установки» – для манипуляции общественным сознанием.

И больше того, кажется, что подмена жизни словами продолжается и по сей день, что Павлов говорит горькую правду и о нас сегодняшних – со сбитыми ориентирами, плывущих неизвестно куда и мутирующих неизвестно во что. Именно слово делает нас людьми, но лишь в том случае, если мы говорим на языке, соответственном жизни.

Мысль Павлова проясняет, почему гений русский сильней и ярче всего проявил себя именно в Слове. Это то, что мы действительно дали миру, чем обогатили его – русская классика, наше безусловное достояние и достоинство. Возможно, из-за такой особой предрасположенности к Слову мы и оказались ближе всего к пониманию: Слово – это Бог. И не это ли прежде всего имел в виду Райнер Мария Рильке, когда говорил, что все страны граничат друг с другом, а Россия – с Богом? По Евангелию от Иоанна: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины».

Но самое сильное всегда – и самое слабое. Недостатки – продолжения наших достоинств, и наоборот, что приложимо не только к отдельному человеку, но и к целым народам и цивилизациям. Где находится та черта, за которой достоинства переходят в недостатки? И умел ли когда-нибудь русский ум остановиться у разумной черты?

И потому есть Слово и слова, Слово, измельченное в слова, С т а т и р ь, разменянный на медяки. Это если слова заменяют нам факты и действия. Заболтанная жизнь.

Предание гласит, что, когда раскопали могилу евангелиста Иоанна Богослова, она была пуста. И стали думать, что он не умер, а живет в затворе до последних времен, чудесно сохранен для грядущего мученического подвига в схватке с Антихристом. Символ Иоанна как евангелиста – Орел – стал

сквозным образом в христианской мифологии: орлиные крылья Слова, или Орел, летящий на крыльях Слова. Случай тоже подчинен какой-то скрытой закономерности – так с этим образом неожиданно перекликнулся камский Орел-городок отца Потапа. И еще позднее, уже вовсе не случайно всплыл в русскую поэзию летящий «все выше и вперед, к Престолу Сил» «Орел» Николая Гумилева, с его «великолепной могилой», которая не стала «добычей для игры».

Так что же, Слово-свет, Слово-Бог покинуло нас? Нет, оно носилось в воздухе времени и ярко вспыхнуло – Серебряным веком русской культуры, духовным Ренессансом, задушенным в самом начале новым погружением во тьму.

В те же годы, когда великий Павлов произносил свои еретические лекции, а ученые люди из Перми посылали миру сигнал SOS, поэт Николай Гумилев зажигал свою свечу в цепочке Слова-света, писал крамольные стихи:

...Но забыли мы, что осиянно
Только слово среди земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово – это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Начиналась советская история – когда носители Слова Божия взошли на новую, невиданную Голгофу или ушли в катакомбы. Свеча отца Потапа не погасла, тьма не объяла ее. С т а т и р ь – миссия служения Слову потаенному, гонимому, но сохраняемому – от свечи к свече, из поколения в поколение – через всю историю. Путь просвещения и гуманизма – через казни и пытки. Нас губят слова, но спасает Слово – оно берегает народ, являя неистребимый дух сопротивления.

Русский язык, великое Русское Слово – последняя наша надежда.

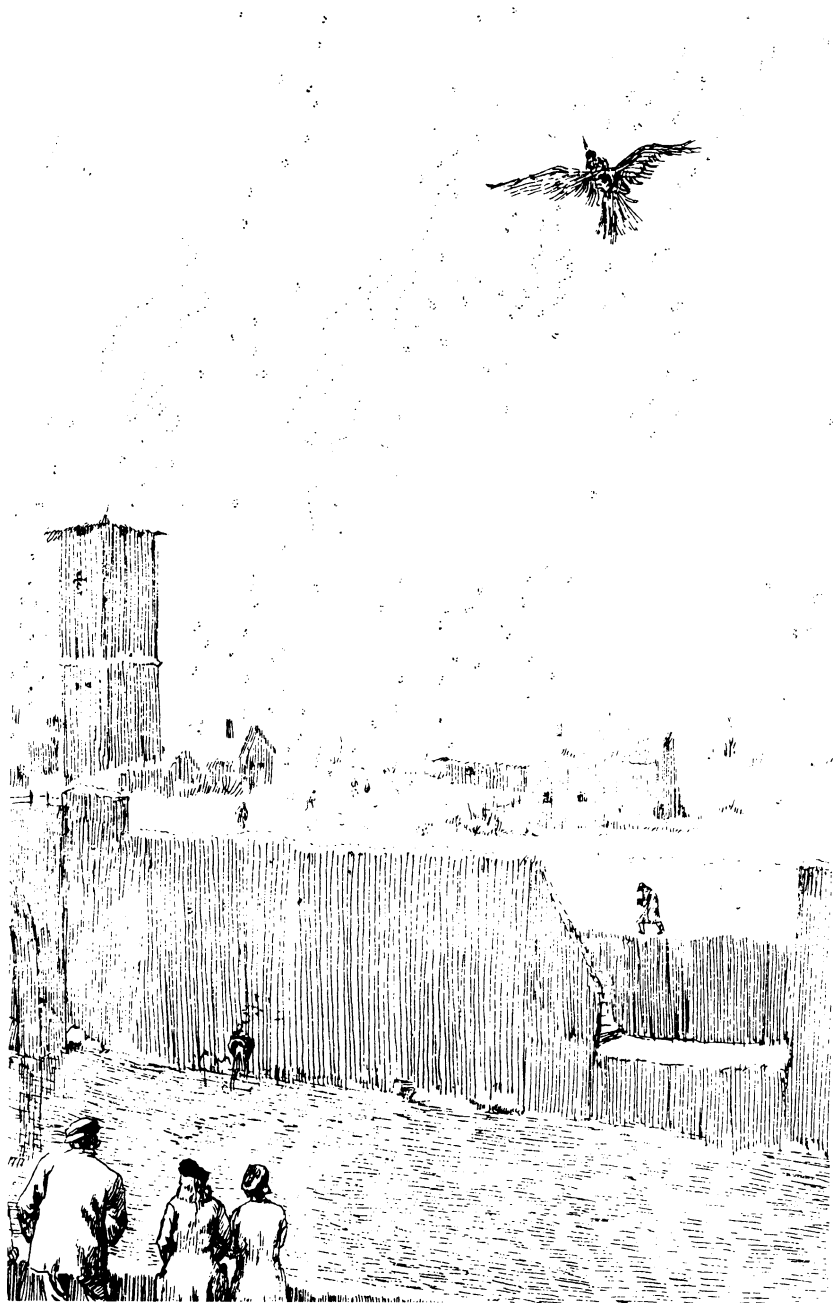
Кто следующий, какой еретик, какой новый ловец обрывает С т а т и р ь в океане времени, чтобы заплатить и за мя, и за ся? Тот духовный писатель-пастырь, носитель Слова Божия, который, как говорил отец Потап Игольничников, –

...яко истинный, богоподобный врач душ человеческих, словес своих сладостью на всяку язву целительный пластырь издаде: невеждам обучитель, грубости вразумитель, вдовам помощник, сиротам питатель, бедных забрало, насильников обличитель, сребролюбю ругатель, тщеславию отсекатель, смирения степень, целомудрия столп, гордости разоритель, горячий правды рачитель, лжи и неправды искоренитель...

Да, не худо бы тут, после такого словесного залпа отца Потапа, и дух перевести.

ПОЭТ - ТЕРРОРИСТ

Я решил убить его
Арестовать всех взрослых
Ломака
Час одиночества и тьмы
Побег
Мыловаренный завод имени Урицкого
Казнь
Требуется герой
Последний народоволец
«Евреи... разные бывают...»
Следствие продолжается
А тьма упорствует



Одиночка Петроградской ЧК. Юноша, ожидающий неминуемой казни, склонился над листком бумаги. Коротко стриженная голова, гимнастерка-косоворотка, на ногах – ботинки с обмотками. Пишет чернилами, мелко, стремительно.

Верит ли он, что когда-нибудь кто-то, кроме чекистов, прочтет его строчки? Вряд ли. Но он поэт, этот юноша, и исповедоваться на бумаге для него – необходимость.

И конечно, никому не дано знать в сентябрьский день 1918 года, что написанное юношей на самой заре советской власти переживет ее, вырвется из неволи, когда советская власть уже закатится за горизонт. И через многие десятки лет мы, будто заглянув через плечо узника-смертника, сможем прочитать его прощальные, неожиданные слова:

Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние. Если бы знали мои близкие, какое сияние наполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы...

Ему всего двадцать два. Совсем скоро его расстреляют за убийство наркома внутренних дел Северной области, председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого.

Особый архив ВЧК. Дело № Н-196, в одиннадцати томах. Бумажная гора, пугающая своей грандиозностью.

Постановления, протоколы допросов и обысков, доклады, письма, стихи, фотографии, справки, квитанции, адреса... Сваленные и замкнутые в канцелярские папки следы и знаки былой жизни, травленные временем: выцветшие и пожелтевшие, с оборванными краями, подпалинами и водяными разводами – поистине прошедшие огни и воды! Масса бумаг, без разбора нахвачанных при обысках и никакого отношения к делу не имеющих, и в то же время отсутствие необходимых звеньев в следственном производстве – следы утраты и, как выяснится, даже уничтожения многих материалов. Дело составлено наспех, хаотично. Его вели люди юридически малограмотные, у которых профессию заменяло емкое понятие «большевик». В то лихое время правосудие вообще было отменено, его вытеснила простая и понятная, как кулак, упрощающая жизнь революционная целесообразность.

Криминальное происшествие вошло в большую историю не только из-за громкого имени погибшего большевика. 30 августа 1918-го, в день убийства Урицкого в Петрограде, в Москве другой террорист стрелял в главного большевистского вождя – был ранен Владимир Ленин. Двойное покушение на власть стало знаковым событием, послужило поводом для объявления массового красного террора, унесшего многие тысячи жизней и растянувшегося на десятилетия, окрасившего всю советскую историю в кровавый цвет.

Двинемся вспять времени, продираясь сквозь разнообразные материалы следствия, сквозь белые пятна и черные дыры его, чтобы воскресить, прочертить, хотя бы пунктиром, короткую, но яркую, как метеор, судьбу необыкновенного убийцы Урицкого. Проследим по дням, часам, а иногда и минутам финал его жизни. Случай уникальный: поэт казнил чекиста, революционер – революционера, еврей – еврея...

Имя юноши – Леонид Каннегисер. Кто он – безумец или герой? Каким останется в человеческом сознании, в исторической памяти?

Я решил убить его

Последние две недели Леня не ночевал дома. И в этот день пришел только утром, около девяти часов. Отец – Аким Самуилович – был болен и лежал в постели. После чая Леня постучался в его комнату, предложил сразиться в шахматы. «Меня только смутила нервность его и рассеянность, проявленная им особенно при игре», – говорил потом, на допросе, отец. Леня был напряжен, волновался и, когда проиграл, очень расстроился, как будто загадал что-то на этой игре. Аким Самуилович предложил вторую партию, но сын, взглянув на часы, отказался. Надел свою черную кожаную куртку, студенческую фуражку со значком, заторопился – дела...

Следующий человек, в памяти которого он оставил след, – мальчик из мастерской проката велосипедов на Марсовом поле. Хозяина еще не было, и клиент в кожаной куртке прохаживался в ожидании его до Павловских казарм и обратно, задумавшись. В десять часов появился хозяин, выдал велосипед («Марс» № 958) и спросил, куда клиент держит путь.

– В сторону Невского, – был ответ.

Однако вместо Невского велосипедист покати́л на Дворцовую площадь. В половине одиннадцатого он подъехал к левому крылу дворца Росси и спешился у подъезда Комиссариата внутренних дел. Поставил велосипед, зашел внутрь, в вестибюль, и устроился у столика возле окна. Собирались посетители, швейцар Прокопий Григорьев принимал у каких-то барышень одежду; другой служащий, Федор Васильев, обслуживал подъемную машину, так тогда

назывался лифт. Они засвидетельствовали, что юноша в кожаной куртке («высокого роста, бритый, брюнет») ни с кем не разговаривал, сидел молча, курил папиросу, поглядывал в окно на велосипед и одну руку держал в кармане.

В одиннадцать приехал на своем автомобиле – реквизированном из царского гаража – Моисей Соломонович Урицкий. Вошел деловито, утиной, вперевалку, походкой, маленький, подчеркнуто аккуратный: пробор на голове, светлый костюм, белая рубашка с галстуком и пенсне на шнурке. Распахнулась дверь лифта, Урицкий был на середине вестибюля, когда юноша встал и выхватил револьвер. Грянул оглушительный выстрел. Урицкий повалился лицом вперед, брызнула кровь. Пороховой дым застлал все помещение. Паника, крики. Убийца уже скрылся за дверью, за ним устремился лифтер Васильев. Велосипедист мчался в сторону Александровского сквера...

– Караул, в ружье! – сверху, по лестнице, скатилось человек шесть солдат, вскочили в стоявший у подъезда автомобиль – началась погоня. Площадь огласили вопли: «Держи его! Держи!», загрохотали выстрелы. Солдаты торопливо палили из винтовок, велосипедист отстреливался на ходу. В суете случился курьез: один случайно оказавшийся на площади солдат бросился с пашкой наголо на другого бежавшего солдата, думая, что ловят его.

– Не я! Тот, на велосипеде!

Погнались вместе. В этот момент из арки Главного штаба вынырнул еще один автомобиль, иностранный, из немецкого консульства. Его тут же захватили, присоединили к погоне.

Тем временем велосипедист пересек площадь, обогнув Зимний дворец, был уже на набережной. Первая машина заглохла и стала. Солдаты, высыпав из нее, побежали за велосипедистом. Тот свернул направо, в Мошков переулок,

по пятам гналась вторая машина. В беспорядочной стрельбе велосипедист опять свернул – из переулка на Миллионную улицу, но у ворот дома номер семнадцать вдруг свалился с велосипеда и, хромая, бросился во двор.

О дальнейшем рассказал дворник Захарий Морковский. Увидев его, преследуемый закричал:

– Товарищи, помогите! – Но когда дворник подбежал к нему, тот выхватил револьвер и выстрелил вдоль дома. Дворник кинулся прочь, а незнакомец – в подъезд направо и вверх, по черной лестнице. Подоспел автомобиль с солдатами, которые, стреляя, ринулись было за беглецом на лестницу, но ответные выстрелы преградили дорогу.

Дом был оцеплен. События переметнулись внутрь, в квартиру номер два, где проживал князь Петр Ливанович Меликов. Когда загрели выстрелы, князь сказал жене, стоявшей у окна:

– Отойди, а то попадет шальная пуля.

Тут в кухню с черного хода позвонили. Экономка князя Катя Иванова («думая, что звонят красноармейцы») открыла дверь. В кухню ворвался юноша («интеллигентного вида») с револьвером:

– Меня преследуют. Спасите!

Испуганная Катя, обхватив его руками, теснила к двери:

– Уходите! Уходите!

– Я тебя убью! – наставил револьвер юноша и отбросил ее в сторону. Потом пробежал дальше, в комнату князя, и закрылся на ключ.

Вторая прислуга, горничная Таня Сидорова, кинулась за помощью. По пути она сообщила об ужасном вторжении князю с женой:

– Уходите из квартиры, покамест не поймают этого человека!..

Все трое бросились на парадную лестницу.

– Немедленно все расскажите солдатам! – бормотал князь.

Но когда солдаты появились в квартире и ожидавшая их Катя указала комнату, в которой скрылся преступник, комната оказалась открытой и пустой. На полу валялась кожаная куртка. Желтое пальто князя, висевшее здесь, исчезло.

А беглец уже был на парадной лестнице и звонил в квартиру номер три. Случайно оказавшийся там в этот недобрый час «уполномоченный дома» Василий Петрович Иванов приоткрыл дверь на цепочке и очутился лицом к лицу с незнакомцем в желтом пальто.

– Что вам угодно?

– Спасите меня, меня расстреляют...

– Не могу, – дверь захлопнулась.

В это время в парадном подъезде солдаты замыслили, как поймать беглеца, не нарвавшись на пулю. Азартней и сообразительней всех оказался коммунар Викентий Сангайло. Придумал вот что: взял у швейцара мешок с тряпками, напялил на него свою шинель и поднял это чучело в лифте – как мишень для преступника, пусть-де расстреляет в нее патроны. Лифт остановился, щелкнула дверь.

– Смотрите, наверно, заходит, – предположил швейцар.

– Спускай вниз! – скомандовал Сангайло.

Лифт спустился – пустой, без человека и без чучела.

Все замерли в ожидании.

И вот на лестнице показался юноша... в шинели Сангайло.

– Товарищи, идите, он там, наверху.

Товарищи молчали. А когда юноша поравнялся с ними, набросились, повалили, отняли револьвер, сорвали

шинель – из-под нее проглянуло желтое пальто... Начали бить. Расправу остановил подоспевший комиссар Семен Геллер. Преступника вывели, усадили в машину и повезли в Чрезвычайку, на Гороховую, 2.

Все происшествие с убийством, погоней и двойным переодеванием заняло не больше часа.

Взволнованные жильцы отправились обсуждать случившееся – ненадолго, вскоре их тоже потянут на Гороховую, на допрос. Разбрелись и участники погони, прихватив с собой добычу: Сангайло – револьвер, солдат с шашкой – велосипед, а кто-то – кожаную куртку. Револьвер как важный «вещдок» чекисты разыщут только ночью, обыскав спавшего в казарме Сангайло.

«Беря револьвер, я не думал, что, беря его, я этим делаю преступление, – напишет в объяснении доблестный боец революции. – Я думал, что все, что было нами найдено, принадлежит нам, то есть кому что досталось. То есть я видел, один товарищ взял велосипед, другой кожаную куртку. Я думаю, что они тоже взяли себе».

Не грабеж, стало быть, а законная добыча. Революционное правосознание в действии!

Знаменитая петроградская Чрезвычайка – особняк бывшего градоначальника. Убийцу Урицкого поднимают по лестнице-голгофе, между двумя пулеметами, нацеленными на входящих в упор. И тут же учиняют допрос. Вот как предстал разыгравшийся детектив глазами самого виновника происшествия.

Протокол допроса

Леонида Акимовича Каннегисера, дворянина, еврея, 22 лет, проживающего по Саперному пер., № 10, кв. 5

Допрошенный в ЧК по борьбе с контрреволюцией комендантом гор. Петрограда В. Шатовым показал:

Я, бывший юнкер Михайловского артиллерийского училища, студент Политехнического института, 4-го курса, принимал участие в революционном движении с 1915 г., примыкая к народным социалистическим группам. Февральская революция застигла меня в Петрограде, где я был студентом Политехникума. С первых дней революции я поступил в милицию Литейного района, где пробыл одну неделю. В июне 1917 г. я поступил добровольцем в Михайловское артиллерийское училище, где пробыл до его расформирования. В это время я состоял и <сполняющим> обязанности председателя Союза юнкеров-социалистов Петроградского военного округа. Я примыкал в это время к партии, но отказываюсь сказать к какой, но активного участия в политической жизни не принимал.

Мысль об убийстве Урицкого возникла у меня только тогда, когда в печати появились сведения о массовых расстрелах, под которыми имелись подписи Урицкого и Иосилевича. Урицкого я знал в лицо. Узнав из газеты о часах приема Урицкого, я решил убить его и выбрал для этого дела день его приема в Комиссариате внутренних дел – пятницу, 30 августа.

Утром 30 августа, в 10 часов утра я отправился на Марсово поле, где взял напрокат велосипед, и направился на нем на Дворцовую площадь, к помещению Комиссариата внутренних дел. В залог за велосипед я оставил 500 руб. Деньги эти я достал, продав кое-какие вещи. К Комиссариату внутренних дел я подъехал в 10.30 утра. Оставив велосипед снаружи, я вошел в подъезд и, присев на стул, стал дожидаться приезда Урицкого. Около 11 часов утра подъехал на автомобиле Урицкий. Пропустив его мимо себя, я поднялся со стула и произвел в него один выстрел, целясь в голову, из револьвера системы «Кольт» (револьвер этот находился у

меня уже около 3 месяцев). Урицкий упал, а я выскочил на улицу, сел на велосипед и бросился через площадь на набережную Невы до Мошкова пер. и через переулок на Миллионную ул., где вбежал во двор дома № 17 и по черному ходу бросился в первую попавшуюся дверь. Ворвавшись в комнату, я схватил с вешалки пальто и, переодевшись в него, я выбежал на лестницу и стал отстреливаться от пытавшихся взять меня преследователей. В это время по лифту была подана шинель, которую я взял и, одев шинель поверх пальто, начал спускаться вниз, надеясь в шинели незаметно проскочить на улицу и скрыться. В коридоре у выхода я был схвачен, револьвер у меня отняли, после чего усадили в автомобиль и доставили на Гороховую, 2.

Протокол был мне прочитан. Запись признаю правильной.

30 августа 1918 г.

Л. Каннегисер

Добавление: 1) что касается происхождения залога за велосипед, то предлагаю считать мое показание о нем уклончивым, 2) где и каким образом я приобрел револьвер, показать отказываюсь, 3) к какой партии я принадлежу, я назвать отказываюсь.

Л. Каннегисер

Итак, на Гороховой Леонид, судя по допросу, уже пришел в себя: отвечал четко, без эмоций, наверняка по заранее продуманному плану. «На допросе держался вполне спокойно», – подтверждает в сообщении об убийстве Урицкого газета «Северная коммуна». Не врал, не юлил, хотя говорил не все – дважды отказался назвать партию, к которой принадлежал. Но не дает ему покоя, гвоздит мысль о позорном своем бегстве, о том, какую опасную смуту внесло его вторжение в жизнь чужих, ни в чем не повинных людей. Он пишет письмо хозяину злополучной квартиры на Миллионной.

Уважаемый гражданин!

30 августа, после совершенного мной террористического акта, стараясь скрыться от настигавшей меня погони, я вбежал во двор какого-то дома по Миллионной ул., подле которого я упал на мостовую, неудачно повернув велосипед. Во дворе я заметил направо открытый вход на черную лестницу и побежал по ней вверх, наугад звоня у дверей, с намерением зайти в какую-нибудь квартиру и этим сбить с пути моих преследователей. Дверь одной из квартир оказалась отпертой. Я вошел в квартиру, несмотря на сопротивление встретившей меня женщины. Увидев в руке моей револьвер, она принуждена была отступить. В это время с лестницы я услышал голоса уже настигавших меня людей. Я бросился в одну из комнат квартиры, снял с гвоздя пальто и думал выйти неузнаваемым. Углубившись в квартиру, я увидел дверь, открыв которую оказался на парадной лестнице.

На допросе я узнал, что хозяин квартиры, в которой я был, арестован. Этим письмом я обращаюсь к Вам, хозяину этой квартиры, ни имени, ни фамилии Вашей не зная до сих пор, с горячей просьбой простить то преступное легкомыслие, с которым я бросился в Вашу квартиру. Откровенно признаюсь, что в эту минуту я действовал под влиянием скверного чувства самосохранения и поэтому мысль об опасности, возникающей из-за меня для совершенно незнакомых мне людей, каким-то чудом не пришла мне в голову.

Воспоминание об этом заставляет меня краснеть и угнетает меня. В оправдание свое не скажу ни одного слова и только бесконечно прошу Вас простить меня!

Л. Каннегисер

Впрочем, покаяние это, написанное с целью отвести удар от ни в чем не повинного князя, к адресату не попало,

осталось в деле. Бедному князю уже ничто не могло помочь – его ожидал неминуемый расстрел.

Арестовать всех взрослых

Председатель Петроградского совета Григорий Зиновьев вспоминал, что, узнав об убийстве Урицкого, он тут же позвонил из Смольного в Кремль, Ленину.

– Я попрошу сегодня же товарища Дзержинского выехать к вам в Петроград, – отреагировал Ленин.

А через несколько минут сам позвонил Зиновьеву и потребовал принять особые меры охраны «наиболее заметных питерских работников». Ведь каких-нибудь два месяца назад – 20 июня – в Петрограде убит другой «красный Моисей» – комиссар печати, агитации и пропаганды Моисей Маркович Гольдштейн, более известный как В. Володарский. А в ночь на 28 августа совершено неудачное покушение и на Зиновьева.

Еще весной, покидая Северную столицу, перебираясь вместе со всем советским правительством в Москву, Ленин многозначительно произнес:

– Мы вам оставляем товарища Урицкого! – подчеркнул тем самым большое значение маленького человека в пенсне.

И вот – не уберегли.

А вечером того же дня в Смольном снова раздался звонок из Кремля – на этот раз звонил Яков Свердлов: мужайтесь, товарищи, только что тяжело ранен товарищ Ленин...

Петроградская ЧК и милиция работали в бессонном, авральном режиме. Бразды правления принял заместитель Урицкого Глеб Бокий. Начались массовые облавы, аресты, обыски и засады. Были задержаны сотни людей, допро-

шены все очевидцы убийства, участники погони и поимки преступника и просто прохожие, случайно оказавшиеся в водовороте события.

Некая гражданка Борисевич спешила на рынок и, увидев толпу, имела неосторожность спросить, что это за манифестация.

– Убили товарища Урицкого, – сообщил ей проходивший мимо сотрудник газеты «Северная коммуна».

– Что такое? Что всех убивают? – всполошилась гражданка Борисевич и тут же была задержана.

– Вы сказали, что нужно убивать всех, по одному! – доказывал бдительный газетчик.

Отвели любопытную гражданку на Гороховую, для выяснения личности, а после – на Шпалерку, в тюрьму.

Но прежде всего, конечно, чекисты бросились в Саперный переулок, на квартиру Каннегисеров. Произвели стремительный обыск («взята переписка, фото и визитные карточки»), забрали ошеломленного больного отца, матери и сестры в этот момент дома не оказалось, – и удалились, вызвав по телефону смену, для засады.

Показания отца скупы, сбивчивы и выдают только его растерянность, рука дрожит, буквы разъезжаются.

Я, Каннегисер, инженер, служу в Центральном народно-промышленном Комитете членом Президиума. Сын мой Леонид в последнее время совместно со мной не жил, имея гражданскую жену, которую я не знаю, где живет, тоже не знаю. Близких друзей моего сына, посещавших мою квартиру за то время, я назвать не желаю.

О совершении убийства моим сыном Урицкого я до сегодня, то есть до моего ареста, не знал и не слышал от сына, что он к таковому готовится...

У меня был второй сын, студент университета, который в первые дни революции был избран представителем от

университета в Петроградский Совет. Разрядил револьвер, придя из Совета в квартиру, случайно застрелился...

Отец скрывает, что старший брат Леонида – Сергей – покончил с собой в мае 1917-го.

Гораздо больше Аким Самуилович расскажет о Лене позднее, на допросе 20 декабря:

Сын мой Леонид был всегда, с детских лет, очень импульсивен, и у него бывали вспышки крайнего возбуждения, в которых он доходил до дерзостей. Поэтому воспитание его было очень трудным, хлопотливым делом. Вместе с тем он часто увлекался то этим, то другим, одно время ночью много времени уделял писанию стихов и выступал декламатором своих стихов в кружках поэтов и литераторов, вроде «Привала комедиантов»¹. Кутилой он не был, да и средств для этого не имел, но любил бывать в гостях и имел свой круг знакомых, причем по характеру крайне независимый, боролся против контроля с родительской стороны насчет своих друзей и знакомых. Были периоды, когда он увлекался игрой в карты, но играл он по очень маленькой, интересуюсь самим процессом игры. Последний месяц особенно охотно играл в шахматы и занялся теорией шахматной игры и т.п.

Последний месяц он очень часто не ночевал дома, давал понять, что у него есть связь с женщиной. Развратной жизни не вел.

После Февральской революции, когда евреям дано было равноправие для производства в офицеры, он, по-моему, не желая отставать от товарищей христиан в проявлении патриотизма, поступил в Михайловское артучилище, хотя я и жена были очень против этого, желая, чтобы он кончил

¹ «Привал комедиантов» – артистическое кабаре в Петрограде (1916–1919).

свой Политехнический институт. После Октябрьской революции работал в «Торгово-промышленной газете» и хорошо успевал в этой работе. Но ее однообразие ему надоело, и он принял сделанное ему кем-то из знакомых предложение ехать в Нижний Новгород в эвакуационный отряд, несмотря на то, что семья была против разлуки ее членов в столь тревожное время. Пробыл он там, однако, недолго, работа не удовлетворила его, так как он не имел там довольно самостоятельно ответственного дела, и вернулся к Пасхе нынешнего года домой.

После Пасхи он решил вернуться в Политехникум, подал прошение и был принят лишь к крайнему сроку, кажется, 1 июля. В июле он стал очень часто, как я уже указал, уходить из дому и даже не возвращаться домой ночевать.

Нам это было неприятно и даже неловко перед прислугой. Его поведение меня беспокоило, я боялся, чтобы он, при его импульсивной и романтической натуре, не был вовлечен в какой-нибудь политический кружок. На мой вопрос, не занимается ли он политикой, он отвечал, что я напрасно волнуюсь, и давал слово, что ни в каких противоправительственных организациях или работах участия не принимает. Леонида сильнейшим образом потрясло опубликование списка 21 расстрелянного, в числе коих был его близкий приятель Перельцвейг, а также то, что постановление о расстреле подписано двумя евреями – Урицким и Иосилевичем. Он ходил несколько дней убитый горем и заявил, что отправляется поездом к знакомым на дачу, чтобы, как мы думали, развлечься. Зная его впечатлительность, я опасался, чтобы это горе не толкнуло его в какую-нибудь контрреволюцию. Я пытался утешить его и предложил ему отвезти свою сестру в Одессу, но он отказался, говоря, что в оккупированную иностранцами область он не поедет.

С дачи он вернулся в повышенном настроении, и я думал, что молодость взяла свое и что впечатление от гибели товарища стало заглаживаться.

Мать Лени Роза Львовна была арестована, как только вернулась домой, дежурившим там для засады комиссаром Захаровым. Она была в панике и все выпрашивала, где ее сын. Старшего сына она уже потеряла «из-за рабочих и свободы», и младший тоже борется за свободу, и что с ним теперь будет? У Захарова осталось впечатление: Роза Львовна уже давно знала о том, что Леня занимается каким-то опасным делом.

На Гороховой мать убийцы взял в оборот «начальник комиссаров и разведчиков» Семен Геллер. Как сказано в одной из докладных по следствию, «Геллер, успокоив мать, стал ей говорить, что, как она видит, он, Геллер, по национальности еврей и, как таковой, хочет поговорить с ней по душам. Ловким разговором Геллеру удалось довести мать Каннегисера до того, что она ясно сказала, что Леонид мог убить товарища Урицкого, потому что последний ушел от еврейства».

Однако в протоколе допроса этого нет, только вполне безобидные фразы, да и под теми, как сказано, Роза Львовна подписалась с большим трудом, только после неоднократных уверений, что там ничего страшного не содержится.

«Я стояла в стороне от политики, почему не знала, в какой партии состоит Леонид, – показала она. – Мы принадлежим к еврейской нации, и к страданиям еврейского народа мы, то есть наша семья, не относились индифферентно. Особенно религиозного восприятия Леонид не получил и учился уважать свою нацию».

Самой скрытной была сестра Елизавета, или Лулу, как называли ее близкие, тоже, конечно, арестованная: «За последнее время мой брат дома не жил, как было слышно,

он сошелся с какой-то женщиной, но кто она и где живет, мне известно не было. И кто были его близкие друзья и знакомые, которые посещали нашу квартиру, назвать не могу и не знаю».

Никаких фактов не прибавил и допрос горничной Каннегисеров – Анны Ивановны Ильиной, хотя атмосферу в доме она рисует довольно красноречиво: «Роза Львовна говорила, что Леонид ночует на даче у знакомых, но где мне не говорила. Все Каннегисеры держат себя по отношению ко мне очень осторожно, при мне говорили по-французски, политических разговоров не вели. Когда я входила и несла чай Леониду, который сидел со своими знакомыми, то они моментально замолкали и ничего не говорили. Телефонные разговоры тоже были обставлены таинственным способом, чтобы я не слышала». Прислуга подозревала, что Леня ходит к людям, которые затевают что-то опасное. У матери его в разговорах с дочерью не раз вырывалась фраза: «Разве я не сказала ему, что не надо ходить к ним!»

Кроме того, прислуга сообщила, что мать Лени хлопотала об отправке его в Киев и в момент убийства получала на вокзале разрешение на место для него в украинском санитарном поезде. Сама Роза Львовна этого факта не отрицала, но объяснила желанием всей семьи уехать.

Конечно, главная забота родных – как-то облегчить участь Лени. Они старательно обходят все политические вопросы, отказываются называть друзей и знакомых, чтоб не повлечь новые жертвы, предлагают версию о «гражданской жене», неизвестной женщине, у которой он якобы проводил время перед убийством.

Отдельным вопросом ко всей семье был вопрос о двоюродном брате Лени – Максимилиане Филоненко, известной фигуре в антибольшевистском подполье, соратнике Бориса Савинкова. Чекисты хотели выйти на его след, потому что

имели основания подозревать кузенов в совместной борьбе с советской властью. Да, родственники, был ответ, но уже года три семья с ним в конфликте и не встречается. «Началось это с того, что Максимилиан не пригласил нас на свадьбу, – пояснила Роза Львовна. – Максимилиан не считал себя за еврея. Он был очень самолюбивый, самоуверенный, по принципиальным вопросам у нас всегда были споры, мы не помирились до последнего времени и даже с его матерью были в ссоре».

Так что и тут, кроме чисто личных, семейных сведений, добыть ничего не удалось.

Назначенные вести дело следователи – Эдуард Морицевич Отто и Александр Юрьевич Рикс – взялись за работу со всем революционным пылом. Пепел класса-гегемона решительно стучал в их сердца. Прежде всего они рассмотрели переписку, привезенную с квартиры убийцы, чтобы как можно скорее установить его преступные связи. К тому времени квартира уже была обыскана три раза подряд, что все равно не удовлетворило следователей, и они сами отправились в Саперный переулок с четвертым обыском.

«Все было в таком же виде, как будто обыска там и не было!» – возмущенно докладывал Эдуард Отто, запевала и верховод в этом сыскном дуэте. Еще раз обшарив все тщательно (в уборной обнаружили запрятанную кем-то записку: «Общее собрание 25 июля 1918 г.» – жаль только, фамилий не разобрать!), захватив с собой содержимое письменного стола убийцы и как главную добычу – телефонную книжку, висевшую на стене, Отто–Рикс вернулись в ЧК и засели на всю ночь за разбор бумаг.

Составили схемы родственных связей и связей между лицами, привлекаемыми по делу, списки фамилий и адресов, разобрали груды писем, документов и записок, пронумеровав их по степени важности, и в конце концов запутались... «Арестованных по делу было много, – писали они потом в сво-

ем докладе, – ибо помимо следователей, ведущих дело, арестовывали чины Президиума ЧК, так что первые двое-трое суток трудно было установить, кто причастен к делу, ибо их переписка не была хорошо усвоена, то есть приносилась все новая переписка, которую надо было сопоставить с имеющейся и извлекать оттуда новый материал, ибо ни малейшего намека на связь с делом из переписки еще не нашли, что надо было дополнить допросами». Даже по одному тону этого сумбурного доклада ясно, что следствие совершенно захлебнулось в той человеческой лавине, которую сами же чекисты и обрушили на себя – сводный список «лиц, проходящих по связям убийцы Каннегисера» насчитывает 467 человек!

Загребли, по существу, все окружение семьи, родственное, дружеское, культурное, служебное и бытовое, всю контору отца, всю телефонную книжку Леонида. Даже восьмидесятилетнюю бабушку его Розалию Эдуардовну сочли опасным элементом и умыкнули за решетку. Достаточно было найти адрес мебельного магазина, чтобы схватить и его клиентов, вовсе не подозревавших о существовании Каннегисеров. В ордерах на арест обычно называлась фамилия и делалась приписка: «Арестовать всех взрослых». Вероятно, никогда еще на этот выдавший виды город не набрасывалась такая частая карательная сеть.

Знакомые Леонида на допросах дают психологический его портрет, очень разноречивый и пестрый.

Юрий Юркун, литератор, когда-то посвятивший ему свой рассказ «Двойник», показал: «Леонида Каннегисера в первый раз встретил на вечере в “Бродячей собаке”¹. Я познакомился с ним, как с лицом, имеющим прикосновение к литературе. Это было в 1913 году. После этого я его встречал

¹ «Бродячая собака» – знаменитое артистическое кабаре-подвал (1911–1915).

раз пять-шесть, был раз у него дома на литературном чтении, устроенном им и другими. После Октябрьского переворота я его не видел. Я беспартийный, но сочувствую большевикам». Понятно, что в том предгибельном положении, в котором очутился Юркун, он невольно дистанцируется от своего друга-преступника. Изъятое при обыске и сохранившееся в деле его письмо от 2 декабря 1913-го говорит о куда более близких отношениях: «...Не покидайте, не забывайте меня, дорогой Ленья! Я ведь вас так люблю, я очень радуюсь вашим всегда – посещениям! Приходите! Приносите стихи. А может, есть проза? И ее тогда... Приходите, буду ждать. Целую вас».

Отстраненно критический взгляд бросает на Леню степенный друг его отца, промышленник Лазарь Германович Рабинович: «Мне казалось, что идейного в Леониде слишком мало, он был человек фразы, самолюбивый, часто бывал в “Привале комедиантов”, не ночевал дома и т.п. Знал я это из разговоров с Акимом Каннегисером, своих родителей он слишком огорчал частым отсутствием из дома и своим легкомысленным поведением».

А вот что поведал студент университета Владимир Гинзбург, однокашник и приятель погибшего брата Лени – Сергея:

Мое мнение о семействе Каннегисеров. Старшие люди очень положительные, то есть чисто буржуазного свойства, со всеми предрассудками и т.д. Молодежь же была неуравновешенного характера, что доказывает самоубийство старшего сына, а также и дочь Елизавета Акимовна, которая представляет из себя особу довольно эксцентричную.

Про Леонида я могу сказать, когда он еще был лет 15–16, то уже начал увлекаться поэзией. По моему предположению, он занимался также и политикой. В Октябрьской

революции, я не знаю, мог ли он проявить себя или нет, знаю только, что находился он в Зимнем дворце или в Павловских казармах... Интимной жизни его я совершенно не знаю. Мое мнение о нем как о человеке скрытном и еще желающем себя чем-нибудь выдвинуть. Был сторонником Учредительного собрания, к Соввласти относился критически... Однажды при разговоре о Боге он мне сказал, что Бог существует, и велел мне прочесть Евангелие, в котором, по его словам, он нашел нечто особенное.

Для следователей эти показания были уже, как говорится, погорячее, потому что чуть проясняли политическую физиономию преступника.

Но настоящая удача пришла к чекистам сама, неожиданно, без всяких усилий с их стороны. На Гороховую явился студент Борис Розенберг и дал добровольные показания. Решил, видимо, упредить арест и не ждать, когда его приведут сюда под конвоем. Допрашивал его новый член Президиума ЧК – ему дано будет сыграть в деле ведущую роль – начальник отдела по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией Николай Антипов. И вот что выяснилось.

Розенберг познакомился с Каннегисером в 1917-м, во время Корниловского мятежа. Тогда первым Всероссийским исполкомом советов рабочих и солдатских депутатов была создана специальная комиссия «по ликвидации дела Корнилова», секретарем которой и состоял Борис Розенберг. На заседаниях появлялся и Леня – как представитель юнкеров-социалистов Михайловского училища. После долгого перерыва знакомство возобновилось совсем недавно – в июле 18-го.

Положение Советской власти, по его мнению, – показывал Розенберг, – было таково, что со дня на день можно ожидать ее свержения, в особенности в тот момент, когда

союзники¹ соединятся с чехословаками. Он говорил, что к моменту свержения Советской власти необходимо иметь аппарат, который мог бы принять на себя управление городов впредь до установления законной власти в лице Комитета Учредительного собрания, и попутно сделал мне предложение занять пост коменданта одного из петроградских районов. По его словам, такие посты должны организовываться в каждом районе, район предложил выбрать мне самому. На мой вопрос, что же я должен буду сейчас делать на названном посту, он ответил: «Сейчас ничего, но быть в нашем распоряжении и ждать приказа». Причем указал, что если я соглашусь, то могу рассчитывать на получение прожиточного минимума и на выдачу всех расходов, связанных с организацией.

Каннегисер спросил у Розенберга номер его телефона, который не записал, сказав, что и так его запомнит. Через несколько дней он позвонил и назначил свидание в одном из домов на Рождественской улице: надо было постучать в дверь три раза, тогда и отойдут. Розенберг обещал прийти, но, поразмыслив, отказался от этой затеи: все это показалось ему мальчишеской выходкой.

После этого я его увидел в последний раз спустя недели две в Павловске... Извинился перед ним, что не мог заехать. Он довольно сдержанно говорил со мной, упрекая в нерешительности, на что я ему ответил, что считаю все это не заслуживающим доверия и быть в дудой, по моему мнению, организации не хочу. На это он стал спорить со мной и доказывал, что пора приняться за активную работу, как, например, освободить арестованных в какой-то тюрьме или налет на Смольный, для того, чтобы морально воздейство-

¹ Страны Антанты.

вать на психологию масс. Мне все это показалось смешным, я с ним простился с иронией и больше не встречался.

Вчера узнал об убийстве из газет и от брата узнал, что убийца – Каннегисер, невольно поделился вышеизложенными впечатлениями.

Антипов не только заставил Розенберга записать эту ценную информацию, но и показал ему Леонида в тюрьме, для опознания. «Арестованного видел и утверждаю, что это лицо является Леонидом Акимовичем Каннегисером, о котором дал показания», – добавил Розенберг и расписался.

Л о м а к а

Пока поезд несет Дзержинского в Петроград, волна арестов, обысков и допросов все нарастает. В большинстве случаев следователи остаются ни с чем. «Казалось, что хорошие знакомые Леонида Каннегисера будут играть роль в деле, но после допроса таковых, например Юркуна и др., пришлось немножко разочароваться, – признаются в докладе Отто и Рикс. – Это, очевидно, знакомства Леонида Каннегисера из “Бродячей собаки” и прочих значных мест, которые усердно посещал убийца, сын миллионера».

Разумеется, для следователей-чекистов «Бродячая собака» – только значное, постыдное место, а не знаменитое литературное кафе Серебряного века русской культуры, и Леонид – сын миллионера, а не талантливый поэт, друг лучших поэтов России. Их имена ни о чем не говорили нашим неистовым и зашоренным революционными лозунгами мстителям.

Чудом избежал тогда ареста – только потому, что оказался в Москве, – Сергей Есенин, с которым дружил Леонид и даже успел погостить у него на родине, в рязан-

ском Константинове. В деле есть клочок бумаги с адресом, записанным рукой Есенина, адрес этот старательные следователи перенесли в сводный список и потом поместили среди других бумаг в специальный пакет, «за невозможностью подшить»: «Есенин С.А. Кузьминское почтовое отделение, село Константиново Ряз. губ.»; а на обороте – московский адрес: «Сытинский тупик».

«Леня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно-разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись – через все и вся – поэты». Это – Марина Цветаева, ее память о «нездешнем вечере», параде поэтов в начале января 1916-го в доме Каннегисеров, где читали стихи она, Есенин, Осип Мандельштам, Михаил Кузмин...

В доме тогда бывал весь литературный Петербург. Часто мелькают имена литераторов и в следственных папках – Тэффи, Ходасевич, Г. Адамович, Марк Алданов, Конст. Ляндау, Е.А. Нагродская, Р. Ивнев, К. Липскеров, Н.К. Бальмонт – но все как «лица, проходящие по связям убийцы». Между тем эти люди знали не убийцу, а поэта Каннегисера. Он еще не успел раскрыться полностью, но был поэтом настоящим и обещал многое. Георгий Адамович отмечал странную двойственность натуры своего друга, «самого петербургского петербуржца», как он его называл, – будучи изысканным эстетом и денди, пребывая в самой гуще литературной богемы, он не сливался с ней, оставался в этом фарсовом карнавале, театре масок внутренне серьезным. Казалось, судьба уготовила ему какую-то особую роль, и это роковое предназначение, несмотря на юность и артистичность натуры, все более проглядывало в его облике трагической складкой.

Однажды, прощаясь с Адамовичем, он сказал:

– Знаете, в сущности, вы декоратор. Только декоратор. Это ведь только пелена. И все стихи вообще: надо сквозь

это, за это. А так что же! *Des roses sur le neant*¹. Только и всего...

Не сразу разгадала его Марина Цветаева: «После Лени осталась книжечка стихов – таких простых, что у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности – поверила...»

Каким же она его увидела? «Леня для меня слишком хрупок, нежен... Старинный томик “Медного Всадника” держит в руке – как цветок, слегка отстранив руку – саму, как цветок. Что можно сделать такими руками?»

Знала бы она, на что эта рука способна! «Лицо историческое и даже роковое» – поймет она потом. Но тогда, какие стихи тогда писал! «Сердце, бремени не надо! Легким будь в земном пути. Ранней ласточкой из сада в небо синее лети».

Цветаева: «Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах у последних каминов... Одни душу продают – за розовые щеки, другие душу отдают – за небесные звуки.

И – все заплатили. Сережа и Леня – жизнью, Гумилев – жизнью, Есенин – жизнью, Кузмин, Ахматова, я – пожизненным заключением в себе, в этой крепости – вернее Петропавловской».

Погибнет и сам дом Каннегисеров с его «нездешними вечерами». Чекисты разграбят его подчистую. Действовали, как налетчики – под видом обыска и конфискации, «для доставки в Комиссию». Вывезли все, включая платья и белье, посуду и деньги, шляпы, костюмы, телефонные аппараты, часы настольные, мраморные, с фигурой амура, граммофон и ящик с грампластинками, книги, какой-то загадочный «волшебный флакон», наборы медицинских инструментов (мать была врачом), пишущие машинки и так далее, и так далее, и так далее... После освобождения Аким Самуилович

¹ Розы на небытие (фр.).

получит обратно лишь треть своего имущества, и то после долгих хлопот, причем неясно будет, что вывезено ЧК, а что разворовано прислугой.

Куда могли деться вещи, взятые чекистами, нетрудно догадаться. Тот же Семен Геллер, начальник комиссаров и разведчиков, был в январе 20-го приговорен к расстрелу, вместе с тремя подельниками: «использовал служебное положение для хищения ценностей, конфискованных ЧК у арестованных, покровительствовал преступным элементам». Забыл, чему учил Дзержинский, – холодная голова, горячее сердце и чистые руки!

Все это будет, очень скоро, но потом. А пока, пока, в канун революции – в доме кипит жизнь, одна толпа сменить другую спешит, дав ночи полчаса. И многие видят в «пушкининянце» Лене только салонного кривляку с червоточинкой, принимают маску за лицо. Да и сам он, наверно, не всегда понимал, выдумал он себе жизнь и следовал сюжету или был таким на самом деле. Это время, когда стихи вспыхивали по любому поводу. Вот сестра Лулу просит купить ей какое-то особенное печенье.

Лулу

Не исполнив, Лулу, твоего порученья,
Я покорно прошу у тебя снисхожденья.
Мне не раз предлагали другие печенья,
Но я дальше искал, преисполненный рвенья.

Я спускался смиренно в глухие подвалы,
Я входил в магазинов роскошные залы,
Там малиной в глазури сверкали кораллы,
И манили смородины в сахаре лалы.

Я Бассейную, Невский, Литейный обрыскал,
Я пускался в мудрейшие способы сыска,
Где высоко, далеко, где близко, где низко, –
Но печенье «Софи» не нашел ни огрызка.

Дико выглядит этот изящный, безмятежный экспромт в пахнувшей смертью казенной папке. Как и фотография Лулу – эффектной, крупной девушки с насмешливыми глазами. Умная, светская, ловкая в разговоре, она была на год моложе своего брата.

Среди уцелевших черновиков удалось разобрать и другие строчки, записанные рукой Лени, – иронический перечень штампов салонной поэзии:

Лунные блики, стройные башни,
Тихие вздохи, и флейты, и шашни.
Пьяные запахи лилий и роз,
Вспышки далеких, невидимых гроз...

Стихи оборваны, словно бы от неохоты все это продолжать – когда кругом бушует всамделишная, невыдуманная гроза.

Здесь же, среди изъятых при обыске бумаг, есть еще одно неизвестное стихотворение Лени, в котором он прощается с прежде милым богемным кругом, воплощая его в образе Пьеро:

Для Вас в последний раз, быть может,
Мое задвигалось перо, –
Меня уж больше не тревожит
Ваш образ нежный, мой Пьеро!

Я Вам дарил часы и годы,
Расцвет моих могучих сил,
Но, меланхолик от природы,
На Вас тоску лишь наводил.

И образумил в час молитвы
Меня услышавший Творец:
Я бросил страсти, кончил битвы
И буду мудрым наконец.

Кому посвящено стихотворение, кто такой этот Пьеро?

Однажды, в конце 1910-го, на квартире Каннегисеров устроили любительский спектакль – поставили «Балаганчик» Александра Блока. Участник постановки, поэт Василий Гиппиус, рассказывал, что сцены не было, действие происходило у камина, а наверху камина сидел Пьеро. Самого Блока пригласить не решились, но он, узнав потом о спектакле, очень заинтересовался и расспрашивал об исполнителях. Среди дилетантов выделялся один – исполнитель роли Пьеро Владимир Чернявский, это был молодой артист, тоже писавший стихи, друг Есенина и ярый поклонник Блока. Видимо, образ Пьеро столь поразил Леню (а было ему тогда четырнадцать лет), что он пронес его сквозь годы.

Грозная эпоха героев и поэтов. Всеобщая политическая горячка – и повальная эпидемия стихов. «В самые тяжкие годы России она стала похожа на соловьиный сад, – говорил Андрей Белый, – поэтов народилось как никогда раньше: жить сил не хватает, а все запели».

Еще один персонаж всплывает из следственного досье Каннегисера – легендарная прелестница, достопримечательность богемного Петербурга, хозяйка литературного салона Паллада Олимповна Богданова-Бельская. Стихов и прозы, посвященных поэтами и прозаиками Серебряного века этой феерической блуднице, хватило бы на целую книгу. Безнадежная графоманка и нимфоманка, любившая и мужчин, и женщин и волочившая за собой целый шлейф самоубийств оставленных ею поклонников (в ее записной книжке, как говорили, число любовных побед давно перевалило за сто), она компенсировала отсутствие таланта плодовитостью и экзальтацией – «танцевала босиком стихи» Северянина, звеня браслетами на ногах и бусами на шее, вся в пестрых шелках, кружевах и перьях и в облаке резких, приторных духов. Немало следов ее поэтического фонтанирования, по-

даренных Лене, переключалось из его письменного стола на стол следователей.

В 1915-м – как раз в момент выхода Каннегисера в литературный свет с первыми публикациями – Паллада обрушивается на Леню (ей – тридцать, ему девятнадцать) все свое неистовство. Частые встречи, ежедневная переписка, посвящение в интим. Она использует любой повод, чтобы занять его внимание, иногда просто просит прислать папирос, да и повода не нужно. Ее распирают, раздирают страсти, пишет крупно, размашисто, перебегая на конверты, когда не хватает бумаги. «Целую куда попало». «На вернисаже футуристов. Буду искать Вас... Письмо запоздало, теряет значение». «Плачу без тебя» («тебя» зачеркнуто, но так, чтоб видно было).

Я не могу жить без выдумки, Леня, не могу жить без мечты и страсти, а люди должны мне помогать в этом, иначе я не верю в свои силы... Леня, я умираю, я умираю. Я все пороги обегала, сколько рук я жала, сколько глаз я заставляла опуститься – встречаясь с моими, в слезах. Есть люди все сплоченные одной злобой и презрением ко мне, все мои враги. Ухожу с подмостков после испробования всех видов борьбы за существование...

Другое письмо:

Есть тысяча способов добиться любви женщины и ни одного, чтобы отказаться от нее. А про меня! Есть миллионы способов заставить забыть ее и ни одного, чтобы она полюбила.

Да, я аскетка, и если бы не мое здоровье, я бы одела власницу. Вот уже три месяца Паллада не сексуальничает и не будет до смерти или что еще! – до огромной постельной любви!..

Тут же фотография: «Милому Ломаке – от такой же». И рядом – листок со стихами, посвященными – не ему ли?

Картавый голос, полный лени,
Остроты, шутки и детский смех,
Отменно злой – в упорном мщеньи,
Спортсмен всех чувственных утех...

Привычный маникюр изящных рук
И шелк носков – все, все ласкает глаз...
Моя любовь одна с волшебством мук
И с вами пуст – любви иконостас.

Кстати сказать, революционеры на счету Паллады случались и раньше. Есть свидетельство, что в 1904-м, накануне покушения на министра внутренних дел царского правительства Плеве, Паллада отдалась его убийце – Егору Сазонову. От этого сладкого мгновенья родились близнецы – Орест и Эраст. Ей было тогда семнадцать лет. Если это правда (мальчики-то были!), а не слух, распущенный, быть может, самой Палладой, то преемственность террористов на ее ложе поистине роковая.

Час одиночества и тьмы

Поезд с Дзержинским уже подходит к Петрограду. А там продолжается вакханалия арестов. Убийца Урицкого, не зная, что родные его уже в тюрьме, пишет им успокоительные записки, которые, разумеется, дальше следователей не идут и оседают в деле. Судя по тону, он не только обрел стойкость духа, но даже пребывает в некоторой эйфории.

«Умоляю не падать духом. Я совершенно спокоен. Читайте газеты и радуюсь. Постарайтесь переживать все за меня, а не за себя и будете счастливы». Это – отцу.

Что же он читает в газетах, которые, стало быть, дают ему в тюрьме? Петроградские газеты 31 августа залиты трау-

ром, кроме срочного сообщения о покушении на Ленина, они информируют о церемониале предстоящих торжественных похорон Урицкого на Марсовом поле. «Пуля попала в глаз, смерть последовала через час», – нечаянно рифмует «Северная коммуна», что наверняка не ускользает от внимания поэта-террориста. И лозунги, лозунги, лозунги разлетаются шрапнелью, один кровожадней другого! «Ответим на белый террор контрреволюции красным террором революции!» «За каждого нашего вождя – тысяча ваших голов!» «Они убивают личностей, мы убьем классы!» «Смерть буржуазии!»

Чему же он радуется? Неужто не понимает, что содеял? Неужели ему не жалко своих близких, которых он прежде всего ставит под удар? Неужели еще не уразумел, что за одного Урицкого погибнут тысячи невинных по всей стране, что кровь его жертвы не только не искупит крови его погибших друзей, но вызовет целые реки, целое море новой крови? Или наивно верит: его выстрел – сигнал к восстанию, начало конца для большевиков? Кто-то должен начать, а там само пойдет, заполыхает, все равно им разбойничать недолго. Так тогда думали многие. Юный делатель истории не видит: его теракт, его личный подвиг лишь на руку большевикам, которые только тысячекратно превосходящим террором в состоянии удержать власть.

Человек в революции, он не мог осмыслить революции. Волны событий тащили и опережали его, и он не был способен постигнуть их истинного смысла и масштаба. Увы, это почти всегда бывает в истории. И так трудно остановиться у той грани, которую нельзя переступать ни при каких обстоятельствах, во имя любых идеалов. Способ совершения поступка иногда важнее самого поступка. Только Бог умеет превращать зло в добро, человек же часто наоборот – желая добра, творит зло.

Матери: «Я бодр и вполне спокойный. Читаю газеты и радуюсь. Был бы вполне счастлив, если бы не мысль о Вас. А Вы крепитесь».

И вот вечером 31 августа убийцу вызвали на допрос к самому Дзержинскому. Протокол вел все тот же Николай Антипов, следователей не пригласили. Этот документ уместился всего в несколько строк:

Протокол допроса

*Леонида Акимовича Каннегисера, еврея – дворянина,
22 лет*

*Допрошенный в ЧК по борьбе с контрреволюцией
Председателем Всероссийской комиссии тов. Дзержинским
показал:*

*На вопрос о принадлежности к партии заявляю, что
ответить прямо на вопрос из принципиальных соображений
отказываюсь. Убийство Урицкого совершил не по постанов-
лению партии, к которой я принадлежу, а по личному побуж-
дению. После Октябрьского переворота я был все время без
работы и средства на существование получал от отца.*

Дать более точные показания отказываюсь.

Леонид Каннегисер

Результат допроса равен нулю. Выходит, зря, бросив сверхважные и сверхсрочные дела, специально мчался в Петроград Железный Феликс? Ровным счетом ничего не смог выжать главный страж революции из этого барчонка! Нашла коса на камень! Мальчишка чувствует себя победителем!

Что в вашем голосе суровом?

Одна пустая болтовня.

Иль мните вы казенным словом

И вправду испугать меня?

Холодный чай, осьмушка хлеба.
Час одиночества и тьмы.
Но синее сиянье неба
Одело свод моей тюрьмы.

И сладко, сладко в келье тесной
Узреть в смирении страстей,
Как ясно блещет свет небесный
Души воспрянувшей моей.

Напевы Божьи слух мой ловит,
Душа спешит покинуть плоть,
И радость вечную готовит
Мне на руках своих Господь.

Леонид ведет в тюрьме два диалога с миром: кроме формального, с чекистами, – и внутренний, наедине, языком поэта.

Стихотворные наброски – трудноразборчивые, с перечеркиваниями и исправлениями – уцелели в деле, среди канцелярщины. Продолжение встречи-поединка с Дзержинским, последний порыв творчества – уже на пороге вечности. Леонид воспаленно заполняет словами, вкривь и вкось, сплошь, весь лист, будто в страхе, что не останется бумаги, чтобы выплеснуться, выразить себя. Строчка набегает на строчку, одно стихотворение захлестывает другое. Но другие стихи вызваны событиями уже следующего дня.

В воскресенье 1 сентября Петроград хоронил Урицкого. Массово и торжественно. Траурная процессия – от Таврического дворца – растянулась на несколько верст: район за районом, делегации от заводов и учреждений, армии и флота. Смотр революционной решимости.

Гремят оркестры. Кружат аэропланы. Грохочут броневики.

Марсово поле, где всего два дня назад Леня Каннегисер брал велосипед напрокат. Красные знамена, черные всадни-

ки, белый катафалк. Открытый дубовый гроб, обитый кумачом, крышка откинута, желтое лицо – среди цветов. Гора венков, среди них – от чекистов: «Светить можно – только сгорая!» И речи, речи, речи красных вождей, лучших большевистских ораторов, во главе с Зиновьевым. «Счастлив тот, кому суждено принести свою жизнь в жертву великому делу социализма...» «На долю товарища Урицкого выпала самая тяжелая работа в революции...» «Не зная ни дня, ни ночи, стоял на своем посту...» «Расправа, самая беспощадная расправа со всеми, кто против!» «Какие бы препятствия ни стояли на нашем пути, победа будет не за Каннегисерами, а за Урицкими, не за капитализмом, а за ленинизмом, ведущим нас к установлению коммунистического строя во всем мире!»

На трибуне – «красный Беранже», поэт Василий Князев. Читает стихи, написанные специально по этому похоронному случаю, – в тот же день они появились в «Красной газете» под заглавием «Око за око, кровь за кровь»:

Мы залпами вызов их встретим –
К стене богатеев и бар! –
И градом свинцовым ответим
На каждый их подлый удар...
Клянемся на трупе холодном
Свой грозный свершить приговор –
Отмщение злодеям народным!
Да здравствует красный террор!

Прощальный салют с Кронверка Петропавловской крепости, возможно, доносится и до камеры на Гороховой. А газета со стихами Князева уж точно попадает к Леониду – не иначе, как специально дают, для устрашения, – и тут же вызывает у него стихотворный отклик:

Поупражняв в Сатириконе
Свой поэтический полет,

Вы вдруг запели в новом тоне,
И этот тон вам не идет.

Язык – как в схватке рукопашной:
И «трепещи», и «я отмщю».
А мне – ей-богу – мне не страшно,
И я совсем не трепещу.

Я был один и шел спокойно,
И в смерть без трепета смотрел.
Над тем, кто действовал достойно,
Бессилен немощный расстрел...

Да, адресат этого стихотворного наброска, несомненно, певец красного террора Василий Князев! Он сотрудничал когда-то в журнале «Сатирикон» и поначалу Октябрьскую революцию не принял, высмеивал большевиков в своих фелетонах, а вот теперь «запел в новом тоне».

Стоять им недалеко друг от друга в литературной энциклопедии – Каннегисеру и Князеву. Как в горячечном бреде живут они оба в угаре революции, и за каждым – своя правда, своя эстетика и поэтика, непримиримые, исключаящие друг друга.

Побег

В двери камеры – глазок, и в нем – неусыпный человеческий глаз. Непосредственный стражник, приставленный к убийце и заодно передающий ему газеты – «коммунар М. Спиридонов», как именуется он себя в докладах. Следователи Отто и Рикс называют его иначе – «бывшим каторжником», то есть уголовником, в отличие от почтенного «каторжанин». Время, полное химер: к поэту-террористу приставлен каторжник-коммунар. Спиридонов готов на все, лишь бы заслужить милость чекистов, и по их заданию втирается в доверие к узнику.

1 сентября с.г. я стоял на посту у Леонида Акимовича Канегисера и постаравшись залучиться симпатией и доверием, что мне и удалось. По просьбе его передать письмо кому-либо оставшимся в доме родственников я взялся исполнить. Но как семья вся арестована, а в доме засада, то в этот же день была снята копия тов. Силевичем, – коряво рапортует коммунары-каторжник.

«Тов. Силевич» – это Александр Соломонович Иосилевич, секретарь Урицкого, доставшийся по наследству новому шефу Петроградской ЧК Глебу Бокию. Она перед нами – копия письма. Узник выражается иносказательно:

Найдите через того, кто имитирует своих 5 покойных дядей, его ближайшего соседа. Повидайтесь; Бога ради осторожно для него. Это «адьют». Попросите набрать 5–6 человек и мотор. Назначьте подателю сего чрезвычайно осторожную связь. Постарайтесь испытать и проверить! Сами спрячьтесь! Бога ради не надейтесь. Почти невозможно, для себя предпочитаю другое.

Итак, узник решил действовать! Поэт продолжает жить в авантюрно-детективном жанре. Недаром он, как вспоминал его друг, писатель Марк Алданов, накануне своего теракта читал сестре вслух «Графа Монте-Кристо», причем выбрал, несмотря на ее протесты, главу о политическом убийстве.

Бедные родители! Бедовый сынок не только не кается в том, что натворил, но еще и тянет их в криминал: устраивать побег, проверять посыльного, прятаться. Да еще и «не надейтесь» при этом...

Между тем среди чекистов разражается конфликт. Подробности его всплывают из отчета следователей о ведении ими дела. Все началось с ареста члена президиума ЦК сионистской партии Михаила Семеновича Алейникова,

который был упомянут в одном из изъятых писем. Президиум ЧК потребовал немедленно дать обвинительные данные, послужившие основанием для ареста этого человека, который заявил, что с Каннегисером он даже не знаком. К следователям явился комендант Петрограда Шатов:

– Зачем вы арестовали Алейникова? Это – сионист, а сионисты – слякоть, ни на что не способная. Так что вы этого Алейникова арестовали совсем зря, его придется выпустить.

А поздно вечером Отто и Рикс были вызваны для отчета по делу в Президиум ЧК.

Вот они – вершители судеб человеческих, пылкие максималисты, романтики революции – уселись друг против друга, все очень молоды: Антипову – двадцать три года, Иосилевичу – двадцать, Бокий в свои тридцать девять смотрится уже солидным. Все с очень серьезными, усталыми от бессонных трудов лицами. И все обречены – смертники, всех до единого ждет в будущем расстрельная пуля от своих же партийных товарищей-чекистов.

– Ну что, напали на верный след сообщников убийцы? – был вопрос.

Отто ударился в многословные предположения. С одной стороны, нет прямых улик, что убийца – член партии правых эсеров и совершил убийство по заданию этой партии, но, с другой стороны, из писем видно, что он действовал в какой-то группе или организации, близкий родственник небезызвестного Филоненко и друг расстрелянного Перельцвейга. И тут следователи предложили свою версию преступления. В письменном изложении Эдуарда Отто она выглядит довольно нескладно, но смысл вполне очевиден:

Не следует забывать, что главный контингент знакомых убийцы – разные деятели из еврейского общества, что убийца сам, как и его отец, играли видную роль в еврейском

обществе. Принимая во внимание личность тов. Урицкого, который чрезвычайно строго и справедливо относился к арестованным евреям, буржуям, спекулянтам и контрреволюционерам, что убийца Каннегисер до убийства был на Гороховой, получив от тов. Урицкого пропуск, и просил его не расстреливать Перельцевейга, его родственника, однако Перельцевейг был расстрелян, может возникнуть еще предположение, что тов. Урицкий, возбудив именно страшную злобу некоторых лиц, которые полагали, что можно добиться его доступности на национальной почве и можно будет влиять на него, но эти расчеты оказались неправильными, значит, он должен был быть убит. Еще когда революция после нивелирования сословных привилегий (от которого крупное буржуазное еврейство ничего не теряло, а выигрывало только равноправие) при дальнейшем своем ходе после Октября стала сильно затрагивать оборот капиталов и торговые махинации, то есть добралась до корня капитализма, тогда вместе с другими капиталистами должны были восстать и еврейские тузы, и начала выделяться именно фигура тов. Урицкого как рубящего корни благосостояния этих тузов, как человека, от которого не укроешь никакие махинации, проделываемые под советским флагом, с предъявлением всех узаконивающих эти махинации советских бумаг и разрешений, как человека, наконец, которого и последнее средство не берет, – оказывание всяких влияний, как человека, в последнее время ставшего так же на последней дороге этих жуликов, на последней артерии жизни. Я говорю о махинациях с разными переводами ценностей за границу – и там впереди них оказалась пугающая фигура тов. Урицкого...

Короче говоря, Отто–Рикс предложили вместо результатов следственной работы, основанной на фактах, крик своей души – старую, как мир, версию вездесущего и неуловимого еврейского заговора. Какую реакцию их сбивчивая, пла-

менная речь могла вызвать у членов Президиума ЧК, среди которых трое из четверых были евреи и все четверо – коммунисты-интернационалисты? «Но разных предположений не дали нам высказать», – пишет Отто.

– Вы на неверном пути! – прервал Бокий. – У нас есть два провокатора-осведомителя среди эсеров, скоро они доставят факты, показывающие совсем иное.

– Знаете ли вы, что сказал мне на допросе Борис Розенберг? – спросил Антипов, и так как следователи этого не знали, кратко изложил суть откровений Розенберга, чрезвычайно важных для дела.

И тут Иосилевич сообщил, что ему удалось поставить часовым у Каннегисера своего человека, который вошел в доверие к узнику, и что тот уже написал записку на волю. Он, Иосилевич, это дело энергично ведет, и оно может дать больше, чем сумели разведать следователи.

– Перечислите арестованных по делу! – потребовал Антипов. – Слишком много народу сидит, и среди них много невинных. Начните с Алейникова. Его надо немедленно освободить!

Что-то члены Президиума уж слишком пекутся об этом Алейникове. Не потому ли, что он для ЧК – свой человек, тайный агент среди сионистов? Не на него ли намекал Бокий, говоря о «провокаторах-осведомителях»? Скоро Алейников, без всякого согласия следователей, будет выпущен на волю, а через некоторое время даже послан за границу как агент Центрального союза потребительских обществ для закупок с крупной суммой денег.

Но в ту ночь следователи упираются, доказывают, что роль Алейникова не выяснена, роятся в бумагах... Терпение Президиума иссякло. Оставив упрямых следователей в одиночестве, члены его удалились в соседнюю комнату на совещание, а вернувшись, заявили, что время позднее и пора расходиться.

Разочарованные Отто и Рикс поняли, что им не доверяют. Президиум ЧК ведет параллельно свое следствие по этому делу, не посвящая их в него и не пользуясь добытыми ими сведениями. Определились два взгляда на существо и мотивы преступления. И этот раскол среди чекистов – принципиальный.

Только утром 2 сентября Леня узнал, что его родные арестованы. Заступивший на дежурство у камеры каторжник-коммунар Спиридонов вернул ему письмо. И получил другое, полное ребусов – для передачи по новому адресу:

Если не трудно, прошу вызвать моего приятеля. Его номер: 1) первая цифра: сколько дочерей у того, «кто всегда пылает, как бензин»; 2) вторая: сколько букв в отчестве «доморощенного Платона» (без знаков); 3) третья: сколько букв в имени того, кто «всегда пылает» (без знака); 4) как вторая; 5) сколько сыновей у того, кто «всегда пылает». Имя приятеля: как отчество толстой дамы, которая считает себя Анной Карениной, которую любит моя сестра и которой нет в Петрограде. Отчество приятеля так же. Нужно прибавить «сын», когда будете звать к телефону. Пожалуйста, повидайтесь и где-нибудь чрезвычайно осторожно, не называя, сведите с подателем сего.

Надеждинская ул., последний дом по левой стороне (48 или 50). Угол Манежного. Софья Исааковна Чацкина.

Софья Исааковна Чацкина среди культурной публики Петрограда – лицо известное. Издательница журнала «Северные Записки», держательница литературного салона, выводившая в свет многие молодые дарования того времени: Ахматову и Цветаеву, Есенина и Клюева, Мандельштама и Ходасевича, – публиковала и первые стихи Леонида Канне-

гисера. Она приходилась ему теткой и была очень близким, доверенным человеком. «Нервная, изящная женщина... с виду тишайшая, но внутренне горячая», – как видел ее философ Федор Степун. В деле сохранилось письмо Лене – Левушке, так его принято было называть в семье, – подписанное «Регентка» и «Твоя тетя», очевидно, от Софьи Исааковны и переданное через Спиридонова. Судя по всему, единственный родной голос с воли, дошедший до узника.

Милый мой! Да хранит тебя Бог. Будь бодр и не падай духом. Милый, дорогой мой Левушка, так много хотела бы написать тебе, но не нахожу слов. Мало слов о горе.

Но одно хочу сказать тебе, мой бедный мальчик. Всеми мыслями, всеми чувствами я всегда с тобой. Ни разлука, ни расстояние не уменьшили моей безграничной к тебе нежности. Без тебя жизнь, и без того печальная, стала для меня совсем темной и тусклой. Думала ли когда-нибудь, что такое горе стряется. Будь мужествен, дорогой мой, будь добр, не падай духом и да хранит тебя Бог! Обнимаю тебя, Левушка, мой милый, как люблю от всего исстрадавшегося и любящего сердца.

Спиридонов дважды в этот день побывал по указанному адресу. В первый раз застал там только прислугу, которая объяснила, что хозяйка уехала в Павловск. Через несколько часов пришел опять и стал ждать. И не напрасно.

Явилась молодая дама, представилась: Ольга Николаевна, двоюродная сестра Лени, и, узнав, откуда гость, предложила:

– Будьте со мной так же откровенны, как с Чацкиной.

Потом пригласила Спиридонова в гостиную, где тот вынул папиросы и извлек запрятанное в одну из них письмо. Прочитав его, Ольга Николаевна сказала:

– Я не пойму, это разберет Софья Исааковна, – и пустилась в расспросы.

Спиридонов изложил план побега Лени: отбить его от стражи, когда повезут в Кронштадт.

– Ну, слава богу, что попал такой человек! – отвечала Ольга Николаевна. И пообещала: – А мы не пожалеем хотя бы тысячи, десятки тысяч рублей...

Потом оставив гостя одного в доме, велела ждать, а сама поехала за Чацкиной. И на удивление скоро вернулась вместе с ней. Спиридонов докладывал:

Моментально раздевшись и закрыв кругом двери в гостиной, Софья Исааковна Чацкина взяла письмо и начала читать и высчитывать, что для меня было непонятно, а разобравши все, сказала, что надо звать по телефону № 17872 Генриха Генриховича, его сына, с которым она должна была меня свести. Все было безуспешно, звонили долго, дозвониться не могли.

Новую встречу назначили на завтра в половине девятого утра, у церкви в Летнем саду. Однако и назавтра, 3 сентября, женщины ничего нового не сообщили: ни с Генрихом Генриховичем, ни с его сыном они свести не могут, звонили всю ночь – нет дома, будут звонить еще. Софья Исааковна, «как очень умная, предусмотрительная женщина», по определению Спиридонова, призналась, что боится предпринимать что-нибудь, потому что арестованы все родственники и много знакомых, и не последовал бы расстрел всех за этот побег. Того же мнения была и Ольга Николаевна и просила посланца переговорить с Леней, берет ли он на себя последствия для своих родных в случае побега.

Шифровку Лени его стражник «переснял такими же буквами» для Иосилевича, а оригинал вернул автору, как тот просил, с тем что «напишет другое». Переговоры

о побеге продолжались. Стало быть, узник взял на себя все последствия...

Если при аресте, по горячим следам свершившегося, Леонид кается перед князем Меликовым в преступном легкомыслии, краснеет и просит прощения за то, что подверг опасности совершенно незнакомых людей, то теперь ввергает в смертельную опасность, втягивает в свое «сияние» самых близких. Трансформация личности – в час одиночества и тьмы. Идеал требует жертв – все больших и больших.

Но кто тот человек, которого ищет Леонид, который, как он надеется, может спасти его, хотя это «почти невозможно»?

«Адъют» – назван он в первом письме. Родители должны повидаться с ним и попросить «набрать 5 – 6 человек и мотор». Судя по письму, это человек влиятельный и родным Лени хорошо известный. Кто же он, этот «адъют» – «адъютант»?

Так Каннегисер мог назвать только одного человека – своего двоюродного брата Максимилиана Филоненко. Это о нем так пристрасно спрашивали чекисты. Во втором, зашифрованном письме Леня называет этого человека «приятелем» и сообщает, что имя его «так же», как и отчество, и что нужно прибавить слово «сын», чтобы позвать его к телефону. Максимилиан Максимилианович Филоненко – сын Максимилиана Филоненко и Елены Самуиловны Каннегисер, другой тети Леонида. Чацкина называет его Генрихом Генриховичем из конспирации, как о том просил в своей записке Леня: «Чрезвычайно осторожно, не называя, сведите с подателем сего». И номер телефона тоже, видимо, ложный: вряд ли Софья Исааковна, «женщина умная и рассудительная», будет сразу раскрывать гонцу все секреты.

Вечный адъютант – таким предназначением наделила Филоненко сама судьба. До революции он был адъютантом командира броневоего дивизиона и прославился тогда звер-

ским отношением к своим солдатам и мордобоем. Но после Февраля быстро перелицевался и превратился в защитника солдатских интересов. В шальное революционное времечко он под покровительством еще более крупного, гениального политического авантюриста Бориса Савинкова делает блестящую карьеру и становится Комиссарверхом – комиссаром Временного правительства при Ставке Верховного главнокомандующего, генерала Корнилова. Здесь он интригует и двурушничает изо всех сил, действуя сначала на стороне мятежного генерала, а потом, когда заговор провалился, всячески топит его и требует смертной казни. Во время подавления Корниловского мятежа он снова «адъют», помощник Бориса Савинкова, ставшего петроградским военным губернатором. Поэтесса Зинаида Гиппиус, увидев Филоненко несколько раз, дала ему пронизательную характеристику: «Небольшой черный офицер, лицо и голова не то что некрасивы, но есть напоминающее “череп”. Беспokoйливость взгляда и движений. Очень не глуп, даже в известном смысле тонок, и совершенно не заслуживает доверия. Я ровно ничего о нем не знаю, однако вижу, что у него два дна... Филоненко поставил свою карту на Савинкова. Очень боится (все больше и больше), что она будет бита. Но, конечно, исчезнет, решив, что проиграл».

И после Октябрьского переворота Филоненко в той же роли – рядом с Савинковым, но уже в подпольной борьбе с советской властью. Они делят сферу действий примерно в той же пропорции, что Ленин с Зиновьевым: Савинков закрепляется в Москве, а его «адъют» – в Северной столице. Оба считались злейшими врагами большевиков, и оба были неуловимы. Антипов в своем отчете о работе Петроградской ЧК пишет, что Филоненко менял фамилии, как одежду: Мухин, Карпов, Яковлев, Звиппер, Корнфельд...

«Адъют»-то «адъют», но из тех, кто, прячась за спину первого лица, кого-то более сильного, тайно и ловко влияет

на ход событий в свою пользу. Типичный политический карьерист и перевертыш, которые во множестве размножаются в смутные времена. Несомненно, с ним-то через цепь посредников и ищет связи Леонид.

6 сентября. Семь часов вечера. Летний сад. Очередная конспиративная встреча. Дождь – как из ведра. Каторжник-коммунар терпеливо ждет кузину Лени Ольгу Николаевну. За ним наблюдает посланный комиссаром Геллером разведчик со странной фамилией – Тирзбанурт. А за ними обоими, как успеваешь заметить осторожный разведчик, в свою очередь, внимательно следят двое неизвестных – один с правой стороны сада, другой – с левой.

Все начеку и ждут. Дождь не утихает. Срок конспиративной встречи истек, а Ольги Николаевны все нет.

И тут разведчик замечает еще двоих мужчин, выросших как из-под земли, один в студенческой форме, другой в офицерской. Надо что-то делать. Что? Арестовать! – решает разведчик. Но силы неравны. Разведчик решительно направляется к Спиридонову, чтобы действовать вместе. И в этот момент появляется Ольга Николаевна.

Полный провал! Все разоблачены – и чекисты, и заговорщики. Все всё видят и всё понимают. Разведчик бросается к женщине с револьвером:

– Вы арестованы! – А четверо незнакомцев в ту же минуту испаряются, исчезают в дожде...

Разведчик Тирзбанурт, чтобы хоть как-то поддержать свою подмоченную дождем репутацию, заканчивает рапорт о случившемся похвалой себе: «Арестованная женщина предлагала крупную сумму денег (какую именно, она не сказала), лишь бы ее освободили, но в этом ей было отказано категорически»¹.

¹ Рапорт опубликован, см.: *Коняев Н.* Люди против нелюди. М., 1999. С. 260.

Раздосадованный Иосилевич послал Ольгу Николаевну к следователям на допрос. А тем, кроме того, что она служила где-то сестрой милосердия, ничего от нее добиться не удалось. Она наотрез отказалась отвечать на какие-либо вопросы.

Так неожиданно и нелепо рухнул хитроумный план – и побега, и чекистской ловушки.

Мыловаренный завод имени Урицкого

Именно в эти дни засверкал разящий меч революции. 5 сентября Совнарком принимает знаменитое постановление «О красном терроре»: «Необходимо обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях... Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам...» Нарком внутренних дел Петровский в циркулярной телеграмме предписывает произвести аресты правых эсеров, представителей крупной буржуазии, офицерства и держать их в качестве заложников. А при попытке скрыться или контрреволюционных вылазках – массовый расстрел, немедленно и безоговорочно. «Ни малейшего колебания при применении массового террора!»

Старт дан. Кровавая истерия охватывает всю страну. Уже завтра, 6 сентября, петроградские газеты публикуют сообщение ЧК за подписью Бокия и Иосилевича: расстреляно 512 контрреволюционеров и белогвардейцев. Тут же – список заложников, продолженный в трех следующих номерах газеты – 476 человек, очередь к смерти: если будет убит еще хоть один советский работник, заложников расстреляют.

– В эту эпоху мы должны быть террористами! – восклицал на заседании Петросовета Зиновьев. – Да здравствует красный террор!

Долгие, несмолкающие аплодисменты всего зала, переходящие в овацию.

Тот же Зиновьев предложил позволить рабочим «расправляться с интеллигенцией по-своему, прямо на улице». Но тут уж партактив воспротивился: ведь нас перещелкают в первую очередь! Управлять расправой, держать под контролем! Тогда и понеслись по всем районам «спецтройки» – для выявления контрреволюционных элементов.

Революция приняла людоедское, зверское обличье. Газеты призывают: «Не нужно ни судов, ни трибуналов. Пусть бушует месть рабочих, пусть льется кровь правых эсеров и белогвардейцев, уничтожайте врагов физически!» Кипят митинги. «Нет больше милости, нет пощады!» «Через трупы бойцов – вперед к коммунизму!» Двигается отряд коммунаров, впереди – черное знамя с надписью: «Пуля в лоб тому, кто против революции!» И вот уж – настоящая живодерня – из письма рабочих в «Красной коммуне»: «Вас, жирных, за ваши преступления и саботаж надо бы препроводить на утилизационный завод и переварить на мыло, которым пользовались бы труженики, чтобы знать, что их кровь и пот, что вы из них высосали, не пропали даром».

И эту «классовую психологию», а вернее сказать, худшие человеческие инстинкты, красные идеологи тут же оформляют, навязывают и закрепляют в сознании, как им кажется, навсегда.

Нервными пальцами белую грудь раздираю
И nanoшу оголенному сердцу удар.
В чашу причастную красную кровь собираю,

гневен и яр.

Жадно прильнув к опененному алому краю,
Пей, коммунар!..

Этот политический садомазохизм – из «Красного евангелия» того же Василия Князева, изданного в 18-м.

А как же детям расти с таким «евангелием»? Не жутко? Ничего, воспитаем бесстрашных!

«Девочка двенадцати лет боится крови. Составить список книг, чтение которых заставило бы девочку отказаться от инстинктивного отвращения к красному террору». Это из «Сборника задач по внешкольной работе библиотек», выпущенного в скором времени, в 20-м году.

Общую идейную базу советской власти – диктатуры пролетариата – подвел универсальный гений Ленина: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть».

В дни красного террора повсеместно проводится кампания переименований. Делать им больше нечего – в нищей, голодной, истекающей кровью стране! Имя Урицкого получают десятки поселков, районов и улиц, фабрик и пароходов, рудников и фортов. Дворцовую площадь и Таврический дворец в Петрограде отныне надлежит называть площадью Урицкого и дворцом Урицкого. А в Харьковской губернии появится Первый государственный мыловаренный завод имени Урицкого («Вас, жирных, надо бы... переварить на мыло»)!

И все это – под истерические вопли о победоносном шествии революции – в Германии, Европе, во всем мире. Кажется, вот-вот – и карта Земли насквозь пропитается кровью, пущенной большевиками в России.

Большой террор обрушился на страну с первых же лет революции, нарастая волнообразно, а не в конце 30-х годов, как многие до сих пор думают. Один из его организаторов и идеологов, чекист и литератор, писавший, по сути, не чернилами, а кровью, Мартын Лацис (Судрабс) чеканил публично в ноябре 18-го: «Мы не ведем войны против отдельных лиц... Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что

обвиняемый действовал делом или словом против Советов...» Вот оно, нетленное «Слово и дело государево!» «Первый вопрос, который вы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора».

Интересно, к какому разряду для истребления отнес себя Лацис, когда через двадцать лет сам был поставлен к стенке?

Кто наш и кто не наш, кому жить, а кому умереть – задачка решалась пугачевски топорно: по социальному, классовому признаку и партийной принадлежности. По свидетельству того же Мартына Лациса, ВЧК раскрыла 28 кадетских организаций, 107 черносотенных, 34 правых и 50 левых эсеровских, 18 меньшевистских и 175 «неопределенных». Гуманитарная профессия служила дополнительным показателем неблагонадежности. И, разумеется, пишущее сословие заведомо попадало под подозрение. Сколько литераторов и журналистов подверглось репрессиям в политической круговерти первых двух лет революции? А сколько было подбито и выбито тех, кто, профессионально не причисляя себя к писателям, – среди дворян и священников, офицеров и ученых, среди юристов, учителей, чиновников, врачей – обладал даром слова, выразил себя в нем, умел держать перо?

В адресно-телефонном справочнике «Весь Петроград» за 1917-й чуть ли не на каждой странице в графе «профессия» находишь – «литератор». Страна писателей. Почему лишь немногих из них мы знаем? Куда они все делись? Погибли? Эмигрировали? Сменили профессию? Призадумалась... Разметало пишущее сословие.

Еще до объявления массового террора, в ночь на 18 июля 1918-го недалеко от Алапаевска Пермской губернии сброшен в шахту живым талантливый поэт, юный князь Вла-

димир Палей, сын Великого князя Павла Александровича Романова. Когда был издан приказ о регистрации членов семьи Романовых, его вызвал Урицкий и предложил отречься от своего отца и других родственников. Князь наотрез отказался и был отправлен в ссылку, где его и ждала гибель.

Духовный писатель и церковный деятель, председатель Общества распространения религиозно-нравственного просвещения протоирей Философ Николаевич Орнатский расстрелян в августе на берегу Финского залива вместе с группой офицеров, тела сброшены в море.

То же – и в Москве. 4 сентября казнен протоирей Иоанн Восторгов, настоятель Покровского собора (храма Василия Блаженного), «златоуст» Русской православной церкви, издавший до революции пятитомное собрание сочинений. Тогда же был заточен в тюрьму 86-летний монархист Дмитрий Иванович Иловайский, автор патриотических учебников по русской и всеобщей истории, на которых воспитывалось несколько поколений.

20 сентября убит без суда и следствия выездной группой ЧК (отряды смерти) на берегу Валдайского озера, напротив знаменитого Иверского монастыря, Михаил Меньшиков, публицист «Нового Времени» и литературный критик.

Новый, 1919-й умножил печальный список. В ночь с 27 на 28 января по приказу Ленина расстрелян во дворе Петропавловской крепости Великий князь Николай Михайлович (Романов), историк, председатель Русского географического общества, переизбранный на этот пост уже после Февраля. Говорят, он вышел на место казни с котенком на руках, перед расстрелом – выпустил и произнес прощальное слово. Записать было некому... Сначала Великий князь содержался на Гороховой и там, в тюремном коридоре, успел сказать Лулу Каннегисер, что видел ее брата и что тот «вел себя как истинный герой и мученик».

11 июня в том же Петрограде расстрелян юрист и филолог, член Союза русского народа, профессор Борис Владимирович Никольский. Зинаида Гиппиус записала в дневнике, что сыну Никольского на просьбу выдать тело отца для захоронения цинично заявили, что оно скормлено зверям зоологического сада. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали. Жена сошла с ума. Остались дочь 18 лет и сын 17-ти. И это при том, что борцом против новой власти Никольский не был, говорил про большевиков: «Делать то, что они делают, я по совести не могу и не стану; сотрудником их я не был и не буду, но я не иду и не пойду против них: они исполнители воли Божией и правят Россией если не с Божьей милостью, то Божиим гневом и попусцием».

В сентябре 19-го в Петрограде были произведены массовые обыски и аресты кадетов, и среди них оказалось немало людей, причастных к литературе...

Тюремную камеру на Гороховой за несколько месяцев до ареста Каннегисера обживал писатель Михаил Пришвин, а вместе с ним, как он говорил, «12 Соломонов нашей редакции», сотрудников газеты «День». Там они и встретили мимолетное видение своей демократической мечты – Учредительного собрания. А через несколько месяцев после Каннегисера, может быть, даже в ту же камеру, попадет Александр Блок, арестованный заодно с целой плеядой известных писателей – Евгением Замятиным, Алексеем Ремизовым, Ивановым-Разумником и другими – «замеченных» по делу левых эсеров. Правда, их вскоре выпустят – но ведь и короткий срок может вместить многое, для выстрела хватает и секунды.

Поругание интеллигенции подпитывали и сами интеллигенты. Немало их по убеждениям, слепоте или конъюнктурным соображениям оказалось в большевистском стане. Леонид Каннегисер еще мог прочесть в тюрьме ста-

тью «Интеллигенция и трагический театр», подписанную «Незнакомец», в «Петроградской правде» от 15 сентября. По строю мысли и речи видно – писал интеллигент, но он отрекается от своей среды и, задев ее больное место, грозит радикальным отсечением от народа.

«Ну, а теперь, когда вы, граждане-интеллигенты, голодные, обнищавшие, без всякого почти дела, сидите по своим углам, – поняли вы, наконец, в чем заключается сущность истории русской интеллигенции, та сущность, которая привела сейчас всех вас к тупику?»

Ведь вы, если хотите, до самого последнего времени не жили в подлинном смысле данного слова. Вы “литературничали”! Наиболее талантливые из вас творили образ, “сочиняли модель”, по которой вы и “одевались”. Поэтому-то у вас каждое десятилетие “менялось платье”. Вы были немножко а ля Вольтер, потом вы сентиментальничали с Карамзиным, разочаровывались в жизни с Лермонтовым, думали окончить романтизмом, но, бросив его, пошли за Базаровым, не удовлетворившись им, отправились в народ, к мужику, перед которым клялись и которому навязывали свои чувства и идеи; отмахнувшись затем от последнего, обратили свое внимание на рабочего, для чего сделались марксистами и неомарксистами, но, соскучившись над сухой материей, “ударилась” в декадентство, символизм, потусторонний анархизм, дойдя перед войной до “последней черты”. Война вызволила вас, сделав националистами. Революция с Керенским опьянила вас словоизвержением, а в октябрьские дни на вас напал столбняк, который вы называли “саботажем”. “Саботажная мода” уже вышла из моды. Вы готовы переодеться, но у большинства из вас не хватает средств на новое платье. Вы стараетесь из саботажного костюма выкроить пролетарский. Увы, из этого ничего не выйдет, – на последнюю одежду надо больше материала. Вот почему в лучшем случае вы выгля-

дите сейчас комично. Вас можно только слегка пожалеть. На вас даже и рассердиться нельзя по-настоящему. Ваши ориентации на “союзников” и немцев, ваши восстания и заговоры, ваши надежды на то, что вот “приедет барин”, который и “рассудит”... все это так же “литературно”, как и вся ваша история в прошлом...

Очистите души свои страданиями. Страдание возвращает человека к самому себе, то есть к действительной жизни. Греки были не глупы, когда запрещали женщинам ходить на комедии и разрешили – только на трагедии, созерцанием которых дух очищался и укреплялся.

Нашей развинченной, абсолютно чуждой героизма интеллигенции, очень женственной по своему душевному складу, не мешает приобщиться в той или иной степени к театру трагедии. Что делать, если русский интеллигент не знает, не чувствует всей великой трагедии переживаемого народом момента! Так пускай хоть “литературным путем” придет к нему!..

Горе тому, кто этого не видит, не слышит, не понимает, не чувствует! Он будет выброшен за борт и явится только навозом для удобрения... Жизнь сострадания не знает.

Впрочем, о чем печалиться! Даешь новую интеллигенцию! На смену старорежимной, отжившей свой век уже зародилась и подрастала не по дням, а по часам – бодрая, мускулистая, резвая и трезвая, без слюней, соплей и слез, без комплексов и сомнений – «наша в доску»! Вроде того же «красного Беранже» – Василия Князева, воспевающего массовый террор. Или баснописца Демьяна Бедного – когда расстреливали покусившуюся на Ленина Фанни Каплан, «красный Крылов» напросился посмотреть, как это делается, и вдохновился на всю оставшуюся жизнь!

К а з н ь

Убийца Урицкого переведен в Кронштадтскую тюрьму, откуда его возят иногда в Петроград на катере для допросов. Председателю местной ЧК Егорову снова удалось спровоцировать через охранника переписку Леонида с волей. Узник еще рассчитывает на побег, но уже через других людей. Один из его адресатов – Александр Рудольфович Помпер, который к тому времени арестован, о чем Леонид, конечно, не знает. Опять разрабатывается план бегства, причем, по словам следователей, уже называется и сумма, необходимая для подкупа охраны, – 85 тысяч рублей. Эти деньги должен дать друг семьи Каннегисеров Лазарь Рабинович, тоже уже арестованный.

Помпера («лысина через всю голову, женат, имеет детей, важный инженер, занимал ответственную службу в конторе «Сталь»») допросили 18 сентября. И вот что он поведал:

В последнее время у нас на квартире бывали: Леонид Каннегисер, Марк Александрович Ландау¹, Исай Бенедиктович Мандельштам для игры в карты... Где ночевал Л. Каннегисер, я не знаю, замечал, что он дома не ночует, где ночует, не спрашивал, полагая, что мне могут не дать ответа. Л. Каннегисера я знаю как родственника, племянника моей жены. Приходил иногда обедать, иногда играть в карты. Помню, что, засидевшись долго у меня, он раза два оставался ночевать.

Вот, собственно, и все, что сообщил Помпер, но следователи уцепились за него очень крепко. Хотелось как можно скорее найти сообщников убийцы. Среда сплошь еврейская, подозрительная...

¹ Писатель М.А. Алданов.

Страшно трудно было допрашивать Помпера, человека ловкого, – пишут в отчете по делу Отто и Рикс, – но у нас были улики, письмо убийцы, и наконец мы добились от Помпера ценного признания в том, что Л. Каннегисер до убийства недели две проводил вечера вместе с Мандельштамом и Поповым Григорием, школьным товарищем по гимназии Гуревича, – у него, Помпера, и там ночевал. Очевидно, там же выработан план убийства тов. Урицкого. Что касается просьбы убийцы Каннегисера к Помперу, чтобы тот раздобыл крупную сумму денег для побега его и таковой побег подготовил, то Помпер дело это объяснить отказался, не дав никакого разъяснения.

Хорош этот скоропалительный, ни на чем не основанный вывод: «Очевидно, там же выработан план убийства тов. Урицкого!» Допросили и прислугу Помпера, которая подтвердила: да, в последнее время гости ночевали. Но пускать велели не всех, а только того, кто, спросив хозяина, повторял три раза: «Миля, Миля, Миля», только тогда и отпирали. Вот тебе и пароль, и конспирация, и подпольная организация!

После допроса Егоров увез Помпера и его жену к себе в Кронштадт, а Отто-Рикс отправились в Президиум ЧК доложить об успехе, а заодно подписать новую пачку ордеров на арест. Но там их охладили и поставили на место. Антипов и Иосилевич объяснили, что все это им уже известно от самого Егорова и что Президиум сам ведет за Поповым и другими тщательное наблюдение, чтобы выявить побольше сообщников, поэтому с арестами надо подождать.

Два следствия, независимых одно от другого, продолжались, каждое – своим путем.

Григорий Попов, однокашник Леонида по гимназии, бывший прапорщик, служивший в это время конторщиком, будучи все-таки арестован, заявил, что ни к какой партии

или организации он не принадлежал и не знал о подготовке покушения на Урицкого. Леонид был слишком большой позер, они часто ссорились, и отношения у них испортились. Последний раз виделись в июне... Но «числа около 15 сентября ко мне пришел один господин в военной форме и передал записку от Леонида, в которой он просил помочь в материальном отношении, а также оказать помощь в побеге, который он думал совершить. Я передал принесшему записку господину 250 рублей для передачи Леониду, а также передал два адреса лиц, которые знали Леонида и которые, по моему мнению, могут помочь ему в доставке пищи. Принимать участие в организации побега я не намеревался, так как считал это бредом больного человека».

Кроме того, Леонид посылал записку с просьбой помочь в побеге еще одной своей тете, актрисе Софье Самуиловне Каннегисер, которая вела переговоры с подателем записки, но от плана побега тоже отказалась из-за его невозможности.

На этом тема побега в следственном деле обрывается. Прекращаются и допросы, и все другие действия. Судя по всему, до 18 сентября Леонид еще был жив, но потом что-то случилось.

И это «что-то» – казнь...

Первое известие о ней появилось в неожиданном месте, не из официального источника. 1 октября в Архангельске, оккупированном войсками Антанты, газета «Отечество» сообщила со ссылкой на сведения, полученные из Петрограда, о расстреле Леонида Каннегисера. Ближайшее участие в издании этой газеты принимал исчезнувший на время и вынырнувший теперь на поверхность далеко на Севере, под покровительством оккупантов, кузен Леонида – тот самый Максимилиан Филоненко. «Адъют» в очередной раз сменил шефа.

Ни приговора, ни акта о расстреле в деле нет. Постановление по делу, написанное через три месяца, бесстрастно фиксирует: «По постановлению ЧК расстрелян... сентября». День почему-то не указан. Леонид Каннегисер был казнен в спешном порядке, до окончания следствия, по чьему-то устному приказу или по решению местной, кронштадтской расстрельной тройки. Публично чекисты объявили об этом только 18 октября: «По постановлению ЧК... и по постановлениям районных троек, санкционированных ЧК, за период времени от убийства тов. Урицкого по 1 октября расстреляны:

по делу убийства тов. Урицкого – Каннегисер Леонид Акимович, б<ывший> член партии народных социалистов, член “Союза спасения Родины и Революции”, бывший районный комендант право-всероссийской военной организации, двоюродный брат Филоненко...» Далее идет список казненных по другим делам.

Из-за отсутствия в документах точной даты расстрела Каннегисера до сих пор в разных источниках и энциклопедических словарях эта дата «гуляет», различается. Мы и теперь не можем точно определить ее, но, по крайней мере, на основе изучения материалов дела, имеем возможность сказать, что Каннегисер погиб в один из дней после 18 сентября и до 1 октября.

На следующий день после официального сообщения о его расстреле на конференции Чрезвычайных комиссий Северной области Бокий отчитался: «За время красного террора расстреляно около 800 человек». Но только в Кронштадте, по докладу Егорова, главы местной Чрезвычайки, «в связи с красным террором произведено до 500 расстрелов». На самом деле число жертв было еще больше, и разгул террора в ряде мест уже вышел из-под контроля – об этом говорит хотя бы подозрительная округленность объявлен-

ных цифр. Историк революции Сергей Мельгунов собрал свидетельства очевидцев тех событий: многие сотни людей были расстреляны бессудно, даже без приказа центральной власти, по воле местных советов и чрезвычайек, а то и просто из разыгравшейся жажды классовой мести, нередко в пьяном угаре. Вывозили небольшими группами в места поукромней, раздевали и укладывали пулей навечно в наспех вырытые ямы.

С кем вышел на расстрел Леонид Каннегисер? Или его казнили персонально, отдельно от всех? Остается только гадать. Известна история видного священника отца Алексия (протоиерей Алексей Андреевич Ставровский), старца 84 лет, благочинного всех морских церквей. Он был арестован как заложник и тоже в конце сентября переведен в Кронштадтскую тюрьму. Однажды заключенных вывели, построили в ряды и объявили: за убийство товарища Урицкого каждый десятый из вас будет расстрелян! Отец Алексей оказался девятым, десятым стоял совсем молодой священник. И старец поменялся с ним местом.

Мельгунов приводит еще одно сообщение: примерно в те же дни были потоплены в Финском заливе две барки, наполненные офицерами, трупы их потом выбрасывало на берег, многие были связаны по двое и по трое колючей проволокой. У Михаила Кузмина в цикле «Северный веер», посвященном Юрию Юркуну, есть восьмистишие:

Баржи затопили в Кронштадте,
Расстрелян каждый десятый, –
Юрочка, Юрочка мой,
Дай Бог, чтоб Вы были восьмой.
Казармы на затонном взморье¹,
Прежний, я крикнул бы: «Люди!»

¹ Дерябянские казармы, в которых содержалась часть арестованных по делу об убийстве Урицкого, в том числе Юрий Юркун, находились на берегу Галерной гавани в Петрограде.

Теперь я молюсь в подполье,
Думая о белом чуде.

Пришло время, когда люди, с точки зрения поэта, перестали быть людьми...

Арифметика смерти есть и у Василия Князева, он вел тогда свой подсчет:

Да ведают скопища тех берегов,
На лагерь наш меч подымая:
Семь пуль в браунинге – шесть трупов врагов
И труп коммунара – седьмая...

Ходило несколько рассказов о финале жизни Леонида Каннегисера. Был случай, когда катер, на котором его везли в Петроград на допрос, попал в сильный шторм. Все перепугались, а он острил:

– Если мы потонем, я один буду смеяться.

Будто бы чекисты ускорили казнь: узник так располагал к себе кронштадтских матросов, что они могли освободить его. А уже после расстрела кто-то из чекистов дал отцу Лени фотографию сына, сделанную в тюрьме: «Возьмите, ваш сын умер как герой...»

Поэт Леонид Каннегисер пережил видение смерти за год до гибели:

Потемнели горные края,
Ночь пришла и небо опечалила, –
Час пробил, и легкая ладья
От Господних берегов отчалила.
И плыла она, плыла она,
Белым ангелом руководимая;
Тучи жались, пряталась луна...
Крест и поле – вот страна родимая...
Ночь поет, как птица Гамаюн.
Как на зов в мороз и ночь не броситься?
Или это только вьюжный вьюн
По селу да по курганам носится?..

Плачет в доме мать. Кругом семья
Причитает, молится и кается,
А по небу легкая ладья
К берегам Господним пробирается.

Требуется герой

15 марта 1896 года в Петербурге, в богатой еврейской семье родился мальчик. Отец – потомственный дворянин, видный инженер-путеец, был директором правления Русского акционерного общества «Металлизатор». Мать – врач, но всю себя посвятила мужу и детям. Это был большой, гостеприимный дом, «патрицианский», как называл его друг семьи поэт Михаил Кузмин: огромный зал с камином и роялем, медвежьи шкуры, ковры, стены, обтянутые шелками, роскошная иностранная мебель. В лучшие годы, до революции – лакеи, слуги, швейцар. Отец – с барской внешностью, Цветаева называла его «лордом» – считал себя «как товарища и друга великих писателей и поэтов нашей Родины», которым он «с юности поклоняется». Принимали широко – от царских министров до революционеров-террористов. Летом уезжали на дачу в Одессу.

Вокруг – целый клубок всевозможной родни, двоюродные и троюродные, дяди-тети, кузены и кузины, селились поближе друг к другу, гнездами. Лева, Левушка (семейное имя Лени) был общим баловнем, его обожали. Стройный, высокий, элегантный, черные миндалевидные глаза, нос с горбинкой, на всех фотографиях – серьезный, значительный вид. Исключительная одаренность, независимость, обостренное достоинство – это проявилось очень рано.

В гимназии вместо классного сочинения – первое стихотворение – «Дон Жуан». Тогда же – первый поединок. Память о нем – бумажка, перекочевавшая из письменного

стола Лени в следственное досье. Штрих к характеру, подписанный его гимназическими товарищами. Почерк – еще детский.

Суд чести нашел, что пощечина, данная Каннегисером Маленбергу, явилась слишком сильным эксцессом, и потому постановил выразить Каннегисеру порицание и выражает желание, чтобы стороны помирились.

*Г. Попов, П. Волянский, Б. Бутлеров,
К. Кузнецов, В. Струве и др.*

Что там случилось, кто такой этот Маленберг, нам неизвестно, но бумажка хранилась бережно – как боевая реликвия.

Юношеский максимализм, крайности и метания запечатлены в дневнике: Леня то безмятежно путешествует по Италии, то хочет уйти в монастырь, то рвется на фронт добровольцем. Но в девятнадцать лет – первые важные самостоятельные решения, заявление о себе: выход в литературный свет, публикации стихов и одновременно – вступление в революционную среду.

«Я не ставлю себе целей внешних, – записал Леня, за долго до своего звездного часа. – Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте, – я не связываю с этими положениями определенных душевных состояний, – но единая моя цель – вывести душу мою к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь – не знаю».

Это сквозная нить судьбы Леонида, одна, но пламенная страсть. При всей внутренней противоречивости натуры и внешних метаниях жизнь его сложилась вполне последовательно. Цель – не счастье, а «сияние». Вспышка света во тьме, какой представлялась ему действительность.

Идеализм, героизм, жажда подвига, стремление к великой цели – люди с этими редкими качествами, всегда очень одинокие, выходят на историческую сцену чаще всего именно в революционные, переломные моменты. Время требует героев – и они появляются.

Просиять! – об этом грезил за сто лет до Каннегисера декабрист Муравьев-Апостол:

В конце пути – по вспышке света
Вы опознаете меня...

О том же мечтал Федор Тютчев:

О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И, не томясь, не мучась боле,
Я просиял бы – и погас!

Лев Толстой отметил это стихотворение буквой «Г» – Глубина.

А вот – во времена Каннегисера. «Орел» Николая Гумилева, гордая и сильная птица, зачарованная вышиной, устремилась в небесный полет, все выше и вперед, к Божьему престолу. Пока не задохнулась от блаженства.

Лучами был пронизан небосвод,
Божественно холодными лучами,
Не зная тленья, он летел вперед,
Смотрел на звезды мертвыми глазами...

Александр Блок говорил, что надо ставить перед собой в жизни только великие задачи. Марина Цветаева: «Андрей Шенье взошел на эшафот, а я живу – и это страшный грех...»

Человек с таким мироощущением становится поэтом. Или революционером. Или тем и другим. Именно русская интеллигенция и сделала русскую революцию. Из лучших побуждений. Торопила историю. Ведь что такое революция,

как не историческое нетерпение, истерика Клио – Музы истории? Разлад между идеалом и жизнью – и судорожная попытка преодолеть его, даже ценой жизни. И недаром Муза истории первоначально была Музой героической песни.

На свитке пергамента, который держит Клио, должен сохраниться поразительный человеческий документ нашего героически-истерического прошлого – письмо из Петропавловской крепости девушки-дворянки из богатой семьи, дочери члена Государственного совета Натальи Климовой. Она же – эсерка-максималистка, участница взрыва дачи председателя Совета министров Столыпина 12 августа 1906-го. Письмо написано в момент ожидания смертной казни и предназначено близким друзьям¹. Как похоже на судьбу Каннегисера – и возраст, и ситуация, и настрой! Может быть, она, эта духовно высокая и просветленная героиня, исключительная натура, красавица и умница (все знавшие ее отзывались о ней с восхищением), сожалеет, что в результате взрыва пострадало около ста человек, 27 убито на месте, что ни в чем не повинной дочке Столыпина были повреждены ноги, в то время как сам Столыпин отделался лишь легкими царапинами? Ничуть не бывало! Что же она переживает в ожидании казни, эта смертница?

«Доминирующее ощущение – это всепоглощающее чувство какой-то внутренней особенной свободы. И чувство это так сильно, так постоянно и так радостно, что, внимая ему, ликует каждый атом моего тела, и я испытываю огромное счастье жизни... Что это? Сознание ли это, молодое, свободно и смело подчинившееся лишь велениям своего “я”? Не радость ли это раба, у которого, наконец, расковали цепи, и он может громко на весь мир крикнуть то, что он считает истиной? Или то гордость человека, взглянувшего в лицо самой смерти и спокойно и просто сказавшего ей:

¹ Опубликовано в петербургском журнале «Образование» в августе 1908 г.

“Я не боюсь тебя”?.. Это ощущение внутренней свободы растёт с каждым днем...»

Царские жандармы и тюремщики удивлялись, что террористы бодро и радостно шли на эшафот. Как объяснить это?

Наталья пишет, что раньше она испытывала невыносимый разлад, конфликт между собственным «я», своим сияющим идеалом и внешней жизнью, российской действительностью, с ее неравенством, дикостью и произволом. Словом, вначале она была типичной чеховской героиней. Суждены нам благие порывы, да свершить ничего не дано...

Чехов не был любимым писателем русских революционеров. Когда другая, знаменитая террористка, тоже одухотворенная, талантливая, мужественная и прекрасная – Вера Фигнер – вышла на свободу после двадцати лет заключения в Шлиссельбургской крепости, она спросила, что теперь читают. Чехова, ответили ей. Открыла – и захлопнула: Господи, ничего не изменилось, опять это мещанство и бытовщина, барышни и чиновники, ахи и вздохи и заламывания рук. Стоило, в самом деле, столько лет сидеть в камере ради такого народа!

Вот и Наташа Климова мучилась и металась вначале от разлада с миром и собой, искала выход из тупика чеховской интеллигенции, разочарованной и вялой. Надо что-то делать, но что?

«Это обычная, тяжелая по своим последствиям болезнь русской интеллигенции, – продолжает свой анализ Наташа. – Появилась она с того момента, когда человек почувствовал, что его “истина”, “право” и “должное” не есть для него пустая фраза, праздничное платье, а есть живая часть души его, и начал понимать все яснее и яснее, что борьба с “русскими разладами” (в которых его истина, право и справедливость нарушались ежеминутно) может дать удовлетво-

рение лишь на основе девиза: “все или ничего”... Или отдаться борьбе без возврата, без сожаления, борьбе, идущей на все и не останавливающейся ни перед чем, или, пользуясь всеми преимуществами привилегированного положения, отдаваясь науке, природе, личному счастью и семье, рабски подчиниться и открыто и честно признаться в полном равнодушии к тому, что когда-то считал святой святых души своей... Многие всю жизнь мучаются, изнывают и стонут так же, как и я мучилась, стонала и металась... Вперед или назад?

Лишь теперь я могла убедиться, – и убедиться бесповоротно, в чем “моя” истина-правда и что нет в мире той силы, которая могла бы заставить меня от нее отказаться. А из этого ощущения родилось и новое... Это не та любовь инстинкта физической жизни, трепещущая перед смертью и цепляющаяся за жизнь даже тогда, когда она в тягость, а та бесконечная мировая любовь, что и самый факт личной смерти низводит на уровень не страшного, простого, незначительного, хотя и очень интересного явления...»

Вот история «высокой болезни» русской интеллигенции, выведенная Наташей Климовой на основе проведенного над собой опыта. Это иной взгляд, совсем другой диагноз, чем большевистский, выраженный в «Петроградской правде» «Незнакомцем».

Поступиться личным счастьем – ради идеала.

«Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние», – пишет Каннегисер в одиночке Петроградской ЧК. И ему вторит Марина Цветаева в стихах как раз 18-го года:

Есть на свете поважней дела
Страстных бурь и подвигов любовных...

И позднее, через восемь лет, в письме Борису Пастернаку она говорит: «Держа слово, обороняясь, заслоняясь от счастья...»

А еще раньше Цветаевой – звонкоголосая переключка поэтов во времени! – Федор Тютчев в письме Жуковскому вспоминает об их беседе: «Мне очень понятны Ваши слова, что счастье – это не главное в жизни».

И, конечно же, пушкинское: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Поэты перекликаются, как в соловьином саду.

И в самом деле, счастье – что это? Оно мало зависит от самого человека, это дар судьбы: привалит или минует. А вот сияние – это дар не человеку, а дар – ч е л о в е к а.

Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние, – торопливо записывал перед казнью Леонид Каннегисер. – Если бы знали мои близкие, какое сияние наполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы. В этой жизни, где так трудно к чему-нибудь привязаться по-настоящему, на всю глубину, – есть одно, к чему стоит стремиться, – слияние с божеством. Оно не дается даром никому, – но в каких страданиях мечется душа, возжаждавшая Бога, и на какие только муки не способна она, чтобы утолить эту жажду.

И теперь все – за мною, все – позади, тоска, гнет, скитанья, неустроенность. Господь, как нежданный подарок, послал мне силы на подвиг; подвиг свершен – и в душе моей сияет неугасимая божественная лампада.

Большого я от жизни не хотел, к большому я не стремился.

Все мои прежние земные привязанности и мимолетные радости кажутся мне ребячеством, – и даже настоящее горе моих близких, их отчаянье, их безутешное страдание – тонет для меня в сиянии божественного света, разлитого во мне и вокруг меня.

Последний народоволец

Стремясь сбить терновый венец с головы Каннегисера, Григорий Зиновьев заявлял, и Леонид мог прочитать это в «Северной коммуне» 1 сентября («читаю газеты и радуюсь»):

«Убийца сравнивает себя с Балмашевым¹. Несчастный! Он не заметил разницы между Сипягиным и Володарским или между Плеве² и Урицким. Пламенного друга народа смешал он с опорой царского трона... Да, англо-французские банкиры могут с радостью потирать руки от удовольствия: они нашли себе убийц в такой среде, из которой до сих пор вербовались мстители, направлявшие дула своих револьверов в головы царских министров».

Что правда, то правда – Леня с раннего детства вдохновлялся образами героев-революционеров. И за идеалами далеко ходить не надо: его духовным учителем был близкий семье Каннегисеров человек – легендарный народоволец, патриарх русского освободительного движения Герман Александрович Лопатин. Друг Маркса и Энгельса, первый переводчик «Капитала» на русский язык. Тоже приговоренный в свое время к смертной казни и тоже поэт, автор революционных стихов. Анна Андреевна Ахматова уже незадолго до своей смерти с ужасом вспоминала одну фразу Леонида, сказанную в дни выхода ее «Четок», в марте 14-го года. На приеме, устроенном в доме Софьи Исааковны Чацкиной, Леонид, сидевший рядом с Ахматовой, произнес:

– Если бы мне дали «Четки», я бы согласился провести столько времени в тюрьме, как наш визави...

¹ Балмашев С.В. (1881–1902) – эсер, студент, в 1902 г. застрелил министра внутренних дел Д.С. Сипягина и был повешен.

² Плеве В.К. (1846–1904) – министр внутренних дел царской России, убитый эсером Е.С. Сазоновым.

Напротив них сидел как раз Герман Александрович Лопатин, который провел в Шлиссельбургской крепости восемнадцать лет.

В революции Леонид – с 1915-го, убежденный «энес», член партии народных социалистов. А в феврале 17-го революционный смерч уже неудержимо кружил его, готового ко всему, даже к гибельному подвигу:

...И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о мать! –
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать, –

Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне
Я вспомню – Россия. Свобода.
Керенский на белом коне.

Две стихии неразрывно владеют им, питая друг друга, – революция и поэзия. Пронзительный, распахнутый лирик – и партийный активист, горячий сторонник народоправия. В деле сохранились страницы его дневника того времени, когда он отправился в Ригу пропагандистом – рас- толковывать солдатам избирательное право.

18-го мая, в день моего отъезда из Петрограда, вечер был теплый, воздух мягкий. Я поехал на трамвае к Варшавскому вокзалу и соскочил на мосту, что через Обводной канал. За Балтийским вокзалом догорала поздняя заря, уже тускло поблескивая в стеклах Варшавской гостиницы. Я знаю – 12 лет назад в этих стеклах на миг отразилась другая заря, вспыхнувшая неожиданно, погасшая мгновенно. Отблеска не выдержали стекла кирпичной гостиницы. Очевидец рассказывает, что они рассыпались жалобно, почти плаксиво. Если они жалеют кого-нибудь, то кого из двух, лежавших на мостовой? Мертвого министра или раненого

студента? Да, здесь Сазонов убил Плеве. Такие мысли, как молния, пробегают через сознание, а потому я даже не остановился. Сделав несколько шагов, я вспомнил другое: на этом же мосту всего два с половиной месяца назад солдаты расстреляли гофмейстера Валуева. Его арестовали на вокзале и повели, но на мосту ему крикнули: «Стой, шапку долой! Молись! Расстреляем». А он был смирный человек с седой бородкой, был глух и добр и верно служил царю.

Здесь же, рядом с дневниковыми записями, лежит конспект лекции Леонида об избирательном праве. Жар и воображение, с которыми он отдается этому делу, выдают поэта:

Что такое избирательное право. Средство организовать воли... Котлы дают пар. Сравнить с локомотивом. Хорошо слаженный нагоняет дурно слаженный... Мы должны построить власть. В этом мы должны принять участие – все. Мы будем властвовать по праву. Нас ничто не испугает. Один гражданин – один голос.

Или:

Как избирать? Прямо – почему? Чтобы непосредственно выразилась народная воля. Тайное голосование. Чтобы не было давления – чиновники, фабриканты, все начальствующие лица. Весь расчет – по боку. Наедине со своей совестью должны избиратели подойти к избирательной урне...

И вывод:

Учредительное собрание, избранное таким способом, будет истинным выразителем воли народной – вся полнота власти, моральной и физической. Что же постановит Учредительное собрание? Какой быть России. Что такое

конституция. Виды конституций – монархия, республика. Мы думаем, что будет республика. Монархия оставила себя ненавистной в памяти народа. Восстанавливать эту ветошь – глупо. Голос Учредительного собрания должен звучать, как архангельская труба. Вперед смолкаем перед приговором демократии.

В дни Октябрьского переворота Леонид – на гребне событий. Он – среди юнкеров, охраняющих Зимний дворец, резиденцию Временного правительства. В решающую ночь революции его одинокая фигурка вдруг возникает, как при свете прожектора, на краю пропасти, разделяющей Временное правительство и большевиков. Это тот момент, когда Ленин пишет членам ЦК из конспиративной квартиры: «Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров, и т.д... Промедление в выступлении смерти подобно». А Каннегисер пытается вмешаться в историю, предотвратить кровавую развязку.

24 октября, ночь Октябрьского переворота. Записка карандашом:

Тов. Вейцман! В Смольном представители разнообразнейших соцпартий признают, что Временное правительство провоцирует большевиков, которые совсем не собирались выступать, закрывают газеты, разводят мосты. Вы бы хорошо сделали, если собрали бы гарнизон Зимнего дворца и предложили вызвать членов Временного правительства, чтобы сказать ему, что, если вследствие репрессий большевики выступают, вы стрелять не будете. Это смогло бы сыграть большую роль, и на заседании Центрального Исполнительного Комитета в 23 часа сегодня представители Временного правительства были бы уступчивей. А это – дай Бог!

Мое мнение я сейчас сообщал видному члену Центрального Комитета, и он одобрил.

Жму руку.

Л. Каннегисер

Мы не знаем, кто такой Вейцман и почему записка оказалась в следственном деле. Экстренное совместное заседание Центрального исполнительного комитета советов рабочих и солдатских депутатов и Исполкома советов крестьянских депутатов состоялось в ночь с 24 на 25 октября. Примирение с большевиками, на которое надеялся Леонид, не удалось: они покинули заседание к моменту принятия резолюции, которая, наряду с осуждением большевиков, была направлена против подавления их восстания силой.

В эту же ночь Леонид был задержан красногвардейцами, попал, вместе с другими юнкерами Михайловского артучилища, в Петропавловскую крепость, но вскоре выпущен оттуда с особым заданием. Правда, комиссар переименовал его в «Ганегиссера».

24 октября 1917 г. Военно-революционный комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов предлагает передать в распоряжение уполномоченных комитетом юнкеров И.Г. Раскина и Л.А. Ганегиссера – юнкеров, задержанных по выходе из Зимнего дворца... для препровождения в училище и передаче списка таковых Революционному Комитету» (подписи неразборчивы).

И еще записка:

Пропустить из Крепости тт. юнкеров Ганегиссера и Раскина. 25 октября. Комиссар Тер-А...¹

¹ Возможно, Тер-Арутюнянц, большевик, член Военно-революционного комитета, играл активную роль в Октябрьском перевороте.

Ураган революции достиг пика. Леонид еще успевает попасть в Смольный на исторический Второй Всероссийский съезд Советов. Вот документ, выданный Исполкомом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 24 октября:

Удостоверение

Дано настоящее представителю Союза юнкеров-социалистов Петроградского военного округа Л. Каннегисеру на право входа на заседания Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.

Съезд открылся поздно вечером 25 октября, после полуночи на нем было объявлено о взятии Зимнего и аресте Временного правительства. Власть – в руках Советов. На трибуне съезда – Ленин, уже в роли властителя. И производит на Леонида сильнейшее впечатление! – об этом вспоминал Марк Алданов. Поэт Михаил Кузмин записал в дневнике через два дня, 27 октября: «Кто-то был. Да, Ленечка. Хорошо рассказывал о Зимнем дворце. Почти большевик».

Впрочем, увлечения этого хватило ненадолго. Революционная горячка при трезвом взгляде на то, во что выливается «победоносное шествие» советской власти, сменялась разочарованием и апатией. Это хорошо передает письмо Леонида от 17 декабря, неотправленное и изъятое при обыске. Адресовано оно одному из завсегдаеаев «Бродячей собаки», талантливому композитору и поэту (с репутацией безнадежного алкоголика и наркомана) Николаю Карловичу Цыбульскому, оказавшемуся в тот момент в Баку:

Дорогой Николай Карлович! Раз сто собирался ответить Вам на Ваше милое письмо, но столько же раз откладывал, ожидая вдохновений. Не думайте, однако, что на этот раз я в особенном подъеме, – наоборот, я в состоянии

крайней «депрессии», но пишу для того, чтобы узнать, как Вы существуете... У вас резня, и у нас резня. Словом, если приедете, ничего не потеряете.

А что здесь было! Петровская мадера, наполеоновский коньяк, екатеринино шампанское – все это потоками текло по улицам, затопляло Фонтанку и Мойку, люди бросались на землю и, подставив губы, пили с мостовой драгоценную жидкость! А Вы прозевали! Чувствую, что Вы от досады грызете ногти.

Ваше письмо написано ко мне 24 окт., т.е. как раз накануне переворота. После этого у меня было много «острых ощущений». Наше Училище, как и все, пережило всякие пертурбации и теперь ликвидировано. Я вишу в воздухе, вроде Вашего друга, и не знаю, что я сейчас такое. Впрочем, я на это не обращаю внимания и вот уже больше месяца провожу время очень приятно: сижу дома, читаю книжки, пополняю свои знания и веду весьма примерный, регулярный образ жизни...

Очень по Вас скучаю, дорогой Николай Карлович! Ваше отсутствие страшно чувствуется, ей-богу! В Петербурге все поразительно бездарные люди. Они не умеют отвлекаться от дороговизны и большевиков, говорят только об этом, да и об этом очень плоско и однообразно. Одно утешение – книги. Я бы с большим удовольствием уехал бы куда-нибудь, но не могу бросить родных.

Жалею, что не могу сообщить Вам ничего веселого. «*Beati qui rident*»¹, а я не могу. Конечно, мне недостает «голубого света» и пр., но я помирился сейчас хотя бы и на «зеленом змие»...

Целую Вас, дорогой Николай Карлович...

Ваш Л. Каннегисер

¹ Блажен, кто весел (лат.).

И все же революционный пыл еще не иссяк. Еще не все потеряно, впереди – выборы в Учредительное собрание, оно и решит, какой быть России.

У до ст о в е р е н и е

Предъявитель сего, член партии Леонид Иоакимович Каннегисер, делегируется трудовой народно-социалистической партией, выставившей по гор. Петрограду список кандидатов за № 1 в 67 участковую комиссию по выборам в Учредительное собрание.

*Председатель районного комитета
(подпись неразборчива)*

Учредительное собрание! Впервые в истории России созданное демократическим путем для выбора государственного устройства, оно открылось 5 января 1918-го, в 16 часов в Таврическом дворце. Большинство его членов, в том числе и энесы (они имели три мандата, то есть победили в трех округах), было враждебно настроено к Октябрьскому перевороту. Поэтому уже в пятом часу утра следующего дня большевики, не церемонясь, разогнали это вече, а манифестацию в его защиту рассеяли выстрелами. Максим Горький, тогда еще противник большевиков, писал в «Новой жизни» 9 января: «Лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного собрания – политического органа, который дал бы всей демократии русской возможность свободно выразить свою волю.

В борьбе за эту идею погибли в тюрьмах, в ссылке и каторге, на виселицах и под пулями солдат тысячи интеллигентов, десятки тысяч рабочих и крестьян. На жертвенник этой священной идеи пролиты реки крови – и вот «народные комиссары» приказали расстрелять демократию, которая манифестировала в честь этой идеи».

Разгон Учредилки, как насмешливо называли Учредительное собрание большевики, окончательно развеял иллюзии. Уже тогда стало ясно, что большой крови в русской революции не избежать. Раскол в освободительном движении между большевиками и другими социалистическими партиями стал неотвратим. «В России нет сейчас более несчастных людей, чем русские социалисты, – писал в то время философ и публицист Георгий Федотов, – мы говорим о тех, для кого родина не пустой звук. Они несут на себе двойной крест: видеть родину истекающей кровью и идеалы свои поруганными и оскверненными в их мнимом торжестве». Вот что определило жизненный выбор Каннегисера и все его дальнейшие поступки.

В марте 18-го судьба заносит Леонида в Нижний Новгород со случайной и странной для него миссией – в предписании народного комиссара по военным делам Михаила Кедрова он командирован как «член эвакуационной комиссии с несением функции казначея». Но и там ищет друзей по партии – энесов. В приобщенном к следственному делу письме из Нижнего Новгорода 2 апреля он просит мать:

...Если увидишь Марка Александровича, скажи, пожалуйста, что я не могу здесь найти никого из наших общих «товарищей». Я был бы очень благодарен, если бы он послал мне сам или через тебя указания, где их разыскать. То же можно сказать и Якову Максим., если Алданова нет. Они могут, конечно, очень легко узнать все, что мне нужно, в Центр. Комит.

В Нижнем Леонид пробыл недолго – к Пасхе уже вернулся домой. К этому времени он уже сознательный враг новой власти. Газета его партии «Народное слово» выходит под лозунгом: «Долой большевиков. Спасите Родину и революцию». Лидеры энесов – инициаторы создания под-

польного «Союза возрождения России». Леонид становится заговорщиком. «Последний народоволец» – одно из прозвищ, которое получит пылкий ученик Германа Лопатина. В конце мая – начале июня он приобретает кольт, с которым не разлучается. До выстрела остается три месяца...

«Евреи... разные бывают...»

Случайно ли жертвой этого выстрела стал еврей? А окажись на месте Урицкого – латыш, грузин, русский? Или в поступке убийцы была некая сверхзадача: смыть кровь, которой евреи-большевики запятнали свой народ и историю России, кровью одного из них?

Если расчет на такую реакцию – частично он оправдался. Вот несколько откликов на теракт. Литератор Амфитеатров-Кадашев записал в дневнике: «В Петербурге молодой человек убил Урицкого. Огромная радость... Такие евреи, как Каннегисер, лучше всех воплей о правах человека доказывают неправоту антисемитизма и возможность дружественного соединения России с еврейством, – если даже при старом угнетении среди евреев могли появляться настоящие патриоты, значит, дело небезнадежно». Алданов был уверен, что Каннегисера вдохновляла не только горячая любовь к родине, но и «чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых». Были, конечно, и другие мнения. «Два праведника не искупают Содомы, – высказался популярный писатель Арцыбашев, имея в виду под «праведниками» Каннегисера и Фанни Каплан, а под Содомом – непропорционально большой процент евреев в рядах революционеров и большевиков. Разноголосица мнений протянулась до наших дней. Зинаида Шаховская

напомнила об убийце Урицкого уже во времена горбачевской перестройки: «Противопоставим же имена евреев, любивших Россию, именам евреев, которые ее ненавидят». А кто-то мог бы прокомментировать наш сюжет и так: поэт и чекист, или как два еврея Россию не поделили...

Как сам Леонид относился к «проклятому вопросу»? Закомплексованности на своем еврействе у него не было. Ни в дневнике, ни в стихах, ни в памяти современников об этом – ничего. Вот Яков Рабинович, друг Леонида, вспоминает: «Говорили обо всем... до сладостной смерти – подвига – обо всем, только не об Израиле, не о сионизме» – хотя оба входили в Союз евреев-политехников. Не иудей – собирался креститься в православии, еврей в русском дворянстве. Возможно, Леониду была бы близка позиция другого поэта – Иосифа Бродского, который не любил разговоров на эту тему: «Хватит говорить о моем еврействе. Родина поэта – язык». Но, конечно, его человеческое достоинство не выносило никакого антисемитизма. И хотя дом Каннегисеров по духу и укладу был вполне европейским, Леонид, как мать говорит о нем, «учился уважать свою нацию». Это усугубило в его глазах вину Урицкого – еврея-палача.

И отец объясняет на допросе: сына сильнее всего потрясло то, что постановление о расстреле его ближайшего приятеля – Перельцвейга – подписано двумя евреями – Урицким и Иосилевичем...

Вспомним о жертве. Моисей Соломонович Урицкий происходил из тех местечковых евреев, которые, вырвавшись из-за черты оседлости, как джинны из бутылки, устремились в революцию. Полные долго сдерживаемой энергии, пассионарии, как выразился бы известный ученый, сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой – Лев Гумилев, они жаждали реванша, кто горя общественным идеалом, а кто просто делая карьеру. Стоящая на распутье, ослабевшая Россия стала

подходящим полигоном для их социальной активности... Это имела в виду Цветаева, выразившаяся в записной книжке так: «Не могу простить евреям, что они *кишат*». Цветаеву, жену еврея, говорившую, что все поэты – жидаы, в антисемитизме уж никак не обвинишь.

Судьба Урицкого типична для революционера-еврея. Родился на Украине, сын торговца. Готовился стать раввином, но после ранней смерти родителей выбрал другую профессию – юриста, закончил университет. Однако истинным делом его жизни стала революция – место Талмуда занял «Коммунистический манифест». Подполье, конспирация, многократные аресты, тюрьмы, ссылки, туберкулез. Писал в газеты, редактировал, стал журналистом, партийным литератором.

Интересно, как Урицкий ответил бы на вопрос о его профессии? Профессиональный революционер? Это не для анкеты. Юрист? Но он не работал юристом до службы в ЧК, а там юриспруденция была лишь прикрытием революционного насилия. Может, литератор, журналист, как Ильич? Вся эта публика, во главе с Лениным и Троцким, пряталась под масками литературных псевдонимов и партийных кличек, с пером наперевес пополняя ряды пишущей братии. Так что об убийстве 30 августа 18-го на Дворцовой площади можно сказать и так: поэт убил партийного литератора...

Способный, старательный, неутомимый, всегда с невозмутимой улыбочкой и спокойным голосом, Моисей Соломонович – идеальный чиновник. На вопрос служебной анкеты «В каком отделе желали бы работать в Петроградском совете?» – ответ: «В каком прикажут». Аскет, холостяк, горит на работе, часто засыпает тут же, в своем кабинете, за ширмой. Воплощенная скромность. Или посредственность? Ан нет! Один из златоустов революции, нарком просвещения Анатолий Луначарский на концерте-митинге

в память Урицкого заливался соловьем: «Я не ошибусь, если скажу, что товарищ Урицкий для торжества коммунистической партии в России сделал больше, чем товарищ Троцкий. Урицкий играл всемирно-историческую роль. Когда историками будет исследован октябрьский переворот, имя Урицкого будет вписано в историю освободительного движения золотыми буквами. И вот какой-то дегенерат, какой-то истерик, о котором говорят, что он мечтатель и идеалист, что он поэт в душе, предательским выстрелом вырвал этого титана из наших рядов... Бесконечно жить в благодарных сердцах народных масс – вот венец и слава товарища Урицкого. Он счастлив, миллион раз счастлив, Моисей Соломонович! Та кровь, которую он пролил, сделалась цементом лучезарной и свободной жизни восставшего народа» и т.д., и т.п. «Несмотря на просьбы не аплодировать, публика не выдержала и устроила т. Луначарскому шумную овацию». Создание кумиров, апостолов красных идей, «нашего Бога» – этого идеологического эрзаца религии – носило маниакальный характер и сопровождалось неумеренными восхвалениями и преувеличениями, доходящими до глупости.

Табель о рангах среди большевиков в это время еще не утряслась и зависела, конечно, от того, кто из них окажется в конце концов наверху крутой пирамиды власти. Тот же Луначарский писал: «Моисей Соломонович Урицкий относился к Троцкому с великим уважением. Говорил... что как ни умен Ленин, а начинает тускнеть рядом с гением Троцкого». Тут уж что получается? Троцкий выше Ленина, а Урицкий – выше Троцкого? Поживи Моисей Соломонович подольше, до владычества Сталина, не поздоровилось бы ему от такого предпочтения! А может, нарком просвещения, лукавый кремлевский царедворец, произведший свое имя от «чар луны», просто интриговал?

Каннегисер – Урицкий: поединок судеб, противостояние двух линий жизни.

Решающая ночь Октябрьского переворота. Оба не спят: Каннегисер мечется около Зимнего дворца, делает наивную, детскую попытку предотвратить столкновение с большевиками, Урицкий – в Смольном, один из главных руководителей восстания, бессонный, похудевший, но все такой же невозмутимый, отдает короткие приказания...

Январь 1918-го. В Таврическом дворце открывается Учредительное собрание – последняя надежда демократии в России. Каннегисер – горячий сторонник народного форума, а Урицкий – большевистский комиссар над ним. Это по его приказу матрос Анатолий Железняков разогнал собрание: «Заседание объявляется закрытым... Покиньте зал. Караул устал...» Так кончилась свобода в России. Зиновьев потом патетически восклицал: «Кто не помнит этого дня, который был кульминационным пунктом, высшей точкой в деятельности товарища Урицкого?!»

Все это делается именем народа и во имя народа. А что же сам народ? Свидетель тех событий, офицер Преображенского полка Милицын записывал в дневнике: «Вот во что вылилась давнишняя мечта всех наших свободолюбцев об Учредительном собрании. Толпа, идущая приветствовать это собрание, расстреливается не царскими полицейскими, а русскими рабочими, и народ молчит и не встает на защиту своих избранников. Какая же цена этому народу и какое у него может быть будущее?»

Еще один «проклятый» вопрос! Мифическое понятие «народ» придумано интеллигенцией. На самом деле народ – это по определению все население, а не какая-то его часть, пусть самая многочисленная. А тот «народ», который имели в виду интеллигенты, всегда был и оставался инертной массой, скорее объектом, чем субъектом истории. Он

не только послушно отдал впервые приобретенную свободу, не зная, с чем ее едят, но и собственными руками разрушил государство, которое создавал веками. В лучшем случае он рассуждал, как швейцар Прокопий Григорьев, свидетель убийства Урицкого, сказавший на допросе: «Я человек беспартийный, никаких убеждений не имею, работаю из-за куска хлеба...» В худшем – «Грабь награбленное!»

«Народ», именем которого действовали большевики, вовсе не собирался ждать обещанного рая и не упускал случая добыть хоть какие-нибудь блага немедленно, здесь, сейчас. В исторический момент, когда в России гибнет свобода, происходят и более мелкие события, можно сказать курьезы, но весьма характерные. Видный большевик Бонч-Бруевич рассказывает в своих мемуарах о двух таких происшествиях. Утром, в день открытия Учредительного собрания, Ленин и Урицкий должны были встретиться в Смольном перед отъездом в Таврический дворец. Но Урицкий куда-то исчез. Не было его и в Таврическом. Наконец он там появился, но в странном виде – подошел своей утиной походкой, шатаясь, расстроенный, бледный.

– Что с вами? – спрашивает Ленин.

– Шубу сняли...

– Где? Когда?

– Поехал к вам в Смольный для конспирации на извозчике, а там вон, в переулке, наскочили двое жуликов. «Снимай, барин, шубу. Ты небось погрелся, а нам холодно». Так и пришлось снять. Хорошо, шапку оставили. До Смольного ехать далеко. Так я пешком, переулками, и придрал в Таврический. Хорошо – пропуск с собой, еле отогрелся...

Ленин делает серьезное лицо:

– Кто ответственен за этот район?

– Я, – отвечает Бонч-Бруевич.

– Что же это у вас, батенька, воры там пошаливают?

– От воров не убережешься...

– Прошу расследовать...

Второй курьез произошел, уже когда большевистские вожди, разогнав Учредилку, покидали Таврический. Ленин, надев пальто, вдруг схватился за боковой карман, где у него всегда лежал браунинг. Пусто. Ясно – украли! Тут как раз подошел Урицкий.

– Кто ответственен за порядок в здании Таврического дворца? – грозно спросил Ленин.

– Я, Урицкий! – отозвался комиссар по делам Учредительного собрания.

– Позвольте заявить вам, у меня из кармана пальто, вот здесь, в Таврическом дворце, украли браунинг!

– Как? Не может быть!

– Да, да-с! Украли! Ну, вот видите: с вас воры утром сняли на улице шубу, а ко мне сегодня же вечером залезли в шубу и украли браунинг. Вот видите, какая у них круговая порука!

У Ленина сперли револьвер, с Урицкого средь бела дня шубу сняли, а бравые солдатухи ничтоже сумняшеся схапали револьвер, куртку и велосипед у арестованного Каннегисера... Роль народа в истории революции еще не оценена по достоинству.

Линии жизни убийцы и его жертвы противостоят вплоть до лета 18-го, когда они стали стремительно сближаться и пересеклись.

Урицкий знал о том, что на него готовится покушение. «Его неоднократно предупреждали и определенно указывали на Каннегисера, – пишет в своих очерках о Петроградской ЧК Антипов, – но т. Урицкий слишком скептически относился к этому. О Каннегисере он знал хорошо по той разведке, которая находилась в его распоряжении». Больше того,

Леонид пошел на прямой контакт со своей будущей жертвой, разговаривал с Урицким по телефону (и доверительно сообщил об этом Алданову). О чем они могли толковать? Вероятно, Леонид просил за Перельцвейга, хотел его спасти, звонить после гибели друга было бы уже бесполезно и опасно. И, возможно, пригрозил мстью. Но и это не все. Следователь Отто добавляет еще больше: Каннегисер до убийства был на Гороховой, получил от Урицкого какой-то пропуск и просил не расстреливать Перельцвейга.

А ведь он, Моисей Соломонович, вовсе не был кровожаден, он был едва ли не самым мягким из большевистских вождей, едва ли не единственным, кто возражал против массового террора. Спорил об этом и с Зиновьевым, и даже с самим Лениным. В июне на конференции чрезвычайек предлагалось даже отозвать его со своего поста и заменить более стойким и решительным товарищем.

В брошюре чекиста Уралова об Урицком приводятся такие факты.

– Слушайте, товарищ, вы такой молодой и такой жестокий, – сказал как-то Урицкий одному из членов Президиума Петроградской ЧК. – Сразу видно, что вы – еще не перебродившее революционное вино.

– Я, Моисей Соломонович, настаиваю на расстрелах не из чувства личной жестокости, а из чувства революционной целесообразности, а вот вы, Моисей Соломонович, против расстрелов исключительно из-за мягкотелости...

– Ничуть я не мягкотелый! – рассердился Урицкий. – Если не будет другого выхода, я собственной рукой перестреляю всех контрреволюционеров и буду совершенно спокоен. Я против расстрелов потому, что считаю их нецелесообразными. Это вызовет лишь озлобление и не даст положительных результатов.

На заседании коллегии Питерской ЧК, последнем для Урицкого, в августе 18-го, речь шла как раз о раскрытом заговоре в Михайловском артучилище, где учился Леонид, и о необходимости применения террора. Перед этим Урицкий провел на президиуме постановление о том, что при вынесении расстрельных приговоров, если хоть один член коллегии будет против, то приговор в исполнение не приводится. И вот теперь лишь председатель горячо выступил против расстрелов. Он сильно нервничал – может быть, что-то обещал Каннегисеру при разговоре, как-то обнадежил его – но когда дело дошло до голосования... воздержался. Не стал голосовать против, и это его коллеги расценили как замечательный «урок самодисциплины в интересах коллектива». Однако постановление коллегии о расстреле 21 человека, в том числе и Перельцвейга, было опубликовано в газетах за подписью Урицкого как председателя ЧК. Положение обязывало. Предчувствовал ли он, что с этой минуты подписал и себе смертный приговор?

Да, притупил бдительность Моисей Соломонович, недооценил своего антипода. Всего за месяц до рокового дня Урицкий распорядился снять охрану с главного подъезда своего комиссариата: «Комиссариат внутренних дел должен быть учреждением легко доступным каждому рабочему и крестьянину, куда можно пройти без всяких пропусков».

Большевистский диктатор Петрограда Григорий Зиновьев в речи на торжестве в первую годовщину Октября, как полагается, обрушился на врагов революции: «Они пишут, Володарского и Урицкого убили евреи и Ленина ранила также еврейка. Но евреи бывают разные... Богатые евреи отлучили от еврейской церкви – синагоги таких евреев, как я, как Троцкий. Ни у кого из нас не выпало ни одного седого волоса». Бурные аплодисменты всего зала.

Почти в то же время, в сентябре 18-го, другой человек – противоположной Зиновьеву трудно придумать! – ведет разговор на ночлеге со случайными попутчиками. Происходит это на станции Усмань Тамбовской губернии, куда этот человек приехал из Москвы, чтобы добыть продукты для себя и своих детей.

«Левит: – ...Ваши колокола мы перельем на памятники.

Я: – Марксу.

Острый взгляд: – Вот именно.

Я: – И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу.

(Подскок. – Выдерживаю паузу.)

...Как же, – вместе в песок играли: Каннегисер Леонид.

– Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!

Я (досказывая): – Еврей.

Левит (вскипая): – Ну, это к делу не относится!

Теща (одного из спутников – *авт.*), не поняв: – Кого жиды убили?

Я: – Урицкого, начальника петербургской Чрезвычайки.

Теща: – И-ишь. А что, он тоже из жидов был?

Я: – Еврей. Из хорошей семьи.

Теща: – Ну, значит, свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает, кум обжегся – сват дует, ей-богу!

Левит, ко мне: – Ну и что же, товарищ, дальше?

Я: – А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обращаясь к хозяину, любезно) – ваша однофамилица: Каплан.

Левит, перехватывая ответ Каплан: – И что же вы этим хотите доказать?

Я: – Что евреи, как русские, разные бывают...»

Фраза та же, что и у Зиновьева – красного вождя, бессмертная, старая и вечно новая. Принадлежит она Марине Цветаевой, Цветаевой, которая, по собственному признанию, однажды, проходя по улице, непроизвольно и совершенно неожиданно для себя плюнула на красный флаг, который задел ее по лицу.

Параллели пересекаются, полюса сходятся. Целью жизни убийцы было – «сияние». Надпись на похоронном венке его жертве – «Светить можно – только сгорая». Поединок закончился ничем. Ведь не только Каннегисер убил Урицкого, но и Урицкий – Каннегисера.

Следствие продолжается

Исполнение смертного приговора не поставило точку в следствии по делу Каннегисера. Интриги, скрытая идейная борьба внутри ЧК продолжались и дальше. «Из незаконченных дел находится дело об убийстве т. Урицкого», – констатировал на конференции чрезвычайек Бокий.

В ноябре Отто и Рикс были отправлены в Нарву, бороться за советскую власть в Эстляндии. Их преемник и единомышленник – следователь Галевский – никаких следов своих действий не оставил, кроме такой записи: «Еще на производстве, но ясно, что действовали еврейские капиталисты – сионисты и бундовцы. Причина убийства – принадлежность Урицкого к интернационалистам и его даровитость. Благодаря первоначально неправильно взятому курсу дело в известной степени “смазано”. Кроме того, здесь же играла роль международная солидарность буржуазии».

А 24 декабря 1918-го Николай Антипов – он уже заместитель председателя Петроградской ЧК – подписал «Постановление по делу убийства тов. Урицкого». И в нем

подвел итог тому, что смогли узнать чекисты о преступнике и преступлении:

...После Октябрьской революции Л. Каннегисер принял активное участие в работе белогвардейской контрреволюционной организации, поставившей своей целью свержение Советской власти. Организация объединяла все партии и группы, стоящие на точке зрения союзнической ориентации и имела все время непрерывную связь с «союзными» агентами...

Л. Каннегисер занимал в этой организации в период усиленных заговоров и восстаний против Советской власти – июнь-июль и август – видный пост коменданта Рождественского района (в каждом районе имелся комендант и его заместитель; предназначались они на случай свержения власти Советов), а также имел непосредственную связь с видными контрреволюционерами.

Среди этих контрреволюционеров назван некто Поморский – руководитель белогвардейской группы, имевший в своем распоряжении автомобили, на которых он якобы предполагал «устроить налеты на тюрьмы для освобождения арестованных офицеров», а также «ближайший родственник» Леонида – Максимилиан Филоненко, который «в то время как раз находился в Петрограде».

Занимая ответственное место в белогвардейской организации, Л. Каннегисер, по заявлению свидетелей по данному делу, был далеко не идейный человек, кутил в разных притонах, хотя от отца получал лишь по 40 руб. в неделю, был большой фразер и позер в “Привале комедиантов”, в “Борзой собаке”¹ и т.д. Читал стихи собственного произведения – стихи, писанные для развлечения пьяной компании...

¹ Имеется в виду «Бродячая собака».

Хотя точно установить путем прямых доказательств, что убийство тов. Урицкого было организовано контрреволюционной организацией, не удалось, но принимая во внимание

1) что контрреволюционные организации в тот момент рассматривали террористические акты против ответственных представителей Соввласти как средство против этой власти;

2) что Л. Каннегисер был связан с верхами контрреволюционной организации и сам занимал в ней ответственный пост;

3) что расстрел его друга Перельцвейга вызвал в нем жажду мести и

4) что в тот день, когда был убит тов. Урицкий, было покушение также и на тов. Ленина (совершенного членами партии эс-эр.),

принимая все это во внимание, необходимо вывести заключение, что убийство тов. Урицкого было решено контрреволюционной организацией, в которой состоял Л. Каннегисер.

Таким путем организация эта желала избавиться от человека, который, зная об их контрреволюционных планах, в корне уничтожил всю их преступную, направленную против народа деятельность, а также стремилась этим убийством расстроить работу ЧК и, пользуясь нервным состоянием Л. Каннегисера, избрала его орудием для осуществления своего постановления.

Участие других арестованных (список арестованных при сем прилагается) в убийстве тов. Урицкого не установлено.

На основании вышеизложенного постановил: всех арестованных по этому делу освободить, возвратив им все отобранное при аресте.

Дело прекратить и сдать в архив.

Антипов закрыл дело, но не закончил его. Прошло несколько месяцев, и появились люди, которые потребовали продолжить расследование. Это были все те же неугомонные Отто–Рикс, оскорбленные в самых праведных своих чувствах, в революционном рвении. Эстляндская Советская Республика, где они служили, – Отто в качестве председателя ЧК Эстляндской трудовой коммуны, Рикс – наркома финансов – пала, и они снова вернулись в Петроград, на Гороховую. Ни Антипова, ни Бокия, ни Иосилевича уже не было – их перевели в Москву. Отто и Рикс были поражены, когда узнали, что все арестованные ими по делу лица – на свободе, что Антипов обвинил их, Отто и Рикса, в антисемитизме и тенденциозном ведении дела, так как среди арестованных ими почти все – евреи. «Обвинение в антисемитизме следователя Отто является лишь предлогом для окончания следствия по делу, – восклицал в очередном своем докладе уязвленный Отто. – Обвинение в антисемитизме следователя Отто ни на чем не основано. Как коммунист следователь Отто свободен от национальных предрассудков!»

Нужен был случай для реванша. И он скоро представился. В мае 19-го стали разгружать переполнившийся архив ЧК и сжигать ненужные бумаги, чистили даже столы членов Президиума. И вот тут-то следователь Отто, «случайно», как он пишет, заметил в грудe выброшенного знакомые, бережно собранные когда-то им и его напарником документы и переписку. Можно ли было стерпеть такой вандализм? Нет, нет и еще раз нет! Отто, конечно же, подобрал все, написал подробный доклад и послал его вместе с уцелевшими вещдоками в Москву, на Лубянку, «для успешного хода следствия».

Усилия его были не напрасны! Мы должны благодарить Отто за бдительную настырность – ведь именно он спас для

истории не только материалы о террористе Каннегисере, но и стихи, и записки поэта Каннегисера. Благодаря интригам между чекистами мы теперь их читаем.

Прошел еще год. А несгибаемый Эдуард Отто все еще жаждет крови и справедливости. 29 августа 1920-го он строит очередной доклад начальству:

Приближается вторая годовщина убийства нашего глубокоуважаемого тов. Урицкого. Я, один из тех следователей, которым пришлось вести это дело, не могу обойти молчанием этот день, ибо совесть моя приказывает не молчать о том, что мне известно. Причастные лица к этому убийству гуляют на свободе. Отец убийцы Каннегисера в настоящее время служит здесь в Совнархозе, как и родственник убийцы, инженер Помпер. Сионист Алейников, тоже освобожденный т. Антиповым (тогдашним членом Президиума ЧК), отправлен Центросоюзом за границу... Живут здесь и другие члены этой шайки, прямо причастной к убийству. Причиной освобождения всех злоумышленников по делу Антиповым (кроме убийцы) ничем не объяснить. После убийства тов. Урицкого был объявлен массовый террор и расстреляна масса буржуазии и, следовательно, в первую голову логически надо было ожидать расстрела замешанных в подготовке организации убийства тов. Урицкого буржуазных родных и знакомых Каннегисера. Чем это объяснить? А с внешней стороны Антиповым была придумана причина освобождения злоумышленников: антисемитизм и неправильное ведение следствия следователем Отто. Этот мотив не выдерживает ни малейшей критики, ибо дело вел не я один, а сообща со следователем Риксом, и после нашего отъезда на Эстляндский фронт в ноябре 1918 следователи Галевский, Владимиров и Малеваный, которые нашли ведение нами дела правильным и продолжали после

нас его. В деле было много обвинительного материала, как протоколов допросов, так и вещественных документов. И почему-то получилось так, что много обвинительного материала было выброшено из дела и, как говорили, было во время уборки в столе ушедшего из ЧК Антипова, откуда во время чистки комнат с прочим мусором его стали таскать на двор для сжигания. Странно, что Антипов, хорошо зная про существование этого материала, послал дело убийства тов. Урицкого в Москву, т. е. почти пустые крышки этого дела, после освобождения преступников. Найденный нами среди хлама во время сжигания обвинительный материал был тщательно подобран, сшит, написан приложенный при сем доклад, и все это препровождено в Москву, в МЧК, где продолжали вести дело убийства тов. Урицкого. Что там сделано по этому делу, нам не известно, но, однако, мы видим, что сообщники убийцы: Каннегисер-отец, Ольга Каннегисер, Помпер, Попов, Мандельштам, Алейников и др. находятся на свободе...

Настоящий доклад прошу Президиум переслать в Москву, в МЧК и ВЧК.

*Пом. уполномоченного
по лево-социалистическим партиям
Эд. Отто*

Возможно, из-за настойчивости Отто в марте 1921-го семья Каннегисеров вновь попала за решетку, правда, ненадолго – никаких доказательств ее преступности чекисты и на этот раз найти не смогли. А в 24-м Каннегисеры уехали из России навсегда. Когда отец Леонида пересекал границу, в Советском Союзе еще печаталось его трехтомное «Практическое руководство по административно-хозяйственной организации предприятий», где он излагал свои идеи по организации управления.

К тому времени начинают исчезать один за другим участники расследования дела Каннегисера. Оборвалась чекистская карьера Отто–Рикса: их уволили. Александр Юрьевич Рикс послужил еще по финансовой части, а Эдуард Морицевич Отто стал фотографом – заведовал фотолабораторией в Русском музее. Затем они, как и почти все их бывшие сослуживцы, пали жертвой той организации, которой верой и правдой служили. И в смерти они оказались неразлучны – оба были расстреляны как враги народа – «террористы»(!), участники мифической организации «Фонтанники».

Питерским чекистам так и не удалось вполне раскрыть преступление. Убийца Урицкого был казнен, но остался открытым вопрос: в какой именно контрреволюционной организации состоял Каннегисер, было ли убийство Урицкого его личным делом или коллективным заговором и кто его сообщники. И чтобы узнать это – выйдем за пределы дела № Н-196 «Об убийстве Урицкого». Продолжим расследование – на основе того, чего не знали питерские чекисты в 1918 году...

О Каннегисере вспомнили четыре года спустя, когда на судебном процессе правых эсеров всплыли на свет материалы, проливающие свет и на его дело.

Осужденный на этом процессе член ЦК партии народных социалистов Владимир Иванович Игнатъев, близко знавший убийцу Урицкого, поведал о нем много важных подробностей.

«Приблизительно в конце марта 1918 года, – рассказал он, – ко мне явился Каннегисер... и предложил мне организовать или, вернее, оформить уже существующую организацию беспартийного офицерства, которая поставила своей задачей активную борьбу против Советской власти. Он сказал, что свыше ста человек разбиты по разным районам города.

Город разделен на комендатуры. Я осведомился, каково политическое кредо этой группировки. Ответ получился такой, что они стоят на точке зрения идейного народоправства... Я просил более ответственных руководителей (организации) и комендантов прийти ко мне на совещание. Около полумесяца ушло на эту организационную работу».

В результате военный штаб был создан, а политическое руководство Игнатъев взял на себя. Между тем в городе действовали и другие антибольшевистские военные группировки, например правых эсеров. В конце концов все они слились в единую организацию под началом «Союза возрождения России». Туда же вошла и беспартийная военная организация, руководимая Игнатъевым; Каннегисер ведал в ней связью и занимал пост коменданта Выборгского района (в «Постановлении по делу» указан другой район – Рождественский). Цель была одна – подготовка вооруженного восстания.

Игнатъев говорит о своем молодом соратнике как о «на редкость искреннем, чистом, несколько фанатичном работнике», энтузиасте «с большой выдержкой и твердостью характера». И, как оказалось, он участвовал не в одной организации. Однажды Каннегисер предложил Игнатъеву вступить в связь с другой, действовавшей самостоятельно антисоветской группировкой – «Союз спасения Родины и Революции» – во главе с его родственником, эсером Максимилианом Филоненко (об этой организации чекисты знали, как и то, что программа ее написана Филоненко). Леонид говорил о нем восторженно как о человеке исключительной воли и энергии и был явно под его влиянием. И все же из этого ничего не получилось.

«От встречи с Филоненко я отказался, – показывал Игнатъев, – так как, по моей информации, организация его носила правый уклон и слишком личный характер, служила не для достижения общих целей, а для честолюбивых

устремлений Филоненко к власти... Непременным условием для совместной работы с его организацией ставилось признание Филоненко в качестве будущего премьера и военного министра».

На прямой вопрос следствия о причастности Филоненко к убийству Урицкого Игнатъев ответил, что встречался с ним позднее в оккупированном «союзниками» Архангельске и что «он в целях поднятия своего престижа распространил версию об участии своем в убийстве Урицкого, совместно со своим родственником Л.А. Каннегисером. Я не знаю, чего здесь больше было – истины или бахвальства. Это совершенно беспринципный человек, но несомненно талантливый, энергичный. Он не брезговал никакими средствами для достижения карьерных своих целей». Вскоре после этого Филоненко исчез и из Архангельска, прихватив с собой деньги, выданные французами на борьбу с большевиками. И объявился уже в Париже.

Много лет спустя его имя по ассоциации всплывает в памяти друга Леонида – Якова Рабиновича: на томике стихов Каннегисера он делает запись на полях: «Филоненко Макс (его двоюродный брат) утверждает, что был в заговоре. Врет ли?»

Последняя встреча Игнатъева с Каннегисером произошла в середине августа в Вологде, где готовилось выступление против большевиков. Так вот куда исчезал Леонид незадолго до покушения на Урицкого, а вовсе не на дачу в Павловск, как он говорил родителям! Он должен был связать Игнатъева с офицерами находившихся в Вологде полков, которые были настроены против большевиков. Однако выступление провалилось.

Следствие по делу правых эсеров, таким образом, вернулось к делу об убийстве Урицкого, но и тут не пришло к определенным выводам.

Новые подробности о нашем заговорщике появились еще через несколько лет, в 1926-м. В тот год не стало верховного участника следствия по его делу – умер Феликс Дзержинский. В белоэмигрантском сборнике «Голос минувшего на чужой стороне», выходявшем в Париже, появился мемуар «Белые террористы». Автор, Николай Дмитриевич Нелидов, штабс-капитан Преображенского полка, рассказал, что в мае 18-го вступил, по приглашению Каннегисера, в подпольную организацию Филоненко, которая ставила целью истребление видных большевистских деятелей. Вспомним признание Леонида на допросе о том, что револьвер появился у него за три месяца до убийства Урицкого, то есть примерно с конца мая. Мемуарист говорит о прямой и честной натуре Каннегисера, о том, что «на борьбу с большевиками он смотрел, как на святой подвиг, и был готов пожертвовать жизнью в этой борьбе».

Во всех подробностях Нелидов рисует, как шла слежка за Урицким и как рушились один за другим планы заговорщиков застрелить его – сначала на улице у его квартиры, потом на вокзале, затем убить, заодно с другими главарями большевиков, с помощью пяти баллонов синильной кислоты, разбив их на Всероссийском съезде совдепов (Филоненко взялся достать билеты на съезд). О каком-то таинственном ящике, который бережно прятал Каннегисер и которым он «предполагал взорвать Смольный», вспоминает и Алданов... И вот наконец Леонид достиг цели! Получалось, что убийство Урицкого задумано и приведено в жизнь организацией Филоненко.

Но через год в том же журнале выступил аноним – за подписью «Х», который тоже участвовал в террористической группе Филоненко. И отверг версию Нелидова: «Что Л. Каннегисер участвовал в тайной организации и, благодаря своим личным данным, играл в ней значительную

роль – это несомненно верно. Но террористический свой акт Каннегисер совершил независимо от организации, задумав и выполнив его самостоятельно». В последних числах июля состоялось совещание «начальников районов» – что делать? – но вопрос так и остался висеть в воздухе (уж не след ли этого собрания был обнаружен Отто–Риксом в уборной дома в Саперном в виде записки: «Общее собрание 25 июля 1918 г.»?). «Х» пишет, что после арестов среди заговорщиков царила моральная подавленность и растерянность. Видя это, Леонид решил действовать: сам задумал и сам совершил свой теракт. Никто из организации не знал о его плане, а один из заговорщиков даже чуть не попал в засаду, когда явился к Каннегисерам, чтобы сообщить о сенсации – убийстве Урицкого.

Вполне вероятно, что правы оба сообщника Леонида: сначала теракт готовился целой организацией, коллективно, а в конце концов Каннегисер осуществил его сам, единолично. Иначе бы ему, конечно, помогли бежать сразу после выстрела в Урицкого и он бы так глупо не попался.

Но вот подготовка побега из тюрьмы все же оставляет сомнения. Загадочна фраза Леонида в записке родителям: «Для себя предпочитаю другое». Другое – то есть смерть. Но тогда почему все же он готовит побег? Или были предварительный договор с кем-то и чье-то обещание помочь в случае ареста? «Набрать 5–6 человек и мотор» должен «адъют»...

Можно предложить такую версию событий. После того как провалились одна за другой три попытки убить Урицкого, Леонид решил действовать. И поделился планом с Филоненко, своим кузеном и патроном, под сильным влиянием которого находился. А тому позарез нужны доказательства боеспособности его разваливающейся организации – хотя бы перед «союзниками», которые снабжали его деньгами.

Чекистам было известно через свою агентуру, что и Савинков упрекал своего сообщника: живя так долго в Петрограде, не может организовать ни одного теракта! А тут – Леня, горячая голова, авось и получится... И, надо думать, «адьют» не стал категорически возражать ему, возможно, даже пообещал, что в случае ареста выручит, организует побег.

Однако доверчивость Леонида была жестоко обманута: то, что для него, идеалиста и героя, стало подвигом, самопожертвованием, для Филоненко явилось лишь очередной авантюрной комбинацией, при любом исходе которой он хотел бы выйти сухим из воды. «Адьют» подставил своего юного друга – и предал, сбежал из Петрограда. А вскоре объявился в Архангельске, среди интервентов. И там, в безопасности, встретил смерть Леонида, о которой ему сообщила его петроградская агентура, и первым объявил о ней, заработав на том политический дивиденд – намеками о своей причастности к убийству Урицкого. Раскрывать всю правду о замысле этого теракта ему было невыгодно, а второй человек, знавший ее, уже не мог сказать ничего и никогда.

Следствие по делу Леонида Каннегисера длилось почти век и так и не было закончено.

А тьма упорствует

Шло время. Неотвратимо исчезали люди, причастные к тем событиям.

Умрут в эмиграции родные Леонида: отец – в Варшаве, мать – в Париже. Лулу, младшую сестру, замучают фашисты в Освенциме. Покровительница молодых талантов Серебряного века, «тетя» и «регентка» Софья Исааковна Чацкина, бездомная и нищая, будет искать пристанища в послереволюционной Москве и пропадет там в неизвестности. Один из бывших авторов ее прославленного журнала Федор

Степун разыщет ее в подвале Дома писателей на Поварской. «Когда я неожиданно вошел к ней, она варила себе какую-то кашу в выщербленной ночной посуде. Она была душевно уже надломлена и вскоре умерла».

Из родни Леонида дольше всех проживет Максимилиан Филоненко: он сделается видным парижским адвокатом, будет вести громкие русские дела, например, дело певицы Надежды Плевицкой, а после войны «адыют» отыщет себе нового шефа-покровителя – зачастит в советское посольство, выступит патриотом серпа и молота, пропагандистом возвращения на Родину.

Однако рекордсменкой долголетия окажется неистовая Паллада Олимповна Богданова-Бельская, наставница стремительного Леонида в кратких любовных утехах, – она покинет сей свет в Ленинграде, в 1968 году, восьмидесяти трех лет, в полном одиночестве. А на прощанье оставит горестный вздох в письме Анне Ахматовой: «Наверно, я вскоре умру, потому что очень хочу вас видеть и слышать – а я теперь тень безрассудной Паллады. Страшная тень и никому не нужная».

Дело об убийстве Урицкого оставит кровавый след на много лет и станет роковым для многих судеб, оказавшихся причастными к нему. Припомнят это дело и через двадцать лет – приговоренному к расстрелу писателю Юрию Юркуну, и через тридцать – арестованному в пятый раз и заморенному в казахстанской ссылке двоюродному дяде Леонида, переводчику Исаяе Мандельштаму. Расправа растянулась на всю жизнь.

Что же до питерских организаторов красного террора, то они сами стали жертвами глобального кровопускания, которое уже не могли остановить. В очередной пик Большого террора, 1936 – 1938 годы, родная советская власть расстреляет и вождя коммунаров Зиновьева, и коменданта

Петрограда Владимира Шатова, и чекистов Глеба Бокия, Александра Иосилевича и Николая Антипова. Не пощадит никого. Вспоминал ли, умирая в марте 38-го в концлагере на Колыме, глухой старичок «дядя Вася» Князев свой популярный двадцать лет назад «Гимн коммуны»: «Никогда, никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами!»? Солагерники рассказывали, что «красный Беранже» повторял в бреду, что он – птица и хочет полетать над всей Россией, посмотреть, что там делается.

Дело Леонида Каннегисера было поднято из архивной пыли в эпоху перестройки. В реабилитационном потоке Прокуратура, рассмотрев его, вынесла 20 ноября 1992 года вердикт: «Реабилитации не подлежит». Преступник–террорист. И останется таковым до тех пор, пока не будут юридически, законом признаны преступниками–террористами Урицкий, Зиновьев, Ленин и все прочие красные палачи. Но не заведено уголовное дело на них...

«Мир раскололся, и трещина прошла через сердце поэта», – говорил Генрих Гейне. Это – о таких, как Леонид Каннегисер, роковых избранниках истории. Через него прошла линия раскола, линия фронта в русской революции, разделившая народ и страну на два враждебных лагеря – партию Урицкого и партию Каннегисера, красных и белых, и погрузившая всех в гибельную пучину.

Россия – безумно несчастная страна, – записал перед казнью в одиночке Петроградской ЧК юноша-смертник. – Темнота ея – жгучая, мучительная темнота! Она с лютым сладострастьем упивается ею, упорствует в ней и, как черт от креста, бежит от света.

*Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды, –*

говорит Пушкин. И до сих пор не взошла эта звезда. Тьма тём¹ на небе ея. Отдельные безумные сеятели выходят из густого мрака и, мелькнув над древнею окаменелюю браздою, исчезают так же, как явились. Одни теряют только «время, благие мысли и труды», другие больше – жизнь.

А тьма упорствует. Стоит и питается сама собою.

Ключевые слова – «питается сама собою». Откуда же тьма, где источник ее, эта черная дыра? Космические причины – силы земли и неба? Биология, генетика? Или историческая судьба, рок, предопределенность? Бог весть. Но все в нашей истории происходит так, будто в нас, русских, нарушен инстинкт самосохранения или заложен инстинкт самоуничтожения.

Что раньше, то теперь! Как русские князья воевали друг с другом, вместо того чтобы встать против общего супостата, так и в веке минувшем: революция, Гражданская война, белые и красные, гибель крестьянства и дворянства, интеллигенции и духовенства, массовый государственный террор, геноцид – собственного народа... Не разумное и гуманное начало, а самоедство и самодурство. И что внешние враги – никто не принес столько зла России, как русский человек! Стало быть, корень зла – в нас самих. Страшные чудики. «Мы такие. Мы – жуткие», как говорят о себе герои Платонова.

Век Каннегисера и Урицкого – позади. Одного хоронили скрытно, в безвестной могиле, другого – торжественно, с почестями, имя одного известно лишь горстке интеллектуалов, имя другого до сих пор звучит в названиях улиц. Оба хотели улучшить мир: один грезил о «сиянии», другой меч-

¹ Используя идиоматическое выражение «тьма тём» (несчетное множество), Каннегисер обыгрывает здесь двойное значение слова «тьма»: и как старинное числительное (10 тысяч), и как темнота, мрак.

тал – «светить». И что, стало светлее от этих вспышек? Ушли одни террористы – пришли другие. В минувшем веке террор в России был беспросветен, менялись лишь формы его.

И новый, XXI век начался с волны насилия, со зловещего символа – взрывов новыми террористами жилых домов в Москве и других городах и весях. Когда Россия, казалось бы, вышла на простор исторического творчества и могла бы выбрать себе достойную форму жизни, – опять смута и развал, мафия власти и власть мафии, признаки вырождения и вымирания. На краю пропасти мы заняты не спасением друг друга, а взаимной обреченной борьбой. «Тьма упорствует...»

Пока не разрешена эта внутренняя драма России, в ней будут возникать и убийцы Моисеи Урицкие, и убийцы убийц – Леониды Каннегисеры.

СВЯТОЕ БЕЗУМЬЕ МОЕ

Дело Икс

Янечка

Мэтр

Послать толковых старых ребят

Ужели вам допрашивать меня?

Спутник в вечности

Гумилевич

Иду в последний путь

Его великолепная могила

Я с вами опять



Какое отравное зелье
Влилось в мое бытие,
Мученье мое, веселье,
Святое безумье моё...

И дальше – еще две строфы – карандашом, очень мелко, стерлось, уже не разобрать. Только отдельные буквы, слова проступают, мерещатся, морщатся, как в огне печи, – и на глазах исчезают, превращаются в тусклый пепел.

Тут же, сбоку, наискосок – сугубая проза жизни: «ул. Гоголя 5 мука Балтфлота», назначенное свидание – «Ирина Марковна Быховская воскр. 12 ч». И все это – на обороте глянцевого картонного прямоугольничка:

На 1920 г. «ДОМ ИСКУССТВ» На 1920 г.

при

КОМИССАРИАТЕ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ

Гумилев

Николай Степанович

Подпись – председатель Высшего Совета «Дома Искусств» М. Горький. Печать.

Но и это не все: сверху канцелярская нумерация – лист 63...

ВЧК. Дело № 214224 в 382 томах. «ПБО» (Петроградская боевая организация). Том № 177. «Соучастники. (Г у м е л е в Н. С.)».

Так. Начинается бюрократическая чертовня – уже на обложке дела перевернана фамилия. См. дальше – перевернана, искажена судьба. Подстреленная на лету жизнь. И среди того, что

Handwritten text and signatures:
 31-57
 [Large circular stamp/signature]

1920 г. „ДОМ ИСКУССТВ“ На 1920 г.
 ПРИ
КОМИССАРИАТЕ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
 Мойка 59, ——— Тел. 6-05.

ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ
Гумилев
 [Signature]

Петроградский Дом Искусств
 Председатель Высшего Совета
 Дома Искусств — *М. Горький*
 Заведующий Канцелярией
[Signature]



Членский билет «Дома искусств», на обороте которого рукой Н.С. Гумилева записаны стихи. Из следственного дела

11-1581

В. Ч. К.**ДЕЛО №214224**

„П Б О“

*Соучастники.**(Гумилев Н. С. - 104 л. в.)***ТОМ №177****Арх. №** _____ **В** **382** **ТОМАХ**

некогда было ею, среди сгребенных наспех обрывков, осколков, обломков ее – чудом уцелевшие, живые строчки стихов.

Неизвестный набросок Николая Гумилева, сделанный его рукой¹. Что это: эпитафия к судьбе или эпилог? Случайный черновик или зачин большого замысла? О каком «отравном зелье» – речь? Творческие терзания, жребий поэта? Любовь-злодейка? Или общественное ристалище, смерч революции?

Николай Гумилев – легенда русской поэзии. Самое проклятое советской властью поэтическое имя. Семьдесят лет носитель его числился государственным преступником. И почти все это время было наложено вето на его творчество и на память о нем: Гумилева не только запрещали публиковать, но и упоминать в печати, за чтение и хранение его стихов и даже портретов бросали в тюрьмы и лагеря, обрекали на смерть. Опасно было просто упоминать вслух это имя – прослынешь неблагонадежным.

И все-таки поэт продолжал жить, в сознании читателей – нелегально, переходя из поколения в поколение, из памяти в память, из тетрадки в тетрадку, из уст в уста, разлетался самиздатом, пока снова, миновав советское затмение, не вернулся к нам книгами. Так нужны были людям его стихи!

Первое казненное и последнее возвращенное крупное поэтическое имя, Гумилев и реабилитирован последним, клеймо запрета и проклятия снято с него только после крушения советской власти. Они оказались несовместимы.

Но почему молния поразила именно его? У этого поэта нет ни одного антисоветского стихотворения. За что же такая беспримерная лютость? Случайное попадание? Может быть, все гораздо проще: было бы «дело» – человек найдется?

¹ Впервые опубликован: *Шенталинский В.* Десять лет с правом переписки // Литературная газета. 1999. № 25. 23–29 июня.

А «дело» было. Говорят, верховные большевики называли его между собой «делом Икс».

Поэт Гумилев советскую власть не интересовал, ей был нужен Гумилев-заговорщик.

Дело Икс

Лето 1921-го. Петроград. Раскрыт опасный и коварный заговор против революции – Петроградская боевая организация, или заговор Таганцева, по имени главаря. Привлечены к уголовной ответственности 833 человека, около ста расстреляны без суда, по скоропалительным приговорам ЧК. Очередная победа большевиков вошла в учебники истории. Дело – в архив.

Течет время. Наливается кровью, крепчает, потом неизбежно старится, дряхлеет советская власть. Дожили до перестройки! А дело Таганцева все еще под секретными замками. Что мешает распахнуть этот сундук памяти? Не страх ли, что откроется правда?

Спор о Таганцевском заговоре и участии в нем Гумилева не утихнет, пока не раскрыты полностью, не изучены и не обнародованы все 382 тома дела. Много гипотез и домыслов – мало фактов и документов. Сколько сказано – тайна остается. Нет полной реконструкции событий – даже на основе всех новых материалов, открывшихся в результате перестроечного архивного бума¹.

Надо отдать должное первым публикаторам «дела Гумилева» и вообще всем, кто по крупницам воскрешал его биографию. И все-таки материалы дела не были обнародова-

¹ См., например: *Хлебников О.* Шагреневые переплеты // «Огонек». 1990. № 18; *Лукницкая В.* Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990; *Краевский Б.* «Дело Таганцева»: кем и как оно было сделано // Общая газета. 1995. № 49; *Лукницкий С.* Есть много способов убить поэта. М., 2002 и др.

ны полностью. В публикациях оказалось много неточностей, неверных расшифровок и пропусков. Причина этого – и спешка, при которой исследователи знакомились с делом, вызванная желанием ускорить реабилитацию поэта, и то, что текст печатался не с оригинала, а с ксерокопий, выданных архивистами КГБ. В результате случилось и так, что лицевая сторона листа воспроизводилась, а оборот – нет. И, кроме того, судя по изменениям в нумерации страниц, дело расшивалось, в него вмешивались: что-то изымали и что-то вставляли...

Определились три основные точки зрения: первая – заговор был, Гумилев его активный участник; вторая – заговор был, Гумилев лишь причастен к нему, и, наконец, третья – все это чистая фикция, заговора вообще не было.

Что же случилось тогда на самом деле? Чтобы это понять, надо, обобщив известное, вписать в его контекст новые факты и документы, которые открылись нам в процессе изучения досье Гумилева в лубяньских архивах.

Как оно возникло, это самое «дело Икс»?

Первые годы большевистского режима – сплошная судорога: уцелеть, продержаться, выжить – любым способом! Власть взята насильем, а у захватчиков враги всюду. В яростной борьбе приходится идти на самые жестокие и крайние меры, выискивать все более изощренные методы и тут же внедрять их в сознание, подводить идеологическую базу. Это называется революционным творчеством – слово краденое, для маскировки.

Так рождался криминальный коммунизм, ставший главным палачом XX века.

Трудно даже понять порой, откуда инициатива – из Кремля или с Лубянки. Чаще они – Кремль и Лубянка – шли на опережение, подталкивали друг друга, заражаясь и за-

ряжаясь подозрительностью, страхом и агрессией. Да и не так уж важно это в конечном счете, когда Ленин уступал напору чекистов и когда, наоборот, сам развязывал им руки, вдохновлял на очередную расправу.

5 декабря 1920-го все губернские ЧК получили совершенно секретный приказ Феликса Дзержинского. «В целях быстрейшего выяснения иностранной агентуры на нашей территории» предписывалось создавать обманки – фиктивные белогвардейские организации, «подпольные и террористические группы», разумеется, весьма осторожно и под строгим контролем. Шпионов приманим, а заодно и население проверим «на вшивость». Провокация, подлянка? Нет, военная хитрость, правое дело. Потому как для революции, всеобщего счастья. Без одобрения партийной верхушки, самолично, железный Феликс на это бы не пошел.

Положение новой власти зыбко, большевики – в смертельной опасности и перманентной панике. В феврале–марте 21-го разразился Кронштадтский мятеж – это уже не треклятые белогвардейцы и буржуи, восстал свой брат – революционный матрос. Мятеж потоплен в крови, но напугал сильно, подтолкнул к уступкам – к нэпу. Приходится маневрировать – от пинка до пайка, кого – к пенке, а кого – к стенке.

Постоянная головная боль – интеллигенция, почти сплошь недовольная жизнью под комиссарами, в массе своей враждебно к ним настроенная. Большевики искали способ обуздать, подчинить или хотя бы нейтрализовать ее. 20-е годы – еще сравнительно мягкий период, даже всплеск творческой активности, когда не иссяк художественный потенциал Серебряного века, не перебродило революционное сусло. Пора шатаний, иллюзий и заскоков, когда шаг влево – шаг вправо еще не пресекались выстрелом, когда возникали и лопались, как мыльные пузыри, всевозможные эфемерные

учреждения с диковинными названиями. Был, например, даже Исполкомдух – Исполнительный комитет по делам духовенства, вскоре, впрочем, разогнанный.

Множество писателей, литераторов, журналистов пострадали и погибли не за свое творчество, а за принадлежность к числу разгромленных контрреволюционеров, белогвардейцев, к различным гонимым социальным слоям – дворяне, священники, буржуазия, купцы, торговцы, офицеры, к небольшевистским политическим партиям и обществам – монархисты, кадеты, народники, меньшевики, эсеры, анархисты, сионисты, старые политкаторжане, мистики, наконец, к всевозможным отщепенцам, оппозиционерам и уклонистам от генеральной линии партии.

8 марта Совнарком направляет письмо в Наркомпрос, просит охарактеризовать большую группу научной и художественной интеллигенции – для будущей зачистки. Подозрительная, гнилая публика!

Летом разоренную, истерзанную страну постигает катастрофический голод. Население ропщет. Можно ожидать новых контрреволюционных взрывов. 4 июня Ленину на стол кладут телеграмму. Комиссар иностранных дел Красин сообщает: в Париже, на съезде русских партий – монархистов, кадетов, правых эсеров – решено поднять очередное восстание в Кронштадте и Петрограде. Срок – конец июля – начало августа. Ленин требует от чекистов срочных мер.

Записка заместителю председателя ВЧК:

т. Уншлихт!

Сообщают про Питер худое. Эсеры 435

де сугубо налегли, и питерская чека не знает-де ничего об эсерах! Они де новые, законспирированы чудесно, имеют свою агентуру.

Как бы де не прозевать второго Кронштадта.

Обратите побольше внимания, пожалуйста, и черкните мне сегодня же.

*Не послать ли опытных чекистов отсюда в Питер?
Ваши сведения и Ваши планы?*

С ком. приветом

Ленин

Результатом этого ленинского «как бы де не прозевать», перестраховочного страха, и стало таганцевское дело. Вождь выразил недоверие питерским чекистам. Теперь надо было отмазаться, отличиться, доверие вернуть.

Требовался повод для раскрутки большого заговора. И случай как раз подвернулся.

Только что, в ночь с 30 на 31 мая, при переходе финской границы был убит бывший царский офицер, шпион Юрий Герман. При нем нашли записную книжку с множеством адресов, что давало основание подозревать некую организацию и начать аресты. В числе задержанных наиболее значительной фигурой, подходящей для роли контрреволюционного вожака был Владимир Николаевич Таганцев, профессор-географ, секретарь Сапропелевского комитета Академии наук¹. Сигналы о его неблагонадежности уже поступали – от чекистских агентов. Началась усиленная обработка профессора.

В первых его показаниях нет ни подтверждений вины, ни вообще каких-либо фактов о существовании «Боевой организации». «Я получил известие, – рассказывал Таганцев, – что дома был обыск и оставлена засада. Засада сидела, ловила приходивших, потихоньку реквизировала вещи, причины были для многих совершенно непонятные, в особенности, когда попал курьер Сапропелевского комитета, принесший от академика Ольденбурга находившуюся у последнего рукопись отца (академика Н.С. Таганцева), показавшуюся весьма контрреволюционного содержания,

¹ Сапропель – это озерный ил, изучением которого и занимался в то время Таганцев.

ибо там был разбор “Двенадцати” Блока с бунтарскими, как известно, рифмами...»

Тон вполне уверенный, даже иронический.

Похоже, что стражи революции поначалу растерялись перед такой сверхзадачей: слепить из пестрого множества ничем не связанных и даже часто не знакомых между собой людей – сплоченную армию врагов. Не все чекисты были на это способны. Вот что писал один из них (фамилия неизвестна) о жене Таганцева, тоже арестованной:

«Таганцева Надежда Феликсовна исключительно была занята своими детьми и хозяйством. Доказательством ее непричастности к самой организации служит то, что, имея возможность уничтожить переписку Владимира Николаевича во время засады, не сделала этого».

Отец Таганцева, старик под восемьдесят, почтенный правовед, до революции – сенатор и член Государственного совета, решил действовать. Он обратился прямо к Ленину с просьбой смягчить участь сына, а заодно и возвратить конфискованное имущество, принадлежащее лично ему, академику Таганцеву.

19 июня Дзержинский дал справку по делу:

Вл. Ильичу! ...Питерской ЧК дано распоряжение – медленно вернуть вещи Таганцеву. Таганцев Вл. Ник. – активнейший член террористической (правой) организации «Союз возрождения России»... непримиримый и опасный враг Соввласти. Дело очень большое и не скоро закончится. Буду следить за его ходом.

Ф. Дзержинский.

Организация организовала убийство на Зиновьева, Кузьмина, Анцеловича, Красина.

Странные убийцы, если из четырех перечисленных жертв – все живы и здоровы! И что еще удивляет – следствие

только началось, а последствия его уже очевидны. «Откуда были взяты эти фактические данные, неизвестно, в материалах уголовного дела таковых не имеется» – так в наши дни прокомментировала справку Дзержинского Генеральная прокуратура. Между тем в Петрограде продолжают вытягивать из Таганцева нужные показания. Безуспешно. В ночь с 21 на 22 июня отчаявшийся узник пытается повеситься на скрученном полотенце. Не дали, спасли, он еще нужен – для «дела Таганцева».

А Москва торопит – требует: даешь заговор!

25 июня следователи Петрович Губин и Попов составили доклад о результатах следствия. Они плачевны.

«Не имея определенного названия, организация не имела определенной, строго продуманной программы, как не были детально выработаны и методы борьбы, не изысканы средства, не составлена схема. Если же смотреть дальше, то Таганцев вообще не имел строго определенных, продуманных и проверенных прошлым опытом убеждений. Наличный состав организации имел в себе лишь самого Таганцева, несколько курьеров и сочувствующих».

В чем же в таком случае состояла боевая деятельность? А вот, оказывается, Таганцев избрал «новый способ борьбы – установление полного контакта и нахождение общего языка между культурными слоями и массами». Какой уж тут криминал – хоть сажай преступника в Совнарком! А затем – совсем замечательно:

«Таганцев и его группа находили возможным объединяться с лицами буржуазной ориентации и социалистами далекого будущего, признавая за основу программы сохранение советского строя. Террор как таковой, по словам Таганцева и других, не входил в их задачи».

А что же связь с финским шпионом Германом, с которого все началось? «Знакомство с Германом Таганцев

использовал как связь с заграницей, откуда ему необходимо было получать информацию, лишенную буржуазной или партийной окраски. Связь с курьерами имела исключительно спекулятивную подкладку, как перепродажа вещей, отправка эмигрирующих русских за границу, передача писем. Что же касается непосредственных связей организации Таганцева с финской и другими контрразведками, то в действительности организация как таковая ни связи, ни поддержки не имела».

И вот резюме: «Центральной фигурой в организации являлся, безусловно, Таганцев. Но говорить о существовании областного комитета преждевременно. К чисто практической работе был неспособен. Таганцев – кабинетный ученый, мыслил свою организацию теоретически».

Установка – вскрыть, разоблачить, уничтожить крупную, боевую, контрреволюционную, террористическую организацию! – лопалась, как мыльный пузырь. Можно было прекращать дело.

Но случилось совсем иное. Сами следователи – Губин и Попов – исчезли. После этого доклада их имена в деле Таганцева больше не упоминаются.

Янечка

И тут все кардинально меняется. Нет террористической организации, пока дело не взял в свои руки – помните Ильича: «Не послать ли опытных чекистов отсюда в Питер?» – особоуполномоченный по важнейшим делам ВЧК Яков Саулович Агранов – под таким именем жил и действовал в революции Янкель Шмаевич Сорензон.

Из семьи местечковых могилевских евреев, сын бакалейщицы, он кончил только четырехклассное городское училище и особыми революционными подвигами не блистал, и тем не менее сразу влез на верхний этаж власти. Это о таких,

как Агранов, высказался однажды Ильич: «Наше хозяйство будет достаточно обширным, чтобы каждому талантливому мерзавцу нашлась в нем работа». Прирожденный сыщик и провокатор, хотя и молод еще (ему 28 лет), но за плечами уже большие заслуги. Был секретарем Совнаркома, в узком кругу функционеров при Ленине, и после перехода на Лубянку отличился: курировал следствие по делу антисоветского «Тактического центра», руководил расследованием Кронштадтского мятежа.

Этому чекистскому иезуиту и принадлежит по праву честь создания ПБО, так что заговор Таганцева вернее было бы назвать заговором Агранова.

Специальной комиссии под его началом созданы особые условия, методы следствия, конечно, строго засекречены, и не только от современников, но и от потомков. Но все же иногда на страницах таганцевского дела кое-что проступает.

«Прежде всего необходимо отметить величайшее упорство, которое проявили все обвиняемые на допросах, – докладывает старший следователь Петрочек Назарьев, – так что пришлось с каждым из них затратить необычайное количество энергии и громаднейшее количество часов, чтобы вынудить их признать себя виновными в своих преступлениях». Другое, еще более красноречивое признание: «Гр. Слосбергу нужно сказать, что его выдали Герцфильд и Цветков. Цветкову сказать, что его выдал Слосберг».

И через этот следовательский цинизм и грязную кухню уже совсем скоро будет пропущен Николай Гумилев, человек, живущий совсем в другой системе координат. Его ученица, поэтесса Ирина Одоевцева, вспоминает, что, обитая в пустой, холодной и голодной квартире, он приручил мышку и подкармливал ее скудными крохами еды.

– О чем же вы с ней беседуете? – спросила Одоевцева.

– Ну, этого я вам сказать не могу, это было бы неблагоприятно...

Агранов множит аресты. И вот уже через месяц после первоначального доклада по делу, 24 июля, «Известия» сообщают о раскрытии в Петрограде «крупного заговора, подготовлявшего вооруженное восстание против Советской власти». Заговор – дело рук некоего «Областного комитета союза освобождения России», – еще одно промежуточное название, в ходе следствия будет придумано и окончательное – Петроградская боевая организация, во главе с Таганцевым.

Уже и газеты сообщили, а сам профессор все еще не сдается, не дрессируется – ни лаской, ни таской, не хочет сотрудничать со следствием. Нужно нестандартное решение. Агранов идет ва-банк.

Подробности дальнейшего стали известны от очень осведомленного свидетеля тех событий, филолога Бориса Павловича Сильверсвана, успевшего скрыться за границу. Можно доверять его сообщениям, они в основном подтверждаются позднейшими свидетельствами.

После 45-дневного содержания в «пробке» (изоляторе с пробковыми стенами, во избежание самоубийства узника) Таганцев вызван к Агранову. От имени руководства ВЧК профессору предложена сделка. Три часа на размышление, и если условия не будут приняты – всех арестованных, виновны они или нет, расстреляют.

Выбора не оставалось. Это была поистине сделка с дьяволом. Текст «договора» опубликован Сильверсваном в Париже, в эмигрантской газете «Последние новости», 8 октября 1922-го. Вот суть документа:

...Я, Таганцев, сознательно начинаю делать показания о нашей организации, не утаивая ничего. Не утаю ни одного лица, причастного к нашей группе. Все это делаю для облегчения участи участников нашего процесса.

Я, уполномоченный ВЧК Яков Соломонович Агранов, при помощи гражданина Таганцева, обязуюсь быстро за-

кончить следственное дело и после окончания передать в гласный суд, где будут судить всех обвиняемых... Обязуюсь, в случае исполнения договора со стороны Таганцева, что ни к кому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания.

Заведующий секретно-оперативным отделом

Республики и уполномоченный ВЧК

Агранов

Договор читал и подписываюсь

Таганцев

Петроград

28 июля 1921 г.

Проверить достоверность самого документа, к сожалению, нельзя – в деле его нет, да и быть не может. Но даже если сделка между Аграновым (в тексте он почему-то назван «Соломоновичем») и Таганцевым была оформлена как-то иначе, суть от этого не меняется. Есть тому подтверждения и из других источников.

В дневнике знаменитого ученого, академика Вернадского есть запись о том, что Таганцев «погубил массу людей, поверив честному слову ГПУ (Менжинский и еще два представителя)». Ученый имеет в виду ВЧК, ГПУ появилось позднее. «Идея В.Н. Таганцева заключалась в том, что надо прекратить междоусобную войну, и тогда В.Н. готов объявить все, что ему известно, а ГПУ дает обещание, что они никаких репрессий не будут делать. Договор был подписан. В результате все, которые читали этот договор с В.Н. Таганцевым, были казнены... Мои сведения идут от теперь умершего Александра Ивановича Горбова, моего ученика. А.И. Горбов был тоже оговорен Таганцевым, но когда ему предложили прочесть показания Таганцева, он отказался и узнал подробно об их содержании от военного, кажется, полковника, с которым сидел в камере. Фамилию его я забыл».

Только после получения гарантий от руководства ЧК Таганцев начал давать развернутые показания. Не выдавал, а, как ему казалось, спасал. Он просто не понимал, с кем

имеет дело. «Я, конечно, далек от того, чтобы проклинать его память, – писал Сильверсван, – он перенес, может быть, в тысячу раз больше всевозможных мучений, чем все остальные, и все это один Бог может рассудить; я жалею его глубоко, несмотря ни на что, человека, попавшего в руки дьяволов в человеческом образе, невозможно судить как свободного человека».

Легко представить себе торжество Агранова! Теперь руки развязаны. Он тут же переговорил по прямому проводу с Дзержинским, а тот на следующий день – 29 июля – доложил об успехе Ленину.

Яков Саулович Агранов – мастер интриги, сочинитель и режиссер, ставил свои трагедии не на сцене, не с актерами, а в реальной жизни, и умирали в них люди не понарошку. Он сделает блестящую чекистскую карьеру, войдет в личный секретариат Сталина и будет пользоваться исключительным его доверием, станет заместителем наркома, вторым человеком в госбезопасности (никогда не на первом плане, не на самом виду – это тоже его правило), ему будет принадлежать еще не одна громкая постановка в театре советской истории. Это он, Агранов, готовил самые важные процессы 20–30-х годов: Промпартии и Трудовой крестьянской партии, эсеров и меньшевиков, составлял списки пассажиров «философского парохода», на котором скопом выбросили из страны, как вредителей, лучшие интеллектуальные силы. Он, Агранов, был сценаристом массового погрома после убийства Кирова, расписывал роли, руководил допросами еще вчера всевластных кумиров, превращенных в презренных врагов народа: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова, Тухачевского...

Должно быть, этот особый дар сочинительства влек его к писателям, инженерам человеческих душ; не случайно в своем тайном ведомстве он взял кураторство над литерату-

рой и искусством. Поэтоубийца делается близким другом поэтов, милым Яней, Янечкой Владимира Маяковского и по совместительству любовником его музы – Лили Брик, не оставляя при сем ни на день своего палаческого ремесла. Некоторые исследователи утверждают, что именно Агранов и организовал самоубийство Маяковского. Это очень темная история, но, во всяком случае, револьвер, из которого застрелился трибун революции, – подарок Агранова. И первая подпись в некрологе Маяковскому, другу задушевному и задушенному, – тоже его.

Почетный гость, любезный собеседник и покровитель Бориса Пильняка, Сергея Третьякова, Михаила Кольцова и еще многих мастеров слова, уже стоящих на очереди к лубянской душегубке. Счастливчик, везунчик, баловень судьбы – квартира в Кремле, дача в Зубалове, рядом со сталинской. Его ожидает та же страшная участь, что и его жертв, – Агранова расстреляют 1 августа 1938-го как шпиона и террориста, замышлявшего убить Сталина.

«Когда-нибудь о наших современниках будут говорить, как о шекспировских героях», – предсказывала Анна Ахматова. Это и о таких, как Янечка, – в ладном мундире, неотразимый, смазливый, чуть усталый, с очаровательной улыбкой и папироской в капризных и тонких губах... Чекисты, как стахановцы и папанинцы, были тогда и вправду героями своего времени, любимцами страны.

Однако не всех обольстил причудливый Янечка. Анна Ахматова видела в нем прежде всего убийцу. Известны слова Бориса Пастернака: «Когда-то был правой рукой Дзержинского, приближенным Ленина. Отправил на тот свет Николая Гумилева и множество выдающихся деятелей».

Конечно, и Таганцев, и другие жертвы «дела» – мыслящие люди – тревожились за судьбу России и еще не

разучились выражать свои взгляды вслух, возмущаться зверством и глупостью власти. И не только рассуждали об этом, но строили планы о замене ее чем-то более разумным и гуманным, собирали для этого силы. «Вина» Таганцева и его «сообщников» в том, что они, такие люди, существовали и представляли потенциальную опасность для большевиков. Но чекисты, опередив еще не осуществленные действия и многократно умножив число «заговорщиков», окрестили их «Боевой организацией» и инкриминировали подготовку вооруженного восстания. Большевицким диктаторам нужна была акция устрашения, чтобы удержать власть, ускользающую из рук. Вот истинная цель этой грандиозной фальсификации и провокации.

По воспоминаниям поэта Лазаря Бермана, он, попав под арест спустя два года, имел случай разговаривать с Аграновым и решил спросить, за что же так жестоко наказали участников таганцевского дела. Тот ответил: «Семьдесят процентов петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врагов. Мы должны были эту ногу ожечь».

Другими словами, превентивный удар. «Вторым Кронштадтом» сделали Таганцевский «заговор», чудовищно раздули его Агранов со своей чекистской братвой по прямой наводке Ленина – «как бы де не прозевать». А прочее – уже дело техники. Наметили штаб: главарь – Таганцев, члены – подполковник царской армии Вячеслав Григорьевич Шведов (кличка Вячеславский) – о нем известно, что он успел застрелить двух чекистов, прежде чем был схвачен, и уже знакомый нам финский шпион Герман (кличка Голубь). Сочинили более или менее правдоподобную «легенду»: эта организация кадетского направления, возникла еще год назад и включала в себя офицерскую и профессорскую группы и группу кронштадтских моряков. Для массовости подверстали сюда недобитых аристократов, спекулянтов, контрабандистов,

жен арестованных и просто подозрительных и случайно попавших под руку лиц с фантастической виной.

И завертелось. Главная операция началась с 30 на 31 июля и продолжалась несколько ночей подряд. На мобилизованных машинах автогужа на Гороховую, 2, в ВЧК, были доставлены сотни арестованных, которые после регистрации тут же отправлялись в Дом предварительного заключения на Шпалерной улице, там под распоряжение Агранова был отведен целый ярус. Облавы, обыски, засады, доносы, допросы – круглыми сутками.

Аграновский метод лег в основу чекистской работы на многие десятилетия, «дело Икс» стало испытательным полигоном для отработки механизма массового террора 30-х годов, с его повальным стукачеством, идеологическим оболваниванием, безжалостным истреблением личности, атмосферой тотального страха, когда был испробован и применен весь арсенал ненависти, подлости и жестокости, доступный роду человеческому.

И как профессор Таганцев не понимал, с кем он имеет дело, поверив в честное слово чекистов, так и поэт Гумилев совершенно не представлял себе, в какую политическую игру его затянут. Ему и в голову не могло прийти, что в этой игре ни его личность, ни его поэзия никакой цены не имеют, что в «деле Икс» ему отведена роль статиста, что он попадает отныне совсем в другое измерение. Большевики шахматными фигурами играют в шашки. Для них Гумилев – пешка, нужная для счета, для количества. Вот с чем он не смирится никогда.

Осип Мандельштам, который был другом Гумилева и признавался, что всю жизнь не прерывал мысленный разговор с ним, уловил суть этой неадекватной оценки большевиков. По его словам, Гумилев «сочинил однажды какой-то договор (ненаписанный, фантастический договор) – о взаимоотноше-

ниях между большевиками и им... как отношения между врагами – иностранцами, взаимно уважающими друг друга».

Какая наивность! Ведь благородство предполагает ответное благородство. Для большевиков это качество относилось к пережиткам проклятого прошлого. Вот чем они были сильны – не обременяли себя категорическим императивом, вечными общечеловеческими ценностями; чего стоят хотя бы ядовитые издевки Ленина над «боженькой» или постулат: «Нравственно то, что полезно революции». И выигрывали, и побеждали! На узком поле злобы дня, конечно, а не в перспективе, не в широком историческом плане.

Интеллигенция! Ну, научно-техническая, – без нее, разумеется, не обойдешься. А вот искусство – с ним можно не церемониться. Раз кухарка может управлять государством, что за труд – стишки кропать!

Художник Юрий Анненков, рисовавший Ильича, был поражен его цинизмом и нигилизмом, тем, что тот не питает никакого пиетета к искусству.

– Я, знаете, в искусстве не силен, – посмеивался вождь революции, – искусство для меня, это... что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его – дзык, дзык! – вырежем. За ненужностью...

Таков мир и стратегия этого феномена – прославленного экстремиста. «Пожилой мужчина правильного телосложения, удовлетворительного питания», – гласит протокол вскрытия тела величайшего идеолога и политика – партократа.

А Гумилев – поэтократ. Стихи для него – форма религиозного служения. Поэтократия – вот строй, который устанавливает поэт, особый строй чувств и мыслей. И свое представление о мире он никому силой не навязывает. Когда Гумилев делал в Доме искусств доклад «Государственная власть должна принадлежать поэтам» – это было не при-

зывает к свержению существующего порядка, а метафорой, призывом к гуманизму, очеловечиванию власти.

Если Слово – это Бог, что может быть важнее миссии поэта?

И ему – быть пешкой в чьих-то руках?!

Мэтр

Николай Гумилев ярко отпечатался в памяти своих современников – друзей и врагов, мужчин и женщин. Но при всем множестве и разноречивости воспоминаний образ его не расплывается, не туманится, как часто бывает в таких случаях, а, наоборот, становится все отчетливей.

Человек цельный и очень непохожий на других, он жил, будто исполнял некую миссию, данную ему свыше, как власть имущий, особую власть; многим его повышенное чувство собственного достоинства, не без некоторой надменности, независимость, холодная насмешка к невзгодам судьбы, монотонная, важная речь, презрение к интригам и житейской суете казались позой, гордыней и вызывали или неприязнь, или робость, до дрожи в коленках. Все в нем было крупно и казалось чрезмерным.

Два правила, которым он следовал, которые и украшали, и усложняли его жизнь: «Всегда идти по линии наибольшего сопротивления» и «Всегда первый – не иначе!». Сознательно учил себя побеждать страх и в этом преуспел, слишком – до безрассудства. Верил – силой воли можно даже переделать свою внешность, что ему, правда, не удалось, сколько ни смотрел в зеркало. Считал, что жить надо так, как хочется, никому и ничему не подчиняясь, но стремиться к совершенству. Никогда не жаловался.

Сверхчеловек? Совсем нет. При всем том в нем часто проглядывал простодушный ребенок: всерьез говорил, что

ему только двенадцать лет. Мудрец и дитя были в нем органично слиты.

Проницательный, ироничный взгляд бросил на него писатель Честертон при встрече на одном приеме в Лондоне, в 1917-м, когда непрерывный монолог русского гостя по-французски так захватил всех своей необычностью, что они не прервали его, даже несмотря на начавшийся воздушный налет. Этот эпизод хорошо запомнился британской знаменитости не только потому, что он впервые оказался под бомбежкой, но и из-за поразительного контраста между «абстрактным предметом разговора и реальными бомбами». Русский говорил без умолку – что там какие-то бомбы!

«В его речах было качество, присущее его нации, – качество, которое многие пытались определить и которое, попросту говоря, состоит в том, что русские обладают всеми возможными человеческими талантами, кроме здравого смысла. Он был аристократом, землевладельцем, офицером одного из блестящих полков царской армии – человеком, принадлежавшим во всех отношениях к старому режиму. Но было в нем и нечто такое, без чего нельзя стать большевиком, – нечто, что я замечал во всех русских, каких мне приходилось встречать. Скажу только, что, когда он вышел в дверь, мне показалось, что он вполне мог бы удалиться и через окно. Он не коммунист, но утопист, причем утопия его намного безумнее любого коммунизма. Его практическое предложение состояло в том, что только поэтов следует допускать к управлению миром. Он торжественно объявил нам, что и сам он поэт. Я был польщен его любезностью, когда он назначил меня, как собрата-поэта, абсолютным и самодержавным правителем Англии. Подобным образом Д’Аннунцио был возведен на итальянский, а Анатолий Франс – на французский престол... Он уверен, что, если политикой будут заниматься поэты или, по крайней мере, писатели, они никогда не допустят ошибок

и всегда смогут найти между собой общий язык. Короли, магнаты или народные толпы способны столкнуться в слепой ненависти, литераторы же поссориться не в состоянии. Примерно на этом этапе нового социального устройства я стал различать звуки за сценой (как обычно пишут в ремарках), а затем вибрирующий рокот и гром небесной войны. Пруссия, подобно Сатане, извергала огонь на великий город наших отцов, и что бы там ни говорили против нее, поэты ею не управляют... Мне трудно вообразить более удивительные обстоятельства собственной смерти, чем эту сцену в большом доме, когда я слушал безумного русского, предлагавшего мне английскую корону».

Действительно, невозможно понять этих русских! Тот же самый Гумилев после большевистского переворота почему-то рванулся из благополучной Англии домой, в самое пекло, хотя мог спокойно отсидеться вдали. И, рассказывая о встречах в Лондоне, вдруг сказал:

– Я беседовал со множеством знаменитостей, в том числе с Честертоном. Все это безумно интересно, но по сравнению с нашим дореволюционным Петербургом – все-таки провинция!

В апреле 1921-го ему исполнилось тридцать пять, а он уже видел и испытал столько, что хватило бы на несколько жизней. Сын корабельного врача, романтик, искатель приключений – совершил несколько путешествий в Африку, и не туристом, а исследователем, в труднейших этнографических экспедициях, в малодоступные места, на свой страх и риск. Герой-фронтовик, дважды заслуживший на войне с Германией Георгиевский крест. Отчаянный авантюрист, любитель острых ощущений и опасных крайностей – позади чуть ли не четыре попытки самоубийства, наркотики, дуэль и что еще, чего мы не знаем? Многочисленным романам Гумилева потерян счет, он всегда был влюблен, как завзятый

ловелас, но любил всю жизнь только одну – как верный рыцарь. Девушки овечками послушно шли к нему, кого-то брал штурмом, посвящал им стихи – и бросал, а они все равно самозабвенно любили его – некрасивого, шепелявого, с несколько лошадиным, вытянутым лицом, косыми глазами и бледными, толстыми губами. За что? За славу? За талант? За мужественность, отчаянность, детскость? Им виднее. Значит, было за что.

Лариса Рейснер, знаменитая красавица, в будущем писатель и комиссар, которую он лишил невинности, заведя в какой-то дом свиданий на Гороховой, и которой посылал письма, сводившие ее с ума, оставила запись: «Если бы перед смертью я его видела – все ему простила бы, сказала бы правду, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, Гафиза, уroda и мерзавца».

И только одна женщина отвергла, первой изменила ему и первой бросила – ее-то одну он и любил больше всех других – бывшую жену, Анечку Горенко, выросшую в Анну Ахматову.

В июне он побывал в Крыму, куда ездил по случайной, но удачной оказии, приглашенный поклонником, поэтом Владимиром Павловым, флаг-секретарем коморси – командующего морскими силами республики адмирала Немитца. Ездил с шиком, в штабном салон-вагоне, вернулся загорелый, полный энергии и планов. Это была для него болдинская пора, он достиг зрелости личности, пика мастерства. Новую книгу свою хотел назвать – «Посредине странствия земного». Много писал и печатался, с успехом переводил и редактировал французских, английских и немецких авторов, почти ежедневно выступал с чтением стихов и лекциями. Признанный мэтр, основатель и глава акмеизма (от греческого «акме» – высшая степень, цветущая сила), течения, в

которое входили такие мастера, как Ахматова и Мандельштам. С февраля 1921-го – председатель Петроградского Союза поэтов (мечтал организовать Всемирный!), он сам стал своего рода учреждением, общественным институтом, центром притяжения и воспитания поэтической молодежи.

Следы этой бурной деятельности отпечатались и в следственном деле, среди всяческих бумаг – всего, что в нормальной жизни наполнено смыслом и как-то сочетается и гармонирует между собой и что разом и скопом сгребла при обыске равнодушная рука в один темный мешок. Но откопнешь такую мертвую бумажку, разглядишь, вчитаешься – и оживет мгновенье, проступят лица, зазвучат голоса.

Милый Николай!

Пожалуйста непременно будь сегодня в Союзе – чтобы уговориться с Кельсон насчет всех дел... молодых и пр. Он будет там в 11 часов вечера.

Жорж

Это, конечно, Георгий Иванов, поэт и секретарь Союза поэтов, напоминает своему шефу, Гуму, как звали Гумилева его ученики, о встрече. Тогда ходили такие стишки, в жанре черного юмора:

Умер, не пикнув, Жорж Иванов,
Дорого отдал жизнь Гумилев.

Зигфрид Кельсон возглавлял Клуб поэтов, речь в записке, как видно, идет о приеме молодежи в Союз.

И снова неугомонный Иванов зовет Гумилева на какой-то литературный вечер, вместе с женой и переводчиком Михаилом Лозинским:

Милый Николай!

Пожалуйста приходите сегодня с Анной Николаев-ной и приведи Михаила Леонидовича, если он будет у тебя.

Приходите непременно. Мне самому нельзя уйти из дому, потому что у меня будет один корпусной товарищ.

Жорж

А вот письмо совсем «свежее», Гумилев получил его перед самым арестом. На каких-то чертежах – кругах, квадратах, треугольниках – крупными буквами, торопливо:

*Москва 26 июля 21 Крестовоздвиженский пер. 9 кв. 12
«Собака» Арбат 7 тел. 1-42-86*

Cher maitre!

«Особняк» открылся 11-го в понедельник! Подробно тебе все расскажет Пяст¹. Я доволен и не доволен, очень нервничаю, но думаю, что все образуется и войдет в колею. Мне показалось, что вчера уже пара колес этой колымаги взошла на рельсы, что будет дальше, покажет время. Из рассказа Пяста и прилагаемой повестки на текущую неделю ты усмотришь и сообразишь многое из программной жизни «Особняка», которая пока что приняла такие формы. Но они в ближайшие дни должны измениться: в помещении есть прекрасно оборудованная сцена и зрительный зал на 200 мест с ложей. В ближайшие дни начнется работа на этой сцене. Сообщи мне свои репертуарные соображения, применительно к себе (твои вещи, написанные уже и задуманные) – и вещи других из новых и старых, и очень старых.

Теперь о выступлениях в Москве у нас петербургских поэтов.

Как обстоит дело с поездкой группы в Крым? Хотелось бы устроить вечер Одоевцевой и Жоржа. Потом М. Кузмина отдельно. Блока, Чуковского, твой тоже отдельно. Диспут Мейерхольд – Чуковский и т. д. (м. б. А.Л. Волынский²).

¹ Пяст В.А. (1886–1940) – поэт, прозаик, литературовед.

² Волынский А.Л. (1863–1926) – литературный критик, искусствовед.

Бюджет вечеров: пока что гарантировать можем от 200 000 до 350 000 в вечер. В случаях большого сбора увеличить эту сумму на несколько процентов.

Останавливаться все эти прекрасные люди будут конечно у меня, в моем знаменитом сарае...

На этом письмо обрывается, подписи нет, но если провести небольшое исследование, автор обнаружится, а письмо восполнит любопытную страницу в литературной жизни Серебряного века. Проездом из Крыма, в Москве, Гумилев был в гостях у старого знакомого – Бориса Пронина, до революции – хозяина легендарной «Бродячей собаки», любимого кабаре петербургской богемы. Теперь кипучий Пронин затевал новую «Собаку» («Особняк»), уже на Арбате, и искал поддержки своим начинаниям.

И при такой бурной жизни и публичной активности сколько же успел написать Гумилев за свои тридцать пять! Сейчас Пушкинский Дом завершает издание десяти томного собрания его сочинений: стихи, проза, драматургия, переводы, литературная критика. Жил, торопясь воплотиться, будто предчувствуя ранний конец.

Лучше всех знала его Анна Ахматова, она-то и сказала самое важное: «Гумилев – поэт еще не прочитанный. Визионер и пророк. Он предсказал свою смерть с подробностями вплоть до осенней травы».

Художник Юрий Анненков, приятель Гумилева, рассказывает в мемуарах об одном поразившем его случае.

Была в то время в Петрограде довольно примечательная личность, наделенная властью и покровительствовавшая людям искусства. Звали этого человека Борис Гитманович Каплун. Занимал он, несмотря на молодость, фантастическую по возможностям должность то ли заведующего административным отделом, то ли главы исполкома Петросовета

и именовался негласно петроградским «губернатором». Положением своим он был обязан тому простому обстоятельству, что являлся двоюродным братом Моисея Урицкого, который и задал ускорение его блестящей карьере. Утвердившись в роскошном кабинете на Дворцовой площади, Каплун постоянно носился со всякими оригинальными проектами. Одним из его детищ был первый в России крематорий, и впрямь дело насущное в пору мора и глада; в это веселенькое местечко советский «губернатор» любил катать своих гостей, как на пикник.

Так вот, на показательное опробование революционного крематория Каплун и повез однажды в своем мерседесе Анненкова, Гумилева и некую девушку, укутанную по случаю мороза с головы до пят. Он вел себя как гостеприимный хозяин: предложил девушке выбрать из вереницы трупов того, кому предстояло стать первой жертвой ненасытного огня. Девушка в ужасе указала наугад. «Иван Седакин... нищий», – значилось на грязной картонке.

– Итак, последний становится первым! – торжественно провозгласил Каплун.

На обратном пути с девушкой сделалась истерика.

– Забудьте, забудьте, – утешал ее Гумилев.

Такой вот «Харон Гитманович» был у поэта: помогал пайком, угощал вином из царских погребов, давал нюхать пузырек с эфиром (об этом тоже поведал Анненков) и отправить на тот свет мог без очереди.

Правда, теперь революция хотела сделать с Гумилевым нечто противоположное каплуновскому афоризму: кто был первым, должен был стать последним.

Пожалуй, он и сам уже начинал это понимать. Один из его экспромтов – о советском переименовании Царского Села, города муз, alma mater Пушкина и самого Гумилева, в какое-то Детское Село:

Не Царское Село – к несчастью,
А Детское Село – ей-ей!
Что ж лучше: жить царей под властью
Иль быть забавой злых детей?

Свою инородность, выталкивание из советской среды он ощущал постоянно, и чем дальше, тем больше. Многим его поведение казалось вызывающим. И то, что демонстративно крестился, проходя мимо каждого храма, не из набожности, а потому что это право – верить в Бога, его свободный выбор – теперь у него пытались отнять. И то, что не хотел прогибаться под большевиков, подчеркивал, что он не красный и не белый, он – поэт. Просто у него была другая, многоцветная палитра, иная шкала ценностей и мерки жизни. Да, он не проклинал революцию, но ведь и не славил ее! Не славил Царя, но и не проклинал! Да, он участвовал в культурных начинаниях новой власти, но делать это ему становилось все труднее. Как-то на лекции в литературной студии Балтфлота матросы спросили его, что помогает писать хорошие стихи.

– По-моему, вино и женщины, – ответил Гумилев.

После лекции к нему подошел комиссар и потребовал прекратить занятия в студии.

В его медленном выживании со света, подталкивании к гибели участвовали и братья-литераторы.

Один из первых печатных доносов был опубликован в газете «Искусство Коммуны» 7 декабря 18-го в статье «Попытки реставрации»:

«С каким усилием, и то только благодаря могучему коммунистическому движению, мы вышли год тому назад из-под многолетнего гнета тусклой, изнеженно-развратной буржуазной эстетики. Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года отчасти потому, что перестали писать или, по крайней мере, печататься некоторые поэты (Гумилев, напр.). И вдруг я

встречаюсь с ними снова в «советских кругах»... Для меня это одно из бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь нет-нет да и подымет свою битую голову. Политические авантюры не удались, не воскресить учредилки, так давай дойдем их искусством. Привыкнут к нашему искусству, привыкнут и к нашим методам, а там недолго и до наших политических теорий. Так рассуждает эта притаившаяся и не мертвая, нет, нет, еще не мертвая гидра реакции».

Вполне «революционный» стиль мышления. Потом в том же духе будут писать и об Анне Ахматовой – «позабыла умереть».

Автор филиппики по поводу Гумилева – «комиссар музеев» Николай Пунин. Пройдет десять лет, и он станет мужем Ахматовой, она проживет с ним долгие пятнадцать лет. Природный классик – с таким леваком в искусстве! Знала ли она о статье-доносе на Гумилева? Возможно. Но нигде об этом ни разу не обмолвилась.

Пунин не одинок в нападках на поэта. Ему вторит прыткий имажинист Вадим Шершеневич, публикует рецензию с красноречивым названием – «Панихида по Гумилеву».

28 июля, накануне ареста поэта, небесталанный знакомец его, Александр Тиняков, написал жуткое стихотворение под названием «Радость жизни»:

Едут навстречу мне гробики полные,
 В каждом – мертвец молодой.
 Сердцу от этого весело, радостно,
 Словно березке весной!

.....

Может, – в тех гробиках гении разные,
 Может, – поэт Гумилев...
 Я же, презренный и всеми оплеванный,
 Жив и здоров!

Литературный Смердяков сформулировал, по существу, лагерный принцип, который утвердится в стране на десятилетия: умри ты сегодня – а я завтра! Публикуя свой шедевр в 1925 году, после гибели Гумилева, автор не устыдился, пояснил в предисловии: «По поводу нелепой и преступной авантюры, в которой принял участие Гумилев, я высказался... и мнения моего об этом деле не меняю, и не вижу никакой надобности в том, чтобы делать из имени Гумилева нечто “неприкосновенное”».

Поразительно, что гораздо раньше, еще в 1915-м, Гумилев опубликовал стихотворение, в автографе которого есть посвящение его могильщику – «Александру Ивановичу Тинякову», стихи с пророческими строчками:

...А дальше не будет
Ни моря, ни неба,
Там служат Иуде
Постыдные требы.

Послать толковых старых ребят

Как же попал на мушку чекистов Гумилев, старательно державший дистанцию между собой и власть имущими?

– Аня, убей меня собственными руками, если я когда-нибудь начну пасти народы, – говорил он Ахматовой.

Ходило много толков, слухов и пересудов – о доносчиках, провокаторах, предателях, притворявшихся друзьями, подосланных и подставных, назывались разные фамилии, – что ж, вполне возможно и были, но говорить об этом вряд ли стоит, потому что нет никаких очевидных доказательств, чтобы обвинить кого-нибудь посмертно в столь тяжком грехе. А вот что есть – судя по документам следственного дела.

Гумилева начали разыскивать 1 августа, причем чекисты не знали, ни где он живет, ни его имени-отчества, ни даже

точной фамилии. Искали не известного поэта, а неясно названное кем-то лицо. Недаром Гумилев проходит по разряду «Соучастников», то есть пристегнутых к делу. Выследить его поручено «зам. нач. аген.» (заместителю начальника агентов или агентуры) Матову, который постоянно докладывает обо всех своих действиях главному куратору – «тов. Агранову». На многих документах будет появляться в правом или левом верхнем углу это имя.

Итак, 1 августа Матов организует поиск, «дает установку» и начинает с адресного стола. Ему приносят три справки (ценой каждая по 3 копейки): «Гумелев Александр Васильевич, гражд. Арханг. Губернии, 23 лет, православный», далее – адрес; «Гумилев Дмитрий Степанович, гражд. РСФСР, 34 года, православный», адрес (это уже погорячее, брат поэта, правда, возраст указан неверно); и, наконец, – «Гумелев Николай Степанович, гражд. Тверской губ. Бежецкого уезда Павловской вол. дер. Слепнево, 35 лет, православный. На жительстве в Петрограде значится в д. 5/7, кв. 2 по Преображенской улице». Тут есть и приписка – «Высшее образование».

Уже что-то. Рассмотрев справки, Матов строчит три задания: «весьма срочно к 11 час. утра принести доклад в Комиссию, ком. 67» о Гумелеве Александре Васильевиче, Гумилеве Дмитрие Степановиче и Гумелеве Николае Степановиче. «Очень осторожно и точно установить, где проживает теперь, чем занимается, место службы, какой губернии, какого сословия, национальность».

И делает приписку: «Послать толковых старых ребят!» Дело, стало быть, первостепенной важности.

И сразу вспоминается гумилевский «Рабочий»:

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Все он занят отливанием пули,
Что меня с землею разлучит...

И хо́ть написаны стихи в Первую мировую войну и подразумевается в них немецкий рабочий, в свете судьбы Гумилева этот образ вопреки хронологии убедительней ассоциируется с отечественным пролетарием. Разгадка жизни поэта – в его стихах, в их поэтически закодированном смысле.

Тут же Матов дает еще задание: «крайне осторожно установить – Пантелеймоновская ул., № 11 – всех проживающих в доме. По этому делу послать т. Харитонову с кем-либо из толковых ребят». Что за вражеское гнездо, как оно связано с поиском Гумилева? Рядом, на углу Пантелеймоновской и Литейного проспекта, находился знаменитый Дом Мурузи, в котором располагался Союз поэтов.

На другой день, 2 августа, Матов представил начальству три доклада.

Гумелев Александр Васильевич по указанному адресу «совершенно не проживает и с 1914 года не проживал». О Гумилеве Дмитрие Степановиче выяснено, что он, «при родных... выбыли, не дав сведений. В этой квартире проживают теперь другие лица».

Что же касается третьего разыскиваемого, то Матов со товарищи «установили, что г-н Гумилев Николай Степанович действительно проживает по Преображенской ул., д. 5/7, кв. 2. Основная профессия: профессор, служит преподавателем в Губполитпросвете».

Хуже всего пришлось Харитонову с «толковыми ребятами» и расплывчатой установкой на Пантелеймоновскую улицу. «Ввиду того, что д. № 11 по Пантелеймоновской ул. содержит 142 квартиры, из коих несколько незанятых,

и домовые книги ведутся крайне беспорядочно, точной установки в такой краткий срок сделать нет никакой физической возможности, – растерянно доложил он. – Чтобы иметь точные сведения, нужно сделать эту установку путем общегражданской переписи, разбив весь дом на несколько районов и поручив каждому сотруднику один район. Тогда даже нельзя поручиться за скорость исполнения, т.к. нужно принять во внимание непредвиденные обстоятельства».

Таким образом, 2 августа из всех разыскиваемых Гумилевых-Гумелевых в поле внимания чекистов остался только один, уже четко обозначенный, наведенный на резкость.

Дорогой Котик, вместо ветчины купила я колбасу. Не сердись. Кушай больше, в кухне каша, пей все молоко, ешь булки. Ты не ешь, и все приходится бросать, это ужасно.

Целую

Твоя Аня

Тонкая папиросная бумажка перелетела в следственное дело – записку оставила Николаю Степановичу его жена Анна Энгельгардт, которая рано утром 3 августа уехала за город, к их маленькой дочке.

Дело было в Доме искусств – ДИск'е, как именовали этот странный ноев ковчег муз в погибельную революционную пору. Здесь, во дворце XVIII века, занимающем целый квартал между Мойкой, Невским и Морской, ютилась пестрая петроградская богема. И Гумилев обитал не на Преображенской, где он снимал квартиру, а здесь, в бывшем «предбаннике», поименованном теперь как комната № 32 («баню» занимала будущая ортодоксальная соцреалистка Мариэтта Шагинян, тогда, впрочем, эстетка и поэтесса). Его поэтическая студия «Звучащая раковина» имела отдельную комнату там же, в ДИск'е.

О последнем дне Гумилева на свободе известно много – буквально по часам, из воспоминаний. Мэтр долго и вдох-

новенно занимался со своими студийцами – гумилятами, все сидели вокруг длинного стола и читали стихи по кругу. Подарил им свой последний сборник «Шатер» – каждому с особой надписью, подходящей строкой из книги. А потом играли в жмурки, повязали ему глаза, он водил по сторонам своими длинными руками, и все веселились, а он больше всех. Провожал юную Ниночку Берберову, которой писал тогда влюбленные стихи, через весь город и признался, что на самом деле ему почему-то невыносимо грустно и не хочется быть одному. С ней уже было назначено решающее свидание в его «холостяцкой» квартире, не удержался, похвастался накануне Ирине Одоевцевой, не называя имени:

– Свидание состоится 5 августа, на Преображенской – 5 и, надеюсь, пройдет «на 5»...

Вечером к нему еще заглянул поэт Владислав Ходасевич (интересное совпадение – Берберова и Ходасевич, с которыми провел этот последний вечер Гумилев, станут скоро мужем и женой) и засиделся за полночь, – хозяин никак его не отпускал, был чрезвычайно возбужден, все повторял, что напишет еще кучу книг и проживет очень долго.

– Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше...
Словно заклинал судьбу.

После ухода гостя хотели еще с женой – она вернулась часов в одиннадцать – попить чайку, но раздумали, вместо этого Гумилев принес от служителя Дома искусств Ефима две бутылки лимонаду. Постелил постель, сначала жене, потом себе. Не спалось. Решил почитать... Жуковского...

Лист дела № 3. Ордер 1071. 3 августа 1921. Выдан «сотруднику Монтвилло» на производство обыска и ареста Гумилева Николая Степановича по адресу Преображенская, 5/7, кв. 2 и «по усмотрению в пределах Петрограда». «Все должностные лица и граждане обязаны оказывать

указанному сотруднику полное содействие». Подписали – председатель Петроградской ЧК Б. Семенов и заведующий секретно-оперативным отделом П. Серов. Сверху приписка: «на двое суток» и «летучий» – это означает, что действует так называемая «летучка», отряд, который может произвести ряд обысков и арестов, и предполагается упрощенное оформление всех операций.

И следующий лист – № 4, маленький бланк, на нем – распоряжение об обыске и аресте Гумилева. Подписали – заведующий секретно-оперативным отделом П. Серов и следователь – «А. Карп...» (подпись не вполне разборчива). «Для ареста отправлен Монтвилло 3.8.21 г. в 11 час. 30».

Но арест произошел не в то время и не в том месте, где предполагали чекисты.

Видимо, не застав преступника и узнав, где он теперь обитает, «сотрудник для поручений» Монтвилло, чтобы не поднимать лишнего шума в ДИск'е днем, отсрочил операцию. А может быть, выследил поздно. Во всяком случае, протокол обыска оформлен по новому адресу – Дом искусств. Стук в дверь раздался уже часа в три ночи...

«Согласно данным указаниям, задержаны: гражданин Гумилев Николай Сергеевич» – снова чертовщина, теперь уже с отчеством! «Взято для доставления в Чрезвычайную Комиссию... переписка, другого ничего не обнаружено. Оставлена засада до выяснения». В графе «Заявление на неправильности, допущенные при производстве обыска» рукой Гумилева написано – «нет» и поставлена подпись. Расписался и понятой, представитель домового комитета – И. Гусев.

Искали ценности. Золота не оказалось, изъяли деньги – 16 тысяч рублей. Какова их ценность, можно понять по записи Гумилева, запечатленной на одном из листов дела: 1 июня он задолжал за обед в Доме искусств 7 тысяч рублей.

Аня Энгельгардт была совершенно растеряна и беспомощна, потом она рассказывала подругам, что муж ее успокаивал, говорил, что за него похлопочут и скоро отпустят, а она целовала ему руки. На прощанье сказал:

– Пришли Платона. Не плачь.

И, уходя, взял с собой «Илиаду» Гомера.

Кстати, о Платоне. Писатель Амфитеатров вспоминал, как однажды сказал Гумилеву, что Платон в своей утопии идеального государства советовал изгнать поэтов из республики.

– Да поэты и сами не пошли бы к нему в республику! – возразил Гумилев.

Привезли на Гороховую. Толпа выбитого из колеи, перепуганного люда. Обычная процедура: регистрация, сортировка. Фотографируют. Суют заполнить анкету. Гумилев берет перо.

«Звание *дворянин...*». Это – самое важное, это уже и обвинение, и состав преступления.

«Время рождения *1886*

ближ. родственники *жена, дочь*

национальность *русский*

место службы «*Всемирная литература*». Звучит метафорически, если не знать, что это только название издательства.

«Род занятий *член коллегии*

принадлежность к партии *нет*».

И только один пункт заполнен не Гумилевым, другой рукой: «*арестован по инициативе Ка...*» – далее неразборчиво.

Кто же этот «Ка...», хотелось бы знать? Не исключено, что тот самый следователь «А. Карп...», который подписал распоряжение об аресте Гумилева. Больше его имя в деле не появится и канет в неизвестность.

Некий беспощадный Карпов в марте 21-го, во время Кронштадтского мятежа, был назначен «для проверки деятельности заградительных отрядов по борьбе с дезертирами». Уж не он ли и есть тот «Ка...»? Именно эта мелькнувшая тень была следующим звеном в инициативной цепочке Ленин – Дзержинский – Агранов, которая привела поэта на эшафот.

Что пережил Гумилев, попав в руки чекистов? Менее чем за месяц до него тем же путем прошел академик Владимир Иванович Вернадский, к счастью, вскоре выпущенный, но оставивший запись об этом, по свежим следам.

С пронизательностью естествоиспытателя Вернадский отметил одинаковые «чувство и мысль рабов и у русских революционеров, и у русской толпы». Рассмотрел комиссара – «товарища» Иванова – «из идейного искателя нового строя превратившегося в старый испокон тип сыщика».

И далее – по всему ходу изъятия человека из жизни, начиная с обыска: «Количество книг приводило их в изумление и некоторое негодование. Отвратительное впечатление варваров. Исполняли свою обязанность не за страх, а за совесть. Так и видно, что это люди, которые понимают толк в вещах, мелкие стяжатели. Смотря на все это, у меня росло чувство гадливости... Привезли в ЧК. Грубые окрики. Привели в комнату, где регистрировали, где были уже арестованные с узелками. Тут я провел несколько часов. Солдаты не позволяли разговаривать... Чиновники чрезвычайно производят впечатление низменной среды – разговоры о наживе, идет оценка вещей, точно в лавке старьевщика, грубый флирт...»

С Гороховой Гумилева, в толпе других арестантов, сразу отправляют на Шпалерную, в Дом предварительного заключения, или ДПЗ, прозванный еще и – «Депозит». Как и Вернадского: «На автомобиле-грузовике в ужасных

условиях – на корточках и коленях друг друга, при грубых окриках, когда пытались подняться. Тяжелый переезд. Выяснилось, что идут новые аресты – надо освободить помещение».

И вот – Шпалерная. Переполненная камера, спать негде – все койки заняты. Ватерклозетный запах... Вернадский: «Решили сидеть до 8 утра. Впечатление пытки. Тут уже не губители мысли, но губители и мысли, и жизни... Нельзя почти что сделать немногих шагов, полчаса отвратительной прогулки и затем голод. Полфунта хлеба утром, два раза кипяток, два раза жидкий «суп», вода и селедка. Это совершенное издевательство и огромное преступление. Ничего подобного не было при старом режиме, и нельзя было даже думать, что что-нибудь подобное будет в XX веке...

Удивительно это однообразное впечатление – масса невинных людей, страданий, бесцельных и бессмысленных, роста ненависти, гнева и полной, самой решительной критики строя. Я переживал чувство негодования, как захваченный какой-то отвратительной грубой силой, и все мое стремление было ей не подчиняться. Решил бороться изнутри, ясно сознавая, что извне сделают друзья все».

Наверняка можно сказать, что такие же чувства владели и Гумилевым, как и надежда, что там, за стенами тюрьмы, его друзья-писатели тоже сделают «все».

И он не ошибся. Уже на следующий день после ареста коллеги бросились на помощь.

Августа 5-го дня 1921 г.

*В Чрезвычайную Комиссию по борьбе
с контр-революцией и спекуляцией*

Гороховая, 2

По дошедшим до издательства «Всемирная литература» сведениям сотрудник его, Николай Степанович

Гумилев, в ночь на 4 августа 1921 года был арестован. Принимая во внимание, что означенный Гумилев является ответственным работником в издательстве «Всемирная литература» и имеет на руках неоконченные заказы, редакционная коллегия просит о скорейшем расследовании дела и при отсутствии инкриминируемых данных освобождения Н.С. Гумилева от ареста.

*Председатель редакционной коллегии
Секретарь*

В следственном деле этого документа нет, хотя машинописная копия его, без подписей, но на бланке «Всемирной литературы», сохранилась в РГАЛИ, в фонде Максима Горького, который и был главой этого выдающегося издательства. Где же оригинал письма? Скорее всего, чекисты – Агранов или Семенов – просто отмахнулись от него, оставили без всякого внимания. Не исключено, что письмо вообще не подшивалось к делу или было изъято потом, как факт нежелательный: в досье Гумилева чекисты с какими-то своими целями лазали не раз, тот же Агранов, к примеру, в 1935 году, и нумерация документов менялась. А значит, могли исчезнуть и другие важные материалы, а с ними и факты, которые мы уже никогда не узнаем.

Арест Гумилева для всех, знавших его, стал полной неожиданностью. Мало кто мог поверить, что он – заговорщик. Недоумевали, гадали, но сходились на том, что политика и Гумилев – вещи несовместные, что нет писателя, более далекого от политики, чем этот жрец чистого искусства. Освобождения ждали со дня на день, ибо никакого серьезного обвинения быть не могло, казалось, день-другой – и все рассеется, как дурной сон.

Ужели вам допрашивать меня?

Между тем следствие разворачивалось своим чередом. 5 августа квартиру Гумилева на Преображенской вместо Нины Берберовой посетили чекисты, обыскали и опечатали. В описи документов выемки числится только переписка.

А на следующий день заставили Таганцева писать показания. И это именно тот документ, на котором строилось все обвинение Гумилева в причастности к преступному заговору и вынесение смертного приговора.

Протокол показания гр. Таганцева

Поэт Гумилев после рассказа Германа обращался к нему в конце ноября 1920 г. Гумилев утверждал, что с ним связана группа интеллигентов, что он может этой группой распоряжаться и в случае выступления согласна выйти на улицу. Но желал бы иметь распоряжающемуся этой группой для технических надобностей некоторую свободную личность. Таковых у нас тогда не было. Мы решили предварительно проверить надежность Гумилева, командировав к нему Шведова для установления связей. В течение трех месяцев, однако, это не было сделано. Только во время Кронштадта Шведов выполнил поручение: разыскал на Преображенской ул. Гумилева. Адрес я узнавал для него в «Всемирной литературе», где служит Гумилев. Шведов предложил ему помочь нам, если представится надобность в составлении прокламаций. Гумилев согласился, сказав, что оставляет за собою право отказываться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам. Гумилев был близок к Совет. ориентации. Шведов мог успокоить, что мы не монархисты, а держимся за власть Сов. Не знаю, насколько мог поверить этому утверждению. На расходы Гумилеву было выделено 200 000 советских рублей и лента для пишущей машинки.

Про группу свою Гумилев дал уклончивый ответ, сказав, что для организации ему нужно время. Через несколько дней пал Кронштадт. Стороной я услышал, что Гумилев весьма отходит далеко от контрреволюционных взглядов. Я к нему больше не обращался, как и Шведов и Герман, и поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать.

6 августа 1921

В. Таганцев

Бросается в глаза, что криминала, по сути, нет: в ноябре обещал, в марте дал уклончивый ответ, а после и вовсе отказался от контрреволюционных взглядов. Причем «заговорщикам», незадолго до их разоблачения, пришлось узнавать адрес Гумилева через издательство. Ну и соучастник! При этом выяснилось, что Гумилев «близок советской ориентации», на что Шведов его заверил: и мы тоже «держимся за власть Советов»!

Никаких контрреволюционных действий Гумилев не совершил: прокламаций не составлял, групп интеллигентов не организовывал. Если не считать, конечно, Союза поэтов и его гумилят – «Звучащую раковину»...

Человек, с которым он имел randevu, – подполковник Шведов, один из главарей ПБО, арестован в тот же день, что и Гумилев, приговорен к расстрелу 24 августа. Почему в деле нет его показаний? Неужели его не допрашивали?

В том же августе, 7-го, умер Александр Блок, крупнейший поэт Серебряного века. Умер от истощения и непонятной загадочной болезни, лишенный возможности по-настоящему лечиться. И еще от того, что «перестал слышать музыку», от разочарования в революции, которую сначала от всей души приветствовал. Другой поэт, Вячеслав Иванов, очень точно сказал, что Гумилева убили, «а Блока – убило».

– Я задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь! – говорил Блок Юрию Анненкову. – И не я один, вы тоже! Мы задыхаемся,

мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу!

Только в перестроечное время удалось опубликовать потрясающее откровение Блока, записанное им в 19-м году в знаменитой «Чукоккале», рукописной книге Корнея Чуковского: «...Я не умею заставить себя вслушиваться, когда чувствую себя схваченным за горло, когда ни одного часа дня и ночи, свободного от насилия полицейского государства, нет и когда живешь со сцепленными зубами».

Блока и Гумилева связывали непростые отношения. В чем-то они даже были соперниками, антагонистами – и по человеческой натуре, и в поэтических воззрениях. Почти вся стихотворная братия Петрограда была разделена на два противоположных лагеря – вокруг двух этих признанных мэтров. 21-й год в Союзе поэтов начался с дворцового переворота – трон председателя вместо Блока занял Гумилев. Разногласия не мешали каждому из них трудиться на уровне литературы, скорее наоборот – помогали ощущать собственную силу и цену и, разумеется, при всей резкой полемике – сохранять уважение к таланту друг друга. Соперники, но не враги.

Неизвестно, узнал ли Гумилев о смерти Блока – кумира интеллигенции, скорее всего это известие как-то просочилось сквозь тюремные стены. И если так, оно, конечно же, стало для Гумилева еще одним потрясением.

Как раз 7 августа, днем смерти Блока, датирована записка из «Депозита», тюрьмы на Шпалерной, «комиссара музеев» Николая Пунина, тоже заметенного по делу ПБО (он сидел в том же 6-м отделении, в камере № 32). И надо было так случиться, что именно этот человек стал последним из знавших Гумилева, кто видел его живым и подал о нем последнюю весть: «Встреться здесь с Николаем Степановичем,

мы стояли друг перед другом, как шалые, в руках у него была «Илиада», которую у бедняги тут же отобрали».

Этот том «Илиады», в классическом переводе Гнедича, изданный еще при Пушкине, в 1829 году, служил Гумилеву талисманом: поэт брал его с собой в африканские путешествия, носил в походном ранце на войне.

Я закрыл «Илиаду» и сел у окна.
На губах трепетало последнее слово.
Что-то ярко светило – фонарь иль луна,
И медленно двигалась тень часового.
(«Современность», 1911)

В тюрьме встретились два Николая, которым суждено было быть мужьями Анны Ахматовой – первым и последним, один уже потерял ее, другой еще не обрел. Такая вот рифмовка судеб...

К комиссарской карьере Пунина. В это время он был членом Петросовета, комиссаром Русского музея и заведующим Петроградским ИЗО (отделом изобразительного искусства) Наркомпроса. Нарком Луначарский, ратуя за его скорейшее освобождение из-под ареста перед руководящим работником ЧК Уншлихтом и председателем ПЧК Семеновым, пишет, что узнал об аресте Пунина «не только со слов его жены, но и со слов Вашего, весьма Вами и мною ценимого сотрудника, тов. О.М. Брика», и называет Пунина «одним из главных проводников коммунизма в художественную петроградскую среду». Трибун революции, «горлан-главарь» Владимир Маяковский, тоже участвовавший в работе ИЗО, посвятил главе этого художественного придатка новой власти Давиду Штеренбергу стихотворные строки: «Еще хлестали пули-ливни, нас с самых низов приборь-революция вбросила в Зимний с кличкой странной – ИЗО. Влетели, сея смех и крик, вы, Пунин, я и Осип Брик». Отчаянная компания!

Пунина, разумеется, скоро, уже 6 сентября, выпустили, как своего, попавшего по ошибке. После освобождения принципиальный комиссар еще потребует от чекистов возвращения ему отобранных в тюрьме подтяжек. И получит извинение: «Товарищ Пунин, по-видимому, Ваши подтяжки по ошибке были переданы другому лицу. К сожалению, других на замену нет».

Имя Осипа Брика возникает здесь не случайно¹. Хитроумен узор судьбы: странной кажется близость Пунина с салоном Бриков, чекистским гнездом, травившим Ахматову, по ее собственному признанию. В опубликованном недавно дневнике Пунин признается и в том, что был в свое время одним из многочисленных любовников Лили Брик, среди которых, помимо законного – Брика, самого известного – Маяковского, числится и самый зловещий – Яков Агранов.

В эти самые дни в издательстве «Petropolis» вышел в свет сборник Гумилева «Огненный столп». Из справки в конце книги следует, что она отпечатана «в августе 1921 года», газета «Жизнь искусства» от 16–21 августа сообщила о выходе книги как о факте «этой недели». Самая значительная, совершенная из его поэтических книг, вершина его творчества. Книга, которую он уже не увидит.

Многие стихи из нее теперь переосмысливаются и кажутся пророческими – в свете свершившейся судьбы автора.

.
Ужели вам допрашивать меня,
Меня, кому единое мгновенье
Весь срок от первого земного дня
До огненного светопреставленья?
.

¹ См.: *Валужанич А. Осип Максимович Брик. Материалы к биографии.* Акмола, 1993; *Валужанич А. Лиля Брик – жена командира. 1930–1937.* Астана, 2006.

– Я тот, кто спит, и кроет глубина
Его невыразимое прозвание,
А вы, вы только слабый ответ сна,
Бегущего на дне его сознания!

(«*Душа и тело*», 1921)

И впрямь, в свете вечных стихов поэта чекисты-тюремщички кажутся лишь бледными тенями, мимолетными персонажами его сна. Вот вслед за Аграновым и «Ка...» появляется еще одна химерическая фигура – следователь Якобсон, лишь благодаря своему узнику сохранившийся в исторической памяти. К нему 9 августа приводят Гумилева на первый допрос.

В начале протокола – анкета:

«...Род занятий *писатель*

Имущественное положение *никакого*

Политические убеждения *аполитичен*».

«Все-таки он в политике очень мало понимал», – говорила Ахматова. А может, ему и не надо, даже вредно было понимать много? Ведь, писал он, «чем яснее поэт осознает себя как политический деятель, тем темнее для него законы его “святого ремесла”». И все же он не был слеп и имел свою позицию.

Ее он ясно и определенно выразил в «Письме в редакцию», написанном по поручению редколлегии «Всемирной литературы»: «В наше трудное и страшное время спасение духовной культуры страны возможно только путем работы каждого в той области, которую он свободно избрал себе прежде».

Вслед за анкетой идут «Показания по существу дела», записанные Гумилевым (подчеркнуто – следователем):

Месяца три тому назад ко мне утром пришел молодой человек высокого роста и бритый, сообщивший, что привез мне поклон из Москвы. Я пригласил его войти, и мы беседо-

вали минут двадцать на городские темы. В конце беседы он обещал мне показать имевшиеся в его распоряжении русские заграничные издания. Через несколько дней он действительно принес мне несколько номеров каких-то газет и оставил у меня, несмотря на мое заявление, что я в них не нуждаюсь. Прочтя эти номера и не найдя в них ничего для меня интересного, я их сжег. Приблизительно через неделю он пришел опять и стал опрашивать меня, не знаю ли я кого-нибудь желающего работать для контрреволюции. Я объяснил, что никого такого не знаю. Тогда он указал на незначительность работы: добывание разных сведений и настроений, раздачу листовок и сообщил, что эта работа может оплачиваться. Тогда я отказался продолжать разговор с ним на эту тему, и он ушел. Фамилию свою он назвал мне, представляясь, я ее забыл, но она была не Герман и не Шведов.

9 августа 1921

Н. Гумилев

Допросил

Якобсон

И что же, каков итог первой встречи арестанта со следователем? И здесь никакого криминала!

Видимо, Якобсон был столь любезен, что разрешил своему подопечному послать весточку на волю, – ибо именно этим днем датируется записка Гумилева:

Из ДПЗ. Шпалерная, 25, шестое отделение, камера 77,
от Н. Гумилева

Здесь. Угол Бассейной и Эртелева пер. Дом литераторов. Хозяйственному комитету.

9 августа 1921.

Я арестован и нахожусь на Шпалерной. Прошу Вас послать мне следующее: 1) постельное и носильное белье 2) миску, кружку и ложку 3) папирос и спичек, чаю 4) мыло, зубную щетку и порошок 5) ЕДУ. Я здоров. Прошу сообщить об этом жене.

Первая передача принимается когда угодно. Следующие по понедельникам и пятницам с 10–3.

С нетерпением жду передачи. Привет всем.

Н. Гумилев.

6 отд. камера 77¹

Судя по всему, Гумилев, оказавшись в тюрьме, не терял присутствия духа и был уверен – скоро выпустят. Ведь нет за ним никакой вины. Известно по меньшей мере еще о двух записках, которые он отправил на волю: не беспокойтесь, здоров, играю в шахматы и... пишу стихи! Жена и преданные ученицы-студийки из «Звучащей раковины» носили ему передачи. Есть еще одно свидетельство: литературовед Юрий Оксман встретил в лагере на Колыме среди зэков кого-то из бывших союзников Гумилева, кто рассказал, что поэт содержался в общей камере, откуда его и водили на допросы, и был очень бодр, не верил в серьезность предъявленных обвинений и в плохой исход.

СПУТНИК В ВЕЧНОСТИ

10 августа на Смоленском кладбище хоронили Александра Блока. Писатели перешептывались о Гумилеве, сговаривались идти в ЧК, брать его на поруки. У Горького уже были, просили энергично вмешаться, уехал в Москву, хлопчет там. Михаил Кузмин записал на следующий день в дневнике: «О Г. все мрачнее и страшнее. Всю ночь напролет читал свои стихи следователю». Тут-то, над гробом Блока, и узнала об аресте Николая Степановича Ахматова.

Была в их отношениях тайна, скрытая интрига судьбы. Их совместная жизнь не укладывалась в привычные представления о браке, о семье.

¹ Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана. М., 1989. С. 371.

Конечно, они были очень разные. Он, энергично направленный на внешнее действие, постоянно жаждущий новых впечатлений, переживаний, перемен, и она, дававшая событиям идти, как они идут, не активная внешне, вся сосредоточенная на внутреннем творческом усилии. И конечно же, две такие яркие, самодостаточные личности не терпели никаких ограничений и стеснений для своего роста. И кто-то должен был – и не мог – подчиниться, уступить, – только один может быть лидером.

Все верно, но и это не все.

Они познакомились – царскосельские гимназисты – в декабре 1903-го, ей было четырнадцать, а ему семнадцать лет. Уже весной он объяснился ей в любви, на скамье под высоким раскидистым деревом. Он добивается ее пять лет, она упорно сопротивляется.

У нее появился избранник. И видела-то она его едва ли не единственный раз, но почувствовала: пошла бы за ним до края жизни. Это был питерский студент Владимир Викторович Голенищев-Кутузов. «Я не могу оторвать от него душу мою, – признается она в письме одному из близких людей, Сергею Штейну, 11 февраля 1907-го. – Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Но Гумилев – моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной...»

Но летом того же года она отказалась стать женой Гумилева, тогда же он узнал, что она не невинна. Впал в дикое отчаянье, пытался убить себя. И у нее уже был такой опыт – вешалась, гвоздь выскочил из известки.

Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь...

А через три года, в 1910-м, была свадьба. Спустя много-много лет она обмолвилась, что эта свадьба стала началом конца их отношений. «Мы слишком долго были женихом и невестой». Она инстинктивно отталкивала его власть, оберегая, как ребенка, рождавшегося в ней поэта, он, страдая, самоутверждался по-своему – путешествовал, воевал, покорял женщин. Пробовали поддерживать влюбленность разлуками. Аня Горенко стала поэтом Анной Ахматовой, начинающий стихотворец Коля Гумилев – признанным мастером. Родился сын – Левушка (через год у артистки Ольги Высотской, любовницы Гумилева, родится другой его сын – Орест). Они как бы договорились о полной свободе, влюблялись, изменяли друг другу, но не изменяли себе. Наверно, только так каждый и мог осуществиться. Наконец, пришел конец взаимному долготерпению.

В 1918-м, после восьми лет брака, она сказала:

– Дай мне развод.

Он побледнел.

– Пожалуйста...

Так или иначе, почти всю жизнь – с гимназических дней – он прожил с ней и только последние три года у них были разные семьи. Она стала женой – опять неудачно и ненадолго – ученого знатока древних языков Владимира Казимировича Шилейко, запершего ее в четырех стенах своего кабинета. Гумилев вторично женился, словно бы назвал ей – опять на Анне, но уже послушной и ручной, – Анечке Энгельгардт.

Спустя десятилетия – в 1959 году! – Ахматова записала: «Первый росток (первый толчок), который я десятилетиями скрывала от себя самой, – это, конечно, запись Пушкина: “Только первый любовник производит впечатление на женщину, как первый убитый на войне”».

Вот как она воспринимала любовь – в категориях войны и смерти!

Когда они расставались, она сказала:

– Жаль, что все так странно сложилось.

– Нет, ты научила меня верить в Бога и любить Россию.

Получала ли еще какая-нибудь женщина такой комплимент?

Роковое расхождение на Земле – «всегда чужая», «вечная борьба», определяла Ахматова. Они обручены на каких-то таинственных высотах. Это «непонятная связь, ничего общего не имеющая ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями, где я называюсь “Тот другой”... который «положит посох, улыбнется и просто скажет: “Мы пришли”». Ахматова пересказывает, у Гумилева так: «Положит посох, обернется и скажет просто: “Мы пришли”» («Вечное»). И тут же она спохватывается: «Для обсуждения этого рода отношений еще не настало время».

А когда же настанет? Или уже никогда?

Касаясь такой загадки их отношений, относящейся к высокой мистике, вступаешь на зыбкую почву, но без этого не будет понят столь уникальный союз душ.

Кто же этот «Тот другой»? И почему «тот», а не «та»? Может быть, спутник в вечности? Не жена, не любовница, а «товарищ, от Бога в веках дарованный мне», как говорил сам Гумилев в стихотворении «Тот другой»? А ведь это едва ли не важнее, ведь в вечности куда одиноче, чем в краткой земной жизни.

«Но чувство именно этого порядка, – пишет Ахматова, – заставило меня в течение нескольких лет (1925–1930) заниматься собиранием и обработкой материалов по наследию Г<умиле>ва.

Это не делали ни друзья (Лозинский), ни вдова, ни сын, когда вырос, ни так называемые ученики (Георгий Иванов). Три раза в одни сутки я видела Н.С. во сне, и он просил меня об этом».

Связь между ними никогда не прерывалась.

«Трагедия любви – очевидна во всех юных стихах Г<умиле>ва, – продолжает свои заметки Ахматова. – Все (и хорошее, и дурное) вышло из этого чувства – и путешествия, и донжуанство». И снова: «Его страшная, сжигающая любовь...»

Так, может быть, это – неразделенная, неутоленная любовь или яд нелюбви – и есть «отравное зелье», о котором он оставил торопливой рукой неясные строчки на членском билете Дома искусств? Разгадка судьбы поэта – в его стихах. Если это и впрямь любовный яд, то явно не от тех мимолетных романов, которые случались у Гумилева, – слишком мелких для «святого безумья».

Насмерть раненный любовью. И смерть, даже и его смерть как-то связана с этим чувством? «Ему нужна была тема гибели по вине женщины», – оговорилась Ахматова. «Бесчисленное количество любовных стихов кончается гибелью». Всю жизнь ее мучило какое-то чувство вины перед ним. Почему? Что вышла за него не любя? Хотела похоронить себя, сделать его счастливым – и не смогла? И тем самым сделала беззащитным, могла каким-то образом подтолкнуть к смерти? А ее любовь могла бы его сберечь?

Биограф Гумилева Павел Лукницкий записывал за Ахматовой: «А.А. говорит... что она отчасти виновата в его гибели – нет, не гибели, А.А. как-то иначе сказала, и надо другое слово, но сейчас не могу его найти (смысл – нравственный)». «Как-то иначе сказала», вот именно: вещее Слово ее было мудрее ее самой и, независимо от нее, часто опережало жизнь, угадывало то, что еще должно было произойти.

Я гибель накликала милым,
И гибли один за другим.
О, горе мне! Эти могилы
Предсказаны словом моим.

Теперь, на похоронах Блока, узнав об аресте Гумилева, она, конечно же, вспомнила об их последней встрече – месяц назад. И как он потом медленно спускался по совсем темной, мрачной лестнице, а у нее вырвалось невольно: «По такой лестнице только на казнь ходить».

Через несколько дней после похорон Блока Ахматова ехала в Петроград из Царского Села в переполненном, душном вагоне и вдруг почувствовала приближение стихов. Нестерпимо захотелось курить. Но спичек не было. Вышла на открытую площадку. Там зверски матерились мальчишки-красноармейцы. Но и у них спичек не нашлось. Паровоз мчался (в Коммуне остановка!), и искры из его трубы, огненные шмели, летели и падали на перила площадки. Ахматова пыталась прикурить от них, и после третьего раза получилось – папироса «Сафо» загорелась. Парни пришли в восторг:

– Эта не пропадет!

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» В тот раз стихи вспыхнули от паровозной искры (она пометит их – «16 авг. 1921. Вагон») и, увы, оказались пророческими:

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

Гумилевич

А слухи с Гороховой успокаивали. Писатель Амфитеатров в тот же день, 16 августа, встретил жену профессора Лазаревского, тоже арестованного. Она была спокойна за участь мужа, сказала, что дело – пустяковое, что не сегодня завтра он будет дома. Передавали, что и Горький вернулся из Москвы обнадеженный: Ленин ручается, никаких расстрелов не будет. Может, и утешал вождь классика. В действительности же на другом конце карательной цепочки, в Кремле, оставляли мало надежд для заговорщиков. 10 августа Ленин записал на очередном ходатайстве за Таганцева (его тетки Кадьян): «Таганцев так серьезно обвиняется, с такими уликами, что его освобождение сейчас невозможно: я наводил справки о нем не раз уже».

Поэт Оцуп, хлопотавший за Гумилева, на вопрос Ахматовой:

– Ну что? – ответил:

– Я был там, сказали, что выпустят в пятницу.

Пятница – 19 августа – уже совсем близко. Сестра Оцупа служит в ЧК, новости из первых рук.

В дело попал обрывок смешной записки Гумилева, когда он тоже нуждался в помощи своего приятеля, правда, не по такому серьезному случаю. В тот раз он в Союзе поэтов подвергся нападению графомана из гегемонов.

Дорогой Оцуп!

Пришел вчерашний скандалист, который скандалит еще больше. Показывает мандат грядущего и ругается. Сходи за кем-нибудь из пролеткульта и приведи его сюда. И скорее, пока он не произвел...

На этом записка оборвана, и мы уже никогда не узнаем, чем же все кончилось.

Только через девять дней после первого допроса Гумилева вновь вызвали к следователю. Возможно, были перед этим и другие допросы – но протоколов их в деле нет.

«Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю следующее», – написано на листе и далее – рукой Гумилева:

Летом прошлого года я был знаком с поэтом Борисом Вериным¹ и беседовал с ним на политические темы, горько сетуя на подавление частной инициативы в Советской России. Осенью он уехал в Финляндию, и через месяц я получил в мое отсутствие от него записку, сообщающую, что он доехал благополучно и хорошо устроился. Затем, зимой, перед Рождеством, ко мне пришла немолодая дама, которая мне передала неподписанную записку, содержащую ряд вопросов, связанных, очевидно, с заграничным шпионажем (напр., сведения о готов. походе на Индию). Я ответил ей, что никаких таких сведений я давать не хочу, и она ушла. Затем в начале Кронштадтского восстания ко мне пришел Вячеславский с предложением доставать для него сведения и принять участие в восстании, буде оно перекинется в Петроград. От дачи сведений я отказался, а на выступление согласился, причем указал, что мне, по всей вероятности, удастся в момент выступления собрать и повести за собой кучку прохожих, пользуясь общим оппозиционным настроением. Я выразил также согласие на попытку написания контр-революционных стихов. Дней через пять он пришел ко мне опять, вел те же разговоры и предложил гектографировальную ленту и деньги на расходы, связанные с выступлением. Я не взял ни того, ни другого, указав, что не знаю, удастся ли мне использовать ленту. Через несколько

¹ Борис Верин – псевдоним Б.Н. Башкирова (1891– ?), поэта, друга И. Северянина.

дней он зашел опять, и я определенно ответил, что ленту я не беру, не будучи в состоянии ее использовать, а деньги (двести тысяч) взял на всякий случай и держал их в столе, ожидая или событий (т. е. восстания в городе), или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их, потому что после падения Кронштадта я резко изменил мое отношение к Советской власти. С тех пор ни Вячеславский, ни кто другой с подобными разговорами ко мне не приходил, и я предал все дело забвению.

В добавление сообщаю, я действительно сказал Вячеславскому, что могу собрать активную группу из моих товарищей, бывших офицеров, что являлось легкомыслием с моей стороны, потому что я с ними встречался лишь случайно и исполнить мое обещание мне было бы крайне затруднительно. Кроме того, когда мы обсуждали сумму расходов, мы говорили также о миллионе рублей.

18 августа 1921

Н. Гумилев

Прогресс в следствии – налицо. Гумилева ставят перед фактами, известными чекистам, и он не юлит, подтверждает их. Конечно, говорит не все, что знает, но уже появляются и более точные сроки встреч, и фамилии: в частности, что особенно важно для следствия, – Вячеславский, так назвался ему Шведов, присланный от Таганцева. А главное – «признавательная» лексика: заграничный шпионаж, восстание, бывшие офицеры, контрреволюционные стихи и факты: связь с Финляндией, получение денег.

Несчастные 200 тысяч, взятые «на всякий случай», – можно представить, что это за сумма, если учесть: в октябре 1921 года один фунт муки стоил 300 тысяч! Смешно. Причем четверть суммы, по-видимому, утекла к другому человеку. В деле есть удостоверяющий это документ, на обороте листа № 60 со списком стихов, подготовленных поэтом для антологии, –

Расписка. Мною взято у Н.С. Гумилева пятьдесят тысяч рублей.

Мариэтта Шагинян

23.7.21

Логично было бы вызвать и допросить соседку Гумилева в Доме искусств – вдруг сообщница? Ни слова об этом в деле. И сама Мариэтта Сергеевна, прожив долгую и плодотворную жизнь в литературе, нигде не упомянула о своем опасном должке поэту.

Но и после второго допроса Гумилева ни состава, ни события преступления, как выражаются юристы, явно не просматривается. Да, туманно обещал вывести на улицу кого-то – но ведь не вывел! Да, соглашался «на попытку написания» каких-то «контрреволюционных стихов» – но ведь не написал! А после падения Кронштадта «резко изменил отношение к Советской власти» и все, что связано с Вячеславским, – «предал забвению».

Однако признание все-таки прозвучало, Яacobсон выжал из узника существенное уточнение: его подследственный собирался повести за собой не просто кучку прохожих, а «активную группу бывших офицеров».

Скорее всего, для Гумилева связь с заговорщиками – лишь один из вызовов судьбы, риск, от которого он никогда не уклонялся. Возможно, если бы он отрицал все начисто, то не дал бы повода считать себя даже косвенно участником заговора. Но говорить неправду, по его понятиям о чести, не мог. Надеялся на справедливость, которая на его стороне. И конечно, верил в свою звезду: да он и раньше отчаянно рисковал, но ему всегда и отчаянно везло.

Через два дня – еще допрос. Яacobсон оформляет его как «Дополнительные показания». Опять пишет на листе: «Допрошенный следователем Яacobсоном, я показываю» и передает лист Гумилеву. Тот продолжает:

Сим подтверждаю, что Вячеславский был у меня один, и я, говоря с ним о группе лиц, могущих принять участие в восстании, имел в виду не кого-нибудь определенного, а просто человек десять встречных знакомых из числа бывших офицеров, способных, в свою очередь, организовать и повести за собою добровольцев, которые, по моему мнению, не замедлили бы примкнуть к уже составившейся кучке. Я, может быть, не вполне ясно выразился относительно такового характера этой группы, но сделал это сознательно, не желая быть простым исполнителем директив неизвестных мне людей и сохранить мою независимость. Однако я указывал Вячеславскому, что, по моему мнению, это единственный путь, по какому действительно совершается переворот, и что я против подготовительной работы, считая ее бесполезной и опасной. Фамилий лиц я назвать не могу, потому что не имел в виду никого в отдельности, а просто думал встретить в нужный момент подходящих по убеждениям мужественных и решительных людей. Относительно предложения Вячеславского я ни с кем не советовался, но возможно, что говорил о нем в туманной форме.

20.8.1921

Н. Гумилев

Допросил

Яacobсон

Следствие топчется на месте, хотя и повторяются опасные слова: восстание, офицеры, переворот. А вот признание в том, что о связях с заговорщиками Гумилев, возможно, и говорил с кем-то, «в туманной форме», нашло потом подтверждение, – в мемуарах друзей и знакомых поэта: кто-то видел у него деньги «для спасения России», перед кем-то не скрывал своего участия в заговоре, делился планами борьбы, сообщал о черновике листовки, кому-то даже показывал прокламации. Таких свидетельств слишком много, чтобы начисто их отрицать.

~~Гумилев Николай Иванович~~
~~Доурацкий следователь~~
~~Июльским~~ я попросил:

Им подтверждено, что Вещевский был, меня один и
 говорил с ним о группе из группы пролетарской уездной
 в Вятском крае в виду не кого-либо определенного,
 просто человек делаясь известным знакомым из
 числа бывших организаторов, способных в свою очередь
 организовать и повести за собой добровольцев, когда
 я только специально не замечали бы указания к улу
 перебившейся группе. Я не мог бы не вполне ясно
 представить себе характер этой группы,
 и сделал это сознательно не желая бы прервать
 толкования директив неукротимые или людей и содей
 ствие моему независимости. Однако я указывал Вещевскому
 тому, что по моему мнению это единственное пути
 какому действительности следует переводить и это
 против подготовительной работы, считая ее безнужной
 опасной. Религия мне в повязке не могу, потому
 что не имел в виду никого в отдельности, а просто
 выжили вретиза в наступивший момент подходящий по
 темпелисти и материальности и религиозности людей.
 Относительно предложения Вещевскому я ни о чем
 и советовалась, но возмущено, что говорил о нем
 в журнальной форме.

Н. Гумилев

Доурацкий Следователь

20/11 1921

Конечно, это все исходило от эмигрантов, которым был нужен Гумилев – непримиримый борец с большевиками, как, наоборот, тем, кто оставался на родине, был нужен лояльный к Советам Гумилев – из собственной советскости или для его же реабилитации. С той и другой стороны – политическая тенденция, борьба за свое знамя, с именем поэта-рыцаря, почти святого, на этом знамени. А правда, как чаще всего бывает, где-то посередине. Как говорил сам Гумилев:

Вы знаете, что я не красный,
Но и не белый – я поэт!

Во вторник 23 августа делегация литераторов – журналист Волковысский, поэт Оцуп, критик Волынский и непреходящий секретарь Академии наук Ольденбург – пробилась к председателю Петровичу Семенову. Двое из них, Волковысский и Оцуп, оставили подробный рассказ об этом визите.

Борис Александрович Семенов был похож не на грозного рыцаря революции, а на приказчика из мануфактурной лавки – короткие усики, хитрые, бегающие глазки, заученные, суетливые телодвижения – руки не подал и сесть не предложил, принимал стоя. О поэте Гумилеве он ничего не знал, называл его Гумилевичем, а когда писатели объяснили, что тот, за кого они просят и ручаются, никакой политикой не занимался и тут налицо явное недоразумение, неожиданно заявил:

– Значит, преступление по должности или растрата денег!

– Помилуйте, какая должность у поэта, какие деньги?

– Не скажите-с, бывает, бывает, и профессора попадают, и писатели...

Наконец, когда они попросили дать справку по делу, схватился за телефонную трубку.

– Это Семенов говорит. Узнайте-ка там, арестован у нас Гумилевич?

– Гумилев, Николай Степанович...

– Не Гумилевич, а Гумилев. Он кто?

– Писатель, поэт.

– Писатель, говорят. Наведи справку и позвони.

В ожидании ответа Семенов заполняет паузу какой-то бессвязной болтовней: всякое, мол, бывает, и профессора, и писатели попадают, что делать, время такое.

Звонок. И тут все резко меняется.

– Ваши документы, граждане!

Просматривает бумажки, которые суют ему ошеломленные граждане, и только наткнувшись на подпись красного диктатора Петрограда Зиновьева, быстро возвращает.

– Так вот-с, действительно арестован. Следствие производится. Через недельку закончится. У нас теперь скоро все идет. Да вы не беспокойтесь за него! – И уже с ехидцей: – Если вы так уверены в невинности его, чего вам беспокоиться? Через неделю будет с вами.

– А как же справка?

– Я же сказал. Вы не ходите ко мне, я очень занят, а позвоните по телефону. Через недельку...

Семенов и Гумилев – люди несопоставимые, заряженные враждебной друг другу энергией, их свели время и место трагедии, в которой каждый сыграл свою роль.

Карьера тридцатилетнего председателя Петрочека типична для большевика из низов. Родом он из иркутской деревни, работал на золотых приисках, успел окончить только один курс техникума. При царском режиме отсидел два года в тюрьме за бунтарство, был в ссылке. Рядовой участник Октября, комиссар в боях против Юденича, райкомовский секретарь – вот и весь трудовой путь до прихода в ЧК, куда он попал по рекомендации Зиновьева. Ни профессии, ни образования – только командовать, судьбы вершить, да еще в такое кошмарное время.

Уже через несколько недель после назначения Дзержинский потребовал смещения Семенова: «Хороший парень, но для такой должности не годится!» – однако Зиновьев отстоял – ему нужна была послушная карательная рука.

И все же чекистская карьера сибиряка не удалась. Конец ей положила уничтожающая характеристика вездесущего Ильича, данная вскоре после завершения таганцевского дела, уже в середине октября: «Петрогубчека негодна, не на высоте задачи, не умна. Надо найти лучших». Вскоре Семенова отправили в родную Сибирь, по прежней стезе золотоискателя, начальником Алданских приисков, потом он опять работал партийным секретарем – вплоть до 37-го, когда пошел под расстрел уже при новом поколении чекистов.

Как будто делегация от литературы подтолкнула события: в этот же день Яковсон провел последние следственные действия – еще раз взял показания у Гумилева и Таганцева. Похоже, что судьба их уже решилась, и осталось только закруглиться, соблюсти видимость юридической процедуры.

Если вдуматься, основательного следствия как такового ЧК не проводила, не устроила, к примеру, очной ставки Гумилева с Таганцевым и Шведовым, – ей это и не было нужно. Все предопределено, требовалось просто набрать определенное число людей для видимости грандиозного заговора и показательной, устрашающей казни.

«Продолжительное показание» – так выражается грамотей Яковсон!

Допрошенный следователем Яковсоном, я показываю следующее –

что никаких фамилий, могущих принести какую-нибудь пользу организации Таганцева путем установления между ними связи, я не знаю и потому назвать не могу. Чувствую себя виновным по отношению к существующей в России

власти в том, что в дни Кронштадтского восстания был готов принять участие в восстании, если бы оно перекинулось в Петроград, и вел по этому поводу разговоры с Вячеславским.

23.8.1921

Н. Гумилев

«Чувствую себя виновным... был готов принять участие в восстании» – вот итог встречи, недаром подчеркнуто.

Не правда ли, что-то подобное в истории нашей литературы уже было? Как отвечал русскому царю веком раньше другой поэт: если бы в тот несчастный декабрьский день он оказался в Петербурге, то стал бы в ряды мятежников. Вот только Александра Сергеевича не повели за это признание на эшафот...

И у Таганцева удалось добыть сведения погорячей:

В дополнение к сказанному мною ранее о Гумилеве как о поэте добавляю, что, насколько я помню, в разговоре с Ю. Германом сказал, что во время активного выступления в Петрограде, которое он предлагал устроить, к восставшей организации присоединится группа интеллигентов в полтораста человек (цифру точно не помню).

Гумилев согласился составлять для нашей организации прокламации. Получил он через Шведова В.Г. 200 000 рублей.

23 авг. 21

Таганцев

Передачу для Гумилева уже не принимали и велели больше не приходиться.

В среду 24 августа Оцуп позвонил в ЧК.

– Ага, это по поводу Гумилева, завтра узнаете...

Бросились на Шпалерную, там сказали:

– Ночью взят на Гороховую...

Только в 1992 году был опубликован тюремный дневник талантливого, но рано умершего, забытого литератора Георгия Бломквиста, который попал на Шпалерную через три месяца после Гумилева. Тетради этой предпослана такая надпись: «В случае чего-либо со мной должен быть безусловно уничтоженным – сожженным, неп прочитанным». Есть и запись-итог: «В этот год понял я: наша свобода – только оттуда бьющий свет» – чуть измененная цитата из «Заблудившегося трамвая» Гумилева: «Понял теперь я: наша свобода только оттуда бьющий свет».

Бломквист подробно описывает особый ярус для важных преступников в «предварилке», этой образцовой когда-то тюрьме, построенной по плану бельгийских тюрем, через которую прошли многие известные революционеры, где успел посидеть и Ленин, – тот самый особый ярус, где, по всей видимости, и держали таганцевцев: четыре этажа, мостики, длинные галереи и вдоль – серые стены, железные двери, «сотни несгораемых шкафов, рядом одни над другими... Чисто, аккуратно, как именно в кладовой (грандиозной) банка. У самого конца коридора дырой чернеется выход куда-то».

Но самое потрясающее – настенные надписи в камерах, которые списал автор дневника.

«Друг, если ты выйдешь отсюда живым, то сходи на Литейный, 34, кв. 2 и скажи моим матери и сестре, что я расстрелян».

«Вчера налево провели 16 человек».

«Мамочка, моя милая, любимая мамочка, не забыла ли ты свою Нюру, своего Петю. Мы твои деточки за что-то страдаем. Мамочка, мамочка, мне 18 лет и за что, за что».

«Боже, когда это кончится, крысы и все меня пугает, я не могу больше, милые мои и дорогие, что с вами, за что, за что, я ведь жить хочу».

«В ночь на 20 мая я буду расстрелян. Прощайте, друзья».

А вот кто-то начертил трапецию и в нее старательно, печатными буквами, вписал: «Я буду жив».

Какой-то гвардейский поручик объявляет: «Обещали расстрелять, не знаю пока».

И тут же: «В социалистическом рае нет тюрем, ха-ха-ха!»

И повсюду – ряды черточек, отсиженные дни...

Эти надписи или подобные им видел и Гумилев.

А вот другой узник «предварилки» прочитал и запомнил на стене общей камеры № 7 (77?) надпись и самого поэта. Это арестованный той же осенью Георгий Андреевич Стратановский. В будущем переводчик, преподаватель университета, семьдесят лет он молчал и раскрыл тайну только незадолго до своей смерти, в 1986 году.

«Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Н. Гумилев». Это последние слова Гумилева, которые дошли до нас. Кроме тех, с которых начинается наше повествование.

Иду в последний путь

В Петрочека кипела лихорадочная работа. Готовилось важное заседание президиума, был приказ спешно подготовить обвинения по таганцевскому делу. Настрочил свое и Якобсон.

Перед нами – машинописный экземпляр заключения по делу N 2534 (первоначальный номер).

З а к л ю ч е н и е

по делу № 2534 гр. Гумилева Николая Степановича, обвиняемого в причастности к контр-революционной орга-

низации Таганцева (Петроградской боевой организации) и связанных с ней организ. и групп.

Следствием установлено, что дело гр. Гумилева Николая Степановича, 35 лет, происходит из дворян, проживающего в гор. Петрограде, угол Невского и Мойки в Доме искусств, поэт, женат, беспартийный, окончил высшее учебное заведение – филолог, член Коллегии издательства «Всемирной Литературы» – возникло на основании показаний Таганцева – руководителя указанной организации (смотри протокол Таганцева от 6.8.21 г.), в котором он показывает следующее:

Гр. Гумилев утверждал курьеру финской контр-разведки Ю.П. Герману, что он, Гумилев, связан с группой интеллигентов, с которой последний может распоряжаться и которая в случае выступления готова выйти на улицу для активной борьбы с большевиками, но желал бы иметь в распоряжении некоторую сумму для технических надобностей. Чтобы проверить надежность Гумилева, организация Таганцева командировала члена организации гр. Шведова для ведения окончательных переговоров с гр. Гумилевым. Последний взял на себя оказать активное содействие в борьбе с большевиками и составление прокламаций контр-революционного характера. На расходы Гумилеву было выдано 200 000 р. советскими деньгами и лента для пишущей машины.

В своих показаниях гр. Гумилев подтверждает выше указанные против него обвинения и виновность в желании оказать содействие контр-революционной организации Таганцева, выразив. в подготовке кадра интеллигентов для борьбы с большевиками и в сочинении прокламации контр-революционного характера – признает; своим показанием гр. Гумилев подтверждает получку денег от организации в сумме 200 000 рублей для технических надобностей.

В своем первом показании гр. Гумилев совершенно отрицал его причастность к контр-революционной организации и на все заданные вопросы отвечал отрицательно.

Виновность в контр-революционной организации гр. Гумилева Н. Ст. на основании протокола Таганцева и его подтверждения вполне доказана.

На основании вышеизложенного считаю необходимым применить по отношению к гр. Гумилеву Николаю Станиславовичу как явному врагу Народа и Рабоче-Крестьянской Революции высшую меру наказания – расстрел.

24.8.21 г.

Следователь Яacobсон

Особоуполномоченный ВЧК (подписи нет)

Не говоря уж о небрежностях и ошибках, – даже в слове «расстрел!» – текст пестрит исправлениями то черными, то красными чернилами, сделанными, видимо, уже позднее. Отчество обвиняемого машинистка печатает как «Станиславович», дважды кто-то зачеркнул и написал сверху – «Степанович», а в конце документа ошибка так и осталась неисправленной...

Бросаются в глаза смысловые несообразности и прямые подтасовки.

По Яacobсону, дело возникло «на основании показаний Таганцева» от 6 августа. Но Гумилев арестован раньше, в ночь с 3 на 4-е! Значит, были еще какие-то основания? За все время следствия Гумилев ни разу не подтвердил, что встреча с финским шпионом Германом осенью 20-го года, с которой, собственно, все и началось, у него была. Две ключевые фразы, о том, что «группа интеллигентов» Гумилева была готова выступить «для активной борьбы с большевиками» и что Гумилев хотел оказать «активное содействие в борьбе с большевиками», сочинены

Якобсоном, таких слов ни в показаниях Таганцева, ни в показаниях Гумилева нет. И даже такая, казалось бы, мелочь – но разве может быть мелочь в расстрельном обвинении? – якобы выданная лента для пишущей машинки – ведь подследственный ясно сказал, что ее не взял, «не будучи в состоянии ее использовать».

Вина Гумилева, по Якобсону, вполне доказана, и в чем же состоит эта вина? «В желании оказать содействие». Судят, как известно, за действия, а не за желания. Из дела ясно явствует: Гумилев – участник не заговора, а разговора.

Конечно, что-то все-таки было: и опасная связь, и легкомысленное обещание вывести людей на улицу – до Кронштадта, и смехотворные деньги, и даже, возможно, недоказанное сочинение листовки, – но совсем не то, что заявлено в обвинении: что вина Гумилева вполне доказана и что он явный враг народа и революции.

Вся эта, шитая белыми нитками чекистская стряпня – фальсификация, за исключением, конечно, последнего слова – «растрел», хоть и написанного с ошибкой, но вправду, совершенно всерьез.

Ходили слухи о Якобсоне как о коварном интеллектуале, изоцрленном инквизиторе, который на допросах читал наизусть стихи Гумилева и спорил с ним на высокие темы, чем якобы усыпил и разоружил его. Рукоделия следователя убеждают в другом. Да и что тут антимионии разводить! Мы диалектику учили не по Гегелю. И даже не по Гоголю...

Подписано заключение одним только следователем, размашисто, синим карандашом, подписи особоуполномоченного ВЧК почему-то нет. Причина, конечно, не в том, что Агранов не хотел оставлять о себе позорный след в истории, просто недосуг, наверно, было каждую бумажку подписывать. Хватило и одной подписи. Криминальный коммунизм – в действии.

А после чекисты штамповали приговоры, едва успевая расслышать фамилию, и деловито обсуждали технические подробности приведения их в исполнение.

*Выписка из протокола
заседания Президиума Петрогубчека
от 24 августа 1921 года*

Гумелев Николай Степанович, 35 л., б. дворянин, филолог, член коллегии «Из-во Всемирной Литературы», женат, беспартийный, б. офицер.

Участник Петр. боев. контр-револ. организации. Активно содействовал составлению прокламаций контр-революционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, которые активно примут участие в восстании, получил от организации деньги на технические надобности.

Приговорить к высшей мере наказания – расстрелу.

Верно: (подпись неразборчива)

И опять нагромождения лжи. Бывшие офицеры превращены в кадровых офицеров, приговоренный содействовал составлению прокламаций – а в деле их нет? И все это «активно», «активно» – кашу маслом не испортишь.

И даже в расстрельном приговоре – «филолог Гумелев»! Начиная с обложки дела и до самого конца – имя поэта, русский язык сопротивляются, не даются, противоречат чекистам. Так что, строго говоря, к высшей мере приговорен другой человек.

Возможно, в эти часы был шанс предотвратить печальную развязку.

Еще одна тайна из разряда замурованных до поры до времени в человеческой памяти. Некто Арнольд Эммануилович Колбановский, который когда-то в юности работал

секретарем наркома просвещения Луначарского и часто ночевал в его квартире в Кремле, вспомнил о таком поразившем его случае:

«Однажды в конце августа 1921 г<ода> около четырех часов ночи раздался звонок. Я пошел открывать дверь и услышал женский голос, просивший срочно впустить к Луначарскому. Это оказалась известная всем член партии большевиков, бывшая до революции женой Горького, бывшая актриса МХАТа Мария Федоровна Андреева. Она просила срочно разбудить Анатолия Васильевича. Я попытался возражать, т<ак> к<ак> была глубокая ночь, и Луначарский спал. Но она настояла на своем. Когда Луначарский проснулся и, конечно, сразу ее узнал, она попросила немедленно позвонить Ленину. “Медлить нельзя. Надо спасти Гумилева. Это большой и талантливый поэт. Дзержинский подписал приказ о расстреле целой группы, в которую входит и Гумилев. Только Ленин может отменить его расстрел”.

Андреева была так взволнована и так настаивала, что Луначарский наконец согласился позвонить Ленину даже в такой час.

Когда Ленин взял трубку, Луначарский рассказал ему все, что узнал от Андреевой. Ленин некоторое время молчал, потом произнес: “Мы не можем целовать руку, поднятую против нас”, – и положил трубку»¹.

Не руку целовать – «ногу ожечь», по Агранову.

В гумилевском досье среди подшитого вороха разномастных бумаг есть адрес: «Вл. Кибальчич 1 Дом Совета 330». Так вот, этот самый Вл. Кибальчич, он же – писатель Виктор Серж², в своих «Воспоминаниях революционера» на-

¹ Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников. Л., 1991. С. 274.

² Серж (Кибальчич) Виктор (1890–1947) – французско-русский писатель, общественный деятель. Участвовал в Гражданской войне в России, работал в Коминтерне. Выступал против сталинской политики. Был дважды арестован, отправлен в ссылку. В 1936 г. выслан из СССР.

зывает поэта «товарищем-противником» и передает разговор какого-то своего друга с Дзержинским о судьбе Гумилева.

– Можно ли расстреливать одного из двух или трех величайших поэтов России? – был вопрос.

– Можем ли мы, расстреливая других, делать исключение для поэта? – ответил главный чекист.

В те же дни Русское физико-химическое общество ходатайствовало за арестованного по тому же делу профессора Михаила Тихвинского, видного химика, известного к тому же своими заслугами перед революционным движением (был в молодости, вместе с Лениным, участником группы «Освобождение труда»). 3 сентября, уже после расстрела Тихвинского, Ильич отреагировал: «Тихвинский не “случайно” арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга». А если уж так, то поэзия и контрреволюция тем более! Тихвинский и Гумилев, а в их лице наука и поэзия, были приговорены в один день, вместе.

О попытках вызволить Гумилева из чекистского застенка наплелось особенно много легенд, большей частью из числа мифов про добренького Ильича. Передавали, что тот на встрече с Горьким сказал:

– Пусть лучше будет больше одним контрреволюционером, чем меньше одним поэтом! – и дал телеграмму о помиловании, но Зиновьев не послушался, поспешил убрать поэта. Или утаил депешу, или опередил. А вот еще говорят – то ли телеграф не работал, то ли почту разобрали поздно. Другая версия: Дзержинский по просьбе того же Горького звонил в Петроград, но было уже поздно. Все это маловероятно уже потому, что для большевиков фигура Гумилева вовсе не была исключительной, они не придавали ей особого значения, ничуть не важнее, чем какой-то профессор или какой-нибудь князь. Много их было всяких, слишком много.

Горький, по своим взглядам чуждый Гумилеву, как реалист – парнасцу, хлопотал за него, – это несомненно, подтверждено документами. Но много ли он мог сделать? В этот момент и его положение пошатнулось. Настырное заступничество его за «контру» уже стояло большевикам поперек горла. Зиновьев вообще – личный враг, даже санкционировал обыск на его квартире. Дзержинский, на его обращение по таганцевскому делу, прямо угрожает:

– В показаниях по этому делу слишком часто упоминается ваше имя.

– Вы что же, и меня хотите арестовать?

– Пока нет...

Пока! Пришлось опять идти к Ильичу. Тот успокоил, обещал приструнить Меч Революции (об этом Горький взволнованно рассказывал филологу Сильверсвану в сентябре 21-го).

Действительно, в последних откровениях Таганцева Агранову есть опасные пассажи, касающиеся Буревестника Революции: «Я раза три был у Горького на квартире. Во время этих встреч в беседах затрагивались разные политические темы... Я узнал от него, в частности, о трагическом взгляде Ленина на русский народ, который является, по мнению Ленина, чрезвычайно податливым ко всякому насилию и мало пригоден для государственного строительства».

Да и от прежнего романа с Ильичем уже остались только воспоминания, особенно после публикаций с открытой, резкой критикой писателем советской власти, теперь Вождь Революции спешил спровадить ее Буревестника подальше, за кордон.

– А не поедете – вышлем! – эту фразу Горький не забудет никогда.

Горький тоже стал неуютен новому режиму, и советские правители только искали случай или способ поблаго-

видней, чтобы от него избавиться. И скоро добились своего – 16 октября он покинул Россию.

Последний документ того времени из дела Гумилева – как раз с именем Горького.

*В Президиум Петроградской
Губернской Чрезвычайной Комиссии*

Председатель Петербургского Отделения Всероссийского Союза Поэтов, член редакционной коллегии Государственного Издательства «Всемирная Литература», член Высшего Совета Дома Искусств, член Комитета Дома Литераторов, преподаватель Пролеткульта, профессор Российского Института Истории Искусств Николай Степанович Гумилев арестован по ордеру Губ.Ч.К. в начале текущего месяца. Ввиду деятельного участия Н.С. Гумилева во всех указанных учреждениях и высокого его значения для русской литературы, нижепоименованные учреждения ходатайствуют об освобождении Н.С. Гумилева под их поруительство.

*Председатель Петроградского отдела
Всероссийского Союза Писателей А.Л. Волынский*

*Товарищ председателя Петроградского отделения
Всероссийского Союза Поэтов М. Лозинский*

*Председатель Коллегии по Управлению Домом
Литераторов Б. Харитон*

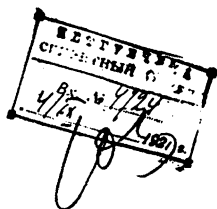
Председатель Петропролеткульта А. Маширов

*Председатель Высшего Совета «Дома Искусств»
М. Горький*

*Член Издательской Коллегии
«Всемирной Литературы» Ив. Ладыжников*

Срочно
Гумилев
19 2534
Гумилев

В ПРЕДСИДИИ ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ:



Председатель Петербургского Отделения Всероссийского Союза Поэтов, член Редакционной Коллегии Государственного Издательства "Всемирная Литература", член Высшего Совета Дома Искусств, член Комитета Дома Литераторов, преподаватель Пролеткульта, профессор Российского Института Искусств Николай Степанович Гумилев арестован по ордеру Губ.Ч.К. в начале текущего месяца. Ввиду деятельного участия Н.С.Гумилева во всех указанных учреждениях и высокого его значения для русской литературы, нижепоименованные учреждения ходатайствуют об освобождении Н.С.Гумилева под их поручительство.

Председатель Петербургского Отделения Всероссийского Союза Поэтов

А. С. Горюнов

Товарищу председателю Петроградского Отделения Всероссийского
Союза Поэтов

М. Гумилев

Председатель Комитета
по Пролетскому Дому Искусств и Литературы

Председатель Петропроектбюро А. Машков.

Председатель Высшего Совета "Дома Искусств"

М. Горюнов

Член Издательской коллегии "Всемирной Литературы"

М. Горюнов

Письмо литераторов в защиту Н.С. Гумилева. Зарегистрировано
в Петрогубчека 4 сентября 1921 г.

Даты на письме нет, но, судя по тексту, – «Гумилев арестован... в начале текущего месяца» – составлено оно в августе. Из хроники жизни Горького известно, что с 20 (или 21) до 24 августа он был в отъезде, отдыхал на даче в Белоострове, значит, подписал письмо или до своего отъезда, или когда приговор уже был вынесен. На письме – три надписи: «Серову», главе секретно-оперативного отдела, «Гумилева», и «К делу 2534», подпись неразборчива. А сверху, справа – штамп: зарегистрировано в секретном отделе Петрогубчека 4 сентября 1921 г. за входящим № 4724.

Где же пролежало это письмо столько времени?

Видимо, там, куда и было адресовано, – в президиуме Петрогубчека. В долгом ящике стола товарища Семенова. Или у куратора дела – товарища Агранова. Без всякой резолюции, без всякого решения. А 4 сентября – когда поздно было что-то решать, письмо, уже бесполезное, пришили к делу, отправили в архив. Недаром, по некоторым слухам, пресловутая ленинская телеграмма тоже вовсе не опоздала, а просто была спрятана на несколько часов председателем Петроградской «чеки». Военная хитрость.

А что же те писатели-ходоки из делегации, что побывали у Семенова, получили они какой-нибудь ответ? Да, «через недельку».

– Ага, это по поводу Гумилева? – отозвался по телефону невозмутимый Семенов. – Послезавтра узнаете...

Но уж назавтра, 31 августа, вечером, он делал доклад в переполненном зале на закрытом заседании Петросовета. Сначала почтили вставанием годовщину смерти красного святого – три года назад поэт Леонид Каннегисер застрелил главу Петроградской ЧК Моисея Урицкого. Потом в глухой тишине звучали имена – список расстрелянных по таганцевскому делу. Ни вопросов, ни выступлений не было. И расходились молча. Но в тот же вечер по городу поползли зловещие слухи.

1 сентября о случившемся узнали все – из газет и листовок, расклеенных в людных местах, для пущего устрашения.

Его великолепная могила

«Взяли ночью на Гороховую...»

Там, в здании ЧК, в его левом заднем углу, на нижнем этаже, находилось особое помещение – большая квадратная комната с асфальтовым полом и тремя окнами, замазанными белой краской, загороженными решетками. Внутри – голо и грязно, никакой мебели, нет даже печки. Ключ от двери – только у коменданта Губчека, бывшего балтийского матроса Шестакова. Отпиралась дверь лишь от 4 до 8 вечера, когда здесь меняют жильцов.

«Комната для приезжающих» – так игриво называется это помещение, служащее накопителем для приговоренных к высшей мере. О ней рассказал все тот же филолог Сильверсван, коллега Гумилева по издательству «Всемирная литература», сидевший в ЧК, но выпущенный под поручительство Горького с подпиской о невыезде и с благословения того же Горького бежавший на лодке в Финляндию. Рассказ его опубликовала 10 октября 1922-го парижская газета «Последние новости»:

«Обыкновенно накануне казни выводят приговоренных из камер чрезвычайки, а главным образом предвариловки, объясняя им, что они переводятся в другое помещение или освобождаются на волю, но доставляются в комнату для приезжающих. В продолжение полутора суток, которые приходится проводить в комнате для приезжающих, арестованные не получают ни еды, ни воды... В течение полторасуточного сидения никто к ним не приходит, их не выпускают даже для оправления естественных надобностей. Женщины и мужчи-

ны находятся вместе. В 1921 году, в дни больших расстрелов, комната бывала битком набита приговоренными».

Здесь, по всей вероятности, и провел Гумилев последнюю ночь и последний день своей жизни – в ожидании казни.

«В комнате читают им приговор, заставляют распяться под приговором и сразу же надевают наручники, одну пару на двоих, одно кольцо наручников на правую руку первого, другое на правую руку второго приговоренного. Жильцы долго не засиживаются, проводят ночь и день, а в следующую ночь от 3-х до 4-х часов производится отправка их на место казни.

В три часа ночи из гаража чрезвычайки во двор Горюховой, 2 подается пятитонный грузовик, во двор приводится усиленный наряд из роты коммунаров, комендант спускается в комнату для приезжающих, открывает дверь и по списку скованных попарно выводят во двор и сажают в автомобиль. На закрытые борта грузового автомобиля тесным кольцом садятся вооруженные коммунары, машина трогается и катит на артиллерийский полигон на Ириновской железной дороге. Две легковые машины сопровождают грузовик с арестованными, в них размещаются лица, тем или иным способом участвующие в казни. Здесь непременно находится следователь, который в последний момент, когда уже приговоренный стоит на краю ямы, задает последние вопросы, связанные с выдачей новых лиц. Такие вопросы задаются обязательно каждому приговоренному. Тут же помещаются всегда два или три спеца по расстрелам, которые выстрелом в затылок из винтовки отправляют на тот свет. Кроме них пять-шесть человек, присутствующих при казни со специальными обязанностями снимать наручники, верхнее платье, сапоги и белье и подводить жертву к стрелку-палачу. Зачастую, при массовых отправках на полигон, арестованные, сидящие в комнате для приезжающих, не выдерживают последних

суток и умирают. Труп кладут на автомобиль, не расковывая соседа, а по приезде бросают в общую яму».

Сильверсван даже называет имена палачей, отличившихся при таганцевском деле, – не иначе как пользовался информацией из чекистских кругов. Кроме коменданта Шестакова это бывший гвардейский офицер, командир роты коммунаров Ал. Ал. Бозе, и под их командой – надзиратели Губчека Балакирев, Бойцов, Серов, Бондаренко, Пу и Кокорев, обязанностью которых было в основном раздевание жертв. «Завучтел» – еще и такая должность была в ЧК. Сопровождать приговоренных к месту казни Агранов назначил двух следователей – Сосновского и Якобсона. Так что последний сопровождал поэта до конца.

Другие подробности сообщила петроградская газета «Революционное дело» в марте 22-го:

«Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской ж.д. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться. Раздались крики, вопли о помощи. Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей»¹.

Ни подтвердить, ни опровергнуть всего этого мы не можем, но и замалчивать нельзя, – это все, что сохранила людская память. Вот еще свидетельство фельдшера И.Н. Роптина, которого привезли ночью на полигон и заставили присутствовать при расстреле в качестве «медперсонала»:

– Понимаете ли, одних расстреливают, а другие уже голые у костра жмутся, женщины, мужчины, все вместе. Женщины еще мужчин утешают...²

¹ Мельгунов С.П. Красный террор в России. Нью-Йорк, 1989. С. 141.

² Варшер Т.С. Виденное и пережитое. Берлин: Труд, 1923. С. 31–32.

Ахматовой рассказывал какой-то рабочий, живший поблизости, что слышал в ту ночь (25 августа) выстрелы. Раньше он видел около дороги поваленные с корнем большие деревья. На месте вывернутых корней, на краю ямы, их и расстреляли. Когда он пришел туда, на то место, яма уже была засыпана и земля разровнена...

Похожее – землю, утоптанную сапогами, – видели и какие-то знакомые Ахматовой, которым указала место их прачка, со слов своей дочери-следователя. Ахматова услышала это через девять лет и туда поехала. И вот что увидела:

«Поляна; кривая маленькая сосна; рядом другая, мощная, но с вывороченными корнями. Это и была стенка. Земля запала, понизилась, потому что там не насыпали могил. Ямы. Две братские ямы на 60 человек. Когда я туда приехала, всюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: “другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю”... Приговоренных везли на ветхом грузовике, везли долго, грузовик останавливался».

Ученики Гумилева, молодые поэты, разыскали садовника, тоже жившего неподалеку. По его словам, «всю партию поставили в один ряд. Многие мужчины и женщины плакали, падали на колени, умоляли пьяных солдат. Гумилев до последней минуты стоял неподвижно».

В чрезвычайной выдержке его никто не сомневался, хотя и рассказывали с чужих слов. И невозможно уже понять, где кончается быль и где начинается легенда.

Георгий Иванов: «Шикарно умер. Улыбался, докурил папиросу. Даже на ребят из особого отдела произвел впечатление».

Виктор Серж: «Гумилев погиб на рассвете, на опушке леса, надвинув на глаза шляпу, не вынимая изо рта папиросы, спокойный, как обещал в своей поэме из эфиопского

цикла: “И без страха предстану перед Господом Богом!” По крайней мере, так мне рассказывали».

Что видел Гумилев в последние минуты жизни, на рассвете, на опушке сосновой рощи? Светающее небо, излучину реки, окутанную туманом? Краем зрения, потому что во весь зрачок, в упор – немыслимое, непереносимое. С кем он прощался, кого призывал? Мать, Анну Ивановну, больше всех на свете любившую его? Жёну Аню, которая потеряннно ждала его в Доме искусств? Или Анну, которая была его мучением и путеводной звездой?.. И детский, пресекающийся голосок надежды, которая оставляет человека последней – не может быть, вот сейчас что-то произойдет, что-то вмешается и...

Сколько раз он уже видел это мгновенье!

Не раз в бездонность рушились миры,
Не раз труба архангела трубила,
Но не была добычей для игры
Его великолепная могила.

(«Орел», 1909)

Что здесь ныне? Так же встает солнце, так же бегут по небу облака. И речка Лубья, и высокий песчаный берег, и сосны – только деревья и кусты перемешались, поменяли мизансцену, встали иначе.

«Обычный расстрельный ландшафт», как выражаются специалисты по массовым захоронениям жертв политических репрессий. Даже краснокирпичный пороховой погреб еще цел, тот самый, который служил подсобным помещением для расстрельщиков и который видел Гумилев, местные жители до сих пор называют его тюрьмой. Выстрелы гремели тут не один год. Поисковая группа «Мемориала» обнаружила на бывшем артполигоне в Ковалевском лесу крупное захоронение – около тридцати тысяч человек.

До последнего времени не было полной ясности, когда именно погиб Гумилев. «Краткая литературная энцикло-

педия» указывает 24 августа, называлось и 25-е, и 27-е... Но должен ведь быть документ, подтверждающий точную дату!

И он, конечно же, был, но упрятан далеко. И извлечен на свет только недавно, при одной из попыток реабилитации поэта, когда его досье, первоначально в 104 листа, заметно поросло. Среди других бумаг в нем появился маленький зеленоватый конвертик (лист 144) и внутри – на крохотном листке – справка, ответ на запрос следственного отдела КГБ: «Гумилев Н.С. Расстрелян 25.8.21 г.» А дальше указан источник информации, где хранится акт о расстреле, – том 40 того же неподъемного, до сих пор не обнародованного дела ПБО в 382 томах. Теперь можно внести поправку в энциклопедию¹.

Был человек, который называл точную дату расстрела – 25 августа. Но это особое знание. В те дни и ночи Анна Ахматова словно бы пережила по-своему казнь, вместе с Гумилевым. Ее мучил жуткий, необъяснимый страх, толкал к бумаге, двигал пером и претворился в стихотворение. Оно так и начинается: «Страх, во тьме перебирая вещи...» (25 или 27–28 августа 1921).

.....

Лучше бы поблескиванье дул
В грудь мою направленных винтовок,

Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашенный прилечь
И под клики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь.

Прижимаю к сердцу крестик гладкий:
Боже, мир душе моей верни!

¹ Опубликовано: *Шенталинский В.* Десять лет с правом переписки // Литературная газета. 1999. № 25. 23–29 июня.

Запах тленья обморочно сладкий
Веет от прохладной простыни.

О расстреле Гумилева она прочла, как и все, только 1 сентября, прочла в газете, наклеенной на вокзале в Царском Селе.

В опубликованном расстрельном списке на 61 человека (3 октября к ним прибавятся еще 37) он идет под номером тридцать, как раз посередине, будто специально, преднамеренно – спрятать в этой братской могиле от взгляда читающей, просвещенной публики. И тут, даже тут – ошибка: возраст поэта указан неверно, ему было тридцать пять лет.

Гумилев, Николай Степанович. 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии «Из-во Всемирной литературы», беспартийный, б. офицер. Участник П.Б.О., активно содействовал составлению прокламаций к-револ. содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности.

Докладывая Петросовету, Семенов заявил, что крестьян, рабочих и матросов среди заговорщиков «самое большее 10%». Можно подумать, что чекисты взвешивали свои жертвы на аптекарских весах и мартиролог рассчитан на то, чтобы напугать всех, все слои населения. Кого только в нем нет, кажется, весь народ представлен!

Офицеры и моряки, князья и мещане, ученые и юристы, юноши и старики, монархисты и социал-демократы, – невозможно представить себе организацию с таким пестрым составом! Гумилев оказался между кооператором и завхозом цементного завода. Вина большинства погубленных невразумительна: «дал согласие», «знала», «присутствовал», «переписывал», «разносила письма», «обещал, но отказался, исключительно

из-за малой оплаты». Нет в делах и никаких признаний вины, конечно, потому, что признаваться было не в чем.

Среди казенных – шестнадцать женщин: сестры милосердия, учительницы, студентки или просто жены арестованных, которые проходят как «сообщницы» – среди них Надежда Феликсовна Таганцева, 26 лет. И один 25-летний слесарь назван «прямым соучастником в делах жены». Была в этом списке сестра милосердия Ольга Викторовна Голенищева-Кутузова, знакомая Гумилева по Царскому Селу, по некоторым сведениям, он даже посвящал ей стихи. Не сестра ли это Владимира Викторовича Голенищева-Кутузова, первой любви Ахматовой, безответной любви, которую она тщетно пыталась похоронить в браке с Гумилевым? За Ольгу Викторовну, единственную опытную хирургическую сестру лазарета, которую нечем было заменить, просили коллеги-врачи и раненые красноармейцы, любившие ее не только за то, что она лечила их, «посещая и помогая днем и ночью, без исключения времени и очереди дежурства», но и за то, что «все свое свободное время отдавала на занятия по ликвидации неграмотности». «Просим вернуть к нам обратно в лазарет сестру Кутузову», – взывали они, – бесполезно, все перевесило то, что она – дворянка. А была эта дворянка, между прочим, из древнего рода великого русского полководца Кутузова.

Заклучала список крестьянка Евдокия Федоровна Антипова, 68 лет, вся вина которой состояла в том, что она «предоставляла явку», то есть сдавала квартиру интеллигентным людям, не интересуясь их убеждениями. Или вот заводской электрик Векк – «снабдил закупщика организации веревками и солью для обмена на продукты».

Внушительна группа интеллигентов: химик-технолог, профессор Тихвинский, геолог Козловский, юрист, проректор Петроградского университета, профессор Лазаревский. Че-

ловеком исключительных духовных дарований был и князь Сергей Александрович Ухтомский, скульптор, архитектор, искусствовед, сотрудник Русского музея. Преступление – подготовил для передачи за границу «сведения о музейном деле и доклад о том же для напечатания в белой прессе».

Корреспондент эмигрантской газеты «Руль» сообщал о настроениях после чекистской бойни: «Для чего, вы думаете, была принесена в жертву питерская гекатомба? Гумилев, Лазаревский, Таганцев и Тихвинский были “пущены в расход” только для того, чтобы напугать. “Виноваты или нет, неважно, а урок сей запомните!” Так было сказано в полупубличном месте самим г. Менжинским. А ведь это не удалой матрос Балтфлота, вроде Дыбенки, а человек, окончивший университет».

Добавим, когда-то и начинающий беллетрист, тоже в некотором роде писатель... Идеологически обосновать расстрельную акцию кинулись не только чекисты-литераторы, но и литераторы, прислуживающие чекистам, к примеру тот же могильщик Гумилева, поэт Александр Тиняков. Не только смерть поторопим, но и в землю зароем поглубже! Уже 10 сентября он, явно по заданию ЧК, опубликовал в газете «Красный Балтийский флот» ликующий панегирик палачам:

«В списке расстрелянных активных контрреволюционеров, рядом с именами купцов и церковных старост, форменных провокаторов... и всякого рода дворян, мы находим имена: профессора Лазаревского, скульптора князя Ухтомского и поэта, кстати сказать, весьма-таки бесталанного, Николая Гумилева... На что ж, спрашивается, была направлена работа людей, которые любят называть себя “мозгом страны”, “совестью народа” и тому подобными звучными и лестными именами? А вот на что: все эти скульпторы, поэты, профессора, князья, помещики и пр. готовились взорвать

центральный питерский водопровод и артиллерийский склад на Выборгской стороне, хотели поджечь нефтяные склады Нобеля и лесные склады Громова и уже делали покушения на самых видных, наиболее дорогих рабочему классу коммунистов. Глава этих вырожденцев профессор Таганцев однажды прямо брякнул, что де “наша прямая задача – уничтожать заводы, жидов и памятники коммунарам”...

Открывается такая бездонная пропасть, такая неутолимая ненависть к трудящимся, что невольно сначала поражаешься, а потом с благодарным порывом обращаешься к нашей Петроградской Ч.К. и невольно восклицаешь: “Прав твой суд, справедливо возмездие!”»

Какое-то время после гибели Гумилева, словно по инерции, еще печатались его стихи, выходили рецензии. С успехом шла на сцене его драма «Гондла». Публика кричала: «Автора! Автора!» Но однажды перед представлением к актерам заявили «товарищи» и велели разгримироваться: спектакля больше не будет.

Вокруг имени Гумилева и его стихов вскоре опустилась плотная завеса. Приказали думать, что такого автора не существует.

В черный август 1921-го Россия потеряла двух лучших в ту пору поэтов. С одновременной смертью Блока и Гумилева уходила в прошлое целая эпоха русской культуры, та, что получила название – Серебряный век.

Памяти этих поэтов по свежим следам потери посвятил свое стихотворение «На дне преисподней» Максимилиан Волошин (Коктебель, 12 января 1922):

С каждым днем все диче и все глуше
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит,
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.

Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца – Русь!
И на дне твоих подвалов сгину
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекнусь.

Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

Я с вами опять

Гибель Гумилева породила множество слухов, в том числе и самых невероятных: и даже, что он вовсе не погиб, а сумел убежать и перебрался в любезную его сердцу Африку (так думала мать, не поверившая в его смерть), или что превратился в столб огня, – чистая правда, если вспомнить его лучшую книгу «Огненный столп», рождение которой совпало со смертью автора.

Имя Гумилева со временем стало паролем, по которому определялось качество и даже отвага читателя. Прокатилась и целая волна поэтических вдохновений – стихов, посвященных ему и даже якобы сочиненных им самим. Едва ли не лучше всех сказал Дмитрий Кленовский в «Сне о казненном поэте»:

...Прошлое! Оно таким мне снится,
Как его увидеть довелось:
Белою бессмертною страницей,
Пулею простреленной насквозь.

Было несколько попыток реабилитировать Гумилева и несколько подступов к его делу. Первую попытку при первой же возможности – в хрущевскую «оттепель» – предприняла Анна Ахматова, самый верный хранитель его памяти. Поддерживал ее в этом спецкор «Известий» Гольцев, близкий к зятю Хрущева Аджубею. Безрезультатно.

В 1968 году предложение начать процесс реабилитации посылает в прокуратуру многолетний биограф Гумилева, писатель Павел Лукницкий. Зам прокурора в беседе с ним признал, что «состав преступления» поэта «незначителен», но пересматривать дело не решился. Кроме того, и Союз писателей не захотел ходатайствовать за Гумилева. Может, потому, что как раз в то время на Западе появилась книга гумилевской ученицы Ирины Одоевцевой «На берегах Невы», в которой рассказывается, что, будучи в гостях у мэтра, будто бы видела и револьвер, и много пачек денег, и уверяет, что он, бесспорно, был участником заговора против большевиков. И хоть она, тогда двадцатилетняя девушка с большим черным бантом, поклялась молчать, теперь, на старости лет, почему-то нарушила клятву. В Париже казалось, что вся эта история только красит поэта, к тому же за давностью неактуальна, но только не в Советском Союзе: нашим чекистам-прокурорам девушка с бантом дала новый козырь против Гумилева – свидетельское доказательство его вины.

В 1974-м КГБ опять проверял досье поэта, запрашивал дополнительные сведения. Одновременно и в литературе начали возникать робкие упоминания его имени. Но и в этот раз дело не сдвинулось с мертвой точки.

Сразу несколько публикаций гумилевских стихов после долгого запрета появились в периодике в 1986-м – так щедро отметила Родина столетний юбилей поэта. Закипела перестройка, процесс реабилитации уже шел полным ходом, и только с Гумилевым все почему-то стопорилось.

Помню, как я, от лица Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей, которую тогда организовал, несколько раз поднимал в прокуратуре эту тему и каждый раз слышал в ответ – не отказ, нет, а что-то вроде: да, конечно, надо бы, пора, но... И тут начинались пространные юридические премудрости, сложный, мол, это вопрос, как именно реабилитировать Гумилева: за недоказанностью обвинения, или за отсутствием состава преступления, или, вообще, за отсутствием события преступления? И потом это, ведь дернешь ниточку, и потянется, надо все огромное таганцевское дело пересматривать, а это годы и годы... В конце концов один из молодых прокуроров, устав от моей надоедливости, рубанул открытым текстом, попросив, правда, его не выдавать:

– Короче, дело Гумилева запер в своем сейфе Абрамов. И пока он на своем месте, ничего не сдвинется. Все решает только он...

Кто такой Абрамов? Зам генпрокурора, недавно спланировавший на эту должность генерал из КГБ, бывший глава Пятого, идеологического управления. И я понял, что он, И.П. Абрамов, маринует дело в сейфе только по одной причине: ждет развития событий, чем кончится эта самая перестройка. Ведь пересмотреть дело Гумилева – значит пересмотреть и все дело Таганцева, и тогда вскроется его подноготная. На столь радикальный поворот голова матерого чекиста не была способна.

Прежняя власть ушла, так и не реабилитировав поэта. Правда оказалась непосильной для советского правосудия. Все решилось как бы само собой только после августовского путча, когда судорожные старания оставить страну в прошлом окончательно провалились.

Август 1921-го – август 1991-го – в этой рифмовке дат угадывается какая-то закономерность, невидимая связь

исторических событий. Чтобы реабилитировать Гумилева, нужен был коммунистический путч и его провал, падение режима, казнившего поэта. История вывернулась наизнанку – преступником оказалась власть, а не Гумилев.

Новая юридическая оценка «вины» поэта прозвучала в протесте прокурора по делу, составленном уже через месяц после путча, 19 сентября, и до сих пор почему-то не опубликованном.

Постановление в отношении Гумилева подлежит отмене, а дело – прекращению по следующим основаниям...

Из имеющихся в деле материалов не вытекает, что Гумилев, как это указано в обвинительном заключении, являлся активным участником «Петроградской боевой организации». Нет в деле данных и о том, что он принимал участие в составлении прокламаций контрреволюционного содержания, не доказана и какая-либо другая его практическая антисоветская деятельность.

После дачи согласия Вячеславскому Гумилев никакой работы в контрреволюционной организации не проводил и в ней не состоял.

Об этом свидетельствует и тот факт, что Гумилеву даже не были известны подлинные фамилии представителей организации, которые встречались с ним и предлагали участвовать в контрреволюционном мятеже. Кроме того, со стороны Гумилева отсутствовала всякая инициатива, направленная на организацию встреч с представителями ПБО.

Что же касается получения Гумилевым денег от Вячеславского, якобы для организации мятежа, этот факт носит лишь чисто символический, условный характер и не может быть положен в основу вины Гумилева. Согласно прилагаемой к протесту справке Управления эмиссионно-кассовых опера-

ций Государственного банка СССР, исходя из соотношения реальной ценности денег 200 тысяч рублей на 1.4.21 г. соответствовали всего лишь 5,6 руб. 1913 г. В связи с исключительно низкой покупательной способностью денег в период получения их от Вячеславского Гумилев не мог приобрести на них даже простейшие технические средства для напечатания прокламаций или другие предметы для предполагаемых участников заговора... Эпизодическая, односторонняя связь, установленная ПБО с Гумилевым, лишала его возможности вернуть Вячеславскому деньги. Других же участников контрреволюционной организации Гумилев не знал... Одним из убедительных доказательств лояльности Гумилева к советской власти является тот факт, что у него нет ни одного антисоветского произведения...

Прошло всего одиннадцать дней после вынесения протеста прокурора, и Судебная коллегия Верховного суда определила: постановление в отношении Гумилева – отменить, дело – прекратить. При этом было подчеркнуто: Гумилев был подвергнут расстрелу – «без указания закона». Так отметила Родина семидесятилетие со дня смерти поэта.

Минул еще год, и прокуроры, вместе с госбезопасностью, пытаясь угнаться за историей, установили, что всей Петроградской боевой организации, покушавшейся свергнуть советскую власть, «как таковой не существовало, она была создана искусственно следственными органами, а уголовное дело в отношении участников организации, получившей свое название только в процессе расследования, было полностью сфальсифицировано. Все участники ПБО... реабилитированы».

«Дело Икс» оказалось делом фикс.

Как говорится, справедливость восторжествовала. Другой вопрос – нужна ли вообще эта реабилитация? Нуж-

на, конечно, – не Гумилеву, а нам, если эта реабилитация не формальный юридический акт, а результат понимания государством своей истории, пусть даже с роковым опозданием.

Юристы сказали свое слово, закончили расследование, но историки продолжают работать, ведут и с с л е д о в а н и е.

И снова горячо обсуждаются свидетельства из эмигрантской прессы, туманные и разноречивые, что заговор все-таки был и Гумилев – его прямой участник, свидетельства, которые во времена советской власти намеренно, из лучших побуждений утаивались, поскольку могли быть похожи на доносы. Версия заговора реанимируется – уже противниками советской власти. Странно было бы, рассуждают они, если бы лучшие русские люди – патриоты, не пытались бороться с насилием коммунистов.

«Дело Икс» снова переоценивается, на другом витке общественного противостояния.

Имя поэта стало разменной картой в политической борьбе. На хоругви с его образом враждующие партии вписывают свои, противонаправленные версии и лозунги. Дошло до того, что он, Гумилев, якобы отправлялся в Париж и в Африку не из страсти к путешествиям, а выполняя какие-то шпионские задания.

Еще раз подтверждается печальная ирония: история – политика, повернутая в прошлое.

На Земле нет могилы Николая Гумилева, с крестом, куда можно прийти поклониться, положить цветы, вспомнить стихи. Враги поэзии зверски убили и воровски спрятали тело поэта, хотели умертвить и дух, приговорили стихи к высшей мере наказания – умолчанию и запрету, хотели вычеркнуть из человеческой памяти имя – авось не воскреснет. Но тут оказались бессильны.

Кончился век, кончилось тысячелетие. Осенью 2002 года на месте казни, на бывшем артополигоне в Ковалевском лесу появилась памятная доска: «Здесь расстрелян поэт Николай Гумилев».

Говорил же он когда-то Ахматовой, без всякой гордыни, а как посвященный и призванный, и она запомнила:

– Я сейчас почувствовал, что моя смерть не будет моим концом, что я как-то останусь... может быть...

Это было в 1918-м, в Духов день, когда они последний раз вместе навещали сына, жившего у бабушки в Бежецке.

Однажды – прошло уже несколько лет после гибели Гумилева, шел 1925-й – Ахматовой приснился сон. Будто они снова вместе.

– Мы не думали, что ты жив. Подумай, сколько лет! Тебе плохо было? – спрашивает она.

Он отвечает, что да, ему очень плохо было, он много скитался, в Сибири где-то...

Она говорит, что собирается его биография.

– Так в чем же дело? Я с вами опять, со всеми... О чем же говорить?



Церковь Похвалы Богородицы. Поселок Орел (Пермская область)

Отец Владимир (Лобанов) –
священник церкви Похвалы Богородицы и автор книги.

На берегу Камы. 2003

На заднем плане виден мыс – место, где когда-то стоял Орел-городок

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ КНИГАМЪ

ПРЕОЗНАЧЕННЫМЪ ЧИТАТЕЛЮ. БЖТВЕННЫХЪ СЛОВЕЦЪ РАЧУ-
 ЧЕЛЮ, ГЛБЕННЫ СЛОВЕ ПРЕМЪДРЫМЪ ПЫТАТЕЛЮ, ЖИ-
 ВОТА ВЪЧНАГО ЖЕЛАТЕЛЮ, ПОСПИШИТЕ СЕБѢ СЛОВЕСИ; НИШЕ-
 ТАИЧЕ, РЧЕ ПИСАНІА ВНИЖЕ МНИТЕ ЖИВО ВЪЧНЫМЪ . СО-
 ТВОРИ ЛЮБОВЬ . МОЛЮ ЧА ОУСРДНО . ВОСПОМНИ ТОГОШ СТИ-
 СИТЕЛЮ ПРЧТЫХЪ БУДЕТЪ ГЛЪ . СЕ ЗАПОВѢДЮ ВЪМЪ ДАЮ .
 БИТЕ ДРЪГЪ ДРЪГА . И ПАКИ ШЕЛѢ ПОМАЮ КАКЪ ГЛЪШ МОИ
 БЧНИЦИ , ЕСТЕ . АЩЕ ИМАТЕ ЛЮБОВЬ МЕЖДЪ СЕБѢ . Е ГДА БУДО
 ВОЛИШИ СТЫА КНИГИ ЧИТАТИ , НЕМОЗИ АЩЕ ТИ СЛЪЧИТЕСЯ .
 ДЕСАТОСТРЪННОМА ДЛАИМА . И СІА КНИГА . БЕОГАТШ МИ ТРАДА
 ПРАТИ . НЕШЛЕНІА БГОЛЮБИ , ШВЕРШИ ПРИКЛЪЖНО ПОЧИ-
 ТАТИ . ПОГРЕШЕНІАМЪ . ВКРОТОСТИ ДУА И ПРАВИТИ . ИЗЪАМО
 НЕДОСТОИНОСТВО БГА МОЛИТИ . А И ПДРЪЗНОВЕНІЕ МОЕ НЕЗАРИ
 ИНАГРЕБНОСТЬ НЕ ПОШЕДИ . ПОИСТИННѢ СВЩІИ АЗЪ НЕ ВЪЖА
 ГЛЪКОЖЕ ВЪШЕ И ЖЕИХЪ , И НИЧЕ СЯ ШЪЛЧАЮ , НЕВОМНОГИХЪ
 СЛОВЕЦЪ ПИСАНІИ МОЕ , ПРЕДЛОЖИ , ГЛЪКО АЗЪ ПОСЛАМНИСЯИ
 ИНАВОЗОГРЕБѢ . СВЩІИ НИ ВЪЖА . АЩЕ И ШПРАВЪКЪ ФРМЪ РОДИ-
 ТЕЛИ , НОШ ПРСТЪ ИШИ , НЕШЪКІЕННАГО КОРЕНЕ , НИ ШЪЛЪКЪ
 НА РОДА . НЕБОУЦА ИМА ВЪМАРА ДЪДА ПОРПНАЛЪ ПРАДЪДА
 СКОТОПАСА : АБОУШИ СИ НЕШЪКЪМЪ . НИИ РОДИВШАА ПОНО-
 ШАМО НЕШЪКОЮ ХЪДОСТЬ И ЖЕЛАЮ . ШНИБЕ ПОЧАТИ ХЪДО-
 ЖІТЪВА ИМЪША И ШЪСВОИ ТРЪДОВЪ ПИШЪ ПРЮБРЪЧАХЪ ,
 АЗЪЖЕ НИЖЕ ГОЛИКАМЪ ПОИТИГО . КЪ ДРОВОСЪТЪСТЪВЪ НЕМО-
 ЦИНЪ ИЗЪЕМЪ ДЪЛАНІЮ ЛЪЖИВЪ . НИЖЕ РАЛО ОУМЪЧА ПРИВЛЕ-
 ЦИ . ВСЕКОТО ПАСЕТВО ТРЪДЕ . КЪ КЪ ПЛЕ НЕ СМЫСЛА . СПРОСИТЕ СЪТЪВО

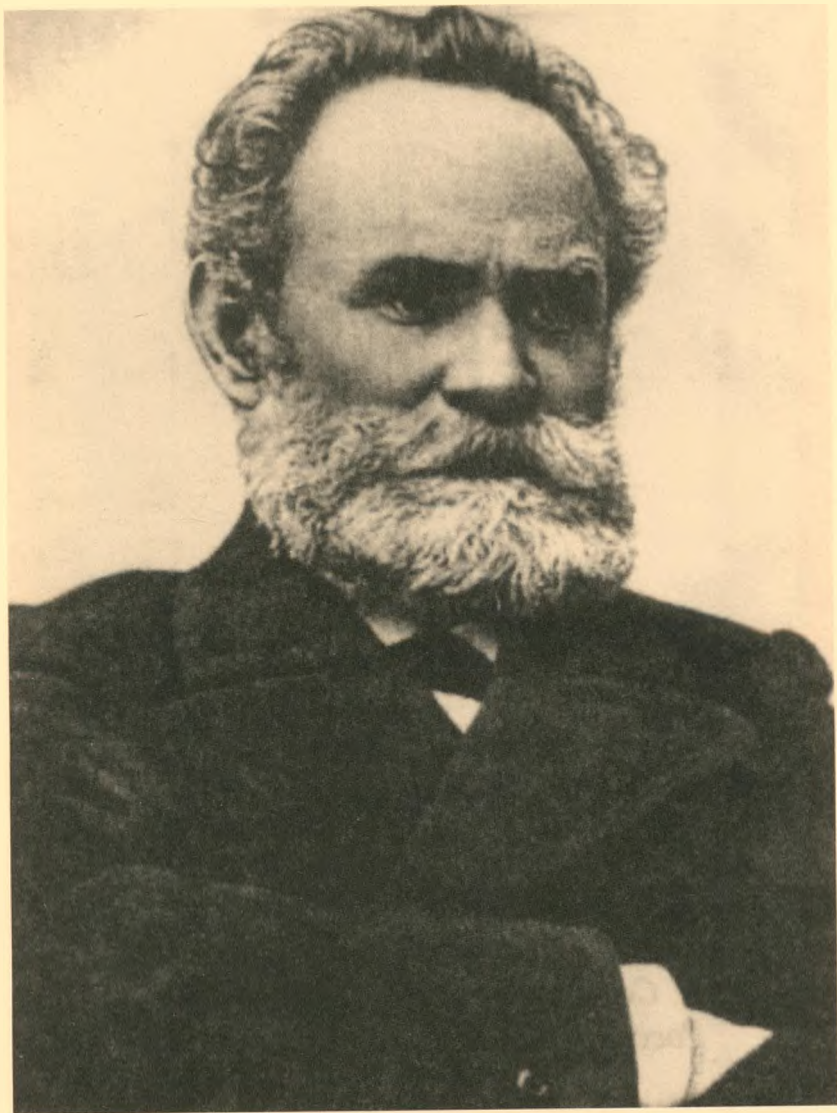
«Статиръ» — творение отца Потапа
 (Потапа Прокофьевича Игольнишникова)
 Предисловие к читателю



«Именитый человек»
Григорий Дмитриевич Строганов



Павел Терентьевич Алексеев – исследователь «Статира»



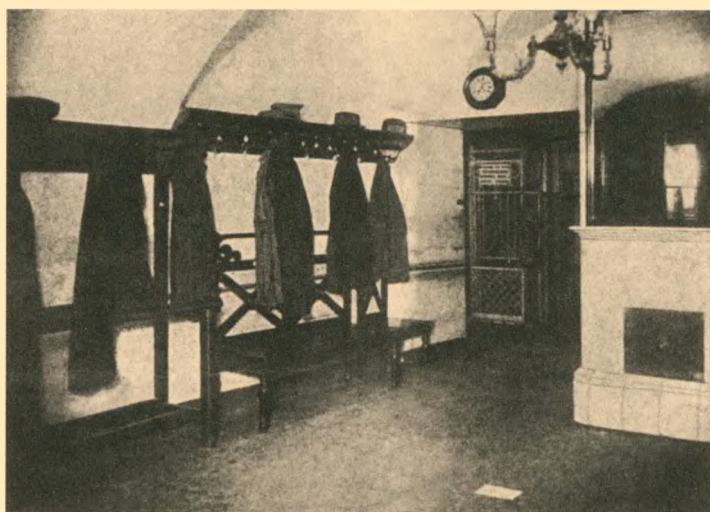
Академик Иван Петрович Павлов



Леонид Иоакимович Каннегисер –
юнкер Михайловского артиллерийского училища. 1917
Фото из следственного дела



Юрий Иванович Юркун. 1910-е
Фото из следственного дела Л.И. Каннегисера



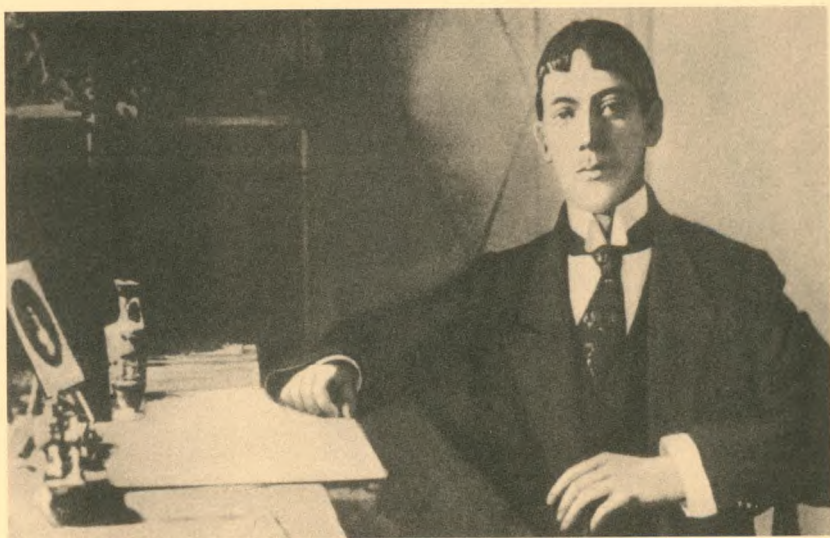
**Моисей Соломонович Урицкий –
председатель Петроградской ЧК. 1918**

Место, где был застрелен М.С. Урицкий
(отмечено на полу листом бумаги)

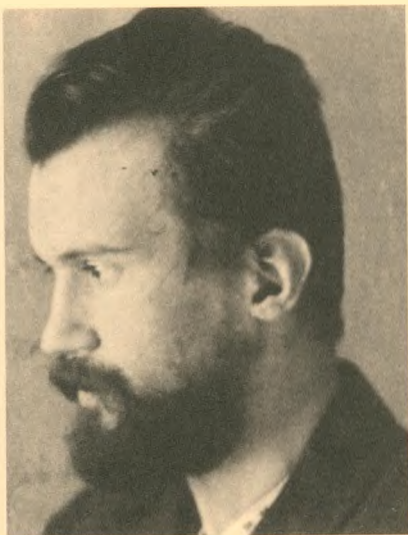
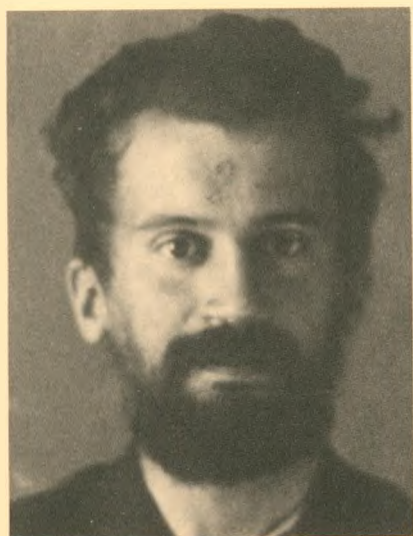


Леонид Иоакимович Каннегисер. 1918
Фото из следственного дела

Петроградская ЧК. Гороховая, 2



Николай Степанович Гумилев. 1913



Владимир Николаевич Таганцев. 1921
Фото из следственного дела



Сергей Александрович Ухтомский. 1921
Фото из следственного дела



Николай Степанович Гумилев. 1921
Фото из следственного дела



Николай Степанович Гумилев
и Анна Андреевна Ахматова с сыном Львом. 1914



Фонтанный Дом в Петербурге, во флигеле которого
много лет жила А.А. Ахматова

400

Глубоко уважительный Иосиф Виссарионович,
зная Ваше внимательное отношение к культуре
силы страны и в частности к литературе, я
решилась обратиться к Вам с этим письмом.
23 октября, в Ленинграде арестовали Н. К. В. Д.
мой муж Николай Николаевич Тумин (преф.
Академии Художеств) и мой сын Лев Николаевич
Туминев (студент Л. Г. У.).
Иосиф Виссарионович, я не знаю в чем их
обвиняют, но даю Вам честное слово, это они
ни фашисты, ни шпионы, ни участники
контрреволюционных обществ.

Я живу в С. С. Р. с начала Революции, я никогда
не хотела покинуть страну, с которой
связаны разумом и сердцем. Несмотря на то,
что стихи мои не печатаются и отзывы критики
доставляют мне много горьких минут, я не
падаю духом; в очень тяжелых материальных и
материальных условиях я продолжаю работать
и уже написала одну работу о Пушкине,
которая печатается.

В Ленинграде я живу очень одиночно и часто
по долгу болею. Есть два единственно близких
мне людей наносит мне такой удар, который
я уже не могу пережить.

Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть
мне мужа и сына, уверяю, что об этом
никогда никто не посягнет.

Ольга Ахматова.

1 ноября 1935.

Письмо А. А. Ахматовой И. В. Сталину
1 ноября 1935



Николай Николаевич Пунин. 1949
Фото из следственного дела



Лев Николаевич Гумилев. 1949
Фото из следственного дела



Удостоверение А.А. Ахматовой. Вторая половина 1940-х
Анна Андреевна Ахматова и Лев Николаевич Гумилев. 1960



Павел Николаевич Васильев. 1932
Фото из следственного дела



Николай Иванович Анов (Иванов). 1932
Фото из следственного дела



Леонид Николаевич Мартынов. 1932
Фото из следственного дела



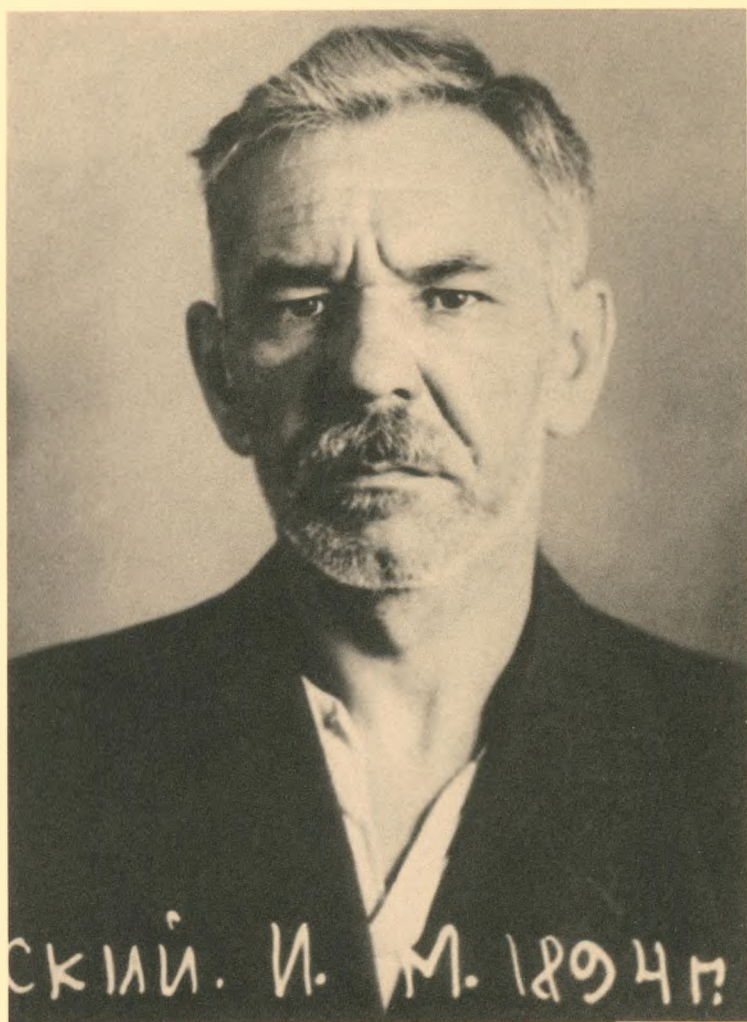
Евгений Забелин (Леонид Николаевич Савкин). 1932
Фото из следственного дела



Сергей Николаевич Марков. 1932
Фото из следственного дела



Павел Николаевич Васильев. 1937
Фото из следственного дела



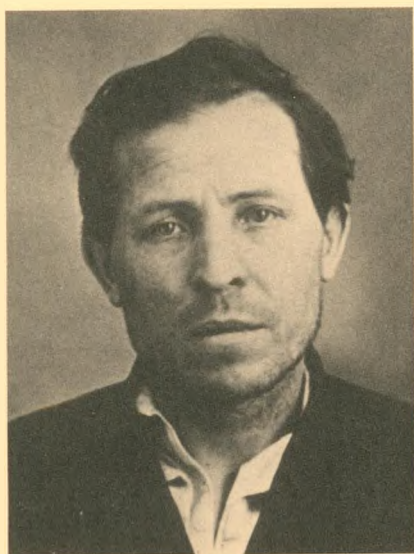
Иван Михайлович Гронский. 1938
Фото из следственного дела



Президиум I Всероссийского съезда крестьянских писателей. 1929
Выступает А.М. Горький. Справа за ним – И.М. Васильев,
второй справа в первом ряду – И.А. Батрак-Козловский



Михаил Яковлевич Карпов (слева)
Иван Михайлович Васильев. Начало 1930-х

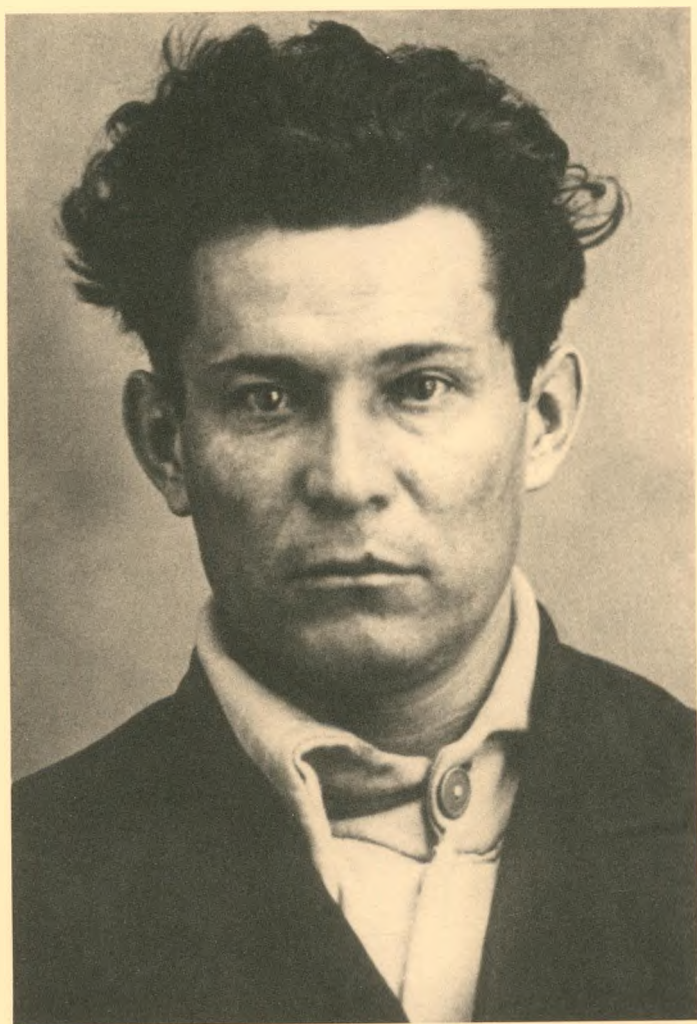


Михаил Яковлевич Карпов. 1936. Фото из следственного дела

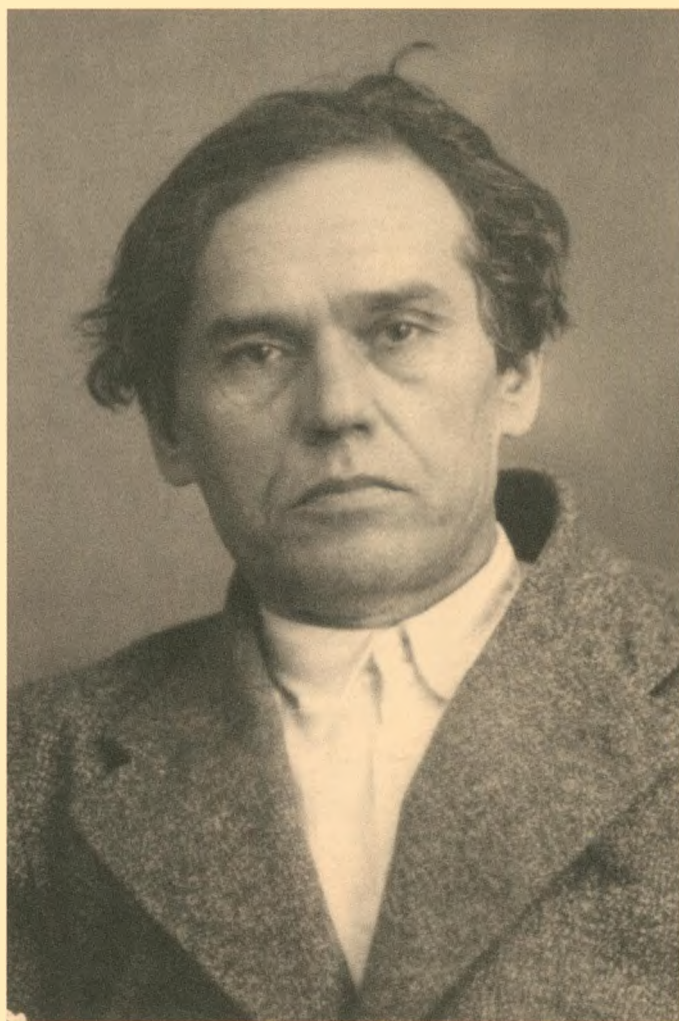
Иван Михайлович Васильев. 1937. Фото из следственного дела



Иван Иванович Макаров с сыном Январиком
на даче под Москвой. 1930



Иван Иванович Макаров. 1937
Фото из следственного дела



Владимир Тимофеевич Кириллов. 1937
Фото из следственного дела



Михаил Прокофьевич Герасимов. 1937
Фото из следственного дела



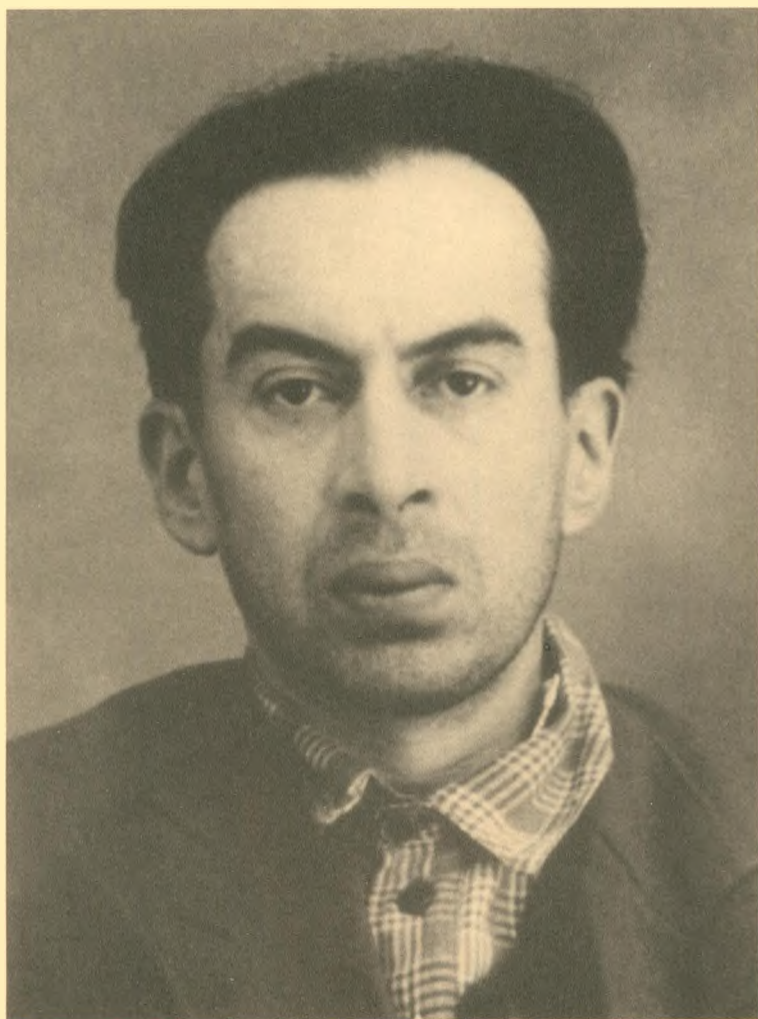
Тимофей Степанович Мещеряков. 1937
Фото из следственного дела



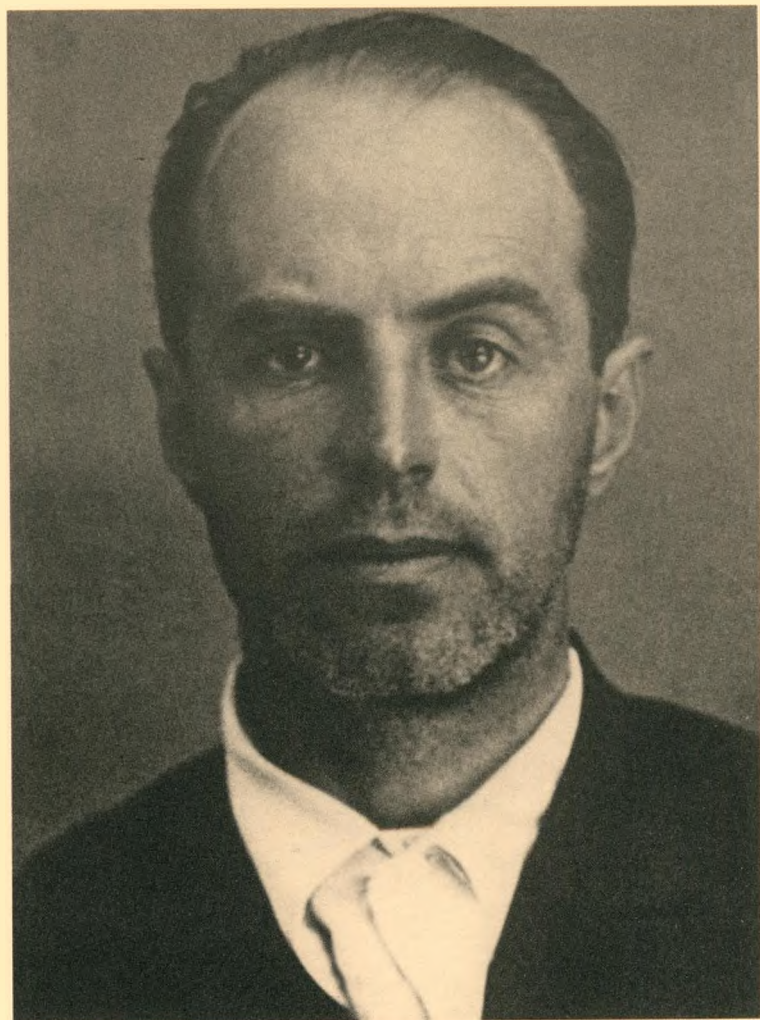
Сергей Антонович Клычков, Петр Васильевич Орешин,
Николай Алексеевич Ключев *(слева направо)*. 1929



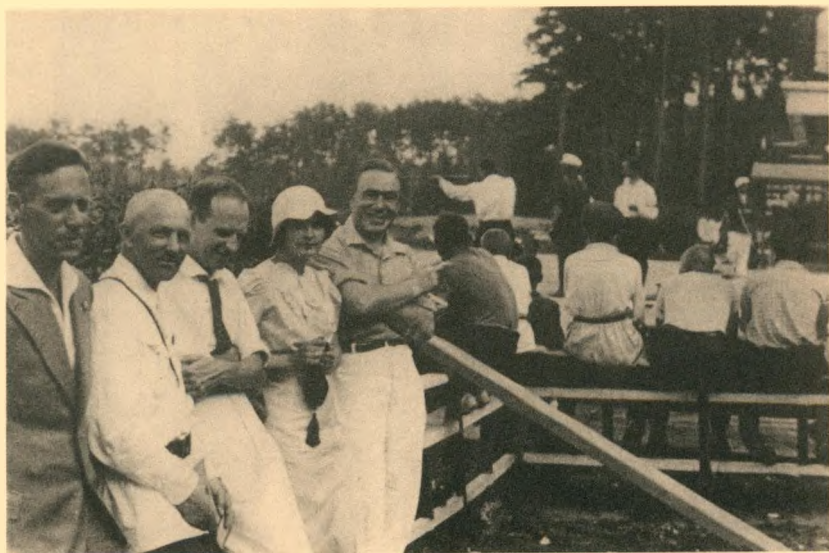
Александр Константинович Воронский. 1937
Фото из следственного дела



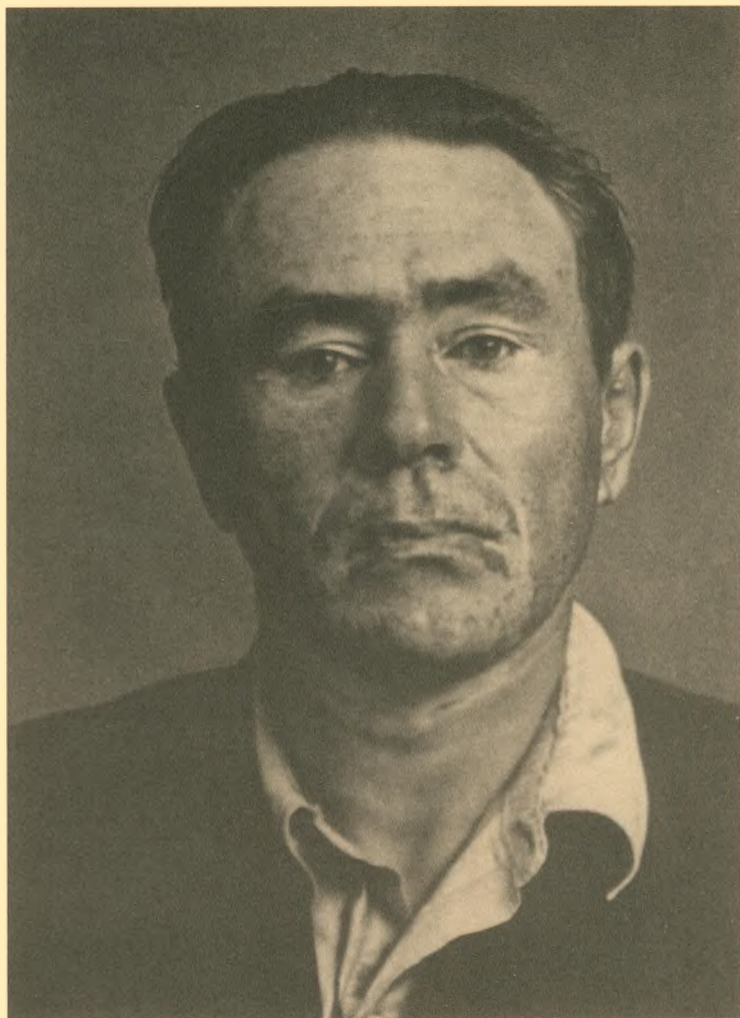
Иван Иванович Катаев. 1937
Фото из следственного дела



Николай Николаевич Зарудин. 1937
Фото из следственного дела



На стрельбах. 3-й слева – Н.Н. Зарудин, 5-й слева – Б.А. Губер.
1930-е



Борис Андреевич Губер. 1937
Фото из следственного дела



Иван Приблудный (Яков Петрович Овчаренко). 1931
Фото из следственного дела

Иван Приблудный. 1937
Фото из следственного дела



**Конференция Российской ассоциации
пролетарских писателей (РАПП)**
Вторая половина 1920-х



Руководство РАПП (слева направо): А.П. Селивановский,
М.В. Лузгин, Б. Иллеш, В.М. Киршон, Л.Л. Авербах,
Ф.И. Панферов, А.А. Фадеев, И.С. Макарьев. Конец 1920-х



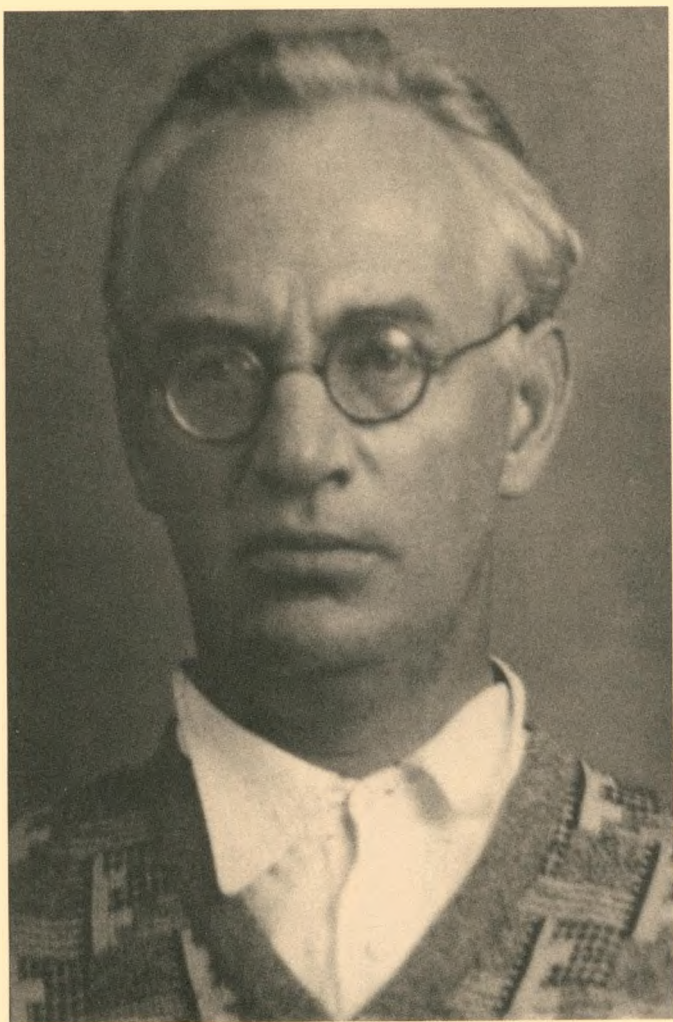
Владимир Михайлович Киршон. 1937
Фото из следственного дела



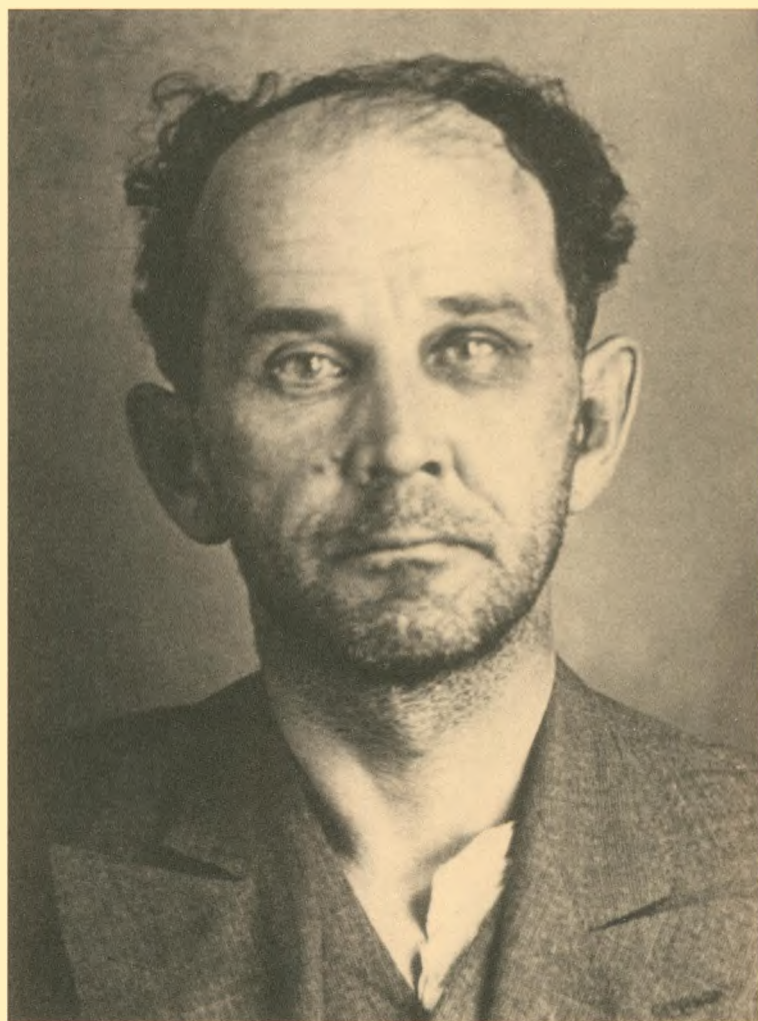
Бруно (Виктор Яковлевич) Ясенский
Конец 1920-х



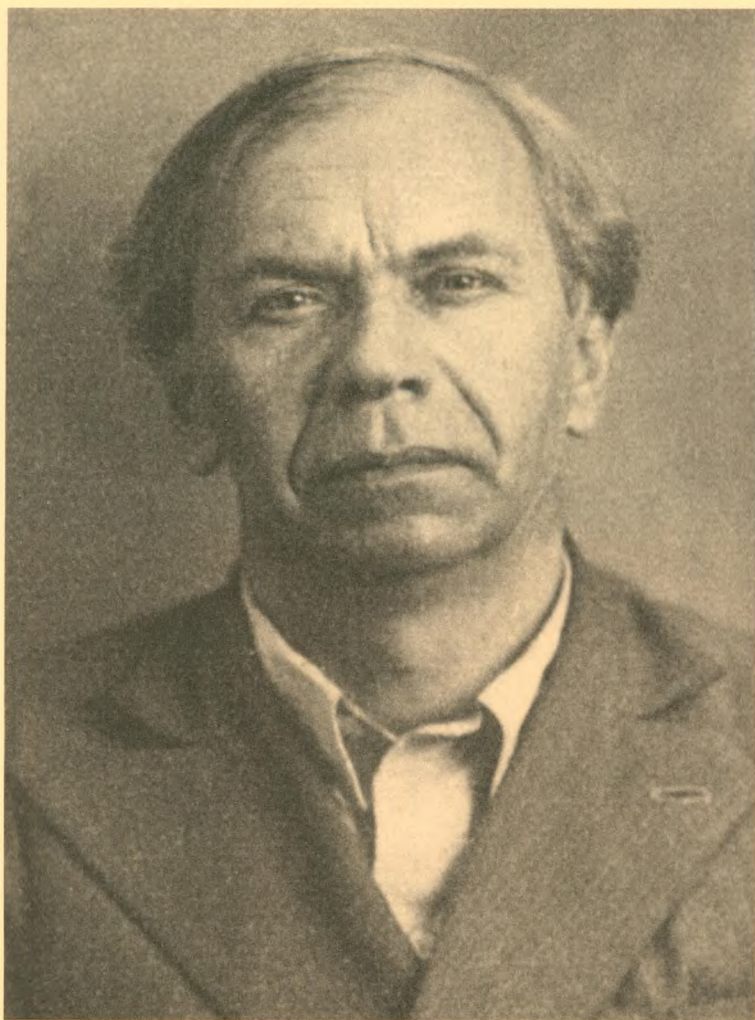
Дмитрий Петрович Святполк-Мирский. 1937
Фото из следственного дела



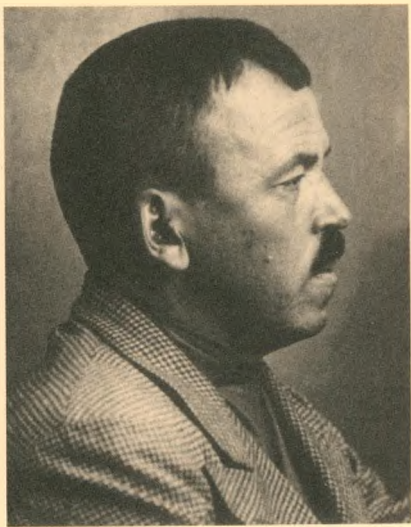
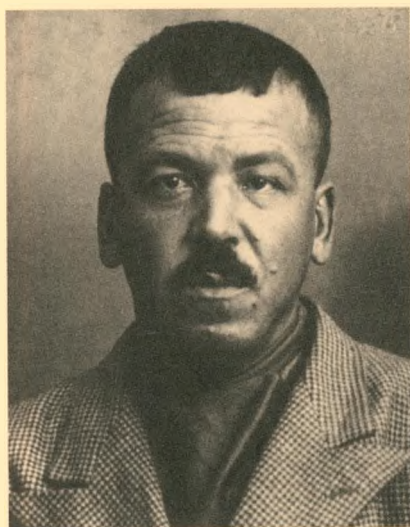
Борис Андреевич Пильняк (Воган). 1937
Фото из следственного дела



Константин Аристархович Большаков. 1937
Фото из следственного дела



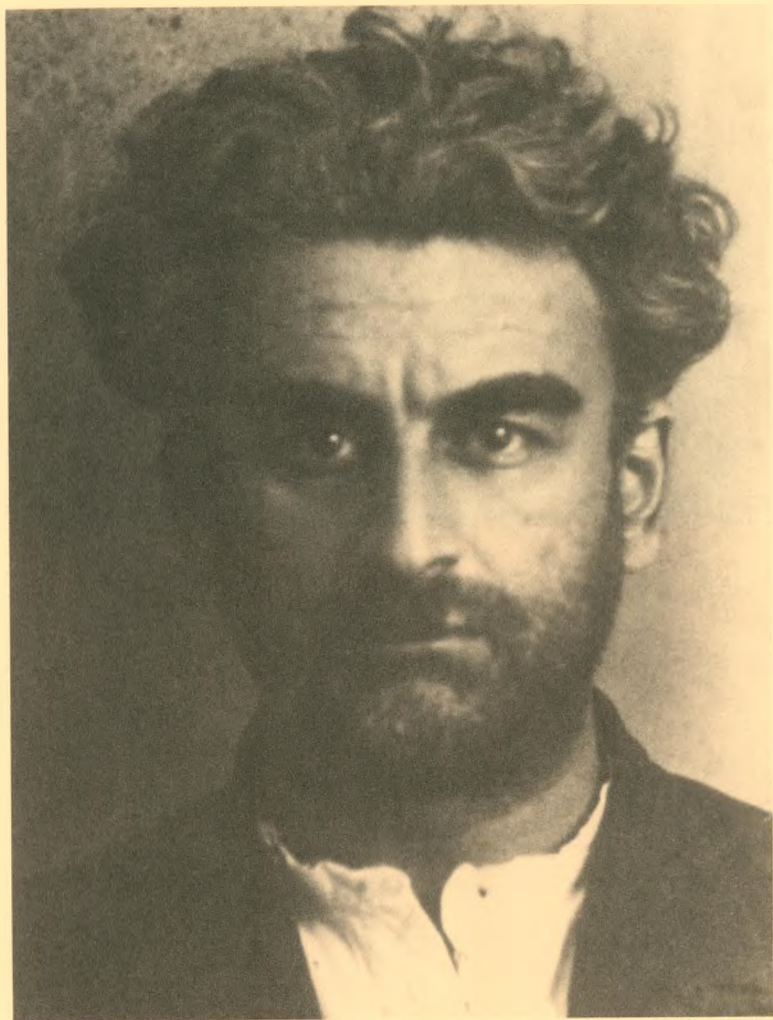
Глеб Васильевич Алексеев. 1938
Фото из следственного дела



Артем Веселый (Николай Иванович Кочкуров). 1937
Фото из следственного дела



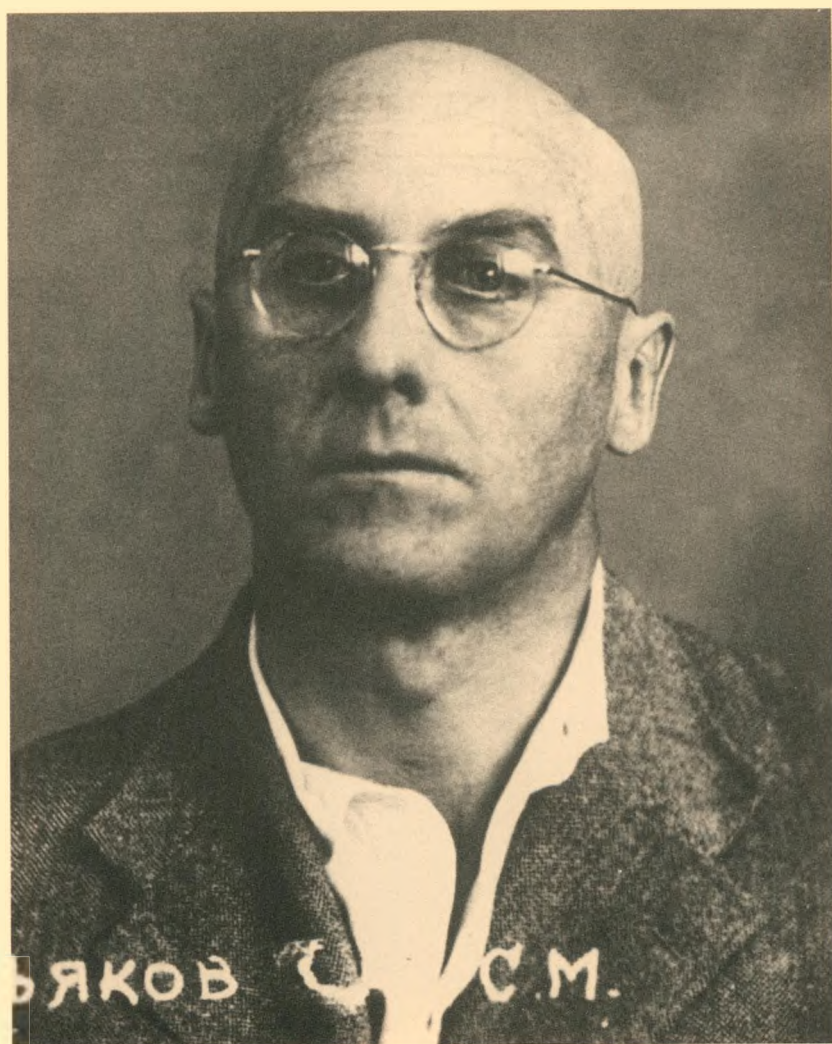
Виктор Павлович Кин (Суровикин). 1930-е



Давид Дмитриевич Егорашвили, 1937
Фото из следственного дела



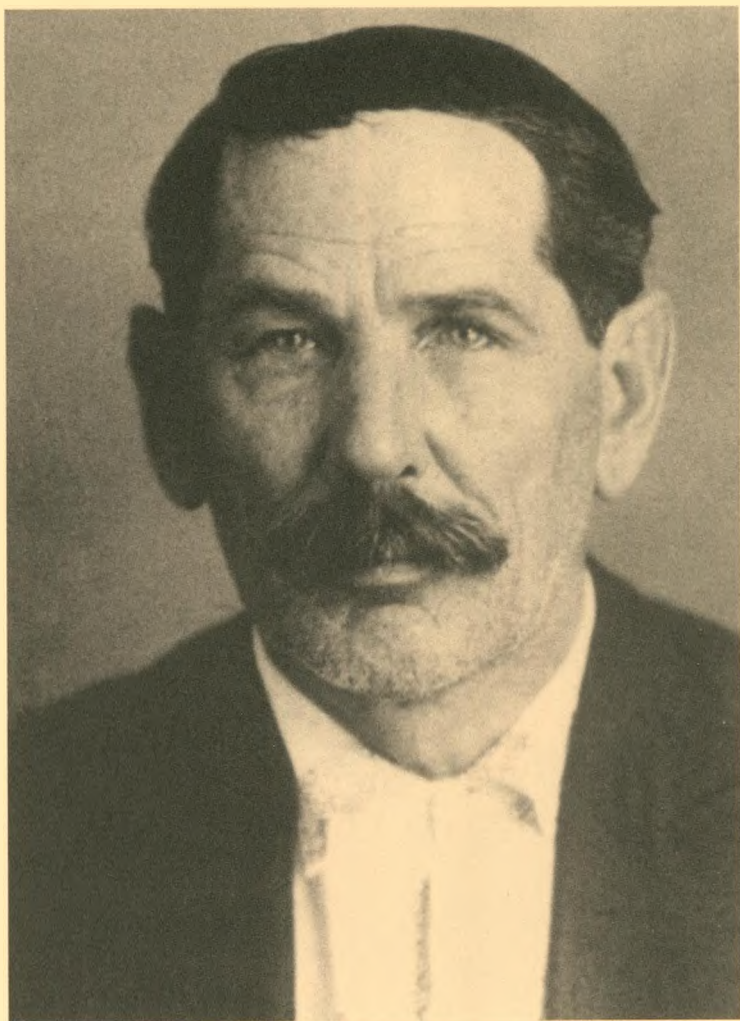
Иван Михайлович Касаткин. 1930-е



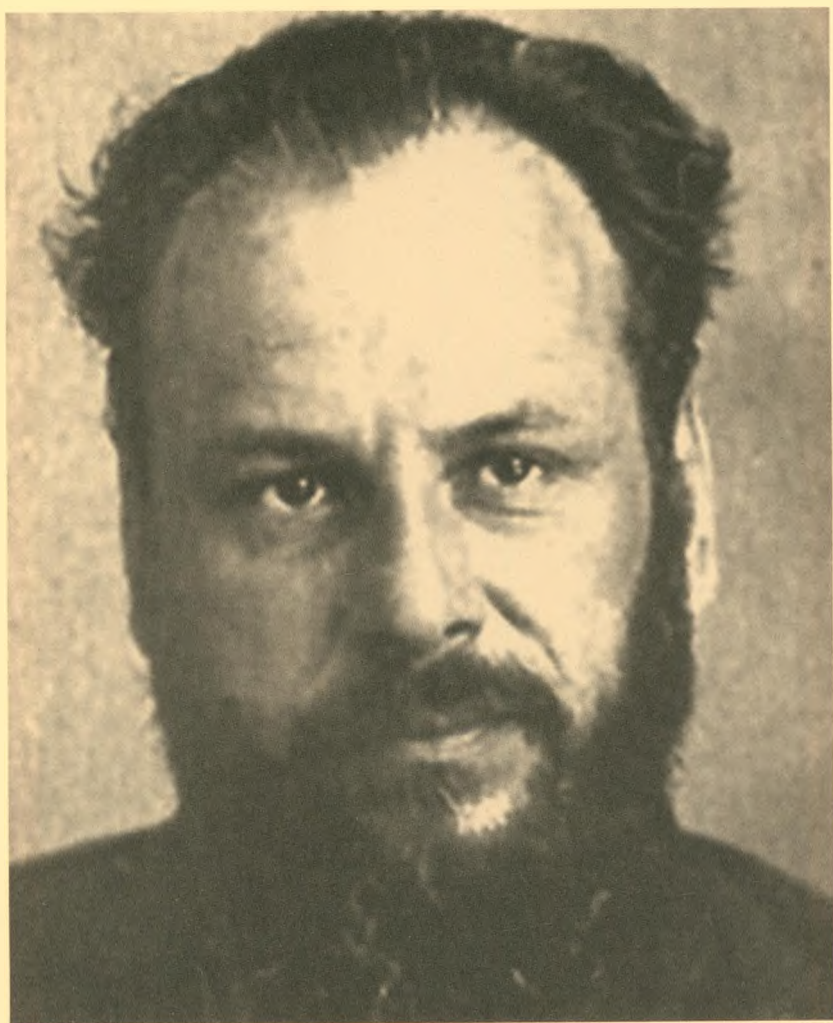
Сергей Михайлович Третьяков. 1937
Фото из следственного дела



Василий Федорович Наседкин. 1937
Фото из следственного дела



Георгий Константинович Никифоров. 1938
Фото из следственного дела



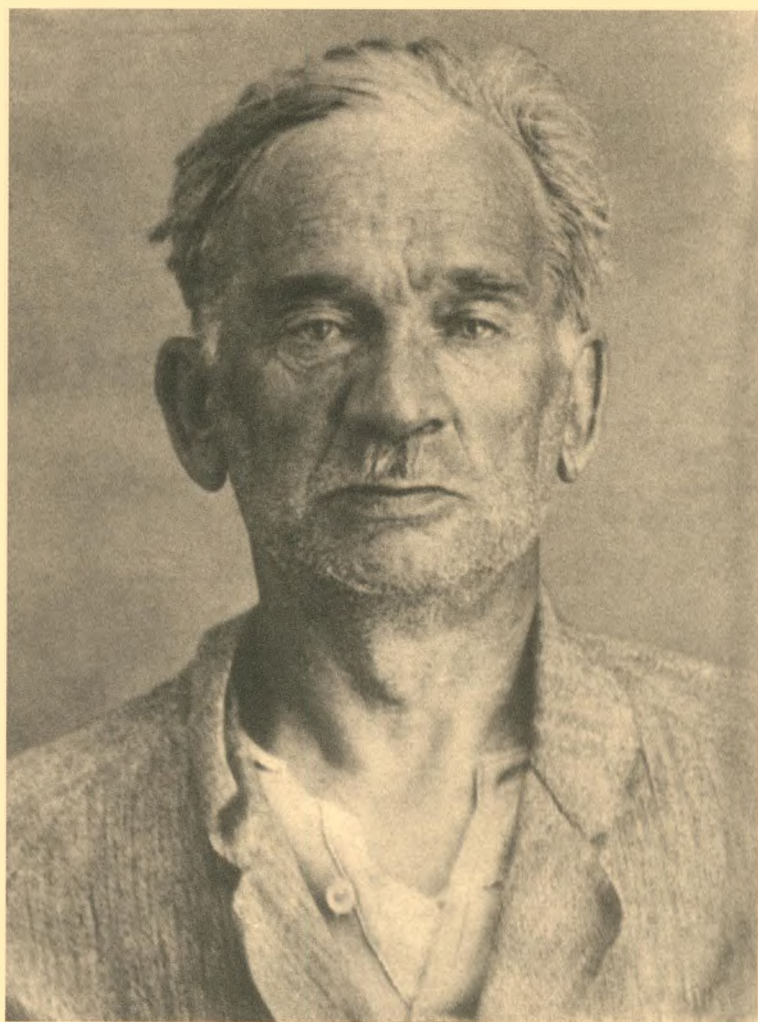
Владимир Яковлевич Зазубрин (Зубцов). 1937
Фото из следственного дела



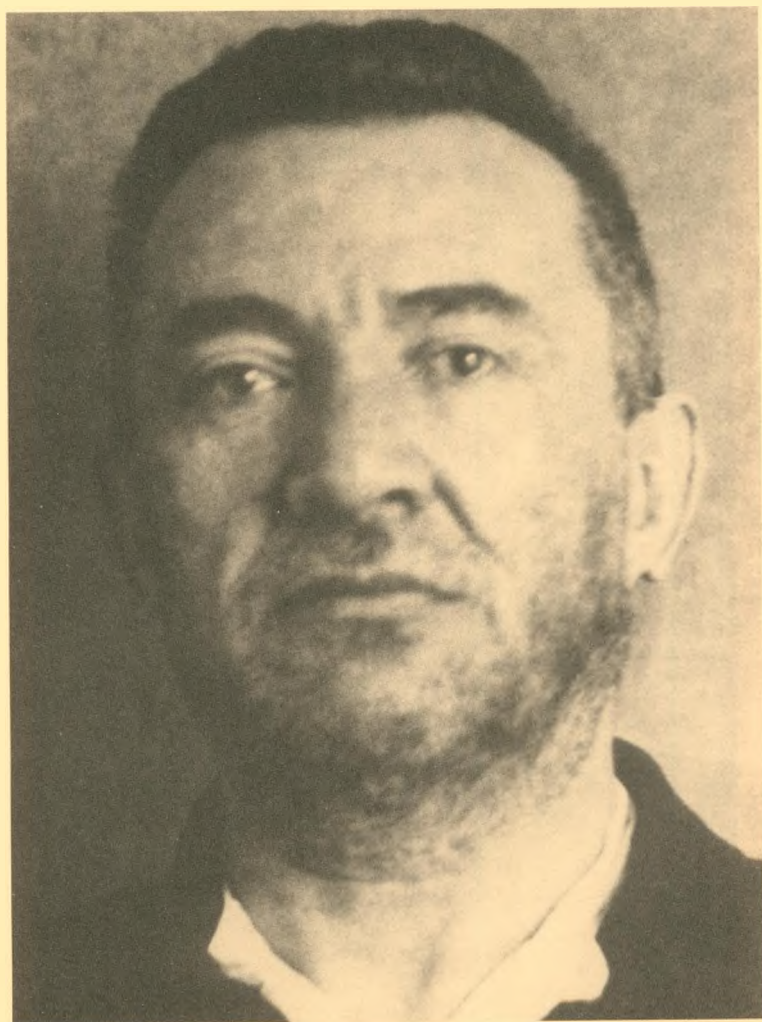
Валериан Павлович Правдухин. 1937
Фото из следственного дела



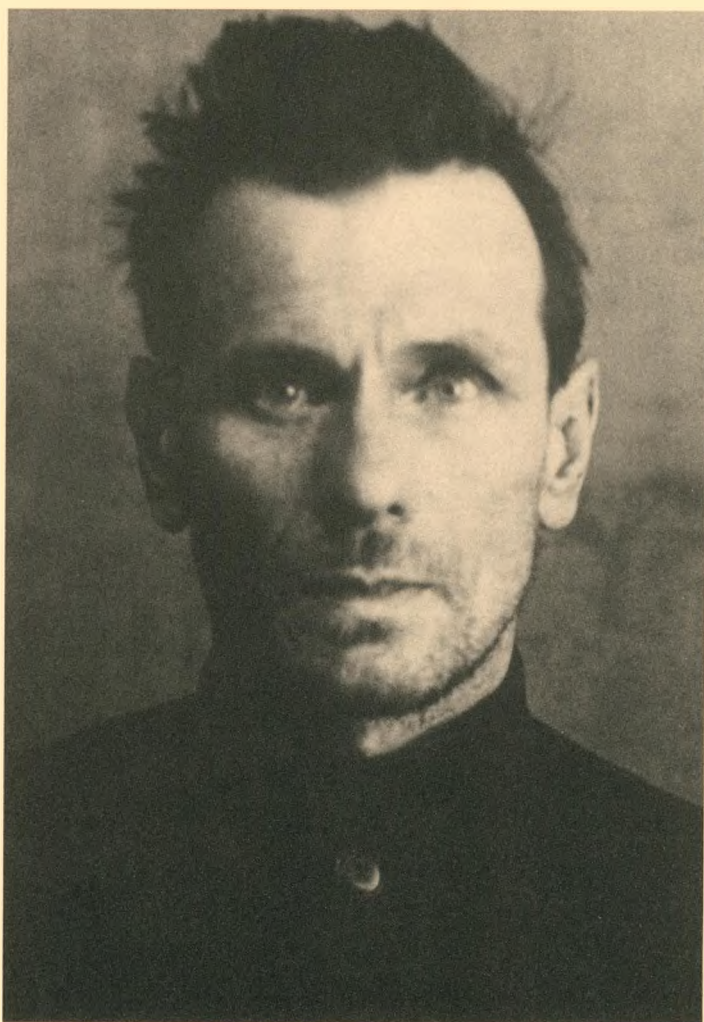
Петр Семенович Парфенов. 1937
Фото из следственного дела



Иван Адольфович Теодорович. 1937
Фото из следственного дела



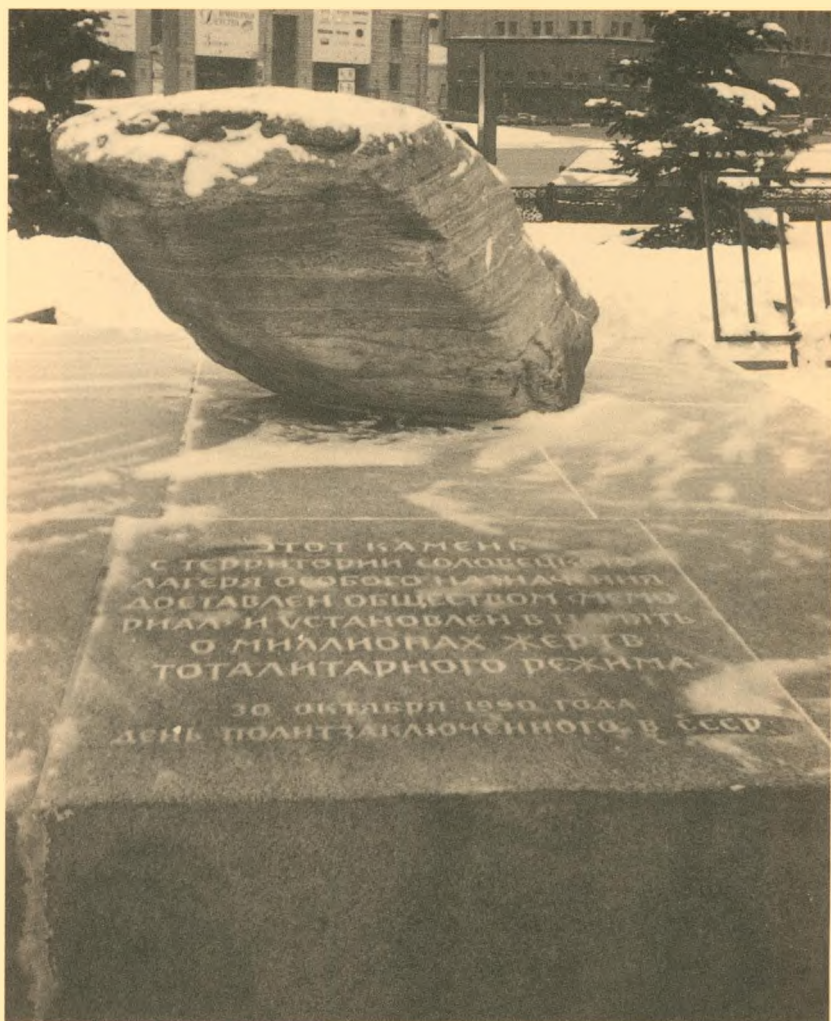
Илья Маркович Василевский (псевдоним Не-Буква). 1937
Фото из следственного дела



Ферапонт Иванович Витязев-Седенко. 1937
Фото из следственного дела



Александр Игнатьевич Тарасов-Родионов. 1937
Фото из следственного дела



Соловецкий камень
Памятник жертвам политических репрессий
Москва. Лубянская площадь

БОГ ХРАНИТ ВСЕ
DEUS CONSERVAT OMNIA

Роковая вечеринка

Акума

Гумилевушка

«Пшик» – и нет нашего Иосифа!
Единственный хороший поступок
Иосифа Виссарионовича
Ходим строем, поем хором
Гумилев, сын Гумилева
Я, кажется, сделал открытие
Полумонахиня-полублудница
Не теряйте отчаяния!
Ученые сажали ученых
Потомок Чингисхана
Ахматову – арестовать!
Гуннов можно, стихи нельзя
Жилец



Эта высокая латынь – «Deus conservat omnia» – вплетена в герб славного рода графов Шереметевых. Старинное выражение утешает нас с арки в парадном дворе их дворца в Петербурге.

Тридцать пять лет, основную часть жизни, Анна Ахматова прожила во флигеле этого дворца на Фонтанке – в Фонтанном доме. И последний московский дом, Институт Склифосовского, бывший Странноприимный дом Шереметевых, куда привезли ее бездыханную, почившую в Бозе, в Боге упокоившуюся, осеняет крылатая фраза из древнего герба.

Она стала эпитафией ахматовского эпоса – «Поэмы без героя» да и всей ее жизни.

Бог хранит все, но и от человека требуется усилие, чтобы спасти свою память, сплетенную из множества судеб. Великая Анна Ахматова такое усилие сделала.

Ей выпала доля быть в России XX века хранителем красоты и памяти, чудом уцелевшим, драгоценным звеном в цепочке поколений.

Не будь такого звена – прервется связь времен.

– Вы верующий?

– Я глубоко религиозный...

– Какой же вы советский ученый, вы – мракобес.

– В известной мере это так. Должен сказать, что на формирование моей идеологии повлияла семейная традиция.

– А именно?

– Моя мать – Ахматова Анна Андреевна – тоже человек религиозный.

– Это та самая поэтесса Ахматова, антипатриотическое творчество которой в 1946 году было осуждено советской общественностью?

– Да, это моя мать...

– А кто ваш отец?

– Дореволюционный поэт Гумилев Николай Степанович...

– Тот самый Гумилев, который до Октябрьской революции являлся одним из руководителей реакционного направления в поэзии, а затем был активным участником белогвардейского заговора, имевшего целью насильственное свержение советской власти?

– Да, расстрелянный в 1921 году органами советской власти за участие в антисоветском заговоре Гумилев является моим отцом...

Лефортовская тюрьма. Идет допрос Льва Гумилева.

Роковая вечеринка

В тот вечер – 25 мая 1935-го – на квартире профессора Пунина во флигеле Шереметевского дворца на Фонтанке случились гости. За столом кроме самого Николая Николаевича, его жены Анны Андреевны Ахматовой и пасынка – Льва Гумилева были еще двое: друг Левы по университету, тоже студент истфака Аркадий Борин и Вера Аникеева, маленькая, хрупкая искусствоведка, коллега хозяина по Академии художеств. Да и эти двое были, можно сказать, почти свои.

Дружба с Аркадием началась так. Однажды, в начале года, на лекции по французскому языку Лева послал ему

записку: «Мне ясно, что Вы вполне интеллигентный человек, и мне непонятно, почему мы с вами не дружны». С тех пор Аркадий зачастил на Фонтанку. Родом из провинции, в прошлом электромонтер, с умелыми руками, он охотно брался за всякие поделки в запущенном доме гуманитариев – чинил мебель, дверные замки – а по вечерам обычно приглашался к ужину, вместе со всеми. Будучи старше своего друга на пять лет, знал он в их будущей профессии – истории – несравненно меньше, интеллектом не блистал, но жадно все слушал и впитывал, а иногда даже отважно возражал, когда Леву уж слишком заносило.

И в этот раз не только ели-пили, но и вполне достоверно и горячо разговорились, в том числе и о политике...

Эта вечеринка окажется роковой для обитателей квартиры на Фонтанке.

Уже через день Борин доносил в Большом доме, резиденции Ленинградского НКВД:

25 мая с.г., при моем посещении квартиры Пунина я стал там его сослуживицу Аникееву. В разговоре с Пуниным Аникеева вспомнила о каких-то высланных из Ленинграда ее друзьях, и разговор принял соответствующее направление. В ходе этого разговора Пунин заявил: «И людей арестовывают, люди гибнут, хотелось бы надеяться, что все это не зря. Однако стоит взглянуть на портрет Сталина, чтобы все надежды исчезли». И в продолжение всего вечера Пунин говорил о необходимости теракта в отношении Сталина, так как в лице его он и видит причину всех бед. Увлечшись этой идеей, он показал нам вывезенную им из Японии машинку для автоматического включения фотоаппарата, которую, по его словам, очень легко можно было бы приспособить к адской машине, «стоит только установить эту машину, – заявил Пунин, – как вдруг Сталин полетит к

чертовой матери». Из разговора с женой Пунина – Ахматовой – выяснилось, что еще раньше, в беседе с С.А. Толстой¹, Пунин по поводу убийства тов. Кирова заявил: «Убивали и убивать будем».

Вслед за Бориным 28 мая потянули на допрос Аникееву. Ей уже ничего не оставалось, как подтвердить донос. Страшные слова Пунина «Убивали и убивать будем» якобы были произнесены в ее присутствии. Она только добавила: «На слова Пунина о необходимости взрыва вождя я попросила его замолчать и ушла домой».

Ленинград жил под знаком убийства Кирова. Выстрел, прогремевший 1 декабря 1934-го в Смольном, стал причиной смерти не только большевистского вожака, любимца партии, но и многих тысяч ни в чем не повинных граждан. Сюда сразу же приехал сам Сталин, не любивший этот город, прихватив с собой новое, секретное оружие – только что подписанный указ «О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов». Предписывалось вести такие дела в ускоренном порядке, не принимать ходатайств о помиловании и приводить приговоры в исполнение немедленно.

Расследование после своего отъезда вождь поручил заместителю наркома НКВД Якову Агранову, автору памятного таганцевского дела, жертвой которого стал отец Льва Гумилева. Лубянский умелец наметанной рукой прокрутил следствие, по испытанному чекистскому рецепту город опутали липкой карательной паутиной, убийство популярного советского лидера (которое, по мнению ряда историков, сам же Сталин и организовал) послужило поводом для массовой зачистки, так называемого «кировского дела». Старожилам города декабрь 34-го напомнил август 18-го, когда убийство

¹ Толстая С.А. (1900–1957) – внучка Л.Н. Толстого.

студентом Леонидом Каннегисером другого видного большевика – Моисея Урицкого стало сигналом для объявления красного террора.

В Питере сменилась и партийная власть – на смену Кирову пришел Жданов, и чекистская – Управление НКВД в новом, огромном здании на Литейном вместо Филиппа Медведя возглавил Леонид Заковский, настоящее имя – Генрих Эрнестович Штубис. Этот прославился лихим афоризмом, который одобрительно повторяли между собой чекисты:

– Попади мне в руки Карл Маркс, он бы тут же сознался, что был агентом Бисмарка.

Вряд ли Заковский-Штубис осилил «Капитал», образование его оборвалось после изгнания из четвертого класса городского училища в захолустном латышском местечке. Он был не читатель, а писатель – проявлял себя по совместительству с главной работой на литературном поприще. Названия его многочисленных статей, которые даже будут рекомендованы для изучения в партоорганизациях, говорят сами за себя: «Физкультуру на службу пятилетки», «Подрывная работа церковников-сектантов» или еще забойнее – «Предателям Родины – троцкистско-бухаринским шпионам нет и не будет пощады», «Выкорчевывать до конца троцкистско-бухаринскую агентуру фашистов», «Шпионов, диверсантов и вредителей уничтожить до конца»... Скорее всего видный чекист был не писателем, а подписателем, подписывателем своих произведений, сочиняли же их какие-нибудь старательные литрабы. Мертворожденные опусы эти сеяли смерть.

А вот афоризм Заковского-Штубиса про Карла Маркса жил долго, и новая прослойка чекистов в 1938-м с успехом применила его на самом авторе: перед расстрелом тот признался, что он и вредитель, и троцкист, и германский агент.

Девятиэтажная громада, за что ее и окрестили Большим домом, тяготела над городом, люди с опаской пробегали мимо, шепотом передавали всякие мрачные истории. Свежее начальство привело с собой свою команду, желавшую выслужиться, отличиться и готовую на все. Новая метла мела чисто. Прицельной проверке, арестам и высылке подвергались, в первую очередь, люди с изъянами в биографии, «социально чуждые элементы», дворянство, царское офицерство или их отпрыски, не забывшие о своей родословной, как правило, люди интеллигентные и образованные. Из бывшей столицы Российской империи были отправлены в концлагерь, ссылку или просто выселены тысячи и тысячи так называемых «бывших людей» – терминология людоедов!

Как раз к этому разряду относились и обитатели квартиры на Фонтанке. Так случилось, что Яков Агранов – один из убийц Николая Гумилева – своим участием в ленинградском погроме снова возник на горизонте семьи Гумилева–Ахматовой, пусть не впрямую, но все же повлиял теперь уже на судьбу их сына.

Чтобы сколотить из пунинской компании антисоветскую группу, требовалось время, до осени в Большом доме собирали всяческий компромат, скребли по сусекам. Пригодилась, положим, справка, данная больше года назад по случаю призыва Льва Гумилева на военные сборы. 16 марта 34-го горсовет Детского Села (бывшее Царское Село) сообщил:

«Родители Гумилева Л.Н. до революции имели два собственных дома, в период революции скрывались неизвестно куда, родные его были настроены против Советской власти».

Вот все, что хотела знать власть о родителях студента – двух блистательных поэтах! И для компромата этого довольно: «Горсовет считает, что от зачисления в РККА гр-на

Гумилева Л.Н. воздержаться», – неграмотно подытоживает казенная бумага.

Более серьезный документ поступил из Москвы. Это выписка из протокола допроса поэта Осипа Мандельштама от 25 мая 34-го. Тут уже пахло высшей мерой. Мандельштам называет людей, которым он читал свой «пасквиль» на товарища Сталина, и среди них – Лев Гумилев и его мать.

«Лев Гумилев одобрил вещь неопределенно-эмоциональным выражением вроде “здорово”, но его оценка сливалась с оценкой его матери Анны Ахматовой, в присутствии которой эта вещь ему была зачитана... Со свойственной ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на “монументально-лубочный и вырубленный характер” этой вещи»¹.

Как вспоминает сама Ахматова, это произошло в феврале 1934-го, они с Левой гостили тогда у Мандельштамов в Москве.

– Стихи сейчас должны быть гражданскими, – сказал Осип Эмильевич и прочел «Мы живем, под собою не чуя страны...», стихотворение, в конце концов стоившее ему жизни.

Потом, в ссылке, он очень мучился, что назвал на допросе ее имя, боялся, что она из-за него погибла. В припадке помешательства даже бегал разыскивать ее труп. Небезосновательно боялся – его показания через год будут пущены в ход, помещены в дело.

Пришла осень. В конце октября Лева снова гостил в Москве, гулял в Коломенском с Эммой Герштейн, с которой у него тогда был роман. И вдруг сказал:

– Когда я вернусь в Ленинград, меня арестуют. Летом была допрошена наша приятельница. Ее выпустили, но она все подтвердила.

– Что подтвердила?

¹ См. подробно: *Шенталинский В.* Рабы свободы. М., 1995. С. 235.

– Были у нас дома разговоры при ней...

Значит, Вера Аникеева о своем допросе в Большом доме рассказала, хотя и рисковала, конечно, ведь наверняка дала подписку о неразглашении «сведений государственного значения», как обычно бывало в таких случаях.

Но это уже ничего не могло изменить.

Донос не спас Борина от ареста, его загребли первым, еще в сентябре, и начали выуживать показания. Но прежде напугали – обнаруженным у него при обыске портретом отца Левы, контрреволюционного поэта Николая Гумилева. Преступный факт налицо.

Перепуганный Аркадий подробнейшим образом написал своего друга, перед которым еще вчера преклонялся. Что уж там он на самом деле говорил, можно только гадать, перед нами – протокол допроса, состряпанный следователем Штукатуровым.

Лев Гумилев настроен определенно враждебно по отношению к советскому обществу, ко всему советскому укладу. Гумилев действительно идеализировал свое дворянское происхождение, и его настроения в значительной степени определялись этим происхождением... Среди студентов он был «белой вороной» и по манере держаться, и по вкусам в литературе, и, наконец, по своему пассивному отношению к общественной работе. По его мнению, судьбы России должны решать не массы трудящихся, а избранные кучки дворянства. Исходя из этого, он говорил о «спасении» России и видел его только в восстановлении дворянского строя. О советском периоде он заявлял, что нет таких эпох, в которых нельзя было бы героическим усилием изменить существующее положение. В другой раз на мое замечание, что дворяне уже выродились или приспособились, Гумилев многозначительно заявил, что «есть еще дворяне, мечтающие о бомбах».

На полях рукой Штукатурова вписано: «Разговор о моральной ответственности перед русской страной за большевиков» – след белой нитки, которой «шито дело».

Затем Борин рисует портрет профессора Пунина:

Пунин по своей натуре сугубый индивидуалист. Советский период с его планами, с требованием коллективного творчества наложил на него отпечаток неприязни и враждебности. Благодаря этому Пунин в последнее время не занимается своей специальностью – философией искусства, а занимается историей живописи Ренессанса. Невозможность для Пунина оставаться тем, чем он хочет, увязывается им с именем Сталина. В Сталине Пунин видит не только свою личную трагедию, но и трагедию других, таких же, как он, поэтому всякий разговор, начатый в присутствии Пунина, обязательно переводится на Сталина, в котором Пунин, как правило, доказывает, что положение изменилось бы к лучшему, если бы не было Сталина. Избавиться от Сталина – это идея фикс для Пунина.

Подробнее рассказано в протоколе и о злополучной вечеринке 25 мая:

Пунин, сведя разговор опять к Сталину, пускал по его адресу клеветнические оскорбительные эпитеты, причем делал это не просто так, на словах, а брал его портрет (вырезанный фотоснимок из газеты) и, показывая на лоб, сапоги, костюм и т.д., издевался над ним.

В тот же вечер, взяв автоматический спуск от фотоаппарата, образно изображал: «Вот идет наш дорогой Иосиф, ничего не предполагая, по улице, – а сам заводит этот спуск, – доходит до определенного места, а в это время эта машинка – чик! – и летит наш...»

Прочерк, следовательно боится писать имя вождя! – *ко всем чертям!*»

А. Ахматова как-то рассказала мне такой случай. Была у нее в гостях Софья Андреевна Толстая, разговаривали они об убийстве Кирова, осуждая бессмысленный поступок убийцы Николаева. Вдруг услышал этот разговор, выскочил из другой комнаты Пунин и закричал: «Убивали и убивать будем!»

1 октября Аркадий обогатил следствие очередной порцией компромата на пригревшее его семейство. Он рассказал, что в тот же вечер в Фонтанном доме шла речь о поэте Мандельштаме. «Ахматова обратила внимание присутствующих на то, что все-таки интересный человек Сталин. Мандельштам осужден за то, что писал стихи, направленные против Сталина, и тем не менее по инициативе Сталина было пересмотрено дело Мандельштама».

Потом Лева прочел по памяти эти самые стихи. И еще свои собственные, под названием «Экабатана», написанные в связи с убийством Кирова. Тот выведен аллегорически как сатрап города Экабатаны – Гарпагон. Его убийство не вызвало никакого сочувствия у жителей города, и тогда великий царь, чтобы все-таки вызвать слезы, сжег сто лучших горожан.

На вопрос, кто еще знает об этом произведении, Аркадий ответил загадочно: фамилий не знаю, но я – десятый, кто слышал «Экабатану».

Следом в Большой дом попал другой однокашник Левы – Игорь Поляков. Он рассказал об их спорах по поводу судеб русской революции. Гумилев якобы стоял за реставрацию дворянского строя: «Нельзя допускать, чтобы нас уни-

чтожали, как телят!» – а он, Поляков, поскольку происходил не из дворян, – за государство типа Французской республики. Однажды, на прогулке в Летнем саду, Лева вдруг потребовал, чтобы его друг доказал ему свою преданность. Как? Убил бы кого-нибудь, или их сокурсника Лапина, которого терпеть не мог и называл хамом, или просто милиционера. Игорь, разумеется, категорически отказался от такого злодейства. Ну, тогда найди другой способ, чтобы я мог вполне тебе доверять, чтобы ты целиком был в моих руках. В чем доверять? А когда докажешь, тогда и узнаешь...

Такие вот разговоры будто бы вели эти заговорщики, один двадцати двух, другой двадцати трех лет от роду.

После того как их обоих год назад почему-то не взяли в военные лагеря, они заподозрили неладное. Лева сказал, что, если их арестуют, надо просто все отрицать. Но это совсем не страшно, его уже арестовывали, и он легко освободился.

Это правда, первый арест-репетиция состоялся в декабре 1933-го. Тогда Лева случайно попал в чекистскую облаву у востоковеда Эбермана, которому принес свой перевод арабских стихов. Отделался легким испугом, в отличие от хозяина, который так и сгинул за решеткой, – чекисты позвонили Ахматовой: «Он у нас» – и через десять дней отдали сына матери.

Вот и теперь, в разговоре с Поляковым, «опытный» Лева наказал, что, если его арестуют, надо пойти к его матери, и она скажет, что делать дальше. Поляков понял так, что она направит его к лицу, «с которым я должен быть связан в своей антисоветской деятельности». Это уже явно плод творчества Штукатурова, желание притянуть к делу и самого известного обитателя контрреволюционного гнезда в Шереметевском доме.

Акума

Судьба Анны Ахматовой завораживает. В ней проступают черты классического совершенства, которыми природа отметила и стихи, и человеческий образ. Время сверх всякой меры обрушило на ее плечи беды и испытания, и она сполна извела всю трагичность существования в тоталитарном государстве. А может быть, как раз потому и свершилось это явление по имени Анна Ахматова, что она осталась до конца верна своей доле, не испугалась и не сбежала от своего предназначения.

Блистательная молодость, 10-е годы, когда, несмотря на все внешние лишения эпохи войн и революций, красота, любовь и слава тройным ореолом окружали ее имя, книги выходили одна за другой и сразу становились событием, когда ее называли не иначе как «русская Сапфо».

И вслед за этим – десятилетие молчания и забвения: она, по ее словам, «кое-как замурована в первую попавшуюся стенку» и негласно объявлена опальной. А если перекрывают кислород, наступает удушье: с 1925-го по 35-й она очень мало пишет и совсем не публикуется, ее имя вычеркнуто из всех списков, а если и упоминается, только с руганью. «У языка современности нет общих корней с тем, на котором говорит Ахматова, новые живые люди остаются и останутся холодными и бессердечными к стенаниям женщины, запоздавшей родиться или не сумевшей вовремя умереть», – выражает общественное мнение критик В.О. Перцов.

Бог с ними, с этими конъюнктурщиками, не им отлучать Ахматову от родного языка, это она спасает язык от них, но ведь, увы, и многие читатели давно похоронили ее в своем сознании: исписалась, устарела, неужели еще жива? В ходу совсем другая поэзия, бодрая, светлая, победительная. Кому в голову придет, что эти быстроцветы вспыхнут и облетят,

а время Ахматовой не только не прошло, но и не настало по-настоящему, что она воскреснет и переживет всех? Связь с читателем почти невидима и сокровенна – и он, читатель, исчисляется не массами, а личностями, тот читатель, что «неизменен и вечен, поэта неведомый друг».

Нет, она вовсе не была равнодушной отшельницей или горделивой жрицей Аполлона.

И вовсе я не пророчица,
Жизнь моя светла, как ручей.
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей.

Никакие бодрые марши не заглушали этот звон тюремных ключей. И когда она могла – бросалась на помощь, порой почти незнакомому человеку.

Неизвестный до сих пор эпизод из ее потаенного десятилетия. В архиве уникальной, чудом существовавшей в советских условиях организации – «Помощь политическим заключенным», сокращенно ПОМПОЛИТ, – удалось недавно обнаружить тетрадный листок, исписанный рукой Ахматовой. Письмо, обращенное к заместителю председателя этой организации Винаверу:

Многоуважаемый Михаил Львович!

В начале декабря Вы известили родных, что дело А.В. Короткова заканчивается. Подтверждение этого родные не получили. После Вашего извещения была выслана в Политпомощь посылка с зимними вещами.

Не откажите известить, в каком положении дело. Не в лазарете ли заключенный и имеет ли смысл послать деньги на питание?

Простите, что беспокою Вас.

А. Ахматова

Мой адрес: Фонтанка, 34, кв. 44.

Письмо зарегистрировано 20 марта 1929-го, и в тот же день на него откликнулся бессменный председатель ПОМПОЛИТА Екатерина Павловна Пешкова:

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что, согласно справке, полученной из ОГПУ, дело А.В. Короткова еще не закончено. Присланные для него вещи получены. Белье передано частями, теплые вещи передадим ему, когда будет переведен в Бутырскую тюрьму. Деньги на передачу кончились. Можете перевести почтой в наш адрес.

Кто этот человек, о котором печется Ахматова?

Александр Васильевич Коротков – муж сестры ближайшей подруги Ахматовой с детских лет, Валерии Срезневской. Супружескую чету ОГПУ замело вместе: жену Зинаиду за «сношение с эмиграцией» отправили в ссылку в Тулу, что же до Александра Васильевича, обвинение ему было куда серьезней – он проходил по коллективному политическому делу и 10 апреля приговорен в лагерь на десять лет.

Когда в 36-м его из Ярославского политизолятора отправили в Дальлаг, встревоженная жена снова запросила Пешкову о судьбе мужа и получила, «успокоительный» ответ: «Сообщаю, что обычно при разгрузке тюрем заключенных направляют в лагеря. Заключенные в лагере работают свободно, обычно в пределах лагеря по своей специальности».

Шедевр социалистического реализма! К тому времени Помполит уже мало что мог и стал просто справочно-информационной службой, через два года власть окончательно его прихлопнет. Работавший «свободно» зэк Коротков 10 ноября 38-го будет расстрелян...

А как тогда выглядела сама Ахматова в глазах ОГПУ? Активным врагом народа она еще не числится, хотя и бывшая жена расстрелянного контрреволюционера. Замкнулась в себе, почти не пишет. Агентурные материалы на нее

начали скапливаться с 20-х годов. Об этом стало известно из сообщения генерала Калугина, перебежавшего в постперестроечное время из КГБ в ЦРУ; он эти материалы читал и предусмотрительно сделал выписки. Первый по времени из опубликованных им доносов на Ахматову датирован 1927-м. Донос безобидный, повествующий скорее о нравах литературной богемы, чем об опасных убеждениях объекта наблюдения. Особых тревог нет, такая Ахматова Органы вполне устраивала.

Жизнь ее на Фонтанке к моменту, когда над головами мужа и сына нависла угроза ареста, была незавидной. Запущенный флигель Шереметевского дворца, обветшавшая лестница, квартира, превращенная в коммуналку. Здесь, в нескольких комнатах, обитает и еще одно семейное гнездо: это первая жена Николая Николаевича, Анна Евгеньевна Аренс, с их дочкой Ириной и домработницей Аннушкой – ну, просто какое-то наводнение Анн! Правда, Анну Андреевну в близком кругу называли Акумой – такое странное имя придумал ей еще второй муж Владимир Шилейко, что переводил как «нечистая сила», – так и приросло.

У домработницы Аннушки – сын, а сын этот, женившись, привел в дом пролетарку, которая со старорежимным барьером не церемонится и может ляпнуть Ахматовой – руки в боки:

– А я на тебя в Большой дом донесу!

Теперь вот и Лева – с матерью, вырос, приехал учиться из Бежецка, где жил у бабушки – Анны Ивановны Гумилевой. И поселили его в той же квартире, в конце коридора, отделив занавеской, – ибо больше негде.

Отношения с Пуниным к тому времени разладились и остыли. Она уже написала горькую эпитафию их супружеству:

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем,
И за тебя я пью, –
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что Бог не спас.

Вселение Левы на птичьих правах добавило ужаса в их существование. Все чувствовали себя пленниками и заложниками друг друга. И куда денешься – материально Ахматова целиком зависит от мужа. Она годами жила скудно, даже в нищете, доля небольшую пенсию, которую получала за литературные заслуги от государства, между матерью и сыном.

Однажды ей приснился сон, который потом – смесью боли и вины – долго мучил ее.

В их квартиру вваливаются чекисты, предъявляют ордер: «Где Гумилев?» Она знает, что Николай Степанович – у нее в комнате, последней по коридору, но молчит об этом, а сама выводит из-за занавески сонного Леву: «Вот Гумилев...»

Они пришли сюда – Фонтанка, 34, квартира 44 – вечером 22 октября 1935-го. Сотрудник НКВД Аксельрод в присутствии управдома делал обыск, возился долго, почти до рассвета, отбирал пристрастно, прицельно – рукописи, дневник, переписку, книгу Ницше «По ту сторону добра и зла», а заодно и портрет этого автора, и три книги Мандельштама.

После того как Пунина увели, две Анны – Анна Андреевна и Анна Евгеньевна, жгли в печке бумаги, опасаясь повторного обыска.

Лева не ночевал дома, его арестовали назавтра. При этом изъяли нехитрый скарб: четыре открытки, тетрадь,

записную книжку, рукопись стихов Марии Петровых и книгу – тоже Ницше, «Так говорил Заратустра».

Ахматова жила словно замурованная «в первую попавшуюся стенку», теперь следователь Штукатуров замуровывал в стенку Большого дома ее сына и мужа – все-таки еще мужа!

На краю гибели пришло второе дыхание. Когда трагедия миллионов впрямую коснулась Ахматовой, подступила к горлу, стала личной, нестерпимой трагедией – прорвалось ее молчание: много лет почти не писавшая стихов, она начала свой «Реквием».

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки.
Смертный пот на челе... Не забыть! –
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

Гумилевушка

Как полагается – «Хранить вечно». Следственное дело № П-6970 в одном томе. Основной сочинитель его – следователь Василий Петрович Штукатуров, начальник 4-го отделения Секретно-политического отдела (СПО) Ленинградского управления госбезопасности. Причину ареста Пунина и Гумилева он сформулировал в постановлении об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения:

«Рассмотрев следственный материал по делу, приняв во внимание, что Пунин Н.Н. является участником и вдохновителем контрреволюционной, террористической группы студентов, в его квартире происходят собрания данной груп-

пы, на которой происходят чтения контрреволюционных произведений, п о с т а н о в и л: гр. Пунина привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст. 58-10 и 11 УК». Лев Гумилев же «достаточно изобличается в том, что является участником контрреволюционной группы, занимается сочинением и распространением антисоветских произведений, высказывает террористические намерения по адресу вождя ВКП(б) и Советского правительства».

«Согласен» – зам начальника СПО Коркин, «Утверждаю» – зам начальника УНКВД Николаев.

Спрашивается, если уж чекистам все так известно и ясно, зачем тогда проводить следствие? Тем не менее ретивый Штукатуров шел по регламенту. Для начала – стандартная анкета.

Пунин – 47 лет, профессор Всероссийской академии художеств, историк искусств, жена – А. Ахматова, «домохозяйка».

Гумилев. 1 октября, только что – исполнилось 23 года, студент 2-го курса истфака университета, мать – А.А. Ахматова, «пенсионерка».

Начались допросы. Поначалу Пунин обвинения в свой адрес отрицал: никакой контрреволюционной деятельностью не занимался уже по одному тому, что всем обязан советской власти. Гумилев – сын его второй жены, вот и все отношения. Но тут ему напомнили про случай с фотоаппаратом, приперли: было? Значит, знают, отрицать бесполезно.

– Да, я в кругу близких и знакомых, показывая на автоматический пуск для фотоаппарата, говорил в шуточной форме, намекая на возможность покушения на жизнь Сталина путем взрыва: «Вот входит наш друг Иосиф и ничего не подозревает, – машинка заканчивает свой круг, – и летит наш Иосиф ко всем чертям!»...

Пришлось признаться и в чтении стихов:

– У меня дома действительно неоднократно читались произведения Мандельштама, например, против Сталина. Стихи эти обсуждались, все мы признали, что написаны они политически остро и ярко контрреволюционные. Когда речь шла о форме стихов, я, помню, говорил, что отдельные места стихов мне не нравятся. А читались стихи Мандельштама у нас с А.А. Ахматовой в присутствии, кажется, Гинзбург Лидии Яковлевны¹ и Аникеевой. Вероятно, весной 35-го, точно времени не помню, Гумилев мне читал стихи «И плакала Экабатана», точного содержания их не помню...

Допрошенный в тот же день Лев Гумилев свою вину решительно отверг.

Но на завтра следствие заметно продвинулось.

Пунин уже назвал своего пасынка «антисоветским человеком». В протоколе допроса, подписанном им, это выглядит так:

Антисоветские разговоры его велись постоянно. Общее содержание его контрреволюционных высказываний сводилось к необходимости смены советского строя и замены его монархией. Гумилев всегда высказывал презрительное отношение к массам, он говорил, что считаться с ними нечего. Массы примут любой режим... К читавшемуся у нас контрреволюционному произведению Мандельштама Гумилев относился очень одобрительно. Он говорил, что стихи Мандельштама, например, против Сталина, остро актуальны и совершенно правильно отражают действительное положение.

Теперь Штукатуров получил в руки козырь против Льва. Он тут же вызвал студента и вел допрос уже не один, а вместе с шефом – заместителем начальника СПО Коркиным.

Сначала Гумилев снова отверг обвинения:

¹ Гинзбург Л.Я. (1902–1990) – литературовед, критик.

– Я всегда держался точки зрения, что в условиях советской власти бороться против нее невозможно.

– С кем у вас был такой разговор?

– С Бориным и Пуниным, и с моей матерью.

– По какому поводу у вас возникал такой разговор?

– При сравнении гнилой царской власти с властью крепкой, какой является советская власть, мы говорили, что бороться с ней невозможно.

И тут Штукатуров вытащил свой козырь – предъявил показания Пунина. И Лева дрогнул:

– Да, действительно, такие разговоры имели место...

Конечно, следователь намеренно стравливал их, читая показания друг на друга. Через много лет, уже на закате жизни, Лев Николаевич расскажет: «Правда, в это время никого не били, никого не мучили, просто задавали вопросы. Но так как в молодежной среде разговоры велись, в том числе и на политические темы, то следователям было о чем нас допрашивать». Да, еще не били, но внушали страх, сеяли панику, а ведь когда человек тонет, то судорожно хватается за ближнего, тянет его за собой на дно.

Леву мучила бессонница. Он все искал нить сюжета, который привел его сюда. Вспоминал дурацкую шутку Пунина. И как мать сказала: «Николаша, вы пьяны, идите спать!» – и все разошлись. Но кто же донес? Конечно, Аркадий! Никто другой этого сделать не мог.

26 октября чекисты включили в созданную ими преступную группу еще одного студента-историка – Валерия Махаева. Свою враждебность к строю он отрицал, но дал характеристику всем членам Левиной семьи.

Гумилев – человек явно антисоветский, его анти-советские настроения сквозят во всем его отношении к советской действительности. Примерно месяца через

три-четыре после начала нашей дружбы Гумилев говорил, что Советская власть не разрешила тех вопросов, которые стояли в начале революции, что политика сегодняшнего дня большевиков значительно отличается от тех обещаний, с которыми большевики шли к власти.

Пунин поддержал в этом Гумилева и в подтверждение сказанного привел в пример себя, что вот, мол, он когда-то был активным революционером, даже комиссаром, а теперь из-за того, что политика большевиков изменилась, он отошел от революционной деятельности.

– Как отнеслись к убийству Кирова в семье Гумилева? – спросил Махаева следователь.

– Ахматова говорила, что убийство человека – это не метод борьбы, и ей непонятно, почему убили Кирова, так как он был очень доступен. Как отнесся Пунин к убийству Кирова, я не помню, Гумилев – как к явлению закономерному, так как, говорил он, когда-то большевики убили моего отца, а теперь бьют большевиков.

Два дня подряд – 26 и 27 октября – Штукатуров продолжал массированную обработку Льва Гумилева, старательно вплетая в контрреволюционную сеть и его мать. Все обвинения и даже подозрения в ее адрес Лева решительно отверг.

Да, в декабре 34-го, когда Софья Андреевна Толстая в разговоре с его матерью осуждала бессмысленный поступок убийцы Кирова, Пунин вдруг заявил: «Убивали и убивать будем», но реакция на это была отрицательной. Толстая сразу ушла, а Ахматова отчитала мужа. Всякие террористические намерения Лева отрицал и даже защищал Пунина, утверждая, что вся эта история с автоспуском: «Вот идет наш дорогой Иосиф, ничего не подозревая, вдруг машинка – “пшик”! – и нет нашего Иосифа!» – только результат его взбалмошного характера и сильного опьянения. Пересказал он кратко и

содержание своей «Экабатаны», так как следствие текстом не располагало:

В этом произведении говорится о том, что сатрап города Экабатаны Горнаг умирает, но жители не хотят оплакивать его смерть. Великий царь велел выставить тело Горнага напоказ, но и тогда жители не плакали, тогда великий царь велел казнить сто граждан, и после этого весь город плакал.

Дело распухало.

«Сын за отца не отвечает» – эту знаменитую фразу произнес однажды кремлевский корифей гуманизма и лучший друг детворы. Льву Гумилеву пришлось всю жизнь, с детских лет, отвечать и за расстрелянного отца, и за опальную мать – проклятых властью поэтов. Виноват в том, что родился. Обречен фактом своего появления на свет.

Угадывая будущее этого мальчика, Марина Цветаева еще в 1916 году тревожилась в стихах, посвященных ему: «Бог, внимательнее / За ним присматривай: / Царский сын – гадательней / Остальных сынов».

Леве не исполнилось и девяти лет, когда погиб отец. Прямо ему не сказали, но он обо всем догадался. И скоро почувствовал, что отношение к нему изменилось. В школе, охваченной детской болезнью левизны – самоуправлением, ученики постановили учебников сыну контрреволюционера не выдавать, а в библиотеку отказались записывать.

Рос он в Бежецке, у бабушки Анны Ивановны Гумилевой, очень любившей внука, но разве кто-нибудь может заменить ребенку мать! А та появлялась редко и ненадолго. И конечно, он тосковал и страдал от разлуки.

Как-то Левушку спросили, о чем он задумался.

– Вычисляю, на сколько процентов вспоминает меня мама...

Часами он играл на полу, на шкуре леопарда, привезенной отцом из Абиссинии, примерял на себя его судьбу: то рисовал джунгли и становился отважным путешественником, то – неустрашимый офицер – вел в атаку оловянных солдатиков, то, листая томики стихов, превращался в знаменитого поэта. Отца он боготворил и был внешне очень похож на него. Маленький Гумилев и Левушка уютно слились в домашнем прозвище – Гумилевушка.

– Весь в меня, – говорил о сыне Николай Степанович. – Не только лицом, но такой же смелый, самолюбивый, как я в детстве. Всегда хочет быть первым и чтобы ему завидовали...

С годами, к старости, лицо Льва Николаевича изменится, больше проявится сходство с матерью.

Две великие тени – отца и матери – всю жизнь будут сопровождать его, в них так легко исчезнуть! Он рано это понял, и потому главным мотивом его существования стало: доказать собственную индивидуальность и значительность, независимо от знаменитых родителей. Быть собой, а не только сыном Гумилева и Ахматовой! И быть не хуже!

Мать, конечно, прекрасно понимала, что ее сыну суждена нелегкая судьба, уже по той причине, что он – ее сын и сын Гумилева. Двойная забота и страх – чтобы он осуществился как личность и в то же время уцелел, не надломился, не попал под сокрушительный внешний удар – прежде всего удар власти.

– Левушка, не горбись... Никогда так не говори! – в этих словах слышатся не просто мелкие придирки, но более глубокий лейтмотив ее отношения к нему. Как и в его словах, обращенных к ней:

– Мама, не королевствуй!

«Спи, мой тихий, спи, мой мальчик, я дурная мать» – это сказано еще в «Колыбельной» 1915 года.

Образ «дурной матери» всю жизнь мучил ее, не давал покоя, она жила с чувством вины, даже двойной вины – и перед сыном, и перед его отцом.

Новая жизнь Левы в Ленинграде, с лета 1929-го, складывалась трудно. Тесная квартира на Фонтанке, сундук в длинном коридоре, где его устроили спать, кроме матери – целая толпа чужих ему людей. Муж матери и хозяин квартиры – Пунин, не скрывая, дает понять, что пасынок ему в тягость, обуза, нахлебник, к тому же ревнует Ахматову к памяти Гумилева.

Свою отверженность Лева ощущал постоянно. Надо было доказывать свое право на то, что другие имели само собой. Первая попытка, в 30-м году, поступить в университет не удалась: не приняли из-за «социального происхождения». Пошел на биржу труда. Хватался за разные работы – сторож в трамвайном парке, чернорабочий, лаборант, ездил в экспедиции с геологами – в Забайкалье, с гельминтологами – на Памир, с археологами – в Крым. Это как раз было в радость: там, в поездках в дальние края, горизонт раздвигался, он проходил школу жизни, становился мужчиной.

Между тем этот мальчик вполне мог считаться вундеркиндом. Писал стихи в невероятных количествах и порывался все время читать. Многие усмехались: ну еще бы, сын Гумилева и Ахматовой, поэзия в генах. Мать отмахивалась – безумие! – сделаться поэтом, при таком-то родстве. Он и сам в конце концов поймет: писать лучше, чем они, невозможно, хуже... Нужно искать свою дорогу.

Но пока его принимали, с ним делились стихами лучшие поэты, друзья отца. Осип Мандельштам говорил шутливо, но многозначительно:

– Лева может перевести «Илиаду» и «Одиссею» в один день.

Когда Лева гостил в Москве, Сергей Клычков рассказывал, как в свое время ругал его Николай Гумилев, когда он пришел к нему со своими первыми стихами. А теперь он читал свои стихи Леве, и тот, покачивая ногой, тоже произносил что-то критическое. А потом, в свою очередь, читал Клычкову свои стихи. Правда, тот определил:

– Поэта из Левы не выйдет, но профессором будет.

Как в воду глядел!

В 1931-м с Ахматовой и ее сыном познакомился японский ученый Кандзо Наруми, преподававший в Ленинградском восточном институте. Он сохранил письмо Левы, которому тогда не исполнилось еще и восемнадцати лет, – продолжение их устного спора о судьбе русской литературы – амбиции и максимализм Гумилева-младшего могут шокировать.

«Collega Narumu!» – обращается к японцу Лева. «Я имею несчастье быть русским интеллигентом, выросшим на русской литературе», – и дальше сын Ахматовой приводит слова сатирика Салтыкова-Щедрина, добавив, что согласен с ним: «Литература дала мне много радости, но она же напоила мое сердце ядом» – и выносит отечественной словесности свой приговор:

«Русская литература выросла как тайное убежище от действительности, куда скрывались русские интеллигенты, чтобы выплакать свою неудовлетворенность жизнью, помечтать о лучшем будущем или же посылать свои проклятья окружающей пошлости и породившему ее деспотизму».

Только несколькими корифеям – Пушкин, Толстой, Тургенев, Тютчев, которые поднялись к вечному и избежали пагубной судьбы, – делает юный Лев исключение, остальных безжалостно хоронит: «Поэтому нет иной литературы, в которой было бы так много алкоголиков, невропатов, психопатов, ипохондриков и голодных истериков с извращенным чувством жизни и действительности. К этому нужно добавить,

что большинство русских писателей – люди малокультурные, часто невежественные, с тесными умственными горизонтами, не исключая даже таких, как Леонид Андреев, Чехов, Сологуб *et tutti quanti*¹». Во дает Гумилевушка, и итальянским блеснул заодно! «Вследствие этого эти люди из своих неврозоз создали себе источник оригинальности, капитал, с которого они собирали обильные проценты, потому что если нет фабулы, интересного сюжета, то на читателя приходится действовать вычурностью переживаний и обусловленной ими странностью мыслей и поступков... Я припоминаю карикатуру в “Lustige Blutter”, в которой землекоп говорит своему товарищу, указывая на одного такого литератора, наблюдающего их тяжелую работу: “Diese Kerle schlagen Kapital aus unseren Elend”². Русские литераторы отличались от них тем, что делали капитал из своего бедствия, потому что были наивнее. Но зато влияние их было часто не благотворно, а чрезвычайно пагубно».

Вот так вот! И немцев цитирует! Интересно, какую оценку поставили бы Леве, если бы он представил такое сочинение на приемном экзамене в советский университет? А ведь тут перед ним иностранец! И, возможно, шпион! Взгляды семнадцатилетнего нигилиста уже тогда ближе к науке, чем к поэзии, но в любом случае куда живее, чем в ортодоксальном курсе литературы.

В будущем, через много лет, Лев Николаевич пойдет еще дальше, отречется не только от литературы.

– Я человек не интеллигентный, – скажет он со свойственной ему парадоксальностью одному знакомому юноше. – Интеллигентный человек – это человек слабообразованный и сострадающий народу. Я образован хорошо и народу не сострадаю.

¹ И им подобные (*итал.*).

² Эти парни делают капитал из нашего бедствия (*нем.*).

Что это – позиция или полемический прием? Ведь и поэзия, «святое безумье», его не покинет, будет писать стихи до старости лет, и интеллигентом тоже останется – в подлинном, а не в опошленном смысле этого слова.

Осенью 1934-го Лева все-таки добился своего – поступил на исторический факультет Ленинградского университета. Сбылась мечта, определилось предназначение. Но тут, в коллективе, он сразу почувствовал недоверие к себе. Неудовольствие вызывала его генеалогическая линия.

«Пшик» – и нет нашего Иосифа!

27 октября – последняя, но основательная, многочасовая встреча следователя слевой. Штукатуров решил выжать из юноши все, что возможно. Прежде всего опять заставил повторить две сцены с Пуниным: «Убивали и убивать будем» и «“Пшик” – и нет нашего Иосифа!» – смертельно опасные для всех их участников.

Признался Лева и в том, что в своей «Экабатане» аллегорически вывел Кирова и Сталина. «Мы сразу же стали предполагать, что начнутся репрессии», – сказал он о реакции на убийство в Смольном.

С Мандельштамом познакомился в 33-м, когда тот приезжал в Ленинград и был у них в гостях, не отрицал, что его стихи против Сталина звучали в их доме неоднократно. Читал их Лева и на злосчастной вечеринке 25 мая.

Он, конечно, не мог знать, что точно в тот же день, 25 мая, только годом раньше, автор этих стихов записал их на Лубянке, на допросе у следователя. Так случилось, что теперь и Штукатуров, может быть, по примеру своего лубянского коллеги Шиварова, протянул Лева лист бумаги:

– Пишите.

И Лева, мучаясь и сомневаясь, вывел:

*Стихи Мандельштама о Сталине, которые я помню.
Записано по приказанию следователя*

*Мы живем под собою не чуя страны
Наши речи за десять шагов не слышны
А где хватит на пол-разговорца
Там припомнят кремлевского горца
Его пальцы жирны
И слова как пудовые гири верны
. смеются глазища
И сияют его голенища
А за ним вороха (каких-то) вождей
Окруженный десятками полу-людей
Кто мяучит, кто плачет, кто хнычет
Он один лишь бабачит и тычет
Как подкову дарит за указом указ
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз...*

Забывшие слова заменены точками.

Юноша намеренно пропустил самые ужасные, по его мнению, слова: «Его *толстые* пальцы, как черви, жирны», «Тараканьи смеются *ушища*» и «А вокруг него сброд *тонкошеих* вождей, Он играет услугами *полулюдей*. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет...» «Забыл» он и последние две строки:

*Что ни казнь у него – то малина,
И широкая грудь осетина.*

«Забыл» или, возможно, знал стихотворение без них, что такой вариант был, рассказала близкий Мандельштаму человек Эмма Герштейн.

– Нет, нет! Это плохой конец! – говорил ей поэт. – В нем есть что-то цветаевское. Я его отменяю. Будет держаться и без него.

Стихи Мандельштама о Сталине, которые в рукописи
записаны по приказанию следователя

Мы живем год собою не зная страны
 Наши реки не делят нас на страны
 И где хвосты на мн-разговарча
 Как припомнить кремлевского ворча
 Его паша - широк.
 И слова как удобные ширь берца.
 слышатся
 И слышит его шепчущая
 А за ними вораха (хитрых-то) воят
 Окруженный жестокими полу-люди
 Кто мучит, кто тает, кто жжигет
 Он один лишь бабает и твигет
 Как подкову дарит за указом указ
 Кому в зах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
 Забытые слова замечены точками.

Стихи О.Э. Мандельштама, записанные Л.Н. Гумилевым
по приказу следователя 27 октября 1935 г.

И когда жена Мандельштама, Надежда Яковлевна, сообщила Герштейн, что он записал эти стихи на Лубянке, та вскричала:

– Как? С последними двумя строками? Ведь он их отменил!

– Прочел и записал все целиком. Запись стихов о Сталине уже лежала у них на столе...

Затем Штукатуров снова перешел к террористическим замыслам пунинской группы и, когда опять получил отрицательный ответ, вытащил и зачитал показания Полякова, припасенный козырь.

– Это вы подтверждаете?

– Нет! – ответил Лева, но испугался, должно быть, не на шутку.

Ввели Полякова, который послушно повторил, что Лева уговаривал его убить Лапина или милиционера, и даже назвал примерную дату этого разговора в Летнем саду – между 8 и 13 июня 35-го. И еще Лева сказал ему тогда: «Допустим, свержения советской власти нам не организовать, но напасть мы можем многое».

Василий Петрович Штукатуров разделял мальчика под орех. В кабинет вводят Аркадия, который, разумеется, подтверждает свои показания. Правда, дополняет: когда Гумилев бросил фразу: «Есть еще дворяне, мечтающие о бомбах», – он был нетрезв. Юношеская запальчивость выдается за заговор, следователю нужен террор. Уже перед концом допроса Штукатуров заводит речь о матери Левы.

– Вы говорили Полякову, что в случае вашего ареста он должен пойти к вашей матери, и она скажет, что делать дальше.

– Я имел в виду, что она предупредит его, чтобы Поляков опасался Борины, который был у нас на подозрении. Больше по этому поводу я ничего не могу сказать.

Как ни запутал, ни запугал Штукатуров юношу, а все же ничего выжать не смог. Больше всего боялся Лева именно за мать. После такой обработки ему стало плохо, вызвали тюремного врача. Заключение: «Быть на допросе может. Отмечается незначительная тахикардия, учащение сердечной деятельности».

Не получилось с сыном – попробуем добраться до Ахматовой через мужа. 30 октября следователь специально для этого вызывает к себе Пунина. Начинает со стихов Мандельштама против Сталина: кто еще слышал их?

О т в е т. Читала их Ан.Ан. Ахматова после своего возвращения из Москвы, совпавшего с арестом Мандельштама, читала она их раза два-три, когда были я, Гумилев и сама Ахматова, читала их при Гинзбург. Других случаев не помню.

В о п р о с. Следствию известно, что вашу квартиру посещали лица антисоветски настроенные, занимающиеся сочинением произведений антисоветского характера и консультирующиеся с Ахматовой. Что вы можете показать по этому поводу?

О т в е т. Мне известно, что Ахматову посещали как мужчины, так и женщины с просьбой дать оценку их стихам. О лицах, настроенных антисоветски и посещающих нашу квартиру, мне ничего не известно. Стихи антисоветского характера приносил Лебедев Владимир Иванович (не точно), сын профессора, попал к Ахматовой Лебедев через меня и читал антисоветские стихи на церковно-религиозные темы. Петровых читала стихи романтически-мистического характера.

На следующий день Штукатуров дожал Пунина. Да, его недовольство властью переросло в злобу и террористические настроения. Да, был случай в его квартире, когда Толстая

в разговоре с Ахматовой осуждала убийцу Кирова, а вместе с ним и весь Ленинград, допустивший такое. Он счел это за ханжество и возмущенно заявил: «Убивали и убивать будем». Да, он оскорблял портрет Сталина и изображал автоспуском его взрыв...

Было ли это вызвано страхом, физическим и психологическим надломом, но такое впечатление, что Пунин уже подписывал свои показания механически, не читая. Иначе как самоубийственными их не назовешь. «Исходя из моих убеждений о необходимости изменения существующей линии советской власти, я считал радикальным средством насильственное устранение Сталина».

«Как было в тюрьме: то чрезмерное отчаяние, то необоснованные надежды», – запишет он позднее, в дневнике. И еще позднее, в исповедальную минуту, признается в письме Ахматовой: «Я о Леве много думал, но об этом как-нибудь в другой раз – я виноват перед ним».

И вот зловецкий результат этого допроса – протокол, написанный Штукатуровым, с незначительными поправками Пунина, на каждой странице – его подпись.

В о п р о с. Вы признаете Ваше участие в контрреволюционной группе?

О т в е т. Да, мое участие в контрреволюционной группе я подтверждаю.

В. Назовите участников контрреволюционной группы.

О. Кроме меня, Ахматовой и Гумилева, мне известны Борин, Махаев, Поляков и Олег (фамилию не знаю). Думаю, что в контрреволюционную деятельность посвящены Бекман и Волков. Все участники группы стояли на точке зрения необходимости борьбы против Советской власти. Наиболее активным был Гумилев, о нем я уже давал показания. Ахматова, так же как и другие участники группы, раз-

деляла мою точку зрения на необходимость устранения Сталина. В многочисленных беседах со мной и другими она высказывала по различным вопросам религии, литературы, выселения «бывших» и др. свою антисоветскую точку зрения.

Полная победа – вот тебе – и контрреволюционная организация, и эта барыня Ахматова в ней.

Об успехе следствия было тут же доложено начальству. И уже на следующий день, 1 ноября, глава Ленинградского Управления НКВД Заковский обратился к наркому внутренних дел Ягоде за распоряжением «о немедленном аресте Ахматовой».

Единственный хороший поступок Иосифа Виссарионовича

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, зная Ваше внимательное отношение к культурным силам страны и в частности к писателям, я решаюсь обратиться к Вам с этим письмом.

23 октября, в Ленинграде арестованы Н.К.В.Д. мой муж Николай Николаевич Пунин (проф<ессор> Академии художеств) и мой сын Лев Николаевич Гумилев (студент Л.Г.У.).

Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю Вам честное слово, что они ни фашисты, ни шпионы, ни участники контрреволюционных обществ.

Я живу в С.С.Р с начала Революции, я никогда не хотела покинуть страну, с которой связана разумом и сердцем. Несмотря на то, что стихи мои не печаются и отзывы критики доставляют мне много горьких минут, я не падала духом; в очень тяжелых моральных и материальных

условиях я продолжала работать и уже напечатала одну работу о Пушкине, вторая печатается.

В Ленинграде я живу очень уединенно и часто по долгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести.

Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет.

Анна Ахматова

1 ноября 1935¹

Ошибки в письме – «С.С.Р.», «стихи мои не печаются», «по долгу болею» – звучат почти метафорически, свидетельство душевного смятения, в котором она приехала в Москву за спасением.

Ахматова написала Сталину 1 ноября – именно в этот день Заковский обратился к Ягоде за разрешением на ее арест. Обе просьбы одновременно устремились наверх, к самому престолу; судьбе предстояло решить, какой из них дать ход.

И в тот же самый день направил свое обращение к Сталину Борис Пастернак.

1.XI.35

Дорогой Иосиф Виссарионович!

23-го октября в Ленинграде задержали мужа Анны Ахматовой, Николая Николаевича Пунина, и ее сына, Льва Николаевича Гумилева.

Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища.

Помимо той ценности, какую имеет жизнь Ахматовой для нас всех и нашей культуры, она мне еще дорога и как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю.

¹ Центральный архив ФСБ РФ.

С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования.

Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности.

Преданный Вам Б. Пастернак¹

Она приехала в Москву 29 октября, почти в бреду. Первую ночь ночевала у Эммы Герштейн. «Я смотрела на ее тяжелый сон, как будто камнем придавили, – вспоминает Герштейн. – У нее запали глаза и возле переносицы образовались треугольники. Больше они никогда не проходили. Она изменилась на моих глазах».

Утром бросилась к писателям, за помощью. Сначала – к Михаилу Булгакову, там и заночевала. Видимо, обсуждала с ним черновик своего письма Сталину. «Ужасное лицо, – записала в дневнике жена писателя Елена Сергеевна. – В явном расстройстве, бормочет что-то про себя».

На следующий день Герштейн отвезла ее на такси к Лидии Сейфуллиной. Дорогой Анна Андреевна вскрикивала, как в бреду:

– Коля... Коля... кровь! – и что-то еще. Невозможно понять, какой «Коля» ей мерещится – Пунин или Гумилев.

У Сейфуллиной были какие-то высокие связи, она позвонила и договорилась: надо подъехать завтра в Кутафью башню Кремля, и тогда личный секретарь Сталина Поскребышев передаст письмо вождю. Ночевала Ахматова на этот раз у Чуковских, всю ночь не спала, а наутро еще один друг – Борис Пильняк – отвез ее к Кремлю. «Буду я, как стрелецкие женки, под кремлевскими башнями выть».

Редкий случай – когда писатели так сплотились, чтобы помочь другому писателю!

¹ Центральный архив ФСБ РФ.

И вот результат – на письме Ахматовой появилась резолюция Сталина:

«т. Ягода. Освободить из-под ареста и Пунина и Гумилева и сообщить об исполнении. И. Сталин» (без даты).

О благоприятном исходе дела Поскребышев сообщил Ахматовой по телефону – она тогда находилась у Пастернака. «Кажется, это был единственный хороший поступок Иосифа Виссарионовича за всю его жизнь», – скажет она позже. Отзовется и Борис Пастернак, в письме Сталину благодаря его «за чудесное молниеносное освобождение родных Ахматовой».

Можно представить себе реакцию ленинградских чекистов, у которых давно чесались руки заняться Ахматовой, когда они, после того как долго не покладали этих натруженных рук, вдруг, вместо разрешения на арест, получили фантастическую директиву немедленно отпустить ее родных и похерить свою долгую и успешную работу. Осталось только развести руками. Для Василия Петровича Штукатурова это, наверно, было головоломкой до самого конца жизни. Впрочем, ему в Органах, как ни лез из кожи вон, с карьерой не повезет: через четыре года, в 39-м, при очередной чистке, он будет уволен «за нарушение законности».

Еще больший шок испытали от такой внезапной улыбки судьбы союзники Большого дома по делу № 3764: Пунин и Гумилев были освобождены сразу после приказа из Москвы, а Поляков, Махаев и Борин¹ – тремя днями позже. Об этом – последний документ в следственной папке.

Свой выход из тюрьмы Лева запомнит навсегда, со всеми подробностями. Через двадцать лет он, на последнем допросе в своей жизни, расскажет об этом прокурору.

¹ Судьба доносчика бесславна: через год он попадет за решетку – будет осужден народным судом по какому-то делу на два года и отправлен на строительство канала Москва – Волга. После этого след его теряется.

Поздно вечером 3 ноября его вызвал к себе следователь.

– Будете ли вы еще давать показания?

– Все уже сказано, больше ничего нет.

Тогда Штукатуров сказал:

– Ну, так мы решили вас освободить. Завтра идите на занятия в университет.

У Левы дух захватило.

– Вы великодушнее царского правительства. Я даю слово, что больше от меня никогда не услышите ни одного антисоветского слова...

Николай Николаевич Пунин попрощался иначе. Когда ему объявили об освобождении, он, ввиду позднего времени, попросил разрешения переночевать в тюрьме. И услышал в ответ: «У нас здесь не ночлежка».

Около полуночи их выпустили на улицу и закрыли дверь. До самого дома они не проронили ни единого слова, шли молча, шли вместе, но чужие. «Шалые», как сказал Пунин про встречу с отцом Левы в августе 21-го...

Вышли – врагами. И до того они лишь скрепя сердце терпели друг друга – у каждого были свои права на сердце Ахматовой. А тут, сразу после освобождения, Лева вообще ушел из дома и на Фонтанке старался не появляться.

Он почему-то думал тогда, что мать хлопотала только за Пунина, а его, Леву, освободили заодно – напрасная обида, как мы видим из письма Сталину! Вся эта неприязнь и недоразумения стали, конечно, для Ахматовой еще одним источником мук.

В этот раз ей удалось спасти и сына, и мужа, и себя от смертельного удара. Но последствия вечеринки 25 мая 35-го будут тянуться за ними всю жизнь.

Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил...

Ходим строем, поем хором

Лев Васильевич Пумпянский читал студентам-историкам лекцию по русской литературе. В Большой аудитории университета стояла тишина, лишь изредка шелестели тетради. Профессор был еще не стар, щеголял остроумием и эрудицией. Вскользь, но хлестко проехался по Николаю Гумилеву:

– Поэт написал про Абиссинию, а сам не был дальше Алжира. Вот он – пример нашего отечественного Тартарена!

Тут из студенческих рядов раздался голос:

– Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии!

Пумпянский снисходительно отмахнулся:

– Кому лучше знать – вам или мне?

И услышал:

– Конечно, мне.

Аудитория взорвалась хохотом. Все лица были обращены на героя, студенты-то понимали, что ему, сыну Николая Гумилева, лучше знать, где путешествовал его отец. Действительно – слишком памятны были детские игры – на шкуре леопарда из Абиссинии!

Посрамленный Пумпянский побежал жаловаться в деканат.

Когда вскоре слишком гордый студент четвертого курса оказался во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной, той, где семнадцать лет назад томился его отец, – как знать, может, и в той же камере! – на первом же допросе следователь по какой-то бумажке пересказал весь инцидент, случившийся на лекции Пумпянского.

Постепенно чекист вошел в раж, он уже орал, захлебываясь матом:

– Так ты любишь своего отца, гад! Встань... к стене!

Он подскочил к юноше, приподнял его за ворот рубашки с ввинченной в цементный пол табуретки и ударил наотмашь...

Лев Гумилев думал, что случай с Пумпянским стал поводом для ареста. Он не знал, что в Большом доме уже накопилась целая кипа доносов на него посерьезней. Именно это – короедная работа бесчисленных стукачей – и стала причиной его второй Голгофы.

После первой – в 1935-м – Леву выгнали из университета. Ходить кланяться в пунинскую квартиру не хотелось, жил он отдельно, в комнатухе на троих, тоже на Фонтанке, но дальше от центра. Голодал, бывало, даже терял сознание от истощения. Наконец Анна Андреевна поехала к ректору университета, профессору Михаилу Семеновичу Лазуркину, ученому старой школы, не выдвиженцу-бюрократу.

– Я не дам испортить жизнь мальчику, – сказал он.

Лева опять стал студентом. Шел 37-й, пик Большого террора. Аресты косили людей, как траву. Взяли и покровителя Левы – профессора Лазуркина и убили с особой жестокостью: его застрелили на допросе, а затем, уже мертвого, выбросили из окна, инсценируя самоубийство.

Что изменилось к тому времени в пунинской квартире на Фонтанке? В декабре 36-го Ахматову сняли с персональной пенсии, которую она получала «за заслуги перед русской литературой». Нищета стала еще беспросветней. И неустроенность тоже. Коммуналка. Общая кухня. «На веревках белье, хлопающее мокрым по лицу. Мокрое белье, словно завершение какой-то скверной истории, из Достоевского», – записала свое впечатление Лидия Чуковская.

Произошел окончательный разрыв с Пуниным, который был ее мужем пятнадцать лет, – оставаясь жить в одной квартире, они уже стали совершенно чужими друг другу.

– Выдайте мне расписку, что я отдал вам все ваши вещи, – сказал он с досадой.

Но тогда же, в последнюю ночь, накануне ее переезда в другую комнату, спросил:

– Ты никогда ко мне не вернешься?

– Никогда.

– И никогда не простишь?

– Нет.

– А я все равно тебя люблю.

Таков был этот человек, который мог заявить при посторонних:

– Анна Андреевна, вы – поэт местного царкосельского значения...

Но ей уже все равно, он уже занял свое место в «мавзолее угасших чувств», как она выражалась. У Пунина – новое сердечное увлечение. И у нее тоже появился поклонник – Владимир Георгиевич Гаршин, милый, деликатный, серьезный, профессор Военно-медицинской академии, заходит все чаще, трогательно заботится, приносит теплые бульоны, с ним хорошо, и, главное, есть кто-то, кому ты нужен.

11 марта 1938-го, утром раздался звонок – в дверях стоял вестник беды. Это был Орик – Орест Высотский, единокровный брат Левы, сын Николая Гумилева и актрисы Ольги Высотской. Последнее время братья сдружились и часто встречались, прошедшую ночь Орик как раз ночевал у Левы, в его комнатушке.

– Анна Андреевна, Леву арестовали.

И опять – в каком-то полубреду – Ахматова сжигала свой архив, в печь летели письма, рукописи. Прислушивалась, ждала: вот сейчас нагрянут с обыском, влезут в жизнь. Все, все – в огонь!

И опять – спастись можно только стихами, продолжением «Реквиема»:

.
Эта женщина больна,
Эта женщина одна,
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

То была не только личная боль и трагедия женщины по имени Анна Ахматова, ее голосом говорили миллионы обреченных на немоту матерей и жен России.

Какими обвинительными материалами против Льва Гумилева располагал Большой дом к моменту его нового ареста? А вот: «В 4 отдел УГБ НКВД Ленинградской области поступили сведения...» – то есть накопилась критическая масса агентурных материалов, доносов. А если такая же масса накопилась и на твоих друзей или просто знакомых, то налицо уже враждебная организация. Страна, в которой доноительство стало нормой жизни, кишит врагами народа, на чекистской кухне такие антисоветские группы пекут как блины. Машина работает по плану, почти автоматически, от отдельных людей, жертв или палачей, мало что зависит.

Так возникло дело П-66676 по обвинению трех студентов университета – Льва Гумилева, Николая Ереховича и Теодора Шумовского – в активной контрреволюционной деятельности. А у любой группы должен быть главарь, для этой роли больше всего подходил Гумилев. Почему вниманием доносчиков и их дрессировщиков из Большого дома удостоились эти трое? Потому что выделялись, были белыми воронами в сплоченной среде советской молодежи. Ахматова с горечью говорила, что брали цвет молодого поколения, самых одаренных и многообещающих. Но Органы смотрели иначе.

Николай Ерехович – из дворян, сын генерал-майора царской армии и – подумать только! – крестник самого Николая II! К тому ж – верит в боженьку. Исключался из института как чуждый элемент, скрывший свое социальное

происхождение. Теодор Шумовский, поляк, тоже с душком, был исключен из комсомола за то, что утаил тот факт, что его мать жила когда-то в Польше, и за беспринципное, раболепное отношение к трудам академика Крачковского, своего учителя. Жаловался на недоедание, на занятия ходил в рваной одежде, всегда чем-то недоволен.

Нет, таким не место среди нас. Мы правильные, ходим строем и поем хором.

Если с Никой Ереховичем Лева был знаком лишь шапочно, то с Тадиком Шумовским их связывало некое подобие дружбы, помимо любви к истории, оба писали стихи. Левины подельники арестованы на месяц раньше Гумилева, и уже 10 февраля на допросе «с пристрастием» Ереховича заставили подписать все, что подsunул ему следователь, и назвать ряд студентов университета и консерватории, в том числе Гумилева, который, оказывается, и предложил ему вступить на преступный путь. Шумовский держался дольше, но в конце концов тоже «признался»: завербован Гумилевым. Никаких фактов, голословные оговоры себя и других, то ли сам перечисляет всех, кого знает, то ли следователь ему подсовывает, но побольше фамилий! – университета и консерватории мало, уже из Горного института и из Лесотехнической академии заговорщики подтянуты. Бред-то бред, но арестовано в феврале–марте уже около двадцати человек.

Первый допрос Левы датирован странно – 8–10 марта, какая-то нелепость, ведь 10 марта его только арестовали. Сержант Филимонов пытается выжать что-то из узника – напрасно. Гумилев все отрицает. Дальше в следствии – обрыв.

Прошла весна, в разгаре лето. Следующий допрос состоялся только через три месяца, 21 июня, и вел его уже другой следователь – оперуполномоченный 8-го отделения 4-го отдела, сержант Бархударьян. Как вспоминал потом Лев Николаевич, Бархударьян добивался только одного – под-

писи под заранее составленным протоколом. А так как он, Гумилев, делать это отказывался, в ход шли не только угрозы – избиения продолжались восемь ночей подряд. Сержант врезал умело – по шее, там, где расположен нерв, связанный с деятельностью мозга.

– Ты меня на всю жизнь запомнишь! – рычал он.

Последствия допросов действительно остались на всю жизнь. Спазм френикуса – так называется эта болезнь: отнимается рука, немеет правая сторона тела.

Через много лет, перед реабилитацией, Лев Николаевич расскажет прокурору, как все тогда было: «Я подписал один протокол, напечатанный на машинке, в котором, кажется, признал себя виновным в участии в антисоветской организации. Этот протокол я подписал, будучи избит, даже в процессе подписания протокола следователь Бархударьян избивал меня палкой по шее (по сонной артерии)... Я еще раз поясню, что никогда, нигде я не был ни членом, ни организатором антисоветской организации».

Вот он, этот протокол допроса, машинописная копия, первого экземпляра в деле нет, внизу каждой страницы почему-то дважды стоит подпись Гумилева, видно, для пущей убедительности, перестарался сержант.

Вначале Бархударьян пишет, что подследственный якобы подал заявление, в котором признает свою вину, и что намерен дать искренние показания. Никакого заявления в деле нет, однако Гумилев подтверждает: «Да, я решил дать искренние показания. Боясь ответственности, я долгое время скрывал от следствия свою преступную деятельность». И далее – по тексту, убогое политпросветское сочинение сержанта Бархударьяна, язык разоблачает, его не обманешь:

Признаю, что я, Гумилев, по день моего ареста являлся активным участником антисоветской молодежной

организации в Ленинграде, которая была создана по моей инициативе и проводила свою деятельность под моим руководством.

На этот путь я встал не случайно. История моей сознательной политической жизни ничего общего не имеет с интересами рабочего класса. Я всегда воспитывался в духе ненависти к ВКП(б) и Советскому правительству. От моей матери Ахматовой Анны Андреевны я узнал о факте расстрела Советской властью за антисоветскую работу моего отца – буржуазного поэта Гумилева. Это еще больше обострило мою ненависть к Советской власти и я решил при первой возможности отомстить за моего отца. Этот озлобленный контрреволюционный дух всегда поддерживала моя мать – Ахматова Анна Андреевна, которая своим антисоветским поведением еще больше воспитывала и направляла меня на путь контрреволюции. От моей матери я никогда не слышал ни одного слова, одобряющего политику ВКП(б) и Советского правительства.

Ахматова неоднократно заявляла, что она всегда видит перед собой мертвое тело своего мужа – моего отца Гумилева Николая, павшего от пули советских палачей. Поэтому она ненавидит советскую действительность и Советскую власть в целом. В знак открытого протеста против ВКП(б) и Советского правительства Ахматова отказалась вступить в члены Союза Советских Писателей. По этому вопросу Ахматова Анна Андреевна резко высказывалась против политики ВКП(б) и Советского правительства, заявляя, что в СССР отсутствует демократия, свобода личности и свобода слова. От Ахматовой часто можно было услышать следующие слова: «Если бы была подлинная свобода, я прежде всего крикнула бы “долой Советскую власть, да здравствует свобода слова, личности и демократии для всех!” В беседе со мной моя мать Ахматова неоднократно

мне говорила, что, если я хочу быть до конца ее сыном, то прежде всего я должен быть сыном моего отца Гумилева Николая, расстрелянного Советской властью. Этим она хотела сказать, чтобы я все свои действия направлял на борьбу против ВКП(б) и Советского правительства. После убийства Кирова в беседе со мной она заявила, что его убийцы являются героями и вместе с тем учителями для идущего против Советской власти молодого поколения.

И так далее, и тому подобное – ядовитая жвачка на несколько страниц. Слова «советский» – «антисоветский» встречаются здесь семнадцать раз. Кашу маслом не испортишь! Всплыли, конечно, и обстоятельства ареста в 35-м. Замелькали фамилии, среди которых – Ерехович, Шумовский и Орест Высотский. Определена задача заговорщиков – свержение власти и восстановление буржуазно-демократических свобод. Способы борьбы – контрреволюционная агитация, разложение молодежи, особенно стихами: Мандельштама и его – младшего Гумилева, такими, к примеру, – «Скоро кровью людской и медвежьей будет мыться советская тайга»... И вот – самое страшное: «поставил конкретный вопрос о необходимости совершения террористического акта над секретарем ЦК и Ленинградского обкома ВКП(б) Ждановым. Мы считали, что убийство Жданова явится вторым, после Кирова, ударом по ВКП(б) и Советской власти в целом, что, по нашему мнению, безусловно отвоевало бы в сторону контрреволюции большое число населения».

Знал Лева, кого убивать надо! Этот Жданов еще попортит ему и его матери много крови.

Больше допросов не будет. Цель достигнута. Отлично поработал товарищ Бархударьян, можно повышать в звании.

Гумилев, сын Гумилева

Тем временем из университета подоспел красноречивый отзыв о Леве – общественная оценка его, а по существу, еще один донос. И тоже пригодился, пришит к делу. Между прочим, переврана фамилия: не Гумилев, а Г у м е л е в, та же ошибка, что и с отцом!

Х а р а к т е р и с т и к а

Гумелев Лев Николаевич за время пребывания на истафаке из числа студентов исключался и после восстановления часто академическая группа требовала его повторного исключения... Как студент успевал только по специальным дисциплинам, получал двойки по общественно-политическим (ленинизм), вовсе не потому, что ему трудно работать по этим дисциплинам, а он относился к ним как к принудительному ассортименту, к обязанностям, которые он не желает выполнять. Большинство студентов игнорировал...

Во время избирательной кампании в их группе, где делался доклад о биографии тов. Литвинова, Гумелев вел себя вызывающе: подсмеивался, подавал реплики, вообще отличался крайней недисциплинированностью, сильно зазнавался, мнил из себя большой талант, который не признают в советском вузе. Эти разговоры он добавлял следующими замечаниями, что все великие люди, например, Достоевский, голодали, нуждались и что теперь Гумелев (великий человек) тоже голодает в Советском Союзе.

1 июля 1938

Зав. спец. частью ЛГУ Шварцер

Бархударьян пропускает Леву через серию очных ставок с подельниками. Исторический момент – 9 июля в кабинете следователя встречаются сыновья Николая Гумилева, два террориста-главаря! Ореста к тому времени тоже

загребли как вожака молодежной преступной группы в Лесотехнической академии. Станным, причудливым образом переплелись судьбы этих двух мальчиков: память об отце станет для них проклятьем, самым дорогим и самым тяжким наследством. И даже уйти из жизни им, родившимся почти одновременно, будет суждено в один год, в 1992-м, когда имя их отца воскреснет из забвения и обретет новую славу.

Но пока на дворе – 38-й, оба в начале пути – а судьба висит на волоске. Протоколы очных ставок – тоже из жанра абсурда, абсолютно стертый, мертвый язык, все голословно и единогласно. Правда, Оресту повезет больше, его скоро выпустят, еще до суда.

Студентов-террористов держат в Доме предварительного заключения на Шпалерке, на втором этаже двухэтажного корпуса внутри двора, камеры рядом: Лева – в 22-й, Тадик – в 23-й, Ника – в 24-й. С первого этажа иногда доносятся душераздирающие крики – там пытаются. Опытные зэки учат: не губите себя, ребята, подписывайте все, что требуют, будет суд – откажетесь.

Вот и обвинительное заключение готово. В деле остались трое обвиняемых – Гумилев, Ерехович, Шумовский. Виновными себя признали полностью – пора на скамью подсудимых.

После окончания следствия их переводят в другую тюрьму – Кресты, и даже помещают в одну камеру. Они не спали всю ночь. Может быть, жаловались, ссорились? Нет, делились научными замыслами, захлеб рассказывали: Ника о будущей своей книге «История лошади на Древнем Востоке», Тадик – об арабской средневековой картографии, а Лева – о хазарах.

27 сентября, к 16.00, их привезли на Дворцовую площадь, где в здании Главного штаба заседал Военный

трибунал Ленинградского военного округа. И там все трое подсудимых от своих показаний дружно отказались.

– Обвинения понятны, виновным себя не признаю, – сказал Лев Гумилев. – И отказываюсь от протокола допроса, он был заготовлен заранее, и я под физическим воздействием был вынужден его подписать...

Почему это заявление о пытках, открытым текстом, зафиксировано в стенограмме заседания суда? Очень просто. Дело в том, что пытки в то время узаконили: с 37-го года специальным постановлением чекистам разрешалось «применение физического воздействия в практике». Обосновал это сам Сталин: «Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманна?» Так что у сержанта Бархударьяна руки для истязаний развязаны и бояться ему, скрывать свою садистскую сущность незачем. Бил на законном основании – так партия велела!

Председатель суда, политрук Бушмаков оглашает показания Гумилева.

– Я такие показания не давал и их отрицаю. Никакого разговора с моей матерью о расстрелянном отце не было. Я никого не вербовал и организатором контрреволюционной группы никогда не был.

Бушмаков приводит другие выдержки: «Вскоре после ареста в 1935 году я был освобожден из-под стражи, и следствие по моему делу было прекращено. Этот факт я расценивал как слабость Советской власти и решительно намеревался продолжить свою контрреволюционную деятельность».

– Это не мои показания, – отвечает Лев. – Я был освобожден по ходатайству моей матери, которая обратилась к Сталину. За свое освобождение я был глубоко благодарен Сталину.

Зачитывается характеристика Льва из университета, с инцидентом, происшедшим во время избирательной кампании. Он объясняет:

– Когда докладчик-студент делал доклад о кандидате в депутаты Верховного Совета Литвинове, я задал вопрос о социальном происхождении Литвинова. Докладчик мне не ответил, так как сам не знал, и сконфузился. Вот и вся моя дискредитация...

Криминал тут, видимо, в том, что Максим Максимович Литвинов, нарком иностранных дел, был буржуазного происхождения, о чем надлежало помалкивать. А Лева чуть не выдал государственную тайну.

Приводятся стихи: «Скоро кровью людской и медвежьей будет мыться советская тайга...», и Лева признает, да, это он сочинил, а вот что замышлял покушение на Жданова, отверг:

– Мне, историку, известно, что теракты никогда не приносили пользу или эффект. Поэтому я не мог быть сторонником террористического акта и не был им.

Подобные же заявления сделали и друзья Левы по несчастью.

– Я должен был это подписать, чтобы избавить себя от давления и воздействия следователя, очень больно отражавшихся на моем здоровье, – несколько витиевато, но вполне понятно выразился Тадик Шумовский.

Потом все получили последнее слово.

– До сих пор я не знаю, за что арестован, – сказал Гумилев. – Я как образованный человек понимаю, что всякое ослабление советской власти может привести к интервенции со стороны оголтелого фашизма, который душит науку и, конечно, как человек науки был и являюсь противником фашизма и, следовательно, не контрреволюционер. Прошу суд это учесть.

Ерехович:

– Я старался посвятить свою жизнь любимому делу – истории. Я надеюсь, что, поскольку я не вел антисоветской работы, каково бы ни было решение суда, я сумею доказать, что смогу дать родине то, что я хотел дать.

Шумовский говорил пространнее, но в том же духе:

– Даже мысль о терроре для меня была и остается дикой и неприемлемой...

Суд удалился на совещание, и вот приговор: Гумилеву – десять лет исправительно-трудовых лагерей, остальным – по восемь.

Еще слава богу, что не «десять лет без права переписки», что, как известно, означало расстрел!

В воронке, когда их возвращали в Кресты, Тадик спросил:

– Лева, а почему ты их не поправил, ведь у тебя в стихах – «святая», а не «советская» тайга?

– А ну их всех! – И помолчав: – Я все-таки сын Гумилева... и дворянин.

Вскоре столыпинский вагон с зарешеченными окошками уносил друзей на Беломорканал. Историкам предстояло не изучать, а делать историю – в качестве подконвойных лесорубов. И, как знать, может быть, и оборвалась бы их жизнь где-нибудь в студеном глухом лесу возле Медвежьегорска, где они расчищали путь для будущего канала. Но замысел судьбы был другой.

17 ноября Военная коллегия Верховного суда отменила приговор Военного трибунала и направила дело на переследствие. И снова крик: «На этап!» – только в обратную сторону, в Ленинград. Лев Гумилев радовался напрасно, он не знал, что приговор ему отменили потому, что сочли слишком мягким и теперь хотят припать пункт 17-й 58-й статьи – «террор», то есть возвращают на расстрел.

Но – судьба играет человеком! – пока его возили туда и обратно, грянула другая важная новость – звезда наркома НКВД Ежова закатилась, кровавого карлика сменил Берия: дела пересматривают, многих отпускают, на допросах перестали бить. Воскресла надежда: значит, Сталин прозрел, увидел, что творится, увидел и исправит, наведет порядок.

Едва Лева снова оказался в ленинградской тюрьме, он поспешил через старых зэков послать весточку на волю – маме. И вскоре получил передачу. Появился шанс – если не освободиться, то хотя бы выжить.

Я, кажется, сделал открытие

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.

.

(«Реквием»)

Да, и в этот раз Ахматова кинулась с прошением к Сталину, к кому же еще – он один мог спасти ее Левушку. Письмо не сохранилось или еще томится где-то в секретных архивах. Лидия Корнеевна Чуковская, которая как раз с этого времени сблизилась с Ахматовой и стала ее Эккерманом до конца жизни, запомнила только одну фразу из письма, со слов Анны Андреевны: «Все мы живем для будущего, и я не хочу, чтобы на мне осталось такое грязное пятно». Имелось в виду одно из обвинений Лева – будто бы мать подговаривала его убить Жданова и отомстить за расстрелянного отца.

Никаких видимых последствий обращение к вождю не имело. И это еще вопрос, как могло повлиять опальное имя Ахматовой на участь сына. По его мнению, мать тогда думала, что вынесенный приговор – просто судебная ошибка. «Она не могла первоначально предположить, как низко пало правосудие. Следователи и судьи по существу превратились в политических марионеток, своеобразных фальшивомонетчиков, фабрикующих если не поддельные купюры, то фальшивые показания, обвинения, приговоры. Мамино письмо, если оно и дошло до Сталина, было оставлено без внимания».

Правда, в феврале 1939-го на приеме в честь писателей-орденоносцев Сталин вдруг вспомнил об Ахматовой – уж не из-за ее ли письма? И будто бы спросил:

– Что дэлаэт манахыня?

Так об этом рассказывала сама Ахматова.

Во всяком случае, литературные чиновники отреагировали сразу: журналы стали наперебой просить у нее стихи, два издательства вознамерились печатать книгу. Похоже, невзирая на то что сын сидел в тюрьме, негласный запрет на ее творчество был снят.

Это с одной стороны, а с другой – именно в 1939-м на Ахматову было заведено «Дело оперативной разработки» (ДОР) с такой «окраской»: «Скрытый троцкизм и враждебные антисоветские настроения», видимо, причиной стали протоколы допросов Левы с подписями, добытыми избиениями. Тот же перебежчик из КГБ в ЦРУ, генерал Калугин, сообщил, что в это досье были включены все агентурные материалы об Ахматовой, собранные раньше. ДОР – это подготовка к тюрьме, такая категория дела, за которой в любой момент может последовать санкция прокурора на арест.

А она простаивала бесчисленные часы в тюремных очередях то на Шпалерке, то в Крестах, чтобы отдать передачу в деревянное окошечко и убедиться, что сын жив. Ранняя седина, осунувшееся, искаженное лицо, глазницы-ямы – та-

кое, она заметила, было и у других женщин в очередях, глаза жили как бы отдельно на лице. А потом, еле передвигая ноги, почти вслепую – на Фонтанку, к Шереметевскому дворцу, там теперь разместился «Дом занимательной науки» – ну и названьице! – и сквозь него, во внутренний сад, направо, вдоль стены флигеля, и вверх, вверх, по полутемной лестнице с высокими ступенями, одна за три, ключ – в дверь, в свою комнату-одиночку, где редкие уцелевшие красивые вещи из прошлого лишь подчеркивают запустение и убожество быта. Но и отсюда Пунин упорно просит ее уехать.

Те немногие друзья и знакомые Ахматовой, которые не отвернулись от нее, вспоминают надломленность, беспомощность, «притюремную обстановку» ее жилья. И произвольные стоны: «Лева, Лева...» А за стеной – вопли: у соседей, в подселенной в пунинскую квартиру рабочей семье Смирновых, веревкой воспитывают детей. Достоевщина. «Помойная яма коммунальной квартиры», по выражению Лидии Чуковской. За одной стеной – женский крик и плач ребенка, за другой – смех новой подруги Николая Николаевича.

– А вот этикие наслоения жен, – кивнула как-то на стенку Анна Андреевна, – это уже совсем чепуха!

И кажется иногда – только друзья-деревья за окном еще с ней, тянут ветви навстречу, шумят листвою о чем-то вечном.

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случилось с жизнью твоей –
Как трехсотая, с передачей,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезой горячею
Новогодний лед прожигать.

.

(«Реквием»)

Дополнительное расследование растянулось на полгода и ничего не дало. Студенты-историки вину свою отрицали и объясняли, что в показаниях на следствии оговорили себя под «моральным и физическим воздействием». Были допрошены девять свидетелей, которые тоже ничего нового сообщить не могли.

Переполненная камера в Крестах. Душно и тесно. Лева с друзьями спят под нарами, впритык друг к другу, на голем асфальтовом полу, подстелив фуфайки вместо матраса. Впереди – неизвестность, время уходит, жжет нетерпение – действовать, творить! В одну из таких мучительных ночей приходит озарение, вот как сам Лев Гумилев рассказал об этом, может быть, самом важном событии в своей жизни:

«...У меня возникла мысль о мотивации человеческих поступков в истории. Почему Александр Македонский шел в Индию и Среднюю Азию, хотя явно там удержаться не мог и грабить эти земли не мог, не мог доставить награбленное обратно к себе, в Македонию, и вдруг мне пришло в голову, что его что-то толкало, что-то такое, что было внутри него. Я назвал это “пассионарность”... Так мне открылось, что у человека есть особый импульс. Это не просто стремление к иллюзорным ценностям. Я, кажется, сделал открытие...»

В ту ночь он долго не мог заснуть, все ворочался на фуфайке, сползая на жесткий асфальт. Необычайный восторг, мысли – далеко. Эврика! Он сделал открытие, которое перевернет научные представления. И никто из специалистов еще не подозревает об этом! И нельзя даже записать – ни бумаги, ни карандаша! Запомнить, развить! Одной интуиции мало, нужны доказательства.

– Подъем! – Тюрьма возвращает в реальность.

Так возникла у младшего Гумилева, в самом первоначальном виде, в зародыше, идея его будущего учения – этнологии, науки о естественных закономерностях рождения и

гибели народов. Пройдет тридцать лет, большей частью – в тюрьмах, лагерях, на фронте, на грани выживания, но в непрестанном, неудержимом научном поиске, прежде чем появится рукописный труд – «Этногенез и биосфера Земли». Еще через десять лет этот труд будет издан, пробьется к читателю – и станет бестселлером, породит целую школу, новое направление, вызовет бурю споров, вплоть до сегодняшних дней. Всех поразит резкая новизна, смелость мысли, живость языка – поэт в науке, балансирующий на границах различных дисциплин, эпох, народов, гипотез и не побоявшийся сделать шаг в неведомое, будет принят в штыки и вызовет озлобление в советской ученой среде, окостеневшей от бюрократизма и идеологической зашоренности. И в этом Лев Гумилев оказался достойным сыном своего отца – тот тоже говорил: «Я привык смотреть на академиков как на своих истонных врагов».

Однажды в камеру принесли бумажку – на подпись. Лева прочел:

*Выписка из протокола Особого Совещания
при НКВД СССР от 26 июля 1939*

Слушали: дело Гумилева Льва Николаевича...

*Постановили: Гумилева Льва Николаевича за участие
в антисоветской организации и агитацию заключить в ИТЛ
сроком на 5 лет, считая срок с 10 марта 1938 г.*

Та же участь ожидала и Нику Ереховича, и Тадика Шумовского – пять лет лагеря – такой срок был тогда детским и мог считаться большой удачей.

Тут друзья расстаются – их развезут в разные стороны.

Крестник последнего царя умрет в центральной лагерьной больнице на Колыме 28 декабря 1945-го, в возрасте 32 лет, и будет реабилитирован посмертно через тридцать лет.

Книгу «История лошади на Древнем Востоке» мы никогда не прочтем.

Теодор Шумовский, отсидев свой срок, вернется к науке, станет аспирантом своего учителя, крупнейшего арабиста, академика Крачковского, за преданность которому пострадал. В прошении о реабилитации Шумовского тот писал, что его ученик «делает переводы научных работ по арабистике с трех западноевропейских языков, переводит уникальные рукописи с арабского, издание их явится значительным событием в науке». К Крачковскому присоединились еще два академика – Струве и Сергей Вавилов.

Вместо реабилитации последовал новый арест – в 1949-м. И причиной стали стихи Шумовского, изъятые у него, как сказано в обвинительном заключении, «негласно», то есть, попросту говоря, выкраденные. В рукописном сборнике «Лестница к солнцу» нашли клевету на Сталина и призывы к свержению власти и, «принимая во внимание, что... анти-советская деятельность подтверждается только агентурными материалами», наказали – десятью годами лагерей.

В хрущевскую «оттепель» Теодор Шумовский, замурованный в сибирском лагере, снова оттаивает и превращается из зэка в ученого, сотрудника Института востоковедения Академии наук. Он станет доктором исторических наук, автором десятков научных работ и мемуаров «Путешествие на Восток. Проза и поэзия пережитого». Последний его труд, по словам самого автора, зарождает совершенно новую науку «орксологию» и называется многообещающе – «О слове как источнике восстановления истории».

Путь Льва Гумилева из Крестов лежал на Север, в зону вечной мерзлоты. Норильский этап отправлялся в конце августа – месяц, для Ахматовой всегда страшный, приносящий несчастья. Перед отправкой ей разрешили проститься с сыном. Спешно раздобывала ему теплые вещи – целый

мешок, аккуратно выгладила белое платье, подкрасила губы. И опять целый день – пытка очередью, в пыльном дворе, на дикой жаре, от железной дороги несет сажу – пот течет по лицу черными каплями.

Лева предстал перед ней в франтоватом виде, с каким-то чужим шарфом на шее – чтоб не пугать мать и казаться красивее.

– Мамочка, я говорил, как Димитров, но никто не слушал, – рассказывал он о заседании Военного трибунала.

А на прощанье даже процитировал Блока: «Я не первый воин, не последний, долго будет родина больна».

Но разве скроешь что-нибудь от матери? Не мог он не стоять в глазах, немой вопрос: что впереди, увидимся ли?

Возвращаясь с отеками ногами, сняла туфли и через Дом занимательной науки шла в чулках...

Лидия Чуковская вспоминает: «В те годы Ахматова жила, замороженная застенком, требующая от себя и от других неотступной памяти о нем, презирующая тех, кто вел себя так, будто его и нету». Она чувствовала, что ходит по краю пропасти, старалась быть осторожной. Учла печальный опыт Мандельштама – берегла стихи в памяти и делилась только с особо доверенными людьми, такими как Чуковская. Произносила для посторонних ушей что-нибудь вроде «Хотите чаю?», а сама брала клочок бумаги, быстро исписывала и, когда собеседница запоминала, тут же сжигала бумажку в печке или пепельнице – этот обряд вошел у нее в обычай.

Между тем эйфория вокруг имени Ахматовой продолжалась, оно, имя, как бы жило своей жизнью, независимо от нее. 5 января 1940-го Ахматову торжественно приняли в Союз писателей. Заговорили о предоставлении ей квартиры. В мае вышел в свет ее сборник «Из шести книг», пусть в обескровленном виде, без самого насущного, но объемистый, в твердой обложке и, главное, впервые после долгого запрета. Грандиозный успех. Тираж разошелся мгновенно. Крупней-

шие писатели – Алексей Толстой, Шолохов, Пастернак, при поддержке главы Союза писателей Фадеева, задумали выдвинуть автора на Сталинскую премию. Ахматовой – Сталинскую премию? Что-то тут было не так, такого не бывает...

Вдруг взяли и поставили ограду в ее любимом Шереметевском саду, под окнами, разлучили с друзьями – липами и дубами.

– Как жаль, что ваш садик оградили, – посочувствовала Лидия Чуковская.

– Да, очень. Николаю Николаевичу дали билет туда, а мне нет.

– Это почему же?

– Все потому же. Он человек, профессор, а я кто? Падаль.

Управдом на просьбу заверить ее подпись требует расписаться дважды, еще и на чистом листке. Совсем как сержант Бархударьян.

– Вы что, хотите продать мой автограф? – спрашивает она.

А он в ответ:

– Вы, кажется, когда-то были писательницей?..

И Двор Чудес, как она называла советскую жандармерию, бдит за ней неусыпно. Кольцо шпиков и доносчиков смыкается все теснее – видно невооруженным взглядом, уже и внутрь дома проникли. Кто-то листает ее тетради, письма, книги. Проверила – положила волосок – глянь, а его уже и нет.

– Я сама оплачиваю своих стукачей, – вырвалось у нее в присутствии Чуковской.

Она ни на день не забывала о Леве. И делала все, что могла. В августе поехала в Москву, была у Фадеева, от него – в Прокуратуру. Эмма Герштейн, сопровождавшая ее, видела, как очень скоро прокурорская дверь распахнулась, вышла Ахматова, а следом за ней на пороге вырос маленький,

злобно орущий человек в мундире. И Ахматова невидяще ринулась от него по коридору в поисках выхода.

Она не обольщалась – ждала удара. И он последовал.

Начали, как всегда, с газетного лая, критики. И вот уже заработала тяжелая артиллерия. Управделами ЦК ВКП(б) Крупин подает записку секретарю ЦК Жданову «О сборнике стихов А. Ахматовой» с предложением изъять его из распространения. И получает резолюцию: «Как этот Ахматовский “блуд с молитвой во славу божью” мог появиться в свет? Кто его продвинул?»

И вот 29 октября секретариат ЦК выносит постановление «Об издании сборника стихов Ахматовой». Издателей – наказать. Усилить политический контроль за литературой. «Книгу Ахматовой изъять».

Правда, изымать-то было уже поздно – книгу раскупили мгновенно.

«Я поэт 1940 года», – сказала Ахматова в одной из поздних записей. «Принявшая опыт этих лет – страха, скуки, пустоты, смертного одиночества, в 1936-м я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому. А жизнь приводит под уздцы такого Пегаса, который чем-то напоминает апокалипсического Бледного Коня... 1940-й – апогей. Стихи звучали непрерывно, наступая на пятки друг другу, торопясь и задыхаясь». Действительно, в это страшное время Муза Ахматовой обретает второе дыхание, она создает стихи, составившие позже «Венок мертвым» – памяти Пильняка, Мандельштама, Булгакова, Цветаевой, антисталинские «Стансы», поэму «Путем всея земли» («Китежанка»), начинает эпос «Поэмы без героя». И, конечно, «Реквием». Стихи, узнай о них власть, «достойные» смертного приговора.

Ее Муза поднимает личную трагедию и трагедию сына до уровня общенародной и даже мировой трагедии библейских масштабов.

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене...»
(«Реквием»)

Полумонахиня-полублудница

Она встретилась с сыном только через шесть лет, 14 ноября 1945-го. И вернулся он не из северного лагеря, а из Берлина, победителем. Нет, срок свой он оттрубил полностью, от звонка до звонка, в Норильлаге. И еще, поскольку на «материк» не отпускали, поработал в геологической экспедиции в тайге, но оттуда запросился на фронт и успел повоевать – рядовым в зенитной артиллерии.

Ахматова тоже воевала, хотя жила в эвакуации, в далеком Ташкенте, – своими стихами, пробуждающими мужество и волю к победе. Эти стихи, в отличие от потаенных, звучали на всю страну: печатались в газетах, передавались по радио, она читала их в госпиталях раненым бойцам. Ее общественный статус укрепился, круг читателей расширился. Что, впрочем, не усыпило бдительного внимания к ней наших жандармов: дело оперативной разработки продолжало распухать и в Ташкенте.

После прорыва блокады Ленинграда Ахматова возвращалась в свой город. Это один из редких моментов, когда знакомые видели ее почти счастливой. Ехала – «к мужу», Владимир Георгиевич Гаршин писал ей всю войну, заверял, что ждет, готовит гнездо – отдельную квартиру. Увы, уже на перроне вокзала ее ожидал удар: оказалось, никакого гнезда у них нет, больше того, профессор вообще не готов к совместной жизни с роковой женщиной. И этот, по всей видимости, последний роман Ахматовой кончился печально. Не суждена ей была счастливая любовь.

В конце концов она снова поселилась в Фонтанном доме, в той же квартире, рядом с прежним мужем и семьей его дочери Ирины. Теперь Ахматовой уже по праву, согласно ордеру, выданному Союзом писателей, принадлежали здесь две комнаты. Так что у Левы тоже появилась надежная крыша над головой. Казалось, все самое тяжелое – позади.

Но передышка окажется короткой. Судьба готовила новый удар. 16 ноября, то есть всего через два дня после возвращения сына, на Фонтанку нанес визит неожиданный заморский гость. Если бы знала Ахматова, навстречу какой беде и каким испытаниям она открывает дверь!

Гостя звали Исайя Берлин. Он приехал в Советский Союз из Англии с дипломатической миссией и, попав в Ленинград, откуда был увезен в эмиграцию еще подростком, и будучи гуманитарием в широком смысле этого слова, филологом и философом, не мог отказаться от случая встретиться с легендарной Ахматовой.

Встреча ошеломила Берлина. Ахматова испытала на нем всю свою магию, так что он не отошел от этих чар до конца жизни. «Беседа длилась много ночных часов, – вспоминал он. – И можно ли это назвать беседой? Произносились ли слова или в них не было надобности? Шло ли дело о смерти или о поэзии, тоже не совсем ясно. Несомненно одно: в этом участвовало все мое существо с той полнотой, о которой я сам до той ночи не имел понятия».

Встреча эта стала важным событием и для Ахматовой – и по тому, какое почти эпохальное, метафорическое значение придавала ей сама Анна Андреевна, посвятившая своим переживаниям, связанным с гостем из другого мира, два цикла стихотворений, и по тому, какой обвал событий, уже всесоюзного масштаба, это за собой повлекло.

Несколько забегаая вперед, скажем, что визит англичанина и последствия его самым непосредственным образом

сказались и на судьбе сына Ахматовой. Арестованный через четыре года как «повторник», за прежние «преступления», он подвергнется жестокому дознанию о встрече его матери с Берлином. Из протокола ночного допроса с 9 на 10 июня 1950-го:

В о п р о с. Иностранцы бывали у вас в квартире?

О т в е т. В конце 1945 – начале 1946 года нашу квартиру в Ленинграде трижды посещал сотрудник английского посольства в Москве Берлин.

В. С какой целью?

О. Первый раз Берлин приходил к нам в квартиру вместе с представителем Союза советских писателей Орловым с целью познакомиться с Ахматовой как известной в Англии поэтессой. Я присутствовал при этой встрече и слышал, как Берлин восторгался творчеством Ахматовой и давал понять, что стихи ее в Англии якобы очень популярны. Берлин рекомендовался профессором Оксфордского университета и льстиво заявил моей матери: «В Оксфорде мне не простили бы, если бы узнали, что я был в Ленинграде и не зашел к вам».

В этот раз Берлин был у нас очень недолго – примерно 10–15 минут и вторично пришел к нам в тот же день вечером.

В. С кем?

О. На этот раз Берлин был у нас один, без сопровождающего. Он сидел у нас примерно до пяти часов утра. В это время у моей матери были гости, ее знакомые: Островская Софья Казимировна – майшинистка и Оранжерева Антонина Михайловна – библиотекарь, которые принимали участие в нашем общем разговоре.

В. О чем вы беседовали с Берлином?

О. Длительная беседа с Берлином в этот раз касалась многих вопросов: музыки, истории, философии, литературы,

Оксфордского университета, американского быта и т. д. На политические темы разговоров не было, вопросы внутреннего положения Советского Союза также не затрагивались.

Третий раз Берлин посетил нашу квартиру в начале 1946 года перед своим отъездом в Англию. Задержался он у нас опять очень долго. Беседовал с Ахматовой при мне и без меня, наедине. Перед уходом Берлин обещал «сделать рекламу» Ахматовой как поэтессе за границей.

В. Как отнеслась Ахматова к этим визитам Берлина?

О. Ахматова осталась довольна встречами с Берлином, была польщена визитами к ней англичанина.

На самом деле допрос проходил, конечно, не столь академично и пристойно, как это выглядит на равнодушной бумаге. Лев Николаевич вспоминал, что следователь Лефортовской тюрьмы, схватив его за волосы, бил головой о стену и требовал признаний о шпионской деятельности Ахматовой в пользу Англии. Гумилева мучило, что он как-то недостаточно уважительно отозвался тогда о матери. Может ли человек в таких условиях вообще отвечать за свои слова?

Что прервало первое свидание Берлина с Ахматовой, стоило ли приходить ради десяти–пятнадцати минут? Об этом рассказал в своих воспоминаниях сам сэр Исайя Берлин. Оказывается, в тот момент, когда они с Анной Андреевной только разговорились, из-под окон, со двора Фонтанного дома, раздался крик:

– Исайя! Исайя!..

Опешивший англичанин узнал голос своего приятеля – это был не кто иной, как Рандольф Черчилль, сын британского лидера! Черчилль – у Ахматовой!!! Есть от чего опешить.

В ужасе Берлин бросился на лестницу, вниз, чтобы унять приятеля, увести его подальше. Но было уже поздно.

Можно не сомневаться, что Черчилль всюду водил за собой хвост, и наверняка пушистей, чем за Берлином, – Большой дом знал о каждом его шаге.

Вечером того же дня англичанин был у Ахматовой тоже не один, при сем присутствовали две дамы-приятельницы. По крайней мере, одна из них – Софья Казимировна Островская – чекистская осведомительница, из числа самых эффективных, и, конечно же, дала отчет обо всем, во всех подробностях. Даже сообщила, что знатный англичанин признался Ахматовой в любви. Гэбэшный генерал Калугин «донес» нам, уже после перестройки, обо всем этом и привел еще две тайные подробности из жизни Ахматовой: оказывается, сразу после визита иностранца в ее комнате было установлено подслушивающее устройство, а агентурное досье возобновлено уже с более устрашающей окраской – шпионаж (потом это обвинение отпадет само собой, как уж чересчур вздорное).

Вот к чему приводит неосторожная любовь к русской литературе!

Самое интригующее в этом детективе то, что Ахматова прекрасно знала о слежке за ней и даже иногда сама ее корректировала и направляла в нужное русло. О подслушке стало известно сразу: техника была столь допотопна, а чекисты орудовали так неуклюже, что штукатурка с потолка сыпалась. Ахматова ее собирала и показывала гостям. Если она и раньше говорила шепотом, кивая на стены, то теперь, показывая на потолок, и вовсе замолкала, чуть разговор отвлекался от бытовых или нейтральных тем. В крайнем случае, писала что-то на бумажке и потом, по установившемуся ритуалу, чиркала спичкой – сжигала над пепельницей или бросала в печь. Один из секретных осведомителей докладывал: «Ахматова уверена, что у нее в комнате спрятаны микрофоны, она даже проверяла спицей дырки в потолке. «Зачем это, – говорила она, – все так у нас выдрессированы,

что никому в нашем кругу не придет в голову говорить крамольные речи. Это – безусловный рефлекс. Я ничего такого не скажу ни в бреду, ни на ложе смерти».

И осведомителей своих она проницала, воспитывала и даже пасла, справедливо полагая, что лучше быть в окружении интеллигентных и предсказуемых, чем иметь дело с совсем уж дикими крестинами. Научилась говорить при них патриотические речи, как бы диктуя доносы на себя. И те образцы этого жанра, которые спас от забвения генерал Калугин, в большинстве своем вполне «вегетарианские», больше того, даже в ее пользу. Отчасти, конечно, потому, что ничего преступного она и в самом деле не творила, но еще и по причине высокого интеллектуального уровня доносчиков из ее свиты, сохраняющих если не любовь, то, во всяком случае, пиетет к ее поэзии.

А некоторые из доносов содержат такие ахматовские перлы, которые достойны навсегда остаться в ее биографии и в истории нашей словесности.

– Люди, связанные с искусством слова, должны жить в стране этого живого слова.

– Поэзии в Америке никогда не было, а в Англии она кончилась после Байрона. Поэзия была и есть только в России. Вот почему я осталась в России.

– Союз писателей – это идиотский детдом, где всех высекли и расставили по углам. Девочка Аня не хочет играть со всеми и кушать повидло.

– Дикость русских и их терпение перебили культуру немцев в войне.

– Участь русской поэзии – быть на нелегальном положении.

– Кино – театр для бедных...

А психологический портрет Ахматовой, созданный пером польки-переводчицы Софьи Казимировны Островской для Большого дома, пригодится и потомкам:

«Знакомств у Ахматовой множество. Близких друзей нет. По натуре она – добра, расточительна, когда есть деньги. В глубине же холодна, высокомерна, детски эгоистична. В житейском отношении – беспомощна. Защитить чулок – неразрешимая задача. Сварить картошку – достижение. Несмотря на славу, застенчива... Заботится о чистоте своего политического лица, гордится тем, что ею интересовался Сталин. Очень русская. Своим национальным установкам не изменяла никогда. Стихами не торгует. Дом писателей ненавидит как сборище чудовищных склочников. Хорошо пьет и вино, и водку».

– Оказывается, наша монахэня принимает визиты от иностранных шпионов? – такой была реакция Сталина на встречу Ахматовой с англичанином. И далее вождь извергнул отборнейшую брань, продемонстрировав глубокое знание русского языка.

Об этом рассказала Берлину сама Ахматова через двадцать лет, в Оксфорде, а он, в свою очередь, оставил письменное свидетельство. Да, да, Сталин «разразился по адресу Ахматовой набором таких непристойных ругательств, что она вначале даже не решилась воспроизводить их в моем присутствии».

«Конечно, – продолжала она, – к тому времени старик уже совершенно выжил из ума. Люди, присутствовавшие при этом взрыве бешенства по моему адресу (а один из них потом об этом мне рассказывал), нисколько не сомневались, что перед ними был человек, страдающий патологической, неудержимой манией преследования».

Кто тот очевидец, который рассказал об этом Ахматовой? Может быть, один из писателей – участников расширенного заседания Оргбюро ЦК ВКП(б) 9 августа 1946 года, заседания, на котором обсуждалась работа журналов «Звезда» и «Ленинград»? Сталин тогда проехался по поводу Ахматовой (приводим по стенограмме):

– Анна Ахматова, кроме того, что у нее есть старое имя, что еще можно найти у нее? Одно-два-три стихотворения – и обчелся, больше нет. Тогда пусть печатается в другом месте где-либо, почему в «Звезде»?

Ему отвечал глава Ленинградской писательской организации Александр Прокофьев – и подлил масла в огонь:

– Должен сказать, что то, что мы отвергли в «Звезде», печаталось в «Знамени».

– Мы и до «Знамени» доберемся, – пообещал Сталин, – доберемся до всех...

Вождь был явно не в духе и мог употребить непечатные выражения, которые, естественно, остались за пределами стенограммы.

Есть еще версия, почему он расвирепел. В апреле того же года Ахматова выступила, вместе с Пастернаком, в Колонном зале – величественная, в черном платье и белой шали с кистями – опальная царица поэзии! – и москвичи устроили бурную овацию, аплодировали стоя, требуя все новых стихов, долго не отпускали. Что за демонстрация – в центре Москвы? Только одного человека в Советском Союзе положено было так приветствовать.

– Кто организовал вставание? – требовал объяснений Сталин.

Так рассказывала Ахматова. Вполне возможно, что она только художественно воспроизвела сталинскую реакцию на себя, хотя суть уловила верно: как еще он мог отреагировать, если бы ему доложили о несанкционированных встречах с британским дипломатом (считай, агентом разведки!) и о заведенном досье со шпионской «окраской», да вдобавок еще о таком триумфальном явлении народу?

Во всяком случае, меры после этого были предприняты беспрецедентные: Ахматову, по существу, обрекли на публичную, гражданскую казнь. Уже через пять дней, 14 августа – опять злополучный август! – было принято знаменитое

Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое открыло пропагандистскую вакханалию, определило целый период нашей идеологической и культурной политики. Мишенью были выбраны два писателя – прозу представлял Михаил Зощенко, поэзию – Анна Ахматова.

Ей вынесен настоящий приговор, в стиле и слогe карательных органов: «Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, – “искусства для искусства”, не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе». Окаменевший, мертвый набор клише.

Конечно, для Сталина кампания эта была поводом и способом еще раз поставить интеллигенцию на колени, показать, что он может сделать с нею в случае непослушания. А волю хозяина страны доводил до рядовых умов идеологический жрец Андрей Андреевич Жданов, слывший среди партийных бонз интеллектуалом. И он тоже намеренно применял в своих докладах площадной язык, понятный черни, клеймя Ахматову «полумонахиней-полублудницей», а ее поэзию – «хламом».

Для нее все это означало полное отлучение от общества и официальной литературы. Домашний арест. «Ко мне пришел некто, – вспоминала она, – и предложил один месяц не выходить из дома, но подходить к окну, чтобы меня было видно из сада. В саду под моим окном поставили скамейку, и на ней круглосуточно дежурили агенты... Таким образом, мне была предоставлена возможность присутствовать не только при собственной гражданской смерти, но даже как бы и при смерти физической».

Обложили со всех сторон. Да она и сама отгоняла от себя людей, чтобы не подвергать их опасности. В проходной Фонтанного дома – теперь там разместился Арктический институт – всех гостей Ахматовой фиксировали и бесцеремонно расспрашивали:

– Долго ли пробудете? – Или: – Почему так поздно?

Когда она выходила на улицу, со ступенек на набережной Фонтанки неизменно поднимался «топтун» и следовал за ней. А пока отсутствовала, в ее комнате, убеждалась не раз, тайные гости рылись в вещах и рукописях. То, что у нее действительно периодически проводились негласные обыски, подтвердил уже в наши дни генерал КГБ Калугин.

После такой «казни постановлением» Ахматову исключили из Союза писателей, лишили продовольственных карточек. Тиражи двух ее, уже отпечатанных книг пошли под нож. Спасала только помощь друзей, рисковавших своим положением, а иногда и жизнью.

Одно из агентурных сообщений из ее досье гласило:

«Объект, Ахматова, перенесла Постановление тяжело. Она долго болела: невроз, сердце, аритмия, фурункулез. Но внешне держалась бодро. Рассказывает, что неизвестные присылают ей цветы и фрукты. Никто от нее не отвернулся. Никто ее не предал. “Прибавилось только славы, – заметила она. – Славы мученика. Всеобщее сочувствие. Жалость. Симпатии. Читают даже те, кто имени моего не слышал раньше. Люди отворачиваются скорее даже от благосостояния своего ближнего, чем от беды. К забвению и снижению интереса общества к человеку ведут не боль его, не унижения и не страдания, а, наоборот, его материальное процветание”, – считает Ахматова. “Мне надо было подарить дачу, собственную машину, сделать паек, но тайно запретить редакциям меня печатать, и я ручаюсь, что правительство уже через год имело бы желаемые результаты. Все бы говорили:

“Вот видите: зажралась, задрала нос. Куда ей теперь писать? Какой она поэт? Просто обласканная бабенка. Тогда бы и стихи мои перестали читать, и окатили бы меня до смерти и после нее – презрением и забвением”».

За все приходилось платить непомерную цену. Раскрылись, разоткровенничались в майскую вечеринку 35-го – сокрушительный удар; доверилась, отвела душу с Исайей Берлином – еще удар, да такой, чтоб не забыла до конца жизни. Все в ее судьбе взвешивалось на весах истории – каждый шаг, каждый жест, каждое слово; за величие и славу надо было платить – потерей близких, травлей, нищетой, страданием и одиночеством. Платить э т о й жизнью за право жить вечно.

Вы меня, как убитого зверя,
На кровавый подымете крюк,
Чтоб, хихикая и не веря,
Иноземцы бродили вокруг
И писали в почтенных газетах,
Что мой дар несравненный угас,
Что была я поэтом в поэтах,
Но мой пробил тринадцатый час.

Не теряйте отчаяния!

26 августа 1949-го чекисты снова нагрянули в квартиру 44 дома 34 на Фонтанке. На этот раз – за Пуниным. Дома, кроме него, была в тот момент только Ахматова. Опять август! Пунин будто предчувствовал свой арест, говорил, кивая на окна:

– Они прячутся там, за деревьями...

– Главное, не теряйте отчаяния! – сострил горько на прощание, больше она его никогда не увидит.

Маститого искусствоведа взяли как «повторника», в постановлении на арест перечислен весь вздор из старого

дела. Добавлена только газетная характеристика: апологет формализма, преклонялся перед буржуазным искусством Запада и заявлял, что «русское, тем более советское изобразительное искусство является лишь жалким подражанием живописи европейских стран». Набор идеологических ярлыков, списанных слово в слово из партийных постановлений о борьбе с низкопоклонством перед Западом, либерализмом, формализмом, космополитизмом и прочими нехорошими измами в советской культуре. Уже и это стало уголовно наказуемым деянием!

Под грубым давлением, запугиванием, а возможно, и пытками Николай Николаевич если и не терял отчаяния, то сил к сопротивлению лишился и стал орудием в руках следствия. Послушно подписывал все, что совал ему следователь.

Опять на разные лады он вынужден повторять две злополучные истории, в которых был главным героем: «Убивали и убивать будем» и «“Пшик” – и нет нашего Иосифа!» – в конечном счете, они будут стоять ему жизни, ибо ничего преступнее он никогда не совершал. Заставили подробно исповедоваться, по-своему дополняя и акцентируя в протоколах допросов. Все же какие-то крупинки правды проблескивают и в этой серой, монотонной казенщине. Признаваясь, что он был убежденным сторонником левого искусства, Пунин так объяснил крушение своих взглядов:

Большое значение для нас имела преждевременная смерть Маяковского. Мы расценивали ее не только как результат личной драмы, но и как следствие нажима на его творчество со стороны сторонников правого искусства. В семье писателя Брикова...

Так называет следователь Осипа Брика!

...с которой я был близко связан, смерть Маяковского тоже расценивалась как наступление справа, как резуль-

тат художественной политики правительства... Я заявлял, что русскому искусству и русскому художнику нечем и не для кого жить. По-моему, они, художники, полностью деморализованы, потеряли совесть, чтобы говорить об искусстве, о качестве, а лишь можно слышать жалобы на то, что их никто не ценит и не покупает, т. е. «нечем жить». Происходит что-то такое, от чего творчество даже признанных, всеми уважаемых художников безжизненно и сдавлено.

Пунин в своей позиции не одинок, так же критически были настроены его единомышленники – писатель Борис Пильняк или режиссер Всеволод Мейерхольд, который жаловался ему на притеснения и расценивал их как вылазку мещанина-обывателя. И вот результат – проработки на собраниях и травля в газетах привели его, профессора Пунина, к изгнанию из Академии художеств и университета и даже за решетку... Великое русское наследие и соцреализм он не отрицал и советское искусство не дискредитировал.

Однако следствие парировало все возражения, подшив к делу целую подборку вырезок из газет с ругательными статьями – как доказательства вины. Газетный лай эхом копирует лай следователей и наоборот: «один из главарей антипатриотических отщепенцев», «проповедник реакционной идейки искусства для искусства», «лжекритик», «буржуазный эстет», «вздорный клеветник», «открытый и злобный враг реалистического искусства».

Был допрошен и дал обвинительные показания и главный противник Пунина на художественном фронте – официальный начальник ленинградских художников, лауреат Сталинской премии, автор многочисленных полотен о вождях революции – В.А. Серов. Борьба не на жизнь, а на смерть – Серов с праведным гневом клеймит этого махрового реакционера, формалиста и космополита и приводит вредные

пунинские фразы из его учебника «История западноевропейского искусства»: «Футуризм – это поправка к коммунизму», «Реализм и бездарность – это одно и то же», «Форма – уже достаточное содержание для искусства»...

Интересно, что многие друзья Пунина, революционеры в искусстве, апологеты новизны, зачисляли Ахматову в консерваторы, в антиквариат. Живое воплощение классики не узнается в лицо. «Со мной дело обстоит несколько сложнее, – писала Ахматова Лидии Чуковской. – Кроме всех трудностей и бед по официальной линии (два постановления ЦК), по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие... Я оказалась довольно скоро крайне правой (не политически). Левее, следственно новее, моднее были все: Маяковский, Пастернак, Цветаева. Салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув слегка припахивающее доносом обвинение во внутренней эмиграции».

В деле № П-22763, заведенном на Пунина, есть и материалы об Ахматовой и ее сыне. Протокол допроса 22 сентября. Пунина заставили подписаться под ответом на каждый вопрос.

Вступив с Ахматовой в брак, я сразу же в ее лице увидел человека, который враждебно настроен к Советской власти и открыто высказывает эти взгляды лицам, которые его окружают. Помню, в то время в одном из своих стихотворений под словом «враги» Анна Ахматова, подразумевая большевиков, писала: «Не с теми я, кто землю бросил на растерзание врагам». Эта цитата наглядно показывает ее политические взгляды того времени.

Примерно в период 1925–1930 гг. квартиру Ахматовой часто посещали писатели Замятин, Мандельштам, литературный работник А.Н. Тихонов, поэт Пастернак, критик Щеголев и др. лица, фамилии которых я сейчас не помню. Все эти лица на квартире Ахматовой вели откры-

тые антисоветские разговоры, подвергая критике те или иные мероприятия Советской власти. Отдельные из них, как Мандельштам, читали свои антисоветские стихотворения с клеветой на Вождя советского народа.

В конце концов все обвинения, предъявленные Пунину, он «признал», назвал Ахматову и Льва Гумилева своими сообщниками, подписал показания об их антисоветской деятельности. И осуждать его за это мы не вправе. Так поступали почти все жертвы сталинской карательной машины. В нечеловеческих условиях человек уже не может отвечать за свои поступки – «против лома нет приема».

За грехи перед Советским государством Пунину было уготовано наказание, равносильное расстрелу: «25 лет» – вписала чья-то недрогнувшая рука. Особое совещание при МГБ СССР, решавшее его судьбу 22 февраля 1950-го, все же смягчило кару – до десяти лет и предписало – в Минеральный лагерь. Но вместо лагеря он очутился в Москве, на Лубянке, потом в Бутырской тюрьме. Там, в камере № 83, он написал заявление, сохранившееся в деле, – документ столь же трагический, сколь обличающий бесчеловечную власть. Объявленный «безродным космополитом» русский ученый, профессор, уже за шестьдесят лет, вдребезги больной, после изматывающего дознания – пишет следователю:

«Прошу Вас разрешить мне свидание с женой Мартой Андреевной Голубевой... в частности, так как в виду болезни мочевого пузыря (недержание мочи) мне совершенно необходимо, чтобы жена доставила мне резиновый или пластиковый прибор, чтобы мне не просыпаться ночью в мокрой постели».

И лаконичная приписка на заявлении: «Отказано».

Почему же Пунина сразу не отправили в лагерь? Объяснение может быть только одно: он еще нужен. Тюрьма

готовилась проглотить птицу покрупнее. Уже 23 ноября принято постановление: выделить из дела Пунина «материалы в отношении преступной деятельности Ахматовой А.А.» и направить в оперативный отдел «для дополнительной проверки».

Есть там, в отдельном пакете, и другой документ:

Справка

Ахматова А.А... разрабатывается 5-м отд. УМГБ Ленинградской обл. по делу-формуляр, в связи с чем она не допрошена в качестве свидетеля по делу Пунина Н.Н.

*Начальник 2 отд. след. отдела УМГБ ЛО л-т Ковалев
24 ноября 1949 г.*

Ясно: ведут интенсивную слежку, готовят арест – потому и не трогают, боятся спугнуть!

Ученые сажали ученых

Лев к тому времени уже снова в тюрьме. Его взяли 6 ноября, накануне великого советского праздника. Зашел домой пообедать, и тут ввалилась тройка чекистов. Изъяли все его рукописи, в том числе подготовленный труд «История срединной Азии в средние века», прихватили и медали – за победу над Германией и за взятие Берлина. Копию протокола вручили Ахматовой, на то есть ее подпись. Перекрестив сына на прощанье, она потеряла сознание. А старший из чекистов, уходя, бросил дочери Пунина Ирине потрясающую фразу:

– Пожалуйста, позаботьтесь об Анне Андреевне, берегите ее...

Придя в себя, Ахматова предала сожжению весь свой архив, включая и ненапечатанные рукописи, уже без разбора и сомнения. Она переживала это как крах всей жизни.

Осквернили пречистое слово,
Растоптали священный глагол,
Чтоб с сиделками тридцать седьмого
Мыла я окровавленный пол.
Разлучили с единственным сыном,
В казематах пытали друзей,
Окружили невидимым тыном
Крепко слаженной слезки своей.
Наградили меня немотою,
На весь мир окаянно кляня,
Обкормили меня клеветою,
Опоили отравой меня.

В послевоенные годы, вплоть до ареста, Лев Гумилев жил очень интенсивно, на пределе сил, стараясь наверстать время, упущенное в тюрьмах и лагерях. Вернувшись в Ленинград после взятия Берлина, он на победном подъеме экстерном закончил университет, поступил в аспирантуру Института востоковедения Академии наук, подготовил к защите диссертацию. Это уже был серьезный, многообещающий ученый с определившимся кругом интересов.

Но тут грянуло злосчастное постановление, ударившее мать и рикошетом – его самого. Льва отчислили из аспирантуры с испорченной характеристикой: «высокомерен, замкнут, не занимался общественной работой, считая ее пустой тратой времени». Рядового аспиранта уволили специальным решением президиума Академии наук. Его даже перестали пускать в библиотеку института!

К делу № П-53030, заведенному на Гумилева при аресте в 49-м, приобщена целая подборка доносов его коллег по научной работе, которые старательно тянули его на дно. Заместитель секретаря партбюро Института востоковедения Салтанов бдит по партийному долгу, заявляет 12 января 47-го:

Гумилев – абсолютно аполитичный человек, мало того, иногда высказывает политически неправильные

мысли. Так, однажды в разговоре со мной он предлагал свой доклад на теоретической конференции на тему «Влияние тактики и стратегии монголов Чингисхана на тактику и стратегию Красной Армии». Гумилев оценивает решение ЦК ВКП(б) по поводу ахматовщины как клевету на его мать и т.д.

Поведение Гумилева нетерпимо, и прошу Вас вмешаться в это дело.

А вот кандидат филологических наук, ученый секретарь сектора монгольской филологии Я. Пучковский – просто завистник и склочник, он явно подсиживает своего более даровитого и яркого коллегу. Донос его, от 20 января того же года, взят в следственное досье Гумилева из дела оперативной разработки, подобного тому, какое велось и на Ахматову.

Л.Н. Гумилев в целом ряде случаев показал, что он ни в какой степени не владеет марксистско-ленинской методологией, что она совершенно чужда ему и его не интересует. Где и когда провел Л. Гумилев столько сезонов археологических работ? Может быть, на исправительно-трудовых работах по рытью котлованов и т.п. в концлагере, где он находился до Отечественной войны?

Будучи человеком в высшей степени хитрым, изворотливым, не брезгающим никакими средствами и приемами для достижения своих целей, Л.Н. Гумилев очень ловко использовал момент защиты Р.Э. Рыгдылоном (весной 1946) кандидатской диссертации, пригласив его устроить небольшой ужин и чаепитие на квартире своей матери А. Ахматовой. Были приглашены и присутствовали академик В.В. Струве и академик С.А. Козин. При этом внимание обоих академиков было обращено главным образом на хозяйку, А. Ахматову, которая читала свои произведения, и на Л.Н. Гумилева, которого академик В.В. Струве превозносил

до крайней степени. С.А. Козин не мог не соглашаться. Очень хитро задуманный «вечер» имел целью укрепить дружеские отношения и покровительство обоих академиков «Левушке», который на этом «вечере» был подлинным героем дня, а вовсе не диссертант, сидевший на противоположном конце стола, вдали от академиков, хозяйки дома и «Левушки», поместившихся вместе на другом конце. Несомненно, что успех «Левушки» был полный, диссертант же мало кого интересовал.

Необходимо разъяснить доверчивым товарищам «научную» и всякую иную сущность Л.Н. Гумилева. Единственным выходом является отчисление Л.Н. Гумилева из аспирантуры.

Сам Лев Гумилев определил путь на свою «третью Голгофу» кратко:

– Ученые сажали ученых!

Нормальную характеристику для защиты диссертации Лев получил... в сумасшедшем доме, библиотекарем которого он устроился. И пошел с этой бумажкой в альма матер, к ректору университета профессору Вознесенскому.

– Итак, отец – Николай Гумилев, мать – Анна Ахматова. Ясно! – быстро сообразил тот. – Работу я вам предложить не могу. А вот диссертацию – прошу, защищайтесь! В час добрый!

Защита тоже проходила драматично. Оппонент Гумилева, «заслуженный деятель киргизской науки» Бернштам обвинил его в незнании марксизма и восточных языков. Возражая, Лев заговорил по-персидски – Бернштам не ответил. Лев перешел на тюркский – снова молчание.

– Так кто же из нас лучше знает восточные языки? – спросил Лев.

Результат голосования: пятнадцать из шестнадцати – «за»!

Он еще успел получить желанную работу – место старшего научного сотрудника Музея этнографии народов СССР. Дела пошли в гору. И тут все оборвалось – арест.

На сей раз Льву был оказан «почетный» прием, он был тут же переправлен в столицу, в Лефортовскую тюрьму, в распоряжение следственной части по особо важным делам. В постановлении на арест, составленном задним числом только 14 ноября 49-го и утвержденном министром ГБ Абакумовым, сын Ахматовой изобличался в том, что, «будучи врагом Советской власти, в течение длительного времени проводил подрывную работу». Другими словами, просто продлевался прежний срок – кроме старых обвинений, по существу, ничего предъявлено не было.

Как вспоминал Лев Николаевич, следователь, майор Бурдин, насмешливо спрашивал:

– Ну, Гумилев, на что ты надеешься? В какой вине ты хотел бы сам признаться? – предполагалось, что с такой фамилией человек в Советском Союзе обречен.

Впрочем, теперь сыну приходилось отвечать не только за отца, но и за мать. Не было ни одного допроса, на котором о ней не заходила бы речь. А когда подследственный не хотел подписывать сфабрикованный протокол, Бурдин предупреждал:

– Будем бить или сна лишим...

И били, «били мало, но памятно», по словам Гумилева. И если в 38-м его били головой о стенку в ленинградских Крестах: «Так ты любишь своего отца, гад!» – то теперь о стенку в московском Лефортове, требовали отречься от матери.

Десятилетиями эти взрослые, крепкие мужики жили в кровавом бреде, посвятили ему жизнь. Верховный кремлевский параноик заражал всю страну – душевной болезнью страха и насилия. Потому и протоколы допросов скорее похожи на сцены для театра абсурда, чем на юридические

документы. Типичный диалог из такой абсурдистской пьесы. Допрос Льва Гумилева. Лефортово, 23 декабря 1949-го. Кабинет майора Бурдина.

В о п р о с. Предъявляем вам письма, изъятые у вас при обыске. Узнаете их?

О т в е т. Да, это мои письма, адресованные матери...

Вот почему Ахматова уничтожала свой архив!

В. Они характеризуют вас как человека религиозного. Вы верующий?

О. Я глубоко религиозный.

В. Что это значит?

О. Верю в существование Бога, души и загробной жизни. Как человек религиозный, я посещал церковь, где молился.

В. Вы занимались и религиозной пропагандой?

О. Не отрицаю, что беседы религиозного характера со своими близкими и знакомыми я вел. Имел место и такой факт, когда в 1948 г. я по собственному желанию, в силу своих религиозных убеждений исполнял роль крестного отца при крещении одной своей знакомой – помощника библиотекаря Ленинградской библиотеки имени Салтыкова-Щедрина Гордон Марьяны Львовны. С этой самой Гордон, при моем содействии перекрещенной из иудейской веры в православную, я потом посещал церковь.

В. Какой же вы советский ученый, вы – мракобес.

О. В известной мере это так. Должен сказать, что на формирование моей идеологии повлияла семейная традиция.

В. А именно?

О. Моя мать, Ахматова Анна Андреевна, тоже человек религиозный.

В. Это та самая поэтесса Ахматова, антипатриотическое творчество которой в 1946 году было осуждено советской общественностью?

О. Да, это моя мать.

В. Кто она по социальному происхождению?

О. Ахматова, урожденная Горенко, родители которой дворяне, все время проживали где-то на Украине.

В. А что означает ее псевдоним «Ахматова»?

О. Это фамилия ее бабушки.

В. Кто такие были Ахматовы?

О. Ахматовы не то монгольские, не то нагайские татары. В семье было известно, что Ахматовы – князья из рода чингисидов, принявших православную веру и получивших фамилию Ахматовы¹.

В. А кто ваш отец?

О. Дореволюционный поэт Гумилев Николай Степанович. По социальному происхождению он тоже дворянин.

В. Тот самый Гумилев, который до Октябрьской революции являлся одним из руководителей реакционного направления в поэзии, а затем был активным участником белогвардейского заговора, имевшего целью насильственное свержение Советской власти?

О. Да, расстрелянный в 1921 году органами Советской власти за участие в антисоветском заговоре Гумилев Н.С. является моим отцом.

Потомок Чингисхана

Среди рукописей, изъятых при обыске, следователя больше всего заинтересовала трофейная записная книжка Льва. Там обнаружился очерк, когда-то написанный им для фронтовой газеты, но так и оставшийся в черновике. Крамольное сочинение приобщено к делу в качестве вещдока.

¹ Исследователи считают легендой, что Ахматова вела род от золотоордынского хана Ахмата, последнего татарского хана на Руси.

*Замечание о закате Европы**Sic transit gloria mundi¹*

О закате европейской феодально-буржуазной цивилизации говорили и писали много, но до сих пор это был спорный вопрос, однако в 1945 году сомневаться в этом может только человек, не умеющий и не желающий видеть. Но и таких еще много.

Не меня, но многих моих товарищей немецкая культура поражала своею грандиозностью. В самом деле – асфальтированные дороги *Berliner ring'a*, превосходные дома с удобными квартирами, изобилие всех средств механизации, начиная от тракторов и кончая машинками для заточки карандашей, душистые сады, саженные леса и т. д., и т. п. Не менее обильны проявления духовной культуры: в домах полно книг, на стенах хорошие и плохие картины, чистота, опрятность, торжество порядка.

И посреди этой «культуры» – мы, грязные и небритые, стояли и не понимали: почему мы сильнее, чем мы лучше этой причесанной и напомаженной страны?

Так бывает: в лесу стоит огромный дуб, в четыре обхвата, головой в поднебесье. Кажется – ничто его не повалит. Лесоруб пробует сделать зарубку, и топор с одного удара проскакивает внутрь. Вся середина дуба выгнила, там одно огромное дупло. Еще два-три удара, и валится он на землю на удивление всему лесному миру, никак не ожидавшему ничего подобного. А рядом стоит ель. Она вынесла на себе и ветра, и вьюги, и ее витой ствол не боится ни топора, ни пилы. Долго будет она еще расти, до тех пор, пока ее зеленая вершина не поднимется выше леса, как нескрушиваемая башня.

Вот разгадка нашего преимущества: мы моложе, будущее наше.

¹ Так проходит мирская слава (лат.).

Культура заключается не в количестве машин, домов и теплых сортиров. Даже не в количестве написанных и напечатанных книг, как бы роскошно ни были они изданы. И то, и другое – результаты культуры, а не она сама. Культура заключается в способе отношений людей между собой. Культура там, где из человеческих взаимоотношений возникают сильные и благородные чувства – дружба, верность, сострадание, патриотизм, любовь к своему и гуманность как уважение к чужому.

Именно такой, настоящей культуры и не хватало Германии. Немцы абсолютно не умели устанавливать взаимоотношений с другими народами. Я не говорю уже об ужасах концлагерей. Нет, даже простые немцы, не связанные с гестапо или войсками СС, просто не умели найти тона, приемлемого для поляков, французов и сербов. Немцы забыли, что мало победить, надо уметь помириться с побежденным, чтобы победа была прочной. Но если бы они и помнили это, то они не смогли бы переделать себя. Они отучились быть человечными. Вот в чем гибель культуры.

Из духовной неполноценности вытекает удивительный, на первый взгляд, факт – нестойкость немцев в бою. Сначала даже не верилось, что финны, венгры и даже румыны сражались отчаяннее немцев, потому что в Первую мировую войну немцы удивляли мир именно стойкостью. Но и это становится понятным. Постоянный порядок в мелочах личной жизни отучил немцев от инициативы, столь необходимой в условиях войны, где все время приходится «применяться к обстановке».

Характерен случай из восстания рабочих в Гамбурге в 1918 году. Рабочие, повстанцы, наступали через городской парк и, встреченные пулеметным огнем, побежали. Так бежали они по дорожкам, кривым и извилистым. Даже под угрозой смерти им не пришла в голову мысль сократить себе путь, пересекая газоны. Внутренняя, творческая инициати-

ва была задавлена внешней, заученной привычкой к порядку. Эти качества не прирожденные, но благоприобретенные. 200 лет тому назад немцы были гуманнее и смелее. Тогда они создавали для всего мира философию, литературу, музыку, научные системы. В XVII веке немцы были лучшими солдатами в мире. В XX они оказались пригодны только для человекоубийства.

И наконец, третьим результатом вырождения является физическая неполноценность. Высокий, широкоплечий, мускулистый европеец, будучи выведен из привычных ему, тепличных условий существования, удивительно быстро скисает, теряет бодрость и опускается до того, что малейшая болезнь сводит его в могилу. Сопrotивляемость его изнеженного организма крайне мала. Это показала практика. Таковы не только немцы, но и другие западноевропейские народы, т.к. феодально-буржуазная культура разлагается всюду, от Вислы до Гибралтара. Кровь остывает в жилах.

Так стоит ли завидовать всему этому «великолепию», изгнившему от корней до макушки, нам, людям с добрым сердцем и горячей кровью? Беспокоиться нам не о чем. У нас все будет – и машины, и дороги, и теплые сортиры с ручкой-мойниками. И нам ничто не страшно до тех пор, пока мы умеем: 1) уважать и ценить чужое и 2) больше жизни любить свое. Эти два качества русской натуры, прямо противоположные европейскому самодовольству и расчетливости, создали великую русскую культуру и ее лучшие творения: русскую литературу и русскую армию.

Но об этом в следующем очерке.

Конечно, писалась эта заметка на войне, для газеты, на волне патриотических чувств и ненависти к врагу. И заговорил в Гумилеве евразиец, потомок Чингисхана. Хотя его размышление переключается с ахматовским: «Дикость русских и их терпение перебили культуру немцев в войне».

В абсурдистской пьесе майора Бурдина все это заняло важное место, за неимением других улик.

В о п р о с. В своих записях причины поражения фашистской Германии вы объясняете с враждебных Советской власти позиций. Признаете это?

О т в е т. Рассуждения, приведенные в этих моих записях, являются путаными, однако ничего предосудительного, а тем более антисоветского в них, по-моему, нет.

В. Не выкручивайтесь, Гумилев, в своих записях вы умышленно игнорируете действительные причины победы СССР в войне с фашистской Германией. Это факт – и вам придется его признать.

О. Признаюсь, что причины победы СССР в войне с фашистской Германией я действительно объяснял с вражеских позиций. Я игнорировал ее гнилость и не считал за причину победы СССР наличие у него передового государственного и общественного строя и Красной Армии. Русских людей в этом своем очерке я представил такими, для которых якобы не существует понятие советского патриотизма, а их победу объяснил только наличием у них примитивных качеств любви к своему и уважению к чужому. Я разделял взгляды некоторых фашиствующих философов.

Еще одним литературным произведением, которое вызвало интерес следователя, была пьеса, сочиненная Львом в Норильском лагере, о ней, видимо, доложили в свое время лагерные стукачи. Пришлось признаться: да, сочинил, нечто вроде пьесы, в ней главный персонаж, студент, сталкивается с трудностями советской жизни, с профессором-марксистом и органами ГБ, представленными в мифическом образе Сатаны.

Не скрывал он и свой грех несогласия с партийным постановлением, касавшимся его матери:

– Я неоднократно осуждал это решение и заявлял, что теперь настоящему писателю делать нечего, ибо нужно писать, как приказывают, по стандарту.

Особенное возмущение майора Бурдина вызвало полное равнодушие Гумилева к святым советского человека – марксизму-ленинизму, не иначе как следовательно был еще и партийным пропагандистом в своем ведомстве.

Скажу правду, что об основах марксизма-ленинизма я имею чрезвычайно скудное представление, и получилось так потому, что на указанные предметы учебного плана я всегда смотрел как на такие, которые по обязанности должен сдать, но не обязан знать. В практике своих занятий по истории я всегда придерживался взглядов, что историк должен рассматривать явление сугубо объективно, а не с позиции своих партийных воззрений. Партийность, как полагал я, искажает историческую правду.

«И, таким образом, придерживался взглядов тех врагов Советской власти, – вписывал от себя в протокол майор-следователь, – которые, разглагольствуя о мнимой объективности, пытаются под этой ширмой протаскивать различные лженаучные “теории”...» Не мог же сам Лев Гумилев изрекать такую галиматью!

Он между тем умудрялся заниматься научным творчеством даже в тюрьме. Другого времени и места для работы у него не было, а идеи, которые распирали его, требовали выхода немедленно. Именно здесь, в самых неподходящих условиях, он продумывал закономерности своей будущей научной теории – этногенеза.

«Там раздумья о научных проблемах были предпочтительнее мыслей о личных обстоятельствах, – вспоминал он позднее. – Луч света проходил сквозь маленькое окошко и падал на цементный пол. Свет проникал даже в тюрьму.

Значит, – подумал я, – и в истории движение происходит благодаря какой-то форме энергии». Он не мог не помнить поэтического озарения своего отца и теперь переводил его в своем сознании на язык науки:

Убивая и воскрешая,
Набухать вселенской душой –
В этом воля земли святая,
Непонятная ей самой.

На календаре уже 1950-й. А в следствии творится что-то странное, его срок все продлевается и продлевается, месяц за месяцем, без всякой видимой причины – ведь ничего нового в деле уже быть не может. Бурдин сводит воедино, перепечатывает старые протоколы допросов, почти один к одному, проставляя в них новые даты. Потом его вообще заменяют: 10 февраля дело принял подполковник Степанов и – сказка про белого бычка! – все начал сначала.

Объясняется пробуксовка тем же, что и в случае с Пуниным: Гумилев еще нужен – для ареста его матери. 31 марта выходит постановление: выделить из его дела в особое производство материалы в отношении Ахматовой.

После того как Степанов опросил Гумилева о всех его родственниках, друзьях, любовницах и знакомых, следствие опять забуксовало. Протокол допроса 5 апреля – точное воспроизведение протокола допроса 18 января, которое, в свою очередь, копирует предыдущие протоколы. Степанов переписывает Бурдина, как тот переписывал самого себя.

И вот уже, словно черт из табакерки, в деле возникает третий следователь – капитан Меркулов. И начинает переписывать протоколы Степанова, списанные у Бурдина. Но все более смещает акцент – для выявления Ахматовой как врага народа. Тактика капитана Меркулова выражалась в том, что он ставил Гумилева на «стойку», то есть заставлял стоять по стойке «смирно» с десяти часов вечера до пяти утра. А сам

в это время либо читал, либо делал что-то свое. Но иногда вдруг словно просыпался и злобно накидывался:

– Что она жгла? – имелись в виду бумажки, которые сжигала Ахматова в пепельнице. Даже за пепел ее бумаг Лев должен был отвечать!

Держат в Москве, не отправляют в лагерь Пунина, замерло следствие по делу Льва Гумилева. Почему тянут? Ждут команды.

Ахматову – арестовать!

В это время кремлевский усач сам пожаловал к Ахматовой – вырос монументом в огражденном железной решеткой Шереметевском саду, серый истукан в военной фуражке и шинели до пят, одна рука тычет куда-то в небо, другая лезет в карман, будто за револьвером. Вождь встал под ее окнами, к своему семидесятилетию, как надзиратель или вертухай.

И она пожаловала ему к юбилею царский подарок – верноподданническую оду, озаглавленную – «21 декабря 1949 года», датой его рождения.

Пусть миру этот день запомнится навеки,
Пусть будет вечности завещан этот час.
Легенда говорит о мудром человеке,
Что каждого из нас от страшной смерти спас...

Если вдуматься, двусмысленные получились строчки, с подтекстом: о мудром человеке говорит легенда, а как оно было на самом деле? Язык не обманешь.

Славословие Сталину, вместе с другими казенно-патриотическими стихами из ее цикла «Слава миру», было напечатано в журнале «Огонек». Не факт поэзии, а документ эпохи. И точно рассчитала – сразу после публикации обратилась к Сталину, ибо только он и никто другой мог решить судьбу сына.

24 апреля 1950 г.

Ленинград, Фонтанка, 34, кв. 44

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Вправе ли я просить Вас о снисхождении к моему несчастью.

6 ноября 1949 г. в Ленинграде был арестован мой сын, Лев Николаевич Гумилев, кандидат исторических наук. Сейчас он находится в Москве (в Лефортове).

Я уже стара и больна, и я не могу пережить разлуку с единственным сыном.

Умоляю Вас о возвращении моего сына. Моей лучшей мечтой было увидеть его работающим во славу советской науки.

Служение Родине для него, как и для меня, священный долг.

Анна Ахматова

Письмо это, впервые опубликованное в 1993-м, хранилось в сталинском архиве¹.

А тогда Ахматова приезжала в Москву не только со стихами для «Огонька», но и чтобы раз в месяц передать дозволенные деньги в Лефортовскую тюрьму и, как уже не раз бывало, по расписке о получении, удостовериться, что сын жив.

Конечно, она давно знала, что и ее судьба висит на волоске – к этому ей было не привыкать. Но не знала, до какой степени. Роковым образом совпало: и ее обращение к Сталину, и расставленная Лубянской западня. Капитан Меркулов по указке свыше, сам бы он на такую самодеятельность не решился: да потщательней там, поаккуратней, чтоб не осрамиться! – готовил ее арест. Проверил дела Мандельштама

¹ Родина. 1993. № 2. С. 51.

и Пильняка, чтобы выудить оттуда что-нибудь. У первого нашлось, у второго нет, справка: «Гумилев и Ахматова по показаниям Пильняка не проходят».

Но главное выжал из Пунина, 19 мая и 9 июня тот подписал развернутые показания на Ахматову и Льва Гумилева – то, для чего его столько месяцев держали в Москве.

С Анной Ахматовой я знаком примерно с 1910 года. В дореволюционные годы вместе с ней и ее первым мужем, поэтом, монархистом Гумилевым Н.С., я сотрудничал в художественно-литературном журнале «Аполлон», издававшемся в Петербурге для привилегированных слоев населения. Будучи выходцами из дворянской среды, Ахматова и Гумилев враждебно восприняли установление Советской власти и на протяжении последующих лет проводили вражескую деятельность против Советского государства. Гумилев Н.С. в первые годы существования Советской власти был участником контрреволюционного заговора в гор. Ленинграде.

Что касается Ахматовой, то ее антисоветская деятельность проявилась в то время на литературном поприще. Так, в 1921–22 гг. она выпустила два своих сборника («Божий год»¹ и «Подорожник») со стихами антисоветского характера. Помню, в одном из этих стихотворений Ахматова называла большевиков «врагами, терзающими землю» и открыто заявляла, что ей не по пути с Советской властью. Вражеское лицо Ахматовой и ее антисоветские проявления мне стали известны еще в большем объеме после того, как я вступил с ней в брак...

В 1925–1931 гг. у нас в квартире устраивались антисоветские сборища, на которых присутствовали писатель

¹ Имеется в виду книга Ахматовой «Anno Domini MCMXXI» («В лето Господне 1921» – лат.).

Б. Пильняк, арестованный в 1937 году; писатель Замятин, эмигрировавший потом во Францию; поэт Мандельштам, арестованный в 1935 году органами НКВД, и другие литературные работники из числа недовольных и обиженных Советской властью. Ахматова, в частности, высказывала клеветнические измышления о якобы жестоком отношении Советской власти к крестьянам, возмущалась закрытием церквей и выражала свои антисоветские взгляды по ряду других вопросов. Такие антисоветские сборища в нашей квартире устраивались и в последующие годы, и, начиная примерно с 1932 года, в них стал принимать активное участие сын Ахматовой – Гумилев Л.Н. После нескольких бесед с ним я убедился, что он с ненавистью относится к Советской власти и полон решимости посвятить себя борьбе против партии и Советского правительства. В беседах со мной и Ахматовой Гумилев неоднократно заявлял, что он никогда не забудет и не простит Советскому правительству расстрел его отца – Гумилева Н.С. в 1921 году.

Исходя из своих вражеских настроений о необходимости изменения существующего в СССР строя, мы считали приемлемым средством борьбы против Советской власти – насильственное устранение руководителей партии и Советского правительства. При этом я выражал свою готовность совершить террористический акт против вождя советского народа. В откровенных беседах со мной Ахматова разделяла мои террористические настроения и поддерживала злобные выпады против главы Советского государства. Она высказывала недовольство в отношении репрессий, направленных против троцкистов, бухаринцев и других врагов народа, обвиняла Советское правительство в якобы необоснованных арестах и расстрелах и выражала сочувствие лицам, репрессированным органами Советской власти.

Ахматова до последнего времени и особенно после известного решения ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором было подвергнуто справедливой критике ее идеологически вредное «творчество», считала себя обиженной Советской властью и в беседах со мной высказывала недовольство политикой партии и Советского правительства в области литературы и искусства.

Что касается Гумилева Л.Н., то после отбытия срока наказания он нисколько не изменил своих политических взглядов и по-прежнему оставался антисоветским человеком. Гумилев в науке стоял на буржуазно-идеалистических позициях. В беседах со мной он не раз восхвалял ученых-идеалистов, утверждал, что существует бог, а также высказывался против партийности науки, заявляя, что ученый должен быть «независимым и отделенным» от политики. При изложении, например, вопросов, касавшихся жизни народов Азии, он игнорировал факт классовой борьбы и рассматривал исторические явления сугубо объективно.

В последние годы Ахматова и Гумилев вели себя очень осторожно. Ахматовой постоянно казалось, что за ней следят и в связи с этим в разговоры на политические темы, кроме меня, она ни с кем не вступала и стремилась избегать встреч со своими знакомыми.

Николай Николаевич Пунин умрет 21 августа (снова август!) 1953-го в концлагере Абезь, на широте полярного круга. Он переживет Сталина, о смерти которого страстно мечтал, за что и поплатился жизнью, но не переживет сталинского режима.

В разгар войны, в одну из своих звездных минут, он нашел слова, которыми Ахматова очень гордилась и которые переводили их отношения из бытового плана в высший: «Нет

другого человека, жизнь которого была так цельна и потому совершенна, как Ваша... Эта жизнь цельна не волей, а той органичностью, то есть неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит... В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки. Вы казались мне тогда – и сейчас тоже – высшим выражением Бессмертного, какое я только встречал в жизни».

В начале своего пути, в 1918-м, комиссар искусств Николай Пунин писал в книге «Против цивилизации»: «Отдельные индивиды могут, конечно, пострадать или погибнуть, но это необходимо и гуманно и даже спорить об этом – жалкая маниловщина, когда дело идет о благе народа и расы и, в конечном счете, человечества». И сам Пунин, и его соавтор по этой книге Е.А. Полетаев как раз и стали теми «отдельными индивидами» – счет тогда уже шел на миллионы! – которых им было не жалко.

В лагере Пунин пришел к мысли, что цель искусства – «возрастание человека над самим собой». Только вот на достижение этой цели уже не осталось жизни. Незадолго до смерти он успел сочинить стихи:

Если б мог я из тела уйти своего
И другую орбиту найти,
Если б мог я в свет превратить его,
Распылить во всем бытии.

Но я тихо брожу по дорогам зимы,
И следы потерялись в снегах,
Да и сам я забыл, откуда мы
И в каких живем временах.

Эти строчки последнего мужа Ахматовой вызывают в памяти другие стихи, другого Николая – ее первого мужа, пунинского антипода, Гумилева, – его «Орел». Увы, только напоминают, как бегущая по земле тень – летящую птицу.

Он умер, да! Но он не мог упасть,
Войдя в круги планетного движенья.
Бездонная внизу зияла пасть,
Но были слабы силы притяженья...

Не раз в бездонность рушились миры,
Не раз труба архангела трубила,
Но не была добычей для игры
Его великолепная могила.

Наконец, министр Госбезопасности СССР Абакумов делает решительный шаг – посылает Сталину докладную записку, которая должна определить судьбу Ахматовой¹. Опять, как в 1935-м, кто раньше успеет, она или они? Что сработает, окажется сильнее – этот, тайный, документ или тот, всенародный, – юбилейная ода?

Совершенно секретно

Товарищу СТАЛИНУ И.В.

О необходимости ареста поэтессы Ахматовой

Докладываю, что МГБ СССР получены агентурные и следственные материалы в отношении поэтессы АХМАТОВОЙ А.А., свидетельствующие о том, что она является активным врагом советской власти.

АХМАТОВА Анна Андреевна, 1892 года рождения², русская, происходит из дворян, беспартийная, проживает в Ленинграде. Ее первый муж, поэт-монархист ГУМИЛЕВ, как участник белогвардейского заговора в Ленинграде, в 1921 году расстрелян органами ВЧК.

¹ Докладная Абакумова хранилась в Центральном архиве КГБ, но не в следственном, а в каком-то другом фонде, поглубже, и была передана мне как руководителю Комиссии по наследию репрессированных писателей. Впервые опубликована: Шенталинский В. Антитеррористическая операция против Ахматовой // Новая газета. 2000. № 11 (582). 20–26 марта.

² А.А. Ахматова родилась в 1889 году.

Во вражеской деятельности АХМАТОВА изобличается показаниями арестованных в конце 1949 года ее сына ГУМИЛЕВА Л.Н., являвшегося до ареста старшим научным сотрудником Государственного этнографического музея народов СССР, и ее бывшего мужа ПУНИНА Н.Н., профессора Ленинградского государственного университета.

Арестованный ПУНИН на допросе в МГБ СССР показал, что АХМАТОВА, будучи выходцем из помещичьей семьи, враждебно восприняла установление советской власти в стране и до последнего времени проводила вражескую работу против Советского государства.

Как показал ПУНИН, еще в первые годы после Октябрьской революции АХМАТОВА выступала со своими стихами антисоветского характера, в которых называла большевиков «врагами, терзающими землю» и заявляла, что «ей не по пути с советской властью».

Начиная с 1924 года, АХМАТОВА вместе с ПУНИНЫМ, который стал ее мужем, группировала вокруг себя враждебно настроенных литературных работников и устраивала на своей квартире антисоветские собрания.

По этому поводу арестованный ПУНИН показал:

«В силу антисоветских настроений я и АХМАТОВА, беседуя друг с другом, не раз выражали свою ненависть к советскому строю, возводили клевету на руководителей партии и Советского правительства и высказывали недовольство по поводу различных мероприятий советской власти...»

У нас на квартире устраивались антисоветские собрания, на которых присутствовали литературные работники из числа недовольных и обиженных советской властью...

Эти лица вместе со мной и АХМАТОВОЙ с вражеских позиций обсуждали события в стране... АХМАТОВА, в частности, высказывала клеветнические измышления о якобы

жестоким отношении советской власти к крестьянам, возмущалась закрытием церквей и выражала свои антисоветские взгляды по ряду других вопросов».

Как установлено следствием, в этих вражеских собраниях в 1932–1935 г.г. принимал активное участие сын АХМАТОВОЙ – ГУМИЛЕВ, в то время студент Ленинградского государственного университета.

Об этом арестованный ГУМИЛЕВ показал:

«В присутствии АХМАТОВОЙ мы на собраниях без стеснения высказывали свои вражеские настроения... ПУНИН допускал террористические выпады против руководителей ВКП(б) и Советского правительства...

В мае 1934 года ПУНИН в присутствии АХМАТОВОЙ образно показывал, как бы он совершил террористический акт над вождем советского народа».

Аналогичные показания дал арестованный ПУНИН, который сознался в том, что он вынашивал террористические настроения в отношении товарища С т а л и н а и показал, что эти его настроения разделяла АХМАТОВА:

«В беседах я строил всевозможные лживые обвинения против Главы Советского государства и пытался “доказать”, что существующее в Советском Союзе положение может быть изменено в желательном для нас направлении только путем насильственного устранения С т а л и н а...

В откровенных беседах со мной АХМАТОВА разделяла мои террористические настроения и поддерживала злобные выпады против Главы Советского государства.

Так, в декабре 1934 года она стремилась оправдать злодейское убийство С.М. КИРОВА, расценивая этот террористический акт как ответ на чрезмерные, по ее мнению, репрессии Советского правительства против троцкистско-бухаринских и иных враждебных группировок».

Следует отметить, что в октябре 1935 года ПУНИН и ГУМИЛЕВ были арестованы Управлением НКВД Ленинградской области как участники антисоветской группы. Однако вскоре по ходатайству АХМАТОВОЙ из-под стражи были освобождены.

Говоря о последующей своей преступной связи с АХМАТОВОЙ, арестованный ПУНИН показал, что АХМАТОВА продолжала вести с ним вражеские беседы, во время которых высказывала злобную клевету против ВКП(б) и Советского правительства.

ПУНИН также показал, что АХМАТОВА враждебно встретила Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», в котором было подвергнуто справедливой критике ее идеологически вредное творчество.

Это же подтверждается и имеющимися агентурными материалами. Так, источник УМГБ Ленинградской области донес, что АХМАТОВА, в связи с Постановлением ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», заявляла: «Бедные, они же ничего не знают или забыли. Ведь все это уже было, все эти слова были сказаны и пересказаны, и повторялись из года в год... Ничего нового теперь не сказано, все это уже всем известно. Для Зощенко это удар, а для меня только повторение когда-то выслушанных нравоучений и проклятий».

МГБ СССР считает необходимым АХМАТОВУ арестовать.

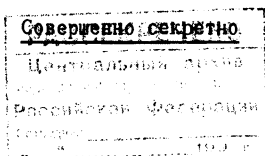
Прошу Вашего разрешения.

АБАКУМОВ

№ 6826/А

14 июня 1950 года

Готовы накинуться. Требуется только команда. А хозяин медлит. Думает.



Товарищу СТАЛИНУ И.В.

О необходимости ареста
поэтессы Ахматовой.

Докладаю, что МГБ СССР получены агентурные и следственные материалы в отношении поэтессы АХМАТОВОЙ А.А., свидетельствующие о том, что она является активным врагом советской власти.

АХМАТОВА Анна Андреевна, 1892 года рождения, русская, происходит из дворян, беспартийная, проживает в Ленинграде.

Ее первый муж поэт-монархист ГУМИЛЕВ, как участник белогвардейского заговора в Ленинграде, в 1921 году расстрелян органами ВЧК.

По вражеской деятельности АХМАТОВА изобличается показаниями арестованных в конце 1949 года ее сына ГУМИЛЕВА Л.Н., являвшегося до ареста старшим научным сотрудником Государственного этнографического музея народов СССР и ее бывшего мужа ПУНИНА Н.Н., профессора Ленинградского государственного университета.

Арестованный ПУНИН на допросе в МГБ СССР показал, что АХМАТОВА, будучи выходцем из помещицкой семьи, враждебно восприняла установление советской власти в стране и до последнего времени проводила вражескую работу против Советского государства.

Как показал ПУНИН, еще в первые годы после Октябрьской

Докладная министра внутренних дел СССР Абакумова Сталину
14 июня 1950 г. «О необходимости ареста поэтессы Ахматовой»

И в конце концов дает отбой, не санкционирует арест. Ровно через месяц, 14 июля, на докладной появляется резолюция Абакумова: «Продолжать разрабатывать».

Ахматова еще раз бросилась в ноги верховному палачу. Это все и решило. Она пожертвовала ради спасения сына последним – своим поэтическим именем.

Жертва была принята, но результатом стало не освобождение сына, а спасение самой Ахматовой. Еще шестнадцать лет жизни и творчества.

Не за то, что чистой я осталась,
Словно перед Господом свеча,
Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы палача.

Нет! И не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл –
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

ГУННОВ МОЖНО, СТИХИ НЕЛЬЗЯ

Капитан Меркулов успел сделать еще одно преступление – уничтожил «путем сожжения» все бумаги, изъятые на Фонтанке, за исключением той фронтовой записной книжки, в которой Лев Гумилев предрекал неизбежный закат Европы. Погибла и рукопись «Истории срединной Азии в средние века» – результат его исторических изысканий и раздумий. Надо было – уже в который раз! – начинать все сначала.

13 сентября 1950 года Особое совещание при МГБ выдало ему очередную путевку в жизнь – десять лет лагерей строгого режима – за принадлежность к антисоветской группе, террористические намерения и антисоветскую агитацию. Никакой конкретной вины, кроме разговоров дома пятнадцатилетней давности. Вскоре Льва этапировали – на

этот раз не вымерзать, на ледяной Север, а испаряться в знойную Караганду, на станцию Карабас, в Луговой лагерь. Оттуда перевели в Междуреченск, потом под Омск, где когда-то томился на каторге Достоевский. И еще раз убедился Лев в правоте великого русского писателя: «Без своего особого, собственного занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в остроге не мог бы жить».

Льва Гумилева – впрочем, он снова был лишен имени и числился эком Б-739, по знаку, нашитому на телогрейке, – спасло призвание, страсть к научному творчеству, «святое безумье» его. Он брал у жизни то, что она могла дать. Встретил в лагере персидского коммуниста – научился у него свободно говорить по-персидски. Познакомился с китайцами – узнал их обычаи, выпросил, как они представляют себе историю Поднебесной. Упорно просил, чтобы с воли присылали научные книги, и получал их, пусть немного, зато выучивал досконально, назубок.

Парадокс, но подорванное здоровье оказалось кстати: признанный врачами инвалидом, Лев избежал тяжелого каторжного труда и ходил в «придурках», то есть на легких работах – в бухгалтерии, библиотеке или просто просиживал в бараке. Время есть. Но запрещено писать. Тогда он пошел к оперу.

– Можно ли мне писать?

– Что значит писать?

– Переводить стихи, писать книгу о гуннах.

– А зачем тебе это?

– Чтобы не заниматься сплетнями и интригами и не доставлять хлопот ни вам, ни себе.

– Подумаю, – подозрительно молвило начальство.

И, подумав несколько дней, изрекло:

– Гуннов можно, стихи нельзя!

Вести из лагеря до Ахматовой доходили редко, переписка была ограничена и перлюстрировалась – правды не скажешь. Сын бодрился: писал, что здоров, работает, благодарил за посылку, просил книги. Между строк сквозила обида – все его забыли, никто не хлопочет... Несправедливо, уж она-то, мать, делала все, что могла. Никто на ее месте не смог бы больше. Через себя переступила! К кому только не обращалась: и к влиятельным писателям – Фадееву, Шолохову, Эренбургу, и к ученым авторитетам, даже к почетным большевикам – все напрасно. Есть человек, который может решить судьбу Леры одной фразой, одним движением руки или бровей. Но он молчит, не дает ответа. Да и страшно что-либо делать, при ее репутации, как бы не навредить, не сделать еще хуже. Ведь убойное постановление ЦК против нее никто не отменял. И она не раскаялась публично, не посыпала прилюдно голову пеплом.

Даже после публикации «Славы миру» по сути мало что изменилось. Правда, ей дали возможность зарабатывать переводами, чтоб не умереть с голоду. Восстановили в Союзе писателей. На заседании по этому поводу давний друг ее и Николая Гумилева, переводчик Михаил Лозинский привел слова Ломоносова: скорее можно отставить Академию наук от него, чем наоборот. Стихи Ахматовой будут жить, пока жив язык, на котором они написаны! Вряд ли это добавило расположения к ней литературного начальства и коллег – лишь подлило масла в огонь.

«Deus conservat omnia» – «Бог хранит все» – девиз в гербе графов Шереметевых осенял Фонтанный дом и жизнь обитавшей там Ахматовой. «Дом Ростовых», усадьбу в Москве, где располагалось правление Союза писателей СССР, венчал герб древнего рода Колычевых, с другим девизом: «Deus, honor et gloria» – «Бог, честь и слава». Герб на фасаде сохранился до сих пор, только вот «gloria» отвалилась.

Но кого ни спроси из писателей, никто вообще не замечал герба, не знает, что там написано. Возможно, потому, что девиз этот не мог благословлять то безбожие, бесчестие и бесславие, что творилось в Союзе советских писателей.

Как тогда, когда Ахматову из него исключили, так и теперь, когда восстановили, стихи ее никто не собирался печатать. И пасли по-прежнему: на лавочке во дворе продолжали дежурить «надзиратели», а у ворот слонялись «конвоиры», топтуны – мордатые парни и девки, кровь с молоком.

Комендант Арктического института настойчиво выживал жильцов из флигеля, предлагал варианты обмена, один другого хуже. Когда Ирина Пунина, возражая, ссылалась на Ахматову, говорил:

– Вы старушку бросьте, а сами уезжайте.

Или:

– Вы уезжайте, а старушка без вас долго не проживет...

Великое переселение все-таки произошло через год – Ахматова, вместе с пунинской дочерью и внучкой, переехала в новое жилье, на улицу Красной Конницы. Покинула Фонтанный дом навсегда. Одно преимущество – никаких теперь пропусков, вход свободен!

Умер Сталин, расстреляли лубянского главаря Берию. Страна училась жить без усатого Хозяина. Только тогда Ахматова твердо поверила, что снова увидит сына. И решила действовать. Как раз представился удобный случай: почитатель ее стихов, известный архитектор Руднев, автор нового здания университета на Ленинских горах, был на короткой ноге с председателем Верховного Совета Ворошиловым и предложил передать ему прошение от Ахматовой и присоединить к нему еще и свое.

Глубокоуважаемый Климент Ефремович!

Умоляю Вас спасти моего единственного сына, который находится в исправительно-трудовом лагере (Омск, п/я 125) и стал там инвалидом... –

так начинает свое письмо Ахматова и, после краткого изложения фактов тюремно-лагерной биографии Левы, пишет:

О том, какую ценность для советской исторической науки представляет его научная деятельность, можно справиться у его учителей – директора Государственного Эрмитажа М.И. Артамонова и профессора Н.В. Кюнера.

Сыну моему теперь 41 год, и он мог бы еще потрудиться на благо своей Родины, занимаясь любимым делом.

Дорогой Климент Ефремович! Помогите нам! До самого последнего времени я, несмотря на свое горе, была еще в состоянии работать – я перевела для юбилейного издания сочинений Виктора Гюго драму «Марьон Делорм» и две поэмы великого китайского поэта Цю-й-юаня. Но чувствую, что силы меня покидают: мне больше 60-ти лет, я перенесла тяжелый инфаркт, отчаяние меня разрушает. Единственное, что могло бы поддержать мои силы, – это возвращение моего сына, страдающего, я уверена в этом, без вины.

8 февраля 1954

Анна Ахматова

«Руденко Р.А. Прошу рассмотреть и помочь», – написал на прошение Ахматовой Клим Ворошилов и отправил его Генеральному прокурору. Но это уже не голос громовержца, который в 1935-м решил судьбу Льва в одну минуту. Пошла писать губерния! Прокуратура направляет жалобу в 1-й спецотдел МВД: «Проверку жалобы прошу ускорить, так как она находится на контроле у тов. Ворошилова К.Е.»

О том, какую ценность для советской исторической науки представляет его научная деятельность, можно справиться его учителей – директора Государственного Эрмитажа М.И. Артамонова и профессора Н.В.Кюнера.

Сыну моему теперь 41 год, и он мог бы еще потрудиться на благо своей Родины, занимаясь любимым делом.

Дорогой Климент Ефремович! Помогите нам! До самого последнего времени, я, несмотря на свое горе, была еще в состоянии работать – я перевела для юбилейного издания сочинений Виктора Гюго драму "Марьон Делорм", и две поэмы великого китайского поэта Цю-й-юаня. Но чувствую, что силы меня покидают: мне больше 60-ти лет, я перенесла тяжелый инфаркт, отчаяние меня разрушает. Единственное, что могло бы поддержать мои силы – это возвращение моего сына, страдающего, я уверена в этом, без вины.

Анна Ахматова.

8 февраля 1954

2/Снята одна
копия
12.2.54г.

Ахматова Анна Андреевна
Ленинград, ул. Красной конницы, д. 4, кв. 3, тел. А2-13-22
Москва, Б. Ордынка, д. 17 кв. писателя В. В. Ардова, №13,
тел. В1-25-33

*Копия с резолюцией т. Ворошилова К.
направлена т. Вуденко Р. Я.
и. з. о. С. Я. Арсеньев.*

Письмо А. А. Ахматовой к К. Е. Ворошилову в защиту сына,
Л. Н. Гумилева 8 февраля 1954 г.

А там не спешат. На дворе уже март. 1-й спецотдел МВД перекидывает заявление Ахматовой, вместе с архивно-следственным делом Льва, в следственную часть по особо важным делам. Там поручают капитану Соколову: «Уточните первое дело и материалы 1935 г.» Почуяли, где собака зарыта!

Одновременно решили проверить, что там, во глубине сибирских руд, творится с этим Гумилевым. Характеристика, присланная из Камышевого лагеря, не располагала к узнику: «За период содержания в местах заключения дважды подвергался наказанию за нарушение лагерного режима. По физическому состоянию является инвалидом, на производстве не работает. Промотов¹ вещевого довольствия не имеет». Но было и более настораживающее сообщение: «Управление Камышевого лагеря располагает оперативными данными о том, что Гумилев в беседах с заключенными высказывал антисоветские взгляды».

И капитан Соколов 19 апреля выносит заключение: жалобу Ахматовой оставить без удовлетворения. Получается, это он, а не Генпрокурор и не Ворошилов, глава государства, решает судьбу сына Ахматовой, а может быть, тот безымянный стукач, который донес на него в лагере. Но если взглянуть шире, вся страна еще не была готова к тому, чтобы реабилитировать Гумилевых, сына и отца, не готова к правде и справедливости.

Май – прокуратура выносит предложение «оставить без удовлетворения» – на рассмотрение Центральной комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления. Июнь – Центральная комиссия решает: Ахматовой в ходатайстве отказать. Июль – Генпрокурор отвечает Ворошилову: отказать. Почти полгода ждала и

¹ Промот – недостача выданных заключенному предметов одежды.

надеялась Ахматова, чтобы получить в конце концов коротенькую отписку:

Гр-ке Ахматовой Анне Андреевне

6 июля 1954

Сообщаю, что Ваша жалоба вместе с материалами дела по обвинению Вашего сына рассматривались Прокуратурой СССР, МВД СССР и Комитетом Государственной безопасности при Совете Министров СССР и было принято решение, что осужден Гумилев Л.Н. был правильно, в связи с чем Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

*Ст. пом. главного военного прокурора
полковник юстиции Ренев*

Освобождение пришло только через два года, после постановления XX съезда партии о культе личности, и тут не как у всех – в последнюю очередь, когда уже почти все союзники были на свободе. Зато реабилитация сразу двойная: сначала в Омске – решением комиссии Президиума Верховного Совета, и тут же вслед за этим – Военной коллегией Верховного суда. Помогли – новое заявление Ахматовой и ходатайства за талантливого коллегу крупных советских ученых – Струве, Конрада, Окладникова, Артамонова. Но главное – политическая погода, потепление в жизни страны.

На последнем допросе в Омске он уже не скрывал ничего, рассказал об избиениях и пытках и назвал имена своих мучителей – следователей. Протокол этого допроса – последний следственный документ и, пожалуй, единственный целиком правдивый – во всех трех делах, повествующих о трех его Голгофах.

Эти бедные протоколы, рядом с роскошью стихов Ахматовой и блестящих научных трактатов Льва – какая им цена?

Но и Лев, как профессионал-историк, и Ахматова, знавшая историю по первоисточникам – свидетельству тому хотя бы ее пушкинские штудии, – знали, какие драгоценности могут таиться среди архивного хлама. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда!..»

Реабилитация двойная, но государственным преступником Лев Гумилев останется. Продолжало висеть дело 35-го года, то самое, с которого все началось: «“Пшик” – и нет нашего Иосифа!»... Хвост тянулся за ним сорок лет, аж до 1975-го, когда службы беззаконного закона полностью реабилитируют его.

Но тогда, в 56-м, весна была и на дворе, и в душах. Время надежд и перемен, которые оба они, и мать и сын, встречали как праздник.

– Я хрущевка, – гордо говорила Ахматова. – Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили.

В мае мать и сын наконец встретились. И оба, казалось, помолодели: и лица разгладились, и голоса зазвенели и окрепли. Тогда же было официально закрыто «Дело оперативной разработки» – слезки за Ахматовой. Самые кровавые, людоедские времена действительно кончились. Но то, что исстрадавшиеся, искалеченные люди принимали за весну, оказалось только оттепелью.

И темнящее поэта Ахматову постановление ЦК будет отменено, и слезка не прекратится, хотя и не такая тотальная. Последний донос на нее, по генералу Калугину, датирован 23 ноября 1958-го, уже после закрытия «Дела оперативной разработки». А «Дело» было огромное – 900 страниц, три тома. Хроника жизни поэта глазами госбезопасности. Наверняка со стихами. Бесценный материал!

Литературный памятник! Так и издать бы все три тома, факсимиле.

– Уничтожено, 24 июня 91-го, по приказу руководства КГБ по Ленинградской области, – таков был ответ, когда я официально, от лица Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей, запросил это дело для изучения.

Так, значит, уничтожили, и когда – перед историческим августовским путчем. Но зачем, ведь уже весь мир знает – это великий поэт, классик! И к своим прежним черным одеждам гэбисты могли бы хоть белую заплаточку пришить и потом сказать: зато вот мы вернули миру, спасли одно или, может быть, несколько стихотворений Ахматовой. И недостающие факты ее жизни.

Объяснили:

– Статья семидесятая отменена, держать материалы после отмены статьи незаконно...

Но это формальности! Там же – не собственность КГБ, там украденные стихи и память.

Ответ, с улыбочкой:

– Ну зачем порочить хорошего человека? Там был компромат на нее...

Какая трогательная забота! Как будто они могут опорочить Ахматову!

Сразу вспомнилась фраза чекиста при последнем аресте Льва Гумилева:

– Пожалуйста, позаботьтесь об Анне Андреевне, поберегите ее...

А впрочем, все ясно – заматали следы, чтобы оправдать свое ведомство в глазах потомства.

Жилец

Лев Гумилев, проведя в неволе в общей сложности четырнадцать лет, вернулся в Ленинград с двумя чемоданами, набитыми рукописями. В лагере он закончил монографию «Хунны» – будет издана в 1960-м, работал над книгой о тюрках – она станет докторской диссертацией.

Ему предстояло прожить еще целую жизнь – тридцать шесть лет! За это время он приобретет широкую известность, станет крупным специалистом по истории народов Средней Азии и Древней Руси, дважды доктором наук – исторических и географических, автором десятка фундаментальных монографий, научных бестселлеров, и полутора сотен статей. И еще хватит сил на остроумную полемику с многочисленными оппонентами и на публицистику.

Больше всего он прославится своей глобальной, оригинальной концепцией этнической истории Земли, теорией этногенеза, которую он впервые замыслил когда-то под нарами в Крестах, продолжил в Лефортове, а разработал и обосновал, опираясь на учение академика Вернадского о биосфере, поверил современными знаниями уже на воле. Вооруженный в науке не микроскопом, а телескопом, Лев Гумилев прозревал и систематизировал субэтноты, этноты и суперэтноты, целые галактики человечества. Всякий народ, утверждал он, как и любой человек, рождается, мужает, стареет и умирает. Срок жизни этноса – около полутора тысяч лет. По космическим причинам, вследствие мутации, в определенном месте Земли появляются пассионарии – люди, наделенные увеличенной энергией и стремлением к идеалу. Они-то и создают зародыш, дают развитие свежей реальности – новому этносу, который растет, процветает, приносит плоды, но неизбежно исчезает или становится реликтом.

Следуя этой теории, сам Лев Гумилев – несомненный пассионарий, только вот жил он, увы, не в эпоху расцвета своего этноса.

И труд ученого он оценивал по-своему, вдохновенно: «Удержать интерес к своей работе можно, только открыв себе вену и переливая горячую кровь в строки; чем больше ее перетечет, тем легче читается книга и тем больше она приковывает к себе внимания. Душа продолжает преобразоваться неуклонно... Это способ самопогашения души и сердца. И хорошо, если первооткрыватель после свершения покинет мир. Он останется в памяти близких, в истории науки».

Это мировосприятие – способ жить, который он унаследовал от отца и матери, пронес через всю свою судьбу и о котором говорил еще в юности – стихами:

Дар слов, неведомый уму,
Мне был обещан от природы.
Он мой. Веленью моему
Покорно все. Земля и воды...

И вижу: тайна бытия
Смертельна для чела земного.
И слово мчится вдоль нея,
Как конь вдоль берега морского.

Вот только в отношениях с матерью он останется обиженным ребенком. Думала только о себе, забывала его, мало или не так хлопотала. Взаимные упреки, непонимание, и даже затаенное подозрение, которое однажды сорвется с языка:

– Мама не любила папу, и ее нелюбовь перешла на меня...

Когда кто-то из «ахматовки», многочисленного круга почитателей и обожателей Анны Андреевны, рассказал ей это, она заплакала:

– Он торгует нами!

Или они из-за долгих разлук прожили слишком разные жизни? Или мешал тот же комплекс независимости и лидерства, который развел ее и с отцом Левы? Ведь ему, младшему Гумилеву, нужно было всю жизнь доказывать не только право быть их сыном, но и право на собственное существование. И он сделал это, победил судьбу. Или просто каждому из них – уже немолодых и больных – нужны были поддержка и уход, а посвятить себя один другому они не могли?

Сын жил бурно, жадно, наверстывая упущенные за годы заключения возможности и радости. Он не хотел быть частью «ахматовки», а сам по себе, «сам с усам». Она не могла жить «при Леве», он – «при матери», каждому был нужен свой, суверенный круг бытия, было тесно рядом друг с другом, и в конце концов они совсем перестали встречаться, жили врозь, не видясь иногда годами. Каждый по-своему прав. А окружение того и другого только разжигало раздор и непонимание.

– Я старался создавать маме как можно меньше проблем, – рассуждал он, – сначала жил с бабушкой, потом ездил в экспедиции, сидел в тюрьме, воевал, снова сидел в тюрьме. Наше общение носило эпизодический характер.

– Пусть будет паскудной судьба, а мама хорошей: так лучше, чем наоборот...

И она тоже не понимала его, ей казалось, что он снижает уровень их отношений до чисто житейского или психологического, упуская более важное, судьбоносное:

– Он провалился в себя.

– Нет! Он таким не был, это мне его таким сделали.

«Он стал презирать и ненавидеть людей и сам перестал быть человеком, – слишком уж безжалостно оценивала в своей записной книжке Ахматова, за полгода до смерти. – Да просветит его Господь! Бедный мой Левушка!» Она сравнивала его с Иосифом Бродским – тот же тоже побывал в ссылке,

но – «ни тени озлобления и высокомерия». Справедливо ли сравнивать две эти, совершенно непохожие судьбы?! Это все равно, что сравнивать хрущевские времена со сталинскими. И тут слышна обида.

Словно возражая матери, Лев в разговоре с приятелем, филологом Эдуардом Бабаевым, сказал:

– Говорят, что я вернулся из лагеря озлобленным, а это не так. У меня нет ни ожесточения, ни озлобления. Напротив, меня здесь все занимает: известное и неизвестное. Говорят, что я переменялся. Немудрено. Согласен, что я многое утратил. Но ведь я многое и приобрел. У меня замыслов на целую библиотеку книг и монографий. Я повидал много Азии и Европы...

Он проживет долгий век, мучительный, но славный, талантливый человек с исключительной судьбой.

А она, она умерла в 1966-м, в день смерти Сталина, 5 марта, пережив своего палача на тринадцать лет! Будут выходить книги, без многих лучших стихов, с купюрами и варварскими предисловиями, но все богаче и полнее. Придет мировая слава, поездки в Оксфорд и на Сицилию, толпы поклонников, учеников, подражателей и исследователей, преклонение, даже культ, – всего этого она дождалась¹. Вот только главная боль всей жизни – за сына – так и не отпустила ее. Она определит свои отношения с ним как «затянувшееся расставание». Не то ли было и с его отцом – Николаем Гумилевым?

Незадолго до смерти она хотела помириться с ним. Поделилась с Эммой Герштейн:

– Не надо объясняться. Пришел бы и сказал: «Мама, пришей мне пуговицу».

¹ См.: *Тименчик Р.Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.: Водолей; Торонто: Изд-во Торонтского университета, 2005.

Из подмосковного санатория «Домодедово» послала ему свою новую книгу «Бег времени» – самое полное издание стихов за все советское время, хотя и без «Реквиема» и многого еще, что составляет лучшую часть ее наследия. Надписала: «Леве от мамы. Люсаныч, годится?»¹ Материнская ласка, которой ему не хватало всегда. Ей оставалось жить четыре дня.

Анна Ахматова – поэт, внимание к судьбе и стихам которого не ослабевает со временем, несмотря на все общественные метаморфозы и крушения. И дело здесь не только в том, что она – классик, чье золотое перо породило шедевры русской поэзии. Ахматовой сверх меры довелось испытать на себе гнет истории в ее горемычной стране. Вот уж не в пресловутой башне из слоновой кости прожила она жизнь! И она приняла эту почти непосильную ношу и пронесла ее до конца, вместе со своим народом.

Мало сказать, что Ахматова была в немилости у советской власти – ее репрессировали: арестами, тюрьмами и лагерями ее сына, мужа, близких и друзей, травлей и запретом печататься, унижительной слежкой, подслушиванием, доносами и тайными обысками, казнью – партийным постановлением, которое довлело над ней до конца жизни, когда она, по существу, была объявлена вне закона. Больше того – теперь открылось, что власть готовила поэту и последнюю, физическую расправу – изъятие из общества и уничтожение. И только Провидение помешало этому, – замысел судьбы, диктующий победу в ее поединке с тираном.

¹ Домашняя шутка, о происхождении которой Ахматова рассказывала так. Она очень любила мальчика Валу Смирнова, соседа по пунинской квартире, погибшего в блокаду. «Я с ним занималась французским, учила: le singe – обезьяна, le сэнж, повтори. Он убежал из комнаты, потом просовывал в дверь голову, спрашивал: «Люсаныч – годится?» – и опять убежал».

Николая Гумилева лишили жизни, Льву – жизнь изуродовали, а вот с Анной Ахматовой случилось иное:

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.

.

И женщина какая-то мое
Единственное место заняла,
Мое законнейшее имя носит,
Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, все, что можно.

Время сохранило карточку-пропуск в Фонтанный дом, с которой на нас в упор смотрит прекрасное и трагическое женское лицо. И надпись: «Ахматова Анна Андреевна – Жилец».

Но остался и другой пропуск, в вечность – стихи Анны Ахматовой.

...Это наши проносятся тени
Над Невой, над Невой, над Невой,
Это плещет Нева о ступени,
Это пропуск в бессмертие твой.

РАССТРЕЛЬНЫЕ НОЧИ

Праздник смерти

1937. 16 июля

1937. 13 августа

1938. 21 апреля



Праздник смерти

Тридцать седьмой. Рубеж, символ.

Год праздников и побед. Двадцатилетний юбилей Октября. Первый год новой Советской Конституции.

Вторая пятилетка выполнена на девять месяцев раньше срока. Аграрная страна превратилась в мощную индустриальную державу, по объему промышленного производства вышла на второе место в мире. И деревня перестроилась – все крестьяне объединились в колхозы.

Пущен в строй канал Москва–Волга. Открыта новая очередь столичного метро.

Покорена Арктика – отважные папанинцы оседлали Северный полюс. Сталинские соколы прочертили небо над ним – мир потрясен полетами Чкалова и Громова из Москвы в Америку.

Над кремлевскими башнями загорелись драгоценные рубиновые звезды.

Скульптор Вера Мухина создала монумент «Рабочий и колхозница», получивший всеобщее признание на Международной выставке в Париже. Высоко в небо вознеслись скрещенные серп и молот – гербовый знак Советского государства.

Впервые в истории человечества построен социализм – на шестой части земного шара...

Но не тем останется в истории тридцать седьмой, прозванный в народе «тридцать проклятым».

Это был год победы социализма, триумфа советской империи – и год поражения человека, краха человечности.

Юбилей революции – и ее конец, когда она пожирала лучших своих детей, самоистребление партии коммунистов. Торжество конституции, провозгласившей право людей на труд и на отдых, в то время как их право на жизнь было в руках единовластного правителя – кремлевского вождя.

Победные митинги – и судебные процессы над «врагами народа», праздничные салюты – и расстрельные залпы, восторженные выкрики, орации – и смертельные угрозы, гробовое молчание.

Страна – в состоянии безумной истерии, самоубийственного помешательства. Если и дальше так будет строиться социализм, кто же тогда будет жить при коммунизме?

Это время получит название Большого террора, а еще – «ежовщины», в честь маленького, невзрачного, но чрезвычайно энергичного и исполнительного человечка, любившего, по русскому обычаю, выпить водочки и попеть тенорком народные песни. Карлик стал великим злодеем – дьявол выбирает для черных дел заурядность, заполняя ее пустоту. На нем, сталинском наркоме внутренних дел, сосредоточилось, в нем воплотилось колоссальное зло государственной системы.

Известный знаток Москвы писатель Владимир Гиляровский рассказывает, как в начале XX века на Лубянской площади ломали остатки «Тайной экспедиции» – ведомства другого карлика и великого злодея – Степана Ивановича Шешковского, рулившего госбезопасностью при Екатерине Великой. Просвещенных москвичей ужасали пыточные подземные застенки с крюками, кольцами, каменными мешками и полуистлевшими скелетами на цепях. Сломали! И вскоре там же, на Лубянке, вознеслась приемница Тайной экспедиции – ВЧК. Знать, самим Дьяволом указано это место!

Июль 37-го – ноябрь 38-го – пик репрессий, так называемые «массовые операции» НКВД. За эти пятнадцать месяцев было арестовано около полутора миллионов человек и из них около 700 тысяч расстреляно. Такого кровопускания – без войны – история не знала.

Террор был не только сверхмасштабен, но и универсален. Он пронзил страну смертельным крестом, по вертикали, сверху донизу, и по горизонтали: объект его – уже не отдельные социальные группы, а все общество. И участвуют в нем все, по указке и поощрению властей, – соседи, сослуживцы, родня, – стуча друг на друга, обличая, одобряя, голосуя или закрывая глаза, затыкая уши, чтобы не видеть, не слышать, не знать торжествующего зла – и тем самым уступая ему дорогу. Никогда и нигде миллионы людей не попадали под такой всепроникающий контроль, когда как рентгеном просвечивались все мысли и дела, всё – от кошелька до постели.

Какой выбор у человека – под снайперской слезжкой и смертельным прицелом тоталитарного государства? Борьба – самоубийственно. Терпеть – уродует душу. И есть третья, самое спасительное – слиться с системой, полюбить, загнав в подсознание это свое уродство-юрродство. Отсюда и психологический феномен – любовь к палачу. Лизнуть занесенную над тобой руку, от которой зависит – быть тебе или не быть.

За что? Это восклицание повторялось бесчисленно, как заезженная пластинка, и при аресте, и на допросе, и на суде, наяву и во сне, молча и громко. За что? А вот пропустил наборщик в типографии, а за ним и корректор в слове «Ленинград» букву «р» – и обоим высшая мера, расстрел. Или поэт-обэриут Александр Введенский – обвинен в том, что «культивировал и распространял поэтическую форму “зауми” как способ зашифровки антисоветской агитации».

Вот уж заумь! Или преступление пермского зэка Зальмансона – «антисоветски улыбался».

Мы все ищем логику в сталинском выборе жертв, гадаем, почему погиб этот человек, а уцелел другой, и тоже спрашиваем: за что? И не понимаем, что тоталитаризм – это организованный, государственный терроризм, всеохватный произвол, система абсолютного подчинения.

При красном, ленинском терроре еще искали врага, чужого, а при Большом, сталинском – даже лучше, если свой, чтобы все чувствовали себя беззащитными. Просто сверху повсеместно спускался обязательный рабочий план на истребление – аресты и расстрелы – такого-то количества людей. А на местах еще и брали повышенные обязательства, старались переплюнуть друг друга, перевыполнить норму. А уж кто именно будет убит – не так важно. Уничтожить одного из десяти, чтобы девять оставшихся возлюбили Сталина! Все стоят в общей очереди на смерть.

Идейную основу этому людоедству подвел сам вождь: «Литература, партия, армия – все это организм, у которого некоторые клетки надо обновлять, не дожидаясь того, когда отомрут старые. Если мы будем ждать, пока старые отомрут и только тогда обновлять, мы пропадем, уверяю вас».

А чтобы уж вбить гвоздь по самую шляпку, чтобы сделать политический терроризм не только всеохватным, но и перманентным, вечным, давал установку бестолковым товарищам по партии, что классовая борьба будет не утихать, а обостряться все больше и больше по мере движения вперед к сияющим вершинам коммунизма.

Жизнь превращалась в полигон страха и бесчеловечности, в школу трусости и предательства. Видимо, случаются в истории такие времена, когда инстинкт самосохранения у народа отключается или, наоборот, включается инстинкт

самоистребления, – и тогда запускается механизм уничтожения. Своего рода социальная болезнь, как болезнь организма, которому остро недостает необходимого для выживания вещества.

Тут, в Советском Союзе, людям фатально не хватало «достоинства» отца Потапа, «не могу молчать» Льва Толстого и Ивана Павлова, пушкинского: «Холопом и шутом не буду и у Царя небесного...» И не хватало именно потому, что эти духовные ферменты из века в век искоренялись. Редко кто решался на открытый протест. И все-таки случались отчаянные поступки.

В апреле 38-го, в разгар «ежовщины», молодой профессор-физик Лев Ландау вместе со своим приятелем, тоже физиком, Моисеем Корецом сочинили к Первомайскому празднику листовку. Да какую!

«Товарищи! Великое дело Октябрьской революции подло предано. Страна затоплена потоками крови и грязи. Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может знать, когда придет его очередь...

Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика совершила фашистский переворот? Социализм остался только на страницах окончательно изолгавшихся газет. В своей бешеной ненависти к настоящему социализму Сталин сравнился с Гитлером и Муссолини. Разрушая ради сохранения своей власти страну, Сталин превращает ее в легкую добычу озверелого немецкого фашизма».

Листовка незамедлительно попала на Лубянку, а вслед за ней и сочинители. Кореца продержали за решеткой и колючей проволокой аж до смерти Сталина. Ландау повезло больше, он провел год в застенках НКВД по обвинению во вредительстве и подозрению в шпионаже. И неминуемо бы погиб, если бы не менее отчаянный шаг другого замечательного физика – Петра Капицы: тот не только вступился за коллегу, но даже пригро-

зил свернуть свою работу в Институте физических проблем, если Ландау не выпустят. И – о чудо! – выпустили. И даже позволили дожить до Нобелевской премии.

Но это, конечно, счастливое исключение – киты, на них держалась наука. Организованного, широкого сопротивления, которое только и могло смести сталинский режим, не было.

В 37-м проводилась всесоюзная перепись населения. Результаты ее стали страшным секретом и впервые опубликованы полностью только в 1996-м, уже после перестройки. Было что скрывать.

Оказалось, 59% населения страны в возрасте от 16 лет не имели образования вообще, хотя считались грамотными, то есть умели читать по складам и расписаться, изобразить свою фамилию. Среднее образование имели только 4,3%, высшее – 0,6%. Что же до начальства, то лишь пятая часть руководящих, партийных, советских и хозяйственных работников могла похвастаться высшим образованием, а 20,7% не имели даже среднего и нигде в тот момент не учились. На самом деле грамотность была еще ниже, потому что многие при опросе завышали свой уровень.

Страна в массе своей оставалась темной и нищей. Хотя она и пережила Золотой и Серебряный века культуры, но в верхушечном, тонком слое, который в результате революции, красного террора и Гражданской, братоубийственной войны был почти начисто срезан. И в такой стране власть захватил политический гангстер, без гуманистических предрассудков, семинарист-недочка, не имевший никакой профессии. Психологические и цивилизационные корни террора – в элементарном варварстве. Идет постоянный поиск классовых врагов, люди самоутверждаются за счет их уничтожения, а не путем реализации лучших своих качеств и способностей.

И еще 37-й был годом упразднения души. Такую кампанию развернула советская пропаганда. Что есть сия, так называемая душа? Поповское мракобесие! Сам академик Павлов, титан научной мысли, доказал на примере собак, что поведение зависит от дрессировки, а дрессировка – от еды. То же – и человек. В основе его поведения – простое слюноотделение, а не какая-то там пресловутая душа!

26 февраля в «Известиях» появилась знаковая статья академика М. Завадовского, в которой он писал: «С детских лет всем нам прививалась мысль, и она казалась бесспорной, что тело наше управляется “душой”, что наше поведение “свободно” и определяется прежде всего нашей волей. И.П. Павлов с предельной ясностью показал, что это представление – иллюзия».

Итак, теперь упразднялось последнее, что оставалось свободным, – бессмертная душа человека. Она отправлялась в расход.

И далее Завадовский втолковывает: «Если на протяжении индивидуального опыта у животного какой-либо безразличный, не специфический раздражитель (например, звонок) многократно совпадает с раздражителем, продуцирующим слюноотделение или отдергивание лапы, то звонок превращается в условный раздражитель, провоцирующий отделение слюны или движение лапы... Поведение человека, говорит Павлов, имеет ту же принципиальную основу, что и поведение собаки».

Раздражителем может быть звонок. А могут быть и слова, многократно повторяемые.

Вот и сбылось предсказание великана науки! Удалось-таки построить общество, которое верило лозунгам больше, чем реальной жизни. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» – распевали – рот до ушей! – жители самой несвободной страны, рабы свободы.

Это пародия – «Песня о Родине»? Нет, это сама жизнь стала пародией на жизнь. «Никогда в мире еще не бывало таких действительно свободных, демократических выборов, никогда. История не знает такого примера», – заявлял под гром оваций Сталин. Шел 37-й.

Такой социальный опыт производили большевики, опираясь на страх, крепостные традиции и слепую веру в слова.

Узник ГУЛАГа Яков Серпин языком поэзии выразил суть этого опыта, через который прошли миллионы:

Я ослеп, оглох и онемел...
Прежде ошибаться я умел.
Все, что видел, свято почитал,
Все, что слышал, правдою считал,
Верил в то, что говорил другим –
И чужим,
И очень дорогим.
Но однажды на исходе дня
Человек допрашивал меня.
И казалось мне, что не всерьез
Он ведет бессмысленный допрос.
Человек придвинул телефон
И спросил, какого цвета он.
Я сказал, что черный, но в ответ
Вдруг услышал дьявольское:
– Нет!
Бил в глаза свирепый черный цвет,
А в ушах моих звенело:
– Нет!
– Нет, он белый, – просто ты дурак,
Потому что видишь все не так! –
И тогда я видеть перестал,
И тогда я слышать перестал,
Больше ошибаться я не смел,
Я ослеп, оглох и онемел.

Присвоение и использование национального гения в политических целях – обычное дело. Так и открытия ве-

ликого Павлова большевики применили для изготовления своего рода психической атомной бомбы. Вот что делают лилипуты мысли, которые всегда действуют скопом, живут толпой и размножаются клеточно, с Гулливером, который всегда штучен, одинок и неповторим.

В том же номере «Известий» от 26 февраля есть заметка «Мозг И.П. Павлова»:

«В московском Институте мозга закончилась сложная работа по подготовке мозга И.П. Павлова для микроскопического исследования. В течение года, протекшего со времени смерти И.П. Павлова, мозг его был подвергнут специальной обработке, после чего был разложен на серию срезов. Институт уже приступил к изучению тонкого строения мозга – клеточной структуры коры. В настоящее время исследуются лобная, теменная и височная области мозга. Кроме того, были сделаны слепки, точно передающие и сохраняющие общий вид, форму, размеры и окраску мозга, а также рисунок его борозд и извилин».

Наверно, все это очень важно для науки. Но зачем, изучая мозг, умалять разум гения-Гулливера, который хоть и сравнивал, но не отождествлял человека с собакой? Вглядываться в извилины и не видеть – мысль?!

И в том же 37-м случилось еще одно грандиозное событие – юбилей Александра Сергеевича Пушкина. Сто лет со дня его смерти. Гибель поэта страна отмечала с невиданным размахом, торжественно и пышно, как народный праздник.

Праздник смерти. Еще один пример экспроприации и опошления национального гения государством.

10 февраля. Большой театр. Парадное юбилейное заседание. В глубине бронированной ложи – сам Сталин. Советские поэты читают свои стихи.

Да здравствует партии солнечный гений!
Да здравствует Ленин!
Да здравствует Сталин!
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Это Безыменский. Мало того, что посмел называться поэтом под портретом Пушкина, еще и строчку у него украл, единственную, которая во всем словоизвержении имеет отношение к поэзии! Месяц назад, когда проходил процесс над членами «Параллельного антисоветского троцкистского центра», он лаял на всю страну о «пятаках Пятакова» и «серебряках Серебрякова», поминая партийно-государственных деятелей, осужденных соратниками на заклание¹. Это он требовал немедленной и безжалостной расправы над мастерами слова, подлинными талантами, объявленными врагами народа.

Слава мертвому Пушкину! И в этот же год – массовый забой живых поэтов, расстрельные залпы в них – как салют над гробом гения русской поэзии.

Этот юбилей стал на деле вторым убиением Пушкина. Убивали пушкинский гений, его дух в литературе и в жизни, той жизни, где Слово-Бог было «врагом народа».

Поэту едва перевалило за тридцать, когда он написал поразительные по мудрости строки – стихотворение осталось неоконченным:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

¹ Пятаков Г.Л. (род. 1890) и Серебряков Л.П. (род. 1890) были расстреляны 1 февраля 1937 г.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.

Предпоследнюю строчку, видимо, можно читать: «Как без оазиса пустыня» – трудно вставить сюда какие-нибудь другие слова.

Земля мертва без любви к отеческим гробам! Жизнь без памяти – мертва. Без памяти – нет сознания, а без сознания – самостоянья и величия.

Вот пушкинское завещание нам.

Книга не существует без читателя и рождается только в соавторстве писателя с ним. У нас литература была формой внутренней эмиграции – читать интересней, чем жить. И вот именно такой читатель – думающий, талантливый, по выражению Ахматовой, «поэта неведомый друг» – стал исчезать.

Любовь к книге могла стоить и жизни. В 1920-м был осужден на пять лет крестьянин-самоучка, механик Евдоким Николаевич Николаев. При аресте у него изъяли десять тысяч томов! – библиотеку, которую он собирал всю жизнь, тратя на нее почти весь свой заработок. После освобождения он опять собрал библиотеку – до нового ареста, в 37-м, и новой конфискации. Библиофильство было объявлено «активизацией контрреволюционной деятельности» и привело к расстрелу.

Софья Потресова, корректор издательства «Советский писатель», тянувшая с 37-го «десятку» в сибирском лагере, – муж и ближайшие родственники тоже были арестованы – спасала душу тем, что записывала в толстой тетради любимые стихи, мало того, привлекала к этой затее и подруг по несчастью. Составили целую антологию – от Пушкина до Пастернака, почти четыреста страниц. Вот кто

по-настоящему знал, помнил и сберегал пушкинский гений! Читатель бросился спасать литературу, как и она спасала читателя. В поисках стихов узнали о женщине, умиравшей от воспаления легких, которая сохранила в памяти стихи особо проклятого поэта – Николая Гумилева, записали и их, а заодно и выходили эту женщину, так что, получается, это Гумилев уберег ее от верной смерти.

Софья Сергеевна Потресова, освободившись, возвратилась в Москву, дожила до перестройки и сохранила заповедную тетрадь – памятник великой читательской любви.

Писателя без читателя не существует. Культура – это горная система, и высокие, заснеженные пики вырастают не на ровном, гладком месте, где-нибудь в степи. Они в силу природных законов появляются среди гор.

В самой читающей стране подсудимому Слову полагался репрессированный читатель.

Ощутимые потери интеллигенция понесла сразу же, как разразилась революция – истерика истории. Первый удар – красный террор, одним стоивший жизни, другим, вынужденным бежать за границу, – Родины. Осенью 22-го был нанесен второй удар – власти высылают за рубеж, выбрасывают из страны более ста шестидесяти философов, ученых, писателей, журналистов – цвет русской интеллигенции.

Как лучше пасти оставшихся? Троцкий¹ предлагает на заседании Политбюро «вести серьезный и внимательный учет поэтам, писателям, художникам и пр. Каждый поэт должен иметь свое досье, где собраны биографические сведения

¹ Троцкий (Бронштейн) Л. Д. (род. 1879) – политический деятель. Один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания, член ЦК РКП(б) и ВКП(б) в 1917–1927 гг. Автор теории «перманентной революции». После того как троцкизм был объявлен «мелкобуржуазным уклоном», исключен из партии, выслан в Алма-Ату, а затем за границу. Был убит 21 августа 1940 г. в Мексике агентом НКВД, испанцем Р. Меркадером.

о нем, его нынешние связи, литературные, политические и пр.». Ему вторит Дзержинский: «На каждого интеллигента должно быть дело»!

Откликнулся и товарищ Сталин – как почти все тираны, неудавшийся поэт, грешивший в юности стихотворством и потому особо пристрастный к литературе. Изобретатель термина «инженеры человеческих душ» разделил писателей по принципу политической зрелости, как в овощной лавке, этак – на красных, розовых и белых. И предложил сгрудить тех, кто без червоточки, для удобства в употреблении в одну организационную корзину – в «Общество развития русской культуры» или что-нибудь в таком роде, разумеется, под неусыпным надзором. В самом деле, куда приткнуть этих «надомников»? Когда нужно было зарегистрировать Всероссийский союз писателей, долго искали ему место и причислили в конце концов к категории типографских рабочих.

Третий удар последовал в 29-м, с победой сталинской линии в партии. Закипела массовая обработка, проработка и переработка интеллигенции в идеологических кампаниях и всевозможных чистках. Независимые, критические голоса замолкали один за другим, как гаснут свечи на ветру. Партии требовались лишь подпевалы. И уже наметились контуры грандиозных расправ в костедробилках ГУЛАГа, они стали нарастать с каждым годом – и индивидуальные, и коллективные.

Писательство стало зоной риска, с широким спектром опасностей и невзгод. Кому повезло умереть своей смертью, «вовремя умереть» – таких было немного. Поэт Иван Елагин, успевший убежать из СССР, писал:

Вот он – удостоенный за книжку
Званием народного врага,
Валится под лагерною вышкой
Доходягой на снега.

Господи, пошли нам долю лучшую,
Только я прошу тебя сперва,
Не забудь отнять у нас при случае
Авторские страшные права.

Смерть наступала не только в тюрьмах и лагерях. Как счесть убитых тайно, исчезнувших бесследно? Гибли от лишений и нищеты, от болезней, при невозможности лечиться. Безумие. Самоубийство. Пьянство, отравление алкоголем – коварная анестезия от душевных мук. Укорачивали человеку жизнь и тем, что арестовывали родных и близких. Губительным для многих оказалось изгнание с родины, вынужденная эмиграция, лишение родной почвы и стихии языка.

Но и те писатели, что физически не пострадали, были репрессированы как художники. Годами работали в стол. Подвергались травле или наоборот – замалчиванию. Отрекались от своих произведений, писали не *то* и не писали *то*, убивая в себе дар. Или вообще бросали опасную профессию, чтобы выжить.

Задохнувшиеся от удушья, в атмосфере изоляции от внешнего мира, кастрации культуры, внутренней и внешней цензуры, невозможности говорить своим голосом и в полный голос. Замолчавшие, оболганные, надломившиеся и сломленные.

Репрессировали даже посмертно, и такое случалось: когда уже после кончины человека от болезни казнили его как писателя: изымали рукописи, уничтожали книги и даже упоминать имя запрещали.

Даже классиков дореволюционной литературы кастрировали – печатали в урезанном виде, со лживыми комментариями.

Ненаписанные книги, пресеченные и искалеченные судьбы.

Сами же писатели и подстрекали власть к решительным действиям. «Партия слишком мало обращает внимания на литературный фронт, – дружелюбно ворчал в усы Максим Горький. – Это плохо. Всесоюзным педагогом является партия в лице ЦК. Или партия руководит литературой, или она не умеет руководить ею. Нужно, чтобы умела, нужно созвать “врагов” под одну крышу и убедить их в необходимости строгого единства».

Другой основоположник советской литературы – Владимир Маяковский – трубит:

Я хочу,
 чтоб к штыку
 приравняли перо.
С чугуном чтоб
 и с выделкой стали
о работе стихов,
 от Политбюро,
чтобы делал
 доклады Сталин.

Вот и накликали, накаркали!

Четвертым ударом по литературе можно считать ее коллективизацию, когда в 32-м, после партийного Постановления «О перестройке литературно-художественных организаций» были распущены все объединения писателей и эту разношерстную братию зачислили скопом в единый Союз советских писателей (ССП), с восторгом принятый большинством. Стройся в один колхоз! Ура! Так-то лучше – с надежной кремлевской «крышей» и «кормушкой».

Возникла управляемая литература – разделяй и властвуй. Началось казенное окаменение. Сколько драгоценного «вещества жизни» сгубили на бесконечных, ненужных митингах, собраниях, совещаниях, летучках, конференциях, съездах, слетах, чистках, проработках, всевозможных кампаниях!

И знаменитый Первый съезд писателей, прошедший в атмосфере бравого оптимизма, взвинченной боевитости и эйфории, стал, по существу, съездом обреченных. Даже спустя много лет восторгался тем временем не самый худший представитель советской литературы – Илья Эренбург: «Мое имя стояло на красной доске, и мы все думали, что в 1937 году, когда должен был по уставу собраться второй съезд писателей, у нас будет рай».

Минет всего три-четыре года после Первого съезда, и каждый третий из его делегатов попадет за решетку.

Это будет самый сокрушительный удар – час расстрелянной литературы – в столетнюю годовщину смертельного выстрела в Пушкина.

Когда удалось установить точные даты гибели писателей в 37–38-м, в календаре проступили красные от крови дни, вернее ночи – коллективных, групповых казней. Одним разом расстреливали целые литературные группировки, большей частью мифические, с придуманными, обличительными ярлыками.

«Классовый враг создал агентуру в рядах советских писателей!» – коллективно доносила в печати Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) – самая рьяная застрельщица, проводница линии партии. На сталинский призыв в стукачи и палачи откликнулись и инженеры человеческих душ, помогая выявлять бесчисленных, все множившихся врагов. Писатели-чекисты и чекисты-писатели соревновались, толкаясь локтями и ставя друг другу подножку у государственной кормушки.

Как писал политзаключенный Даниил Аль – драматург, прозаик и профессиональный историк, –

Сколько надо нанять,
Чтобы нас охранять?

Это мало – свирепых карателей,
Палачей, стукачей, надзирателей.
Чтобы нас охранять,
Надо многих нанять.
И прежде всего писателей!

Редактор «Литературной газеты» Ольга Войтинская в 38-м году, в очередном доносе на коллег, адресованном партруководству, приводит слова Ильи Сельвинского, талантливого, сложного и отнюдь не самого ортодоксального поэта, вынужденного звучать в унисон со временем: «И вот сейчас я счастлив, что разоблачил шпиона, сообщив о нем в органы НКВД».

Это тоже искусство – думать одно, говорить другое, а делать третье! НКВД докладывает партийному секретарю Жданову 28 мая 1935-го: «Писатель Е. Соболевский говорил о том, что у него для Советской власти написано две книжки: “Нас пятеро” и “Колхозный роман”, но если вернется старое, у него есть в письменном столе роман “Спи, Клабочка, спи”».

У писателя не оставалось права даже на устное слово – стукачи тотчас доносили его до ушей Лубянки, и телефоны тогда уже всю прослушивались. Не было права даже на молчание – молчание рассматривалось как скрытая враждебность.

Как спастись от конформизма и страха? Как остаться собой и выжить, выжить – и остаться собой? Все пали, вся страна, не могли не пасть; дело – в глубине падения. «Человек меняет кожу» – называлась книга расстрелянного Бруно Ясенского.

Потеря личности. Искаженный человеческий облик. Отречение от дара, предназначения, Божьего замысла о тебе – об этом писал поэт-зэк Александр Тришатов (Добровольский):

Грех последнего преступления
Я в себе побороть не смог.
Дар, как гром говорящего пения,
Я зажал, завернув в платок,
Чтоб не ринулось ко мне Слово –
Огнезrachное колесо...
Вот такого-то, вот такого
И судило меня ОСО¹.

В литературе расплодились приспособленцы, тоже погибшие по-своему, которые существовали в двух или в нескольких лицах, ломались, юлили, перелицовывались. Благополучные удачники, конформисты, те, кто, по словам Мандельштама, «запроданы рябому черту на три поколения вперед».

Но были и такие, кто не отрекся от слова даже по ту сторону колючей проволоки. Больше того – именно там-то и обрел его!

Тишайший искусствовед и деликатнейший, даже робкий человек Виктор Михайлович Василенко был обвинен в том, что хотел напасть на Кремль с «атомными пистолетами». В жалобах из заполярного лагеря он посылал прокурорам множество своих стихов – пейзажную лирику. Как они, наверно, потешались! Он думал, что стихи – высшее доказательство его невиновности.

И был прав! Он, как природа, побеждал ГУЛАГ пейзажем. Взгляните на сопки Колымы: колючая проволока истлела, а стланик зеленеет, иван-чай цветет. Где те чекисты-каратели, прокуроры-палачи? А стихи – вот они, живут, как полевые цветы. Василенко – это такой цветок в русской поэзии, не очень заметный и яркий, но неповторимый.

Случались и совсем другие апелляции к власти, другие отношения с ней.

¹ Особое совещание – заочный административный суд органов госбезопасности.

Маяковского недопочитают, считала Лиля Брик. И с помощью своих друзей-чекистов написала и передала письмо об этом Сталину, хитроумно спровоцировав его известную реакцию: «Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей Советской эпохи». Но у резолюции было продолжение, которое не афишировалось: «Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление». Вот так! Даже тут – в категориях вины и преступления. Это вам не какие-нибудь литературные штудии! Нелюбовь к Маяковскому отныне каралась, как нелюбовь к советской власти. Такое обвинение было предъявлено арестованному поэту Арсению Стемпковскому, неосторожно сказавшему о глашатае революции: «Ненормальный поэт ненормального времени».

– Как вы могли допустить такие слова? – орал следователь. – Разве вы не знаете, что сам вождь Иосиф Виссарионович Сталин дал хороший отзыв о его произведениях?!

По донесению секретного агента, Андрей Платонов, когда его прорабатывали за повесть «Впрок», сказал:

– Мне все равно, что другие будут говорить. Я писал эту повесть для одного человека, – (стукач услужливо добавляет – «для товарища Сталина»), – этот человек повесть читал и по существу мне ответил. Все остальное меня не интересует.

Известно, что ответил вождь: «Сволочь!» «Врезать так, чтоб было впрок». Но еще и добавил: «Это не русский, а какой-то тарабарский язык». Кому, спрашивается, лучше знать – политическому террористу, так и не избавившемуся от акцента, или гению родной речи?

Платонову вторил Мандельштам: «Я тень. Меня нет. У меня есть только право умереть... Есть один только человек в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться».

И наконец, Эренбург, уже из другого времени: «Начиная с 1936 года и до весны 1953-го судьба не только книги,

но и автора зависела от прихоти одного человека, от любого вздорного доноса».

Когда смоленские чекисты в 37-м, выполняя план, раскручивали «казорганизацию» среди писателей, то решили втянуть туда и Александра Твардовского. И многие писатели дали на него показания: ведет-де антисоветские разговоры, заявляет: «Все равно мужицкий дух им вывести не удастся!», сын кулака, да и стихи пишет кулацкие! Чудом тогда не посадили.

Каким он вошел в историю? Один Твардовский – прославленный, член ЦК и депутат Верховного Совета, сталинский лауреат, орденосец. Другой – изуродованный системой и партией, оклеветанный, изгнанный из своего детища – «Нового мира», лучшего нашего журнала, пьет в одиночестве и умирает через полтора года после этого нокаута. Один – пишет советские оды. Другой – поэмы, объявленные клеветническими и идейно порочными, запрещенными цензурой. Один – убежденный коммунист и даже сталинист. Другой – подрыватель коммунистической идеологии, столь же искренний антисталинист. Такую эволюцию совершили со временем многие.

Один Твардовский питается народными корнями, силен ими, любит деревню, из которой вышел. Другой – старается вырвать из себя эти корни, разлюбить русскую родину и полюбить советскую, во многом ей враждебную. В 1929-м писал в дневнике: «Я хочу рассчитаться с Загорьем навсегда, охладеть к нему. Я борюсь с природой сознательно. А то еще долго будут мерещиться березка, желтый песочек, мама и т.д.» Хороши эти «мама и т.д.»! Чтоб и не снились! Страшная операция над собой, над своей душой. И слава Богу, что удалась она лишь частично.

Говорят, вышел из народа. Да, с точки зрения власти он – народ, но с точки зрения народа он – власть. Между!

И два отца было у него: один – родной, личный, Трифон Гордеич, кузнец из хутора Загорье на Смоленщине, другой – всеобщий, отец народов, Иосиф Виссарионович. Хозяин хутора, семьи – и хозяин страны. Сталин-отец объявил родного его отца врагом народа. И вот надо выбирать между двумя этими отцами под угрозой собственного краха и гибели. Тоже пытка и казнь, такой выбор: прими высшую правду, над правдой семьи – правду страны, партии, земного бога¹.

Это замещение в сознании родного отца на «отца народов» было массовым. Завороженности тираном не избежали даже такие художники, как Булгаков и Пастернак: писали ему, мечтали о встрече и разговоре.

Из обращений к Сталину мог бы составиться толстый том. Каются в грехах, клянутся в преданности, просят разрешения на тему для сочинения или на поездку за границу, шлют рукопись на одобрение, жалуются на жизнь и на противников. Апеллируют к нему как к верховному судье и вершителю судеб, просят под его личную «крышу». Последний шанс избежать ареста, выжить – припасть к сапогу Хозяина Страны. Гордость распирает от случайно брошенной похвалы, крошечный ужас – от словесного пинка.

Сталин, говорят, с инквизиторской усмешкой пожимал плечами: «Что делать, у меня нет других писателей». Но ведь сам он и проводил селекцию, создавая т а к и х писателей и беспощадно уничтожая д р у г и х. Ведь и у них, писателей, не было другого вождя.

Власть выступала в роли организатора литературного процесса, раскладывала за кулисами из писательских имен, как из колоды карт, свой, кровавый пасьянс.

¹ Твардовский И.Т. На хуторе Загорье. М., 1983; Романова Р.М. Александр Твардовский. Труды и дни. М., 2006.

Пасьянс – игра или забава, придуманная, как считают, преступниками в тюрьмах. Карты раскладываются в заданном порядке, комбинации бесконечны. Существует множество видов этой игры. Положим, «Ворóнка» – все карты по одной постепенно убираются со стола, пропадают, как в горле воронки. Или «Русская тройка», здесь твой противник – сама судьба...

Суть кремлевской политической игры совпадала с карточной: какой-то внешний признак выдается за внутренний. Политический пасьянс таков: неважно, что ты писатель, важно, что дворянин, – значит, монархист. Или: неважно, что ты коммунист, но не осудил Троцкого, значит, троцкист. Или: неважно, что ты патриот, важно, что встречался с иностранцем, значит – шпион. И так далее, и так далее.

Пасьянс раскладывается только одним лицом. И в Кремле игрок, по существу, был один. Но освещение таково, что видны только руки – чекистские, лица игрока не видно. В самом деле, ведь Сталин лично сам никого не арестовывал, не пытал, не расстреливал. Мастер пасьянса, мастер терпения, он годами мог выжидать момент, чтобы убрать с игрового поля жизни свою жертву.

В том пасьянсе, который раскладывал вождь руками своих верных Органов, отдельные имена тасовались, перебрасывались из одной антисоветской группы-колоды в другую, кто-то вдруг выдвигался на передний план, а кто-то отбрасывался в сторону. Каждый крупный писатель образовывал вокруг своего имени вражеское окружение, сам становился организацией, но, в то время как его окружение падало, мог уцелеть. Почему? Не иначе как по какому-то особому дьявольскому расчету.

Илья Эренбург был намечен к аресту в начале 1949-го в связи с делом Еврейского антифашистского комитета, но Сталин, отметив другие фамилии галочкой и буквами

«Ар.» – «Арестовать», против фамилии Эренбурга поставил замысловатый, полувопросительный значок. Это и спасло!

Дьявольское начало явно присутствовало в Сталине. Количество зла было столь избыточно, что переходило в сверхчеловеческое, inferнальное качество.

Самое удивительное, что довелось услышать об этом персонаже истории, рассказал один полузабытый киносценарист, Николай Николаевич Рожков. Однажды вождь устроил обсуждение нового фильма – «Сказание о земле Сибирской». И пригласил к себе съемочную команду. Была глубокая ночь. Едва все устроились в каком-то просторном кабинете или маленьком зале, появился Сам. Взял стул и уселся напротив киношников. И Николай Николаевич, бывший в первом ряду, вдруг оказался в нескольких метрах от вождя, что называется – лицом к лицу. Дух захватило!

Но вот что поразило больше всего. Сталин слушал ораторов и слегка дремал, и когда закрывал глаза – внимание! – его веки не опускались сверху вниз, как у людей, а поднимались снизу вверх, как у какого-то грифа, орла-стервятника. Так ли оно было на самом деле или померещилось Николаю Николаевичу – у страха глаза велики? Он говорит, сразу вспомнился гоголевский Вий: «Поднимите мне веки!»

Есть Орел – символ евангелиста Иоанна Богослова, гордая птица Николая Гумилева, рвущаяся в Небо. И есть птица-могильщик, дьявольской тенью гнетущая Землю.

В юности Джугашвили писал стихи. Кажется, все тираны – графоманы, неудавшиеся поэты. Нерон прославился не только жестокостью, но и тем, что поджег Рим и, любуясь пожаром, играл на лире и декламировал свои стихи. Наполеон, Мао, Саддам Хусейн – и они пытались овладеть крылатым словом, не понимая, что есть две вещи, которые нельзя взять насильем: искусство и любовь. Так и Джугашвили, прославился не стихами. Пришел, увидел, победил.

Победил – от слова «беда». Гениальный злодей мстил миру за свою поэтическую бездарность...

Разгром контрреволюционных гнезд в литературе – так определяли свою задачу чекисты, науськанные Сталиным. И они успешно с ней справлялись, сами же такие гнезда и создавая.

И писатели, которые еще вчера шумно спорили в своих клубах, назавтра встречались в кабинетах следователей, обезумевшие от отчаяния и пыток, и давали показания на себя и друг на друга, а затем шли на эшафот.

1937. 16 июля

Певучая банда. Ястребиное перо. Кто сочинил эту газету? ОГПУ – наш вдумчивый биограф. Имена и номера. Теракт в виде протеста. Сталин в Париже. Сдан заживо в архив. Я тебя дорисую!..

Певучая банда

4 ноября 1936 года в своей квартире в центре Москвы, в проезде Художественного театра, был арестован крестьянский писатель Михаил Карпов. В этот день ему исполнилось тридцать восемь лет. Чем же провинился перед советской властью скромный, растущий прозаик, автор нескольких книг рассказов, повестей и романов, один из которых – «Пятая любовь», – посвященный перестройке деревни на социалистических началах, даже стал популярен и выдержал пять изданий? Типичная для советского писателя судьба – выдвиженец из народа, с двадцати лет в партии, учился в комвузе и если в чем и упрекался бдительной, пуританской критикой, так это в склонности к натурализму в любовных сценах и некотором многословии. Но ведь за это не посадишь!

Нет-нет, причина ареста таилась вовсе не в литературной деятельности вполне благонадежного автора, да и вооб-

ще не в нем самом, а в том, что он по воле случая оказался в шапочном знакомстве с куда более важной и крамольной персоной – Николаем Ивановичем Бухариным¹. А тот уже был намечен на заклание Кобой Джугашвили – очередная жертва политического каннибализма. В таких делах Коба – как истинный профессионал и даже гурман – не любил спешить. Уже несколько месяцев, после изничтожения других своих основных соперников в партии – изгнания за рубеж Троцкого, осуждения и расстрела Зиновьева и Каменева², он загодя сужал круг облавы на «Бухарчика», руками своих верных Органов, вел тайную слежку и следствие по его делу и, попыхивая трубочкой, с удовольствием наблюдал, как затягивалась петля на шее главного идеолога и «любимца партии» – так, в гроб сходя, аттестовал Бухарина Ленин.

Ясно, что главарь «правых» должен потянуть за собой целый круг последователей. В той беспощадной борьбе, которую Коба вел за всеобщее благополучие и счастье, жертвоприношения одного Бухарчика мало – требуется обширное и коварное бухаринское подполье, направленное своим ядовитым жалом главным образом на что? Правильно, товарищи, на самое дорогое, что у нас есть, – на драгоценную жизнь отца всех народов, гения всех времен, нашего родного товарища Сталина! Что из того, что такого подполья не существует – значит, его надо создать. Создать – а потом вырвать с корнем. Нет такой крепости, которую бы не взяли большевики!

¹ Бухарин Н.И. (род. 1888) – политический деятель. Член ЦК РКП(б) и ВКП(б) в 1917–1934 гг. В конце 20-х гг. выступил против применения чрезвычайных мер при проведении коллективизации и индустриализации, что было объявлено «правым уклоном». Расстрелян 15 марта 1938 г. по делу «Антисоветского правотроцкистского блока», вместе с А.И. Рыковым и др.

² Зиновьев (Радомысльский) Г.Е. (род. 1883) – политический деятель; член ЦК РСДРП, РКП(б) и ВКП(б) в 1907–1927 гг. Каменев (Розенфельд) Л.Б. (род. 1883) – политический деятель; член ЦК РКП(б) и ВКП(б) в 1917–1927 гг. Были расстреляны по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» 25 августа 1936 г.

Так нагнеталась истерия страха, порожденного собственным животным страхом Кобы, – пусть все боятся, чтобы самому страшно не было! Ведь не мог же он не чувствовать за демонстрацией слепой или фальшивой любви к нему – бездны ненависти и недовольства.

Всем известно особое пристрастие Бухарина к литературе – сам яркий публицист и вдумчивый литературный критик, даже делал доклад о поэзии на Первом съезде советских писателей, потом этот доклад многим поэтам вышел боком. Да, Бухарчик! Только в связи с ним, Бухарчиком, с его подлым влиянием, а не сами по себе имели значение жалкие, продажные писаки, всегда чем-то недовольные и с чем-то несогласные, пока на них не цыкнешь.

Вождь поставил задачу: обнаружить и уничтожить в гнилой писательской среде вражескую сеть правых – бухаринцев, не забывая и про левых – троцкистов. Такая организация литературного процесса требовала творческой выдумки. Ведь все группировки, группы и группки на этом фронте были давно разогнаны, а после сплошной коллективизации литературы созданием литературных организаций и группировок – с преступным уклоном – занималась только Лубянка.

Поэт Борис Корнилов в стихах, посвященных Пушкину, напечатанных в январе 37-го, еще заговаривал неизбежное, которое надвигалось, как черная туча:

Страшное прошло одно столетье,
Александр Сергеевич, гляди:
Император, Отделение Третье –
Это все осталось позади.

Увы, и новый, уже советский тиран, и политический сыск – были тут как тут, в новом обличье, в чем поэт убедится на собственной судьбе, – уже через год его расстреляют¹.

В пору Большого террора, или «ежовщины», Органы достигли своего расцвета. Это была многотысячная, хорошо

¹ См.: *Лесневский Ст.* Донос. К истории двух документов минувшей эпохи // Литературная Россия. 1989. № 10. 10 марта.

оснащенная и подкормленная карательная армия. Власть не жалела для нее средств: оклады работникам НКВД увеличили сразу вчетверо, им давали без очереди лучшие квартиры, выделяли больницы и дома отдыха, осыпали специальными пайками, премиями и наградами. Героическая профессия, вроде летчика и полярника, – поэты слагали о чекистах стихи, мальчишки мечтали ловить шпионов и вредителей.

Лубянка гипнотизировала Москву, особенно по ночам, бессонная, сверкающая огнями, будто раскаленная от своего напряженного, тайного, сверхважного труда. Военно-чиновничий муравейник с многослойной иерархией...

Писателями ведало шестое, затем переименованное в девятое, отделение, которое возглавлял невероятно продуктивный, судя по количеству написанных и подписанных им бумаг, капитан ГБ Александр Спиридонович Журбенко, дослужившийся до майора, кабинета начальника отдела и ордена Красной Звезды. Это отделение входило в 4-й, секретно-политический отдел, ведомый сменявшими друг друга матерыми чекистами: В.М. Курским, М.И. Литвиным и В.Е. Цесарским, а отдел, в свою очередь, в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) НКВД во главе с корифеями чекистской службы Я.С. Аграновым и затем М.П. Фриновским.

Что поражает в биографиях этих людей? Низкий уровень образования, вернее, почти полное отсутствие его. И при этом, при фатальном дефиците грамотности и культуры, знаний хоть в какой-нибудь профессии, кроме карательной, выдающаяся способность – преуспеть, докарабкаться до высоких постов, удостоиться орденов, медалей, почетных знаков и всевозможных привилегий. И еще, поскольку, как говаривал товарищ Сталин, «у чекиста есть только два пути – на выдвижение или в тюрьму», всем им осталось недолго жить, всех уже ищет пуля, совсем скоро они будут расстреляны суровыми товарищами, грядущими им на смену. Кроме двоих – Литвина и Курского, эти застреляты

сами, чтобы упредить неизбежность, предпочтут смерть от собственной руки.

Таким образом, если мы совместим все поименованные лица, то, не рискуя ошибиться, получим типаж советского чекиста высшего ранга в момент его взлета, перед сокрушительным падением. Под их неусыпным руководством вкальывала в авральном порядке, днем и ночью ударная группа чекистов среднего и младшего звена – и они все, почти без исключения, тоже вскоре последуют за своими жертвами, стремительно рухнут вместе с главным патроном Ежовым в яму, которую сами же не покладая рук рыли.

Накликал неосторожной фразой когда-то Бухарин: «Отныне мы все должны стать агентами ЧК», – так оно и случится в конце концов! И ему, Бухарчику, и всем его приспешникам предстояло, помогая чекистам, выявлять свое вражеское лицо, выдумывать собственные преступления, доказывать свою вину. Стать самим себе палачами.

Получается, Михаил Карпов, писатель из крестьян, послушный певец коллективизации, просто подвернулся под руку, оказался удобным орудием для создания очередной группы вредителей и заговорщиков – литературных бухаринцев. Хотя, может быть, и не просто подвернулся... В показаниях Карпова мелькнула фраза о том, что о своей «контрреволюционной дружбе» он сообщал в НКВД еще до своего ареста. Сам пришел или вызвали? Настучал по собственному желанию, в массовой эпидемии повального доносительства или заставили угрозами, приперли к стенке? Не счесть теней и оттенков в пестром взаимодействии чекистской рати и писательской братии!

Так или иначе, теперь Органы пожертвовали вольным или невольным своим осведомителем. Попав на Лубянку, писатель Карпов получил социальный заказ – сочинить нечто впечатляющее в уголовном жанре. К концу года, по-

ставив подследственного на конвейер – серию непрерывных допросов, – тройка следователей выжала из него решающие показания. В сводном протоколе допроса 28 декабря обрела очертания, возникла мифическая «Антисоветская террористическая группа “правых” из среды писателей». Организация наполнилась действующими лицами, именами живых людей.

Что объединяло их, кроме клейма – «бухаринское подполье»?

Все – крестьянские дети, родом из деревни: Михаил Карпов – из башкирской, Иван Макаров – из рязанской, Иван Васильев – из тверской. Да и еще один Васильев – Павел, сын школьного учителя, выходца из иртышских казаков, слыл в литературе певцом сибирских просторов, кровно связанным с коренной народной судьбой. Как он выразался, сама степь-родительница вложила ему в руку «кривое ястребиное перо». Ровесники века, примерно один возраст – зрелый, но еще молодой, собственно, как и у их следователей, – первое поколение, хотя и родившееся до революции, но сформировавшееся уже при советской власти.

Простонародное происхождение, простые русские имена, отчества и фамилии. И судьба схожа – переломом между породившей их традиционной деревней, гибнущей на глазах, и новым, растущим, как на дрожжах, социалистическим городом. Об этом они и писали, талантливые люди, уже оторвавшиеся от земли, но еще сохранившие натуральность, искренность, любовь к природе, впитавшие с детства самоцветный народный язык. И еще общее – примерно одинаковый срок, который выпал им для работы в литературе – десяток лет. Судьба переломная – и ополовиненная, подбитая на взлете сил, зрелости и мастерства¹.

¹ «Растерзанные тени» – так названа книга С.Ю. и С.С. Куняевых о трагической судьбе крестьянских поэтов (М., 1995). См. также: *Куняев С.* Русский беркут. М., 2001.

Из такого «человеческого материала», связанного близостью убеждений, творчества и, наконец, просто дружбой, не контрреволюционной, а нормальной, естественной, из этой «Певучей банды», как весело назывался один из сборников стихов в пору их революционного романтизма, алхимики с Лубянки сварганили наспех «каэробанду», вражескую организацию. Теперь надо было ее уничтожить, разгромить наголову!

Ястребиное перо

Грянул лютый 37-й. Вечером 6 февраля поэт Павел Васильев отправился бриться в парикмахерскую на Арбате. Там его остановили двое и усадили в машину. Ордер на арест оформили задним числом, спешили обезвредить опасного террориста.

Протокол первого допроса изъят из дела, надо думать, он не удовлетворил. Зато 19 февраля поэт уже назвал целый список «антисоветски настроенных» поэтов и прозаиков, которые дурно на него влияли. Роль же, которую он выбрал для себя в новоявленной организации, скорее пассивна – этакий бесшабашный, податливый парень, избалованный славой, сбитый с толку коварными врагами.

Никаким террором тут пока и не пахло.

Тем временем всю кипела организованная от имени советской общественности кампания, клеймившая поэта – «злобного, антисоветского молодчика со всеми признаками морального и политического разложения, пропойцу, дебошира, антисемита и бандита» – статья за подписью «Не-литератор» в «Известиях» от 26 февраля.

А на следующий день после выхода этой газеты арестовали и «любимца партии» – Николая Бухарина. Судьба писателей, зачисленных в его «агенты», была предрешена. Защитить их некому. Бухаринская оценка Васильева в до-

кладе на Первом съезде писателей как человека «с исключительно большими поэтическими возможностями... который займет почетное место в нашей поэзии» превращалась теперь в роковое клеймо.

Завистники и злопыхатели и раньше хоронили его, подталкивали в могилу. Обрушил гнев на бедовую голову поэта и сам Максим Горький. 14 июня 1934-го он опубликовал одновременно в «Правде», «Известиях» и «Литературной газете» разгромную статью «Литературные забавы»: «Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, – другие восхищаются его даровитостью, “широтой натуры”, его “кондовой мужицкой силищей” и т.д. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать... От хулиганства до фашизма расстояние “короче воробьиного носа”».

Еще одно горьковское крылатое выражение, из тех, что вооружали сталинских опричников. Сразу вспоминается и другое: «Если враг не сдается, его уничтожают».

Павел оборонялся как мог – словом. Но только ответ его не достигал ушей современников:

Неужель правители не знают,
Принимая гордость за вражду,
Что пенькой поэта пеленают,
Руки ему крутят на беду?

.

Песнь моя! Ты кровью покормила
Всех врагов. В присутствии твоём
Принимаю звание громилы,
Если рокот гуслей – это гром.

Это стихотворение, «добытое оперативным путем», 5 февраля 1935-го Секретно-политический отдел представил

Генриху Ягоде с докладной «о продолжающихся антисоветских настроениях» Павла Васильева и с предложением о его аресте. Глава ОГПУ наложил умилительную резолюцию: «Надо подобрать еще несколько стихотворений».

А вскоре в газете «Правда» было опубликовано письмо двадцати советских поэтов, призывающих к расправе над Павлом Васильевым, уже исключенным из Союза писателей и запрещенным к печати. Поводом стала драка между ним и комсомольским трубадуром Джеком Алтаузенем, которую Павел по пьянке сопровождал, как сказано в газете, «гнусными антисемитскими и антисоветскими выкриками». Ну и поцапались, в конце концов, два поэта-забияки, стоит ли выносить это на страницы такой солидной газеты – на весь мир? Да еще шить политику? А среди подписантов значились не только агитаторы-рифмоплеты, вроде Безыменского, но и талантливые люди – такие как Владимир Луговской и Борис Корнилов.

Один из подписавших, Михаил Голодный, опубликовал вскоре мстительные стишки, обращенные к Павлу, уже засаженному в тюрьму на полтора года «за бесчисленные хулиганства и дебоши»:

И будешь лежать ты,
Общипанный, длинный,
Рукой прикрывая
Свой хитрый глаз.
Ибо, как буря,
Наш лозунг единый:
Кто с нами не хочет –
Тот против нас.

А вот Осип Мандельштам видел поэта-изгоя совсем другими глазами: «В России пишут четверо: я, Пастернак, Ахматова и П. Васильев».

Кто сочинил эту газету?

Ивана Макарова взяли на другой же день после Павла Васильева, 7 февраля, дома, на Ленинской улице. Жена Вера вспоминала, что он простудился, лежал с температурой.

Они уже ждали этого часа. Успокаивал:

– Что плачешь, я ни в чем не виноват...

Вера заранее стала раздавать рукописи на хранение надежным людям. И потом, после его ареста, заботливо собирала все уцелевшие бумаги и бумажки, и даже кисточки, которыми он рисовал, прятала и перепрятывала, пока не пришли за ней самой. Среди сбереженного Верой – газета, которая лежала на его письменном столе, – «Известия» от 24 января 37-го, воскресный номер.

Убогое грязно-желтое полотнище – крикливые угрозы, политическая карикатура жизни – материалы процесса по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». Очередное заклятие, поедание партийно-советскими вожаками друг друга; на этот раз главные обвиняемые – Пятаков, Радек, Сокольников, Серебряков¹. Иван читает газету очень внимательно, с карандашом, выделяет фразы с упоминанием Бухарина, прекрасно понимая, откуда ему грозит опасность. «Правые в лице Бухарина и Рыкова оружия не сложили, только временно притихли».

Прочитав в репортаже из зала суда такой текст: «Среди присутствующих – писатели А.Н. Толстой, Лион Фейхтвангер, Фадеев и др. Непримируемая ненависть, непреодолимое презрение, невыразимая брезгливость во взорах, которые устремлены на подсудимых...», – Макаров делает к этому

¹ Радек (Собельсон) К.Б. (род. 1885) 19 мая 1939 г. погиб в лагере, Сокольников (Бриллиант) Г.Я. (род. 1888) 21 мая 1939 г. погиб в тюрьме. По официальной версии, они были убиты уголовниками. Однако, как выяснилось недавно, – передетыми чекистами, по заданию Сталина.

фрагменту комментарий на полях газеты, будто набрасывая какой-то свой новый замысел: «Глава “Пью и ем”. Боязнь потерять все это. Им дано видеть, этим бездарностям, им можно списывать готовое, этим холуям. Но мне надо вообразить все это».

Слева – отдельная приписка: «Рождение человека. Часть первая. Уход в шалаш». Справа – еще более загадочное: «Человек, человек! Скворец, уговор!» А по верхнему краю – с трудом удалось разобрать, после многих попыток – фраза: «Кем сочинена эта газета?» – и зачеркнуто тут же, на всякий случай.

Кто сочинил эту газету?! А кто сочинил следственное дело его, Ивана Макарова? Да все та же, многозевная, вездесущая и всемогущая гидра!

Критики обвиняли Макарова в психоиррационализме. Но такого фантазмагорического мрака, какой ждал его теперь, он и представить себе не мог. Никакого воображения не хватает! И все же многое, что случилось с ним в тюрьме, будто предвидел заранее! В сохраненной его женой, неопубликованной до сих пор автобиографической зарисовке «Как я себя погубил» писал:

«...А дальше приходит Великий Инквизитор. Неумолимый палач – сознание. Он, высокий, сморщенный старик, вытягивает длинный, сухой холст пергамента:

– А в чем социальный смысл сего творения?

Вместе с Великим Инквизитором приходит масса мелких палачей, и у каждого своя пытка».

На Лубянке Макаров попал в руки сержанта Семена Павловского¹, который отличался особой лютостью. А чего церемониться-то с врагами народа! Есть простой и безотказный способ расколоть любого, способ, старый, как мир,

¹ Павловский С.Г. (род. 1906) – оперуполномоченный 4-го отдела ГУГБ НКВД. В 1952 г. был осужден к принудительному лечению, содержался в Казанской психбольнице, где и умер.

и к тому же указанный начальством, стало быть, узаконенный, – кулак. Чего мудрить-то?

«Бить морды при первом допросе, брать короткие показания на пару страниц от “участника организации” о новых людях», – наставлял своих молодцов замнаркома внутренних дел Заковский. Один из исполнителей этого приказа, председатель расстрельной тройки по Москве и области М.И. Семенов, арестованный позже, рассказывал, что такая установка «вызывала массовые, почти поголовные избиения арестованных и вынужденные, клеветнические показания не только на себя, но и на своих знакомых, близких, сослуживцев и даже родственников, а также на лиц, которых они никогда не знали».

По следствию – и суд: «За один вечер мы пропускали по 500 дел и судили по несколько человек в минуту, приговаривая к расстрелу при рассмотрении дел “альбомным порядком”».

Куда же смотрели партия и правительство, и главное, величайший гуманист всех времен и народов? А туда же. Без его ведома никто бы на такое не осмелился. Сталин даже не считал нужным это особенно скрывать – в своей шифро-телеграмме 10 января 1939-го разъяснил, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 37-го с разрешения ЦК ВКП(б) и что этот метод «должен обязательно применяться и впредь как совершенно правильный и целесообразный метод».

Так что с санкции, по прямой указке кремлевского пахана чекистские урки, человекообразные звери превращали лица в «морды» и «били при первом допросе». Без всяких там идейных заморочек и доказательств вины – примитивно, по кулачному праву. Такая система была внедрена и утверждена сверху донизу, по всей цепочке палачей – от Сталина до Павловского.

Брали человека как некое сырье, полуфабрикат и делали из него нужное изделие – по заказу и рецепту, – это и есть провозглашенная большевиками «переделка человека», не в бухаринской теории, а в сталинской практике. Неужто был прав бедняга Бухарин, когда говорил: «ГПУ свершило величайшее чудо всех времен. Оно сумело изменить саму природу русского человека»? И какими душераздирающими подробностями сие сопровождалось – это уже лубянская кухня, это в протоколах не фиксировалось. Ставка на самое могучее и древнее – биологический закон выживания: за клевету на себя и других обещана жизнь.

Лубянские досье являют всю палитру человеческого поведения в нечеловеческих условиях. Ведь фактом ареста человек выбрасывался в иной мир, в великое одиночество, начиналось испытание всех его качеств, способности и на подвиг, и на злодейство. И кажется, люди одновременно и лучше и хуже, чем мы думаем, всегда больше наших представлений о них.

Железные партийцы, попадая в застенок, зачастую держались малодушней и быстрее сдавались, в отличие от тех, чью душу держал не Генсек, а Бог. Как же так, родная партия их предала! Быть такого не может. Партия не ошибается. И остается признать, что это ты сам – предатель. Но ведь и это неправда! И выхода из этой западни нет. А верующие, те и не ожидали справедливости на Земле, их правда была на Небе.

Мало кто даже перед смертью нашел мужество сорвать с себя партийную маску и вместо привычной демагогии произнести простые, человеческие слова. Как это сделал, например, в своем последнем слове первый секретарь компартии Узбекистана Акмаль Икрамов: «Я сейчас – раздетый человекоподобный зверь».

Одни молчали, словно воды в рот набрали, другие – крови... А, бывало, про себя рассуждали и так: если упрусь – все равно добьются пытками. И будет еще хуже, заложу еще больше. А пока хоть контролировать себя могу. Психология заложника: буду сопротивляться – возьмут близких. Пусть лучше погибну я, раз так суждено, ценой их спасения.

Муки физические соединялись с душевными и неизбежно приводили к надлому. Человек переставал сопротивляться, ему становилось все равно, он уже даже хотел смерти, как избавления от мук. Так ждут ее неизлечимые больные – когда умереть легче, чем жить, она кажется уже не злом, а единственным выходом. Поэтому большинство и умирало молча, покорно. Попав в этот, не загробный, а вполне реальный ад еще при жизни, человек испытывал такой внутренний переворот, который может понять лишь тот, кто сам это пережил...

Водить рукой по бумаге, то есть писать, сержант Павловский не любил. Использовал такую чекистскую тактику – загнав подследственного в угол показаниями, выбитыми у других, заставлял его строчить подробные собственноручные показания, а потом уже, по этой шпаргалке, и кроил на скорую руку протоколы допросов, уснащая их обильно выражениями из стандартного набора политического компромата. Кашу маслом не испортишь!

Сколько бы ни отпирался Иван Макаров поначалу, результат предрешен. 23 марта на свет появляется подписанный протокол, после которого подследственного можно уже оставить в покое, вернее, поставить к стенке. На бумаге все выглядит гладко: «Я решил давать откровенные показания», – что за этим стоит, мы знаем.

«Я высказывал, что в СССР осуществляется не социализм, а голая неприкрытая эксплуатация трудящихся.

Политика партии приводит страну к гибели, коллективизация является лишь орудием для выколачивания средств из крестьянства и ведет к разорению страны. Я обвинял ВКП(б) в том, что она осуществляет эту политику путем полицейского террора, превращая Россию в николаевскую казарму».

Беспощадный приговор выносит писатель преступной власти! И как знать, может быть, за этим стоит подсознательное желание: раз уж нет возможности бороться с насилием и ты в безысходной ловушке, – выговориться напоследок, не сгнуться просто так, бездарно, «сказать себя», наконец положив конец двоедушному существованию, вдруг кто-нибудь, когда-нибудь услышит, выкрикнуть правду, сорвать идиотскую плакатную улыбку с трагического лица человека.

ОГПУ – наш вдумчивый биограф

Как-то так получалось, что ни одна встреча у писателей без злодейств против Сталина не обходилась. Однажды Иван Макаров уговаривал Павла Васильева написать поэму «Иосиф Неистовый» и показать гибельную для крестьянства политику. В другой раз, в ресторане напротив телеграфа, где частенько выпивали писатели, Юрий Олеша попросил Павла прочитать его стихи о вожде. Тот, правда, отказался – место уж слишком неподходящее.

Впрочем, стихи эти, отчаянные, самоубийственные, были чекистам известны. Они фигурируют в следственном деле «Сибирской бригады», группы молодых писателей – Николая Анова, Евгения Забелина, Сергея Маркова, Леонида Мартынова, отправленных в 1932-м в ссылку за антисоветчину. Органы не только делали биографию писателя, но и сохраняли ее в своих необъятных анналах. «ОГПУ – наш вдумчивый биограф», как точно выразился в своих стихах

Мартынов. Проходил тогда по этому делу и Павел Васильев, но обошлось, отделался испугом. Однако стихи о Сталине были не из тех, что забываются, они остались лежать в лубянском архиве как мина замедленного действия.

История их такова. Друг Павла, прозаик Николай Анов, работавший в журнале «Красная новь», вывесил на стене в редакции «шесть условий товарища Сталина» – из речи того на совещании хозактива, экономические прописи, которые вдалбливались в сознание всего населения. Как-то, когда Павел заглянул в редакцию, Анов предложил ему зарифмовать их гекзаметром. Поэт сел и написал экспромт, дошедший до нас не полностью из-за неприличных слов. Но и того, что осталось, достаточно – человек, сочинивший и публично прочитавший такое, был обречен.

Эта эпиграмма написана раньше знаменитого, вошедшего в историю антисталинского «Мы живем, под собою не чуя страны...» Осипа Мандельштама и тоже достойна перенесения из следственного дела в антологию русской поэзии XX века.

Ныне, о муза, воспой Джугашвили, сукина сына.
Упорство осла и хитрость лисы совместил он умело.
Нарезавши тысячи тысяч петель,
насилием к власти пробрался.
Ну что ж ты наделал, куда ты залез, расскажи мне,
семинарист неразумный!..
В уборных вывешивать бы эти скрижали..
Клянемся, о вождь наш, мы путь твой усыплем цветами
И в жопу лавровый веночек воткнем.

Как же Павел уцелел при такой крамоле? Просто ему очень повезло на следователя, который за рамками чекистских обязанностей оказался еще и любителем литературы: познакомившись со стихами молодого поэта, понял, что перед ним – большой, истинный талант. Тогда – время еще

было не такое зверское – этот следователь, Илья Илюшенко, сделал все, чтобы спасти своего арестанта: несмотря на явно антисоветские стихи, Васильев был осужден условно и вышел на волю. Помогло Павлу и «чистосердечное раскаяние», вернее, то, что «сотрудничал со следствием», словоохотливо живописал грехи – свои и своих товарищей.

И вот теперь, спустя пять лет, они опять встретились. Среди вымуштрованных, на все готовых следователей обнаружилась белая ворона. Случай исключительный, почти невероятный!

Видя сочувствие, Павел все обвинения отрицал, вины лишь в том, что часто выпивал и по пьянке допускал неосторожные высказывания. О том, что произошло дальше, рассказал сам Илюшенко, допрошенный как свидетель через двадцать лет, при реабилитации поэта.

Я верил Васильеву, верил в его невиновность и несколько раз докладывал начальнику Секретно-политического отдела Литвину. Мною также проверялись и имеющиеся показания на Васильева. Я уже сейчас точно не помню, чьи это были показания – Карпова или Макарова. При проверке этих показаний я беседовал с Карповым, а может быть, с Макаровым, о достоверности его показаний. В беседе он мне сказал, что эти показания являются неверными, так как даны им под воздействием следователя. Он мне также заявил, что если его вновь будут бить, то он даст любые показания не только на Васильева Павла, но и на других, на кого от него потребуют.

После этого мною был написан рапорт на имя Литвина, в котором я писал, что Васильева считаю невиновным, а показания на Васильева не соответствующими действительности. Это было в конце апреля или в начале мая 1937 г.

На очередном оперативном совещании Литвин «прорабатывал» меня и говорил, что я не верю в их дело, то есть в борьбу с контрреволюцией. От следствия я был отстранен, и дело Васильева было передано Павловскому... О том, что Павловский недобросовестно относится к следствию, говорит хотя бы тот факт, что на одном из оперативных совещаний он с цинизмом говорил о том, что при ведении следствия от подследственных в показаниях он «меньше двух иностранных разведок и меньше тридцати участников в контрреволюционной организации не берет». Я также знаю, что Павловский к заключенным применял меры физического воздействия и этим способом от заключенных добивался нужных ему показаний...

Я хотел отвести от Васильева обвинения в террористической деятельности и сохранить его для литературы. Павла Васильева я считаю крупным, талантливым поэтом, и никаким террористом он не был. А показания Карпова или Макарова, точно не помню, о том, что Васильев хотел совершить теракт против Сталина, являются вымышленными или данными под физическим воздействием следствия, ибо в тот период этот метод получения показаний от арестованных широко практиковался.

Илюшенко сначала отстранили от дел, а через несколько месяцев арестовали. Обвинение – потакал контрреволюции, а значит, соучастник. В конце концов ему крупно повезло – остался жив, поплатился только карьерой: был направлен работать в норильский лагерь, а вскоре уволен и оттуда и исключен из партии – «за невыполнение оперативных указаний руководства и за невозможностью использования». В общем, не подошел для роли карателя, оказался не ко двору.

Это он, Илья Игнатьевич Илюшенко, сохранил в памяти, спас для потомства последние стихи Павла, написанные

им в Бутырской тюрьме, – редчайший случай, когда и среди чекистов нашелся благодарный читатель, «поэта неведомый друг». Тогда Павел еще верил, что останется жить и что его ждет лагерь где-нибудь на далеком Севере. Стихи посвящены его жене Елене.

Снегири взлетают красногруды...
Скоро ль, скоро ль на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом, северном краю...

А вскоре после того, как были написаны эти стихи, из-под ястребиного пера поэта вышло сочинение, явно вдохновленное кулаками нового следователя – сержанта Павловского.

*Народному Комиссару Внутренних Дел Н.И. Ежову
от Васильева П.Н.*

З а я в л е н и е

Начиная с 1929 г., я, встав на литературный путь, с самого начала оказался в среде врагов Советской власти. Меня взяли под опеку и воспитывали контрреволюционные Ключев и Клычков, а затем антисоветская группа «Сибиряки», руководимая Н. Ановым, и прочая антисоветская компания. Ключевы и Ановы изуродовали мне жизнь, сделали меня политически черной фигурой, пользуясь моим бескультурьем, моральной и политической неустойчивостью и пьянством.

В 1934 г. ряд литературных критиков во главе с И. Гронским прививали мне взгляды, что я единственный замечательный национальный поэт, а окружавшие в бытовой и литературной обстановке враги Сов. власти (А. Веселый, Наседкин и др.) подхватывали это, прибавляя: да, поэт единственный и замечательный, но вместе с тем

Народному Комиссару Внутренних дел
Н. И. Ежову

24/2/37

Заявление от Васильева П.И.

Начиная с 1929 г. я встал на литературный путь
с самого начала оказался в среде врагов Сов. Власть
Меня взяли под опеку и воспитывали к-ресто-
-ционеры Кляшев и Крыжков, а затем антисо-
-ветская группа "Сибиряки" руководимая И. Аннов
и протас антисоветская компания. Этой группой
оштрафован в материалах следствия по делу группы
"Сибиряки" и в последних моих докладах.

Семь лет я был окружен антисоветской средой
Чкаловы и Анновы изуродовали мне жизнь, сделали
политически герной фигурой поведением своим
маленькой и политической неустой-

чивших критиков
30.1.1936

Для врагов наблюдалась молчаливая смерть
на которые дела убивались келина влады
Мне хотелось сделать скандал в отношении
с тем была со свидетелем оштрафован. Мне
- ренно обмануть я не заслужил доверия. Мне
сейчас как будто и раньше в залу белины в политическим
взледали прилив и все горючее что во мне было

3/1/37

Павел Васильев

и
из
самом

не оцененный, несправедливо затираемый советской общественнойностью...

Я дожидался до такого последнего позора, что шайка террористов наметила меня как орудие для выполнения своей террористической преступной деятельности. Однажды летом 1936 г. мы с Макаровым сидели за столиком в ресторане. Он прямо спросил меня: «Пашка, а ты бы не струсил пойти на совершение террористического акта против Сталина?» Я был пьян и ухарски ответил: «Я вообще никогда ничего не трушу, у меня духу хватит...»

Мне сейчас так больно и тяжело за загубленное политическими подлцами прошлое и все хорошее, что во мне было.

3 июня 1937 г. Павел Васильев

С такого документа, собственно, начинались почти все следствия в то время. Был задан сценарий: разоблачите себя, покайтесь сразу и во всем, докажите собственную вину и распишитесь. Вы сами себе и подготовите смертный приговор, так что нам ничего другого и не останется, как вас прикончить. Вы как бы сами себя и расстреляете – так мы это оформим. Признание подсудимого – царица доказательств!

Но вам мы этого не скажем. Работайте, старайтесь, надейтесь, что «чистосердечным раскаянием» вы, чем черт не шутит, может, и заслужите прощение, возможность дышать. Вам надежда, а нам – признание вины. Все равно – конец один. А потом – и концы в воду.

По бумагам следствия видно, как искажается подпись Павла – от допроса к допросу, превратившись в конце концов в какую-то бессильную, невыразительную линию. Тогда донеслась о нем из-за решетки неутешительная весть: седой, с переломленным позвоночником, вытекшим глазом. Слышали от человека, видевшего поэта в Лефортовской тюрьме.

На последнем допросе, 10 июня, Павловский еще раз пытал Павла о теракте, но получил тот же ответ: да, разговоры вели, но после я испугался, и ничего больше не было. Этот протокол начальник отделения Журбенко украсил резолюцией, жирным черным карандашом: «К т. Павловскому. Надо получить показания по Т в более развернутом виде. Срок 13.6.» «Т», разумеется, – террор. Пришлось сержанту снова, аврально и бессонно, от чего он, должно быть, еще больше озверел, таскать в свой кабинет полувменяемых арестантов, выявлять и заострять в протоколах их вражеское лицо.

Тут же состряпал Павловский, злясь, должно быть, на эту бумажную канитель, когда и так все ясно, и постановление об окончании следствия – опять вытаскивая жалких камерников для подписи! Настроил обвинительное заключение по делу каждого – статьи 58-8 и 58-11, участие в антисоветской организации и подготовка теракта. Тем временем их отделение переименовали, перевернули шестерку, получилась девятка, не ошибись!

А после меняй выражение лица, неси бумаги на подпись начальству, одну за другой. Летите, голуби, летите! Все выше и выше – к капитану Журбенко, к майору Литвину и дальше – к самому наркомму Ежову и прокурору Союза Вышинскому. К самой вершине...

Имена и номера

Процедура эта – одна из самых больших тайн Кремля и Лубянки. Приоткрыть ее удалось лишь недавно, а узнать до конца не придется уже никогда.

Следствие окончено, судьбы подследственных подлежат теперь суду. Но еще раньше, до этого так называемого «суда», они, судьбы, сжимаются в сверхсекретном списке – простом машинописном перечне имен, с делением лишь по катего-

риям: 1-я – расстрел, 2-я – 10 лет лагеря. Несколько таких списков, составленных в центральном аппарате НКВД, сшиваются под общей обложкой – «Список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР» – и ложатся на стол самого вождя всех времен и народов, пред его пресветлы очи. Именно в тот момент, когда он, просквозив их глазом, ставит свою подпись на обложке, и решаются эти судьбы – живые имена превращаются в мертвые номера.

Обычно Ежов сам привозил списки в Политбюро. Эта «работа» не фиксировалась в протоколах заседаний и не оформлялась в виде решений – все решалось неформально, келейно, как на бандитской сходке. К подписям допускались лишь несколько человек – узкий круг самых приближенных к державному пахану, допущенных к «телу», при этом почти всегда присутствовал и Ежов, чтобы в случае чего дать разъяснения.

Возможно, такие сходки проходили не только в кремлевском кабинете Сталина, но и на его даче, – мгновенным росчерком, двумя буквами «За» генеральный палач уничтожал тысячи и тысячи людей, большинство из которых он не знал и в глаза никогда не видел. Вряд ли он и его шестерки не понимали, что совершают преступления, равных которым не бывало в истории человечества, но тем крепче это связывало их между собой и придавало решимости – терять им уже было нечего, все они, замаранные кровью, становились заложниками этой страшной тайны.

Столько палачей на одну человеческую душу, что все равно не спасешься! Начиная с критиков, которые на газетных площадях объявляют тебя врагом народа и требуют беспощадных кар, – тут и вездесущие стукачи, под всевозможными масками, бдительные начальники и сослуживцы, и уж, конечно, собственно чекисты, прокуроры и судьи. И лишь потом, уже в последнюю очередь, приходит

час проспиртованных, озверелых палачей-исполнителей с револьверами в руках.

Но важно знать, что ниточку жизни каждого, кто попал в сталинские расстрельные списки, обрывал сам тиран, суд же был только бюрократическим фарсом, техническим оформлением уже вынесенных приговоров. Лубянка готовила кровавое блюдо – шеф-поваром был Сталин. И можно с полным основанием сказать: все, кто расстрелян в это время по приговору Военной коллегии, на самом деле погублены по личному приказу Сталина и его верховной банды.

Машина уничтожения почти не давала сбоев. Эта отлаженная схема: готовит списки НКВД, утверждает Политбюро, оформляет Военная коллегия – действовала весь период Большого террора, с февраля 37-го до сентября 38-го, когда Сталин из тактических соображений опять начал менять руководство НКВД и размах репрессий стал ослабевать.

Одиннадцать толстых томов, сотни сталинских расстрельных списков полвека хранились в кремлевском архиве, как кашеева смерть в яйце, на конце иглы, и лишь в недавнее время были наконец рассекречены, открылись пораженному взору.

Том 1 (опись 24, дело 409).

Москва – Центр

*Список лиц, подлежащих суду Военной коллегии
Верховного суда СССР*

26 июня 1937 года

1 категория

В этом списке на сто два человека значатся:

...9. Васильев Иван Михайлович,

10. Васильев Павел Николаевич...

33. Карпов Михаил Яковлевич...

50. Макаров Иван Иванович...

И поперек обложки, размашисто, карандашами разных цветов:

«За

И. Ст.» –

и вслед, рикошетом:

«За, за, за, за...» – Каганович, Ворошилов, Жданов, Микоян.

После этого списки возвращаются в НКВД, а оттуда отправляются на рассмотрение выездных сессий Военной коллегии вместе со следственными делами. А за бумагами везут туда же и самих узников в закупоренных воронках с надписями «Хлеб» или «Мясо», чтоб не омрачить энтузиазма, не спугнуть светлых улыбок строителей коммунизма.

После резолюции Сталина друзья-писатели попали в очередь на смерть. Их держали в Бутырках. 14 июля на подготовительном заседании Военной коллегии дела их приняли к рассмотрению, точнее сказать, просто оформили все бумаги для процедуры «суда».

В этот день подсудимых перевели из Бутырок в Лефортово, ватага следователей – Павловский, Шепелев, Колосков, под началом Журбенко – еще раз взяла их в оборот: кого уговаривали, кого стращали – чтобы не вздумали отказаться от показаний, не подвели. Только тогда у них якобы есть шанс выжить.

Судопроизводство велось «с применением закона от 1 декабря 1934 г.», введенного после убийства Кирова. Что это означало? Рассмотрение дел шло в ускоренном порядке – без защиты и без вызова свидетелей. Не допускалось ни кассационное обжалование, ни подача прошений о помиловании. Вдобавок к тому приговор приводился в исполнение н е м е д л е н н о после вынесения (только в 1956 году это изуверское постановление было отменено!).

В те месяцы перегруженная делами тройка Военной коллегии иногда приговаривала к расстрелу больше ста человек в день. Даже если бы она заседала все 24 часа в сутки, на человека приходилось бы меньше 15 минут! Беззаконие, возведенное в закон, с сохранением лишь видимости судебной процедуры. Это был настоящий конвейер смерти, когда лица обреченных мелькали перед судьями, как в кино, при ускоренном показе, почти не фиксируясь.

Есть свидетельства, что они, судьи, не только не разъясняли подсудимому его права и не выслушивали его показания, – не было времени ни для зачитания полностью обвинительного заключения, ни для ритуального «суд удаляется на совещание», ни для написания там приговора. Он заготовливался заранее и даже не оглашался – во избежание истерики и лишних хлопот! Председатель говорил: «Приговор вам будет объявлен» – и осужденного уводили, и до последней минуты он не знал, что его ожидает. Приговор оглашали уже перед казнью.

В Лефортове и разыгрался этот очередной судебный фарс вечером 15 июля.

Подсудимых вызывали по одному. Судя по протоколу, дело каждого заняло у судебной тройки с неизменным коренником, армвоенюристом В.В. Ульрихом, ровно по 20 минут (к примеру, время Павла Васильева – 19.20–19.40) и состояло только в том, чтобы соблюсти формальности: «удостоверить личность», – немудрено и перепутать! – зачитать скороговоркой суть обвинения, спросить, признает ли узник себя виновным, и дать последнее слово.

Все подсудимые – и Карпов, и Макаров, и оба Васильевы, Павел и Иван, – виновными себя признали, показания, данные ими на следствии, подтвердили.

Их расстреляли в той же Лефортовской тюрьме, поскольку приговор должно было приводить в исполнение

немедленно. После полуночи. По календарю было уже 16 июля. Как именно все произошло, успели ли они проститься, перекинуться словом или взглядом – этого мы никогда не узнаем. Палачи вымерли, а случайных свидетелей быть не могло. Давать простор воображению здесь неуместно.

Как вспоминал военный прокурор Н.П. Афанасьев, Ежов приказал оборудовать в Лефортовской тюрьме особое помещение для расстрела – это было старое приземистое здание в глубине двора с толстыми стенами.

Первая комната – что-то вроде «приемной». Здесь Афанасьев в последний раз видел Ежова, чтобы выполнить свою формальную миссию – удостоверить личность бывшего наркома перед расстрелом. И вторая комната... Именно там, где были расстреляны Ежовым сотни людей, нашел смерть и он сам.

Мало кто из палачей, доживших до наших дней, единицы согласились раскрыть рот и, под условием не называть фамилий, поведали хоть что-то о своей редкой профессии. Говорят, приговоренные к смерти часто менялись внешне до неузнаваемости, сидели на глазах. Многие впадали в истерику, бредили наяву. Иные умирали до исполнения приговора – от разрыва сердца. Редко кто пытался сопротивляться – таких сбивали с ног, скручивали руки, надевали наручники.

Палачи жили как нелюди. Приходилось приводить в исполнение по многу приговоров в день. Стреляли револьвером «наган» почти в упор, в затылок, возле левого уха. Наганы раскалялись, обжигали – их меняли, целый ящик был наготове. На руках – резиновые перчатки, на груди – фартук.

Стресс снимали водкой – положено по инструкции. Сознание затуманивалось, нагоняли на себя злобу, представляя, что перед ними и впрямь злейшие преступники, враги. Многие спивались, повреждались в уме. Но были и такие,

кто прожил долго, в чинах, почете, довольстве и гордости за свой тяжкий труд во славу Родины.

Известно, что тела казненных 16 июля 1937 года писателей были преданы земле на Донском кладбище.

И все же как они умирали? О чем думали? Может быть, о том же, что и герои их книг, тоже идущие на эшафот, ведь писатели вкладывали им собственные мысли, переливали свою кровь? Например, вот этот, из повести Ивана Макарова «На земле мир»:

«– Родина, – говорит, – родина! Стыдно за такую родину. Позор один. Один позор. Вы только подумайте, господин надзиратель, что на этой родине творится. Все лучшее, все, что могло бы избавить человечество от мук невыносимых, все это лучшее погубляется. Вот мы, господин надзиратель, про писателей заговорили, а ведь самых лучших-то из них извела родина. Ведь только и жилось тем писателям хорошо, что у нашего деспотизма зад лизали, да на кончик пальца, как на дирижерскую палочку, смотрели. А ведь с настоящими-то писателями что сделали? За кого ни возьмись!.. Родина! Родина! Не родина, а тирания, скопище и засилие подлых, захлюстанных чиновничьих душонок...»

Теракт в виде протеста

В ту же ночь на 16 июля там же, в Лефортове, теми же палачами была расстреляна еще одна группа писателей. И судили их в тот же день, только утром. И проходили они по тому же сталинскому списку от 26 июня, только номера другие:

1 категория

...36. Кириллов Владимир Тимофеевич...

55. Мещеряков Тимофей Степанович...

А вот поэт Герасимов Михаил Прокофьевич числится в этом списке почему-то по второй, лагерной категории, хотя на самом деле был расстрелян в ту же ночь.

Все они тоже стали добычей гигантской братской могилы на Донском кладбище.

Голгофа одна, но путь на нее у каждого свой.

Юбилейная волна – столетие со дня смерти бессмертного Пушкина – не миновала ни одного селения в нашей необъятной. Докатилась она и до Пензы – ничем особо не примечательного, провинциального града. На литературных вечерах кроме начальства, стахановцев, артистов и местных тружеников пера выступали и гости из Москвы – известный поэт-пролетарий Владимир Кириллов и прозаик, боец легендарной Первой конной Тимофей Мещеряков. После аплодисментов, как водится, – застолье с выпивкой и первый тост... можно погадать, в честь кого был этот тост, какой гений оказался впереди – Пушкин или Сталин. Зазвенели вилки и ножи, зажужжала беседа, голоса потеплели.

Тут кто-то совсем некстати завел разговор о проходящем в Москве процессе «Параллельного антисоветского троцкистского центра» и об обвиняемом на нем крупном большевике-ленинце, теперь – заклятом враге, Леониде Серебрякове. Наступила тишина, и в ней отчетливо прозвучал голос Владимира Кириллова, говорившего сидящему рядом Мещерякову:

– Серебряков – мой друг, еще со времен царской ссылки. Если его расстреляют, я подниму в Москве целый скандал!

На календаре было 30 января, собравшиеся не знали, что как раз в этот день Серебряков был приговорен к смертной казни.

Той же ночью Кириллова арестовали, а всех других участников застолья допросили как свидетелей. Деваться

некуда, да, подтвердили они, говорил московский гость такое и даже собирался послать телеграмму протеста против приговора Серебрякову. Должно быть, пензенские чекисты хотели выслужиться перед начальством, поймав крупную рыбу, и в справке на арест поэта добавили от себя: «Высказывал террористические настроения, заявив, что если Серебряков будет расстрелян, то он совершит теракт против Сталина». В другом документе – вариация: «Кириллов сознался, что имел намерение совершить теракт против товарища Сталина в виде протеста против приговора Верхсуда по делу Серебрякова и др.»

Теракт в виде протеста!

Поначалу Кириллов, конечно, все отрицал, но после соответствующей обработки на Лубянке бригадой Журбенко–Павловского 13 апреля начал «признаваться»: и дружба с Серебряковым превратилась в преступную связь с троцкистами, сорвавшаяся во хмелю неосторожная фраза – в терзамысел, а литературные знакомства – в заговор.

Тимофей Мещеряков, бывший красный конник армии Буденного, «писатель-журналист», как он себя называл, подчеркивая, что пишет только о том, что сам пережил, соавтор Кириллова по пьесе «Эскадрон», попал в новую каэргруппу автоматически – раз был свидетелем терзамысла, значит, сообщник. Его арестовали уже на следующий день после допроса Кириллова и тоже завертели в водовороте следствия.

Вслед за ним – 16 мая – настал черед Михаила Герасимова, который был для Кириллова больше, чем друг, – брат в поэзии и в жизни. Два эти имени вошли в историю литературы вместе, и в критических обзорах их часто приводили рядом, разделяя лишь запятой. Самые известные пролетарские поэты. Участники трех революций. Оба побы-

вали в царской тюрьме и ссылке, Октябрь восприняли как величайший праздник. Шли по жизни – рука об руку, плечо к плечу. В первые годы советской власти, когда их голоса звучали громко и широко, основали и возглавили знаменитую «Кузницу» – литературную группу писателей-пролетариев. Нэпа не поняли и не приняли: за что боролись? – и выбыли тогда из партии принципиально, потому что оказались левее ее, в стихах на смену космически-торжественным мотивам зазвучало разочарование.

При всем том по характеру это были очень разные люди. Кириллов – натура открытая, прирожденный общественник, в то время как его друг Герасимов был скроен из дикого камня, сторонился толпы, предпочитал одиночество.

Конечно же, у Кириллова, которого всегда выбирали на важные посты, образовался за многие годы обширнейший круг знакомств. Он успел поработать и в Пролеткульте, и в Наркомпросе, состоял в свое время и председателем Всероссийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП), и председателем Всероссийского союза писателей. Причем он был именно коллективистом, а не карьеристом и в конце концов оказывался у высшей власти штрафником, лишаясь своих постов из-за принципиальных расхождений, к примеру, из-за несогласия с травлей неоднородных писателей.

И все же к 37-му оба – и Кириллов, и Герасимов, еще совсем не старцы, под пятьдесят – жили воспоминаниями о былом, мало писали и печатались, больше выступали, ездили по стране, заседали в различных президиумах, исполняли должности в писательском Союзе.

И вот теперь они опять оказались рядом, за решеткой, и должны были – так захотела власть, которую они утверждали! – уничтожать себя и друг друга, признаваясь в преступлениях, которых не совершали. Еще вчера объяв-

лявшие других изгоев общества «бывшими» – ныне сами стали такими. Судьба и дальше не разлучала их.

Теперь, в тюрьме, Михаил Герасимов, которого за железные скулы и нежную улыбку, за авантюрную биографию прозвали «советским Джеком Лондоном», пишет нечто такое, что уже нельзя назвать ни литературным произведением, ни даже юридическим документом, а скорее отрывком из истории болезни, свидетельством разрушения психики и сознания. Это письмо-заявление наркому Ежову от 18 июня:

...Я благодарен следствию, которое сумело снять пелену с моих глаз и показать, на краю какой бездны я находился, и долгими слезами раскаяния омыть свое лицо. Я искренне и чистосердечно признался во всем следствию. И толчком к этому было то, что я увидел вас, Николай Иванович. Однажды ночью вы заглянули в комнату, где я давал показания. Такая неизъяснимая отеческая доброта струилась из ваших глаз, такая сила света и правды излучалась от вас. Солнце взошло на полночном горизонте. Я был ослеплен, уничтожен, расплавлен до конца. Я понял, что перед лицом такой правды я не могу скрыть ни одного штриха, ни одного темного пятнышка своей души.

Не уничтожайте меня. Я прошу о снисхождении. Разрешите суровым, но прилежным трудом искупить свои преступления, чтобы после вернуть почетное высокое звание старейшего пролетарского поэта и гражданина СССР. Дайте возможность развернуть творческие силы мои. Я чувствую буйное лирическое цветение в себе. И целым рядом стихов и поэм быть нужным революции. Я хочу положить обнаженное сердце поэта к ногам вождей и великой родины. Я хочу воспитать четверых детей в духе беспредельной

любви к величайшей святыне человечества, к Сталину, чье бессмертное имя пылает неугасимым огнем в сердцах людей и на девственных снегах полюса, ослепительным звездным сиянием горит в космических пространствах миров.

Я раздавлен страданием и болью.

Заклученный Михаил Герасимов

Вот уж кого, казалось бы, должна была любить советская власть! А она их уничтожала, лучших своих сынов, демонстрируя свою патологию, изначально несправедность и порочность.

Владимир Кириллов прославился стихотворением «Мы»:

Мы во власти мятежного, страстного хмеля;
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты»,
Во имя нашего Завтра – сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы...

Эти строки были написаны на гребне революции, когда артиллерия красных палила по юнкерам, засевшим в Кремле, разрушая попутно памятники истории и культуры. Пушками, кстати сказать, командовал тоже поэт – футурист Василиск Гнедов. Стихи Кириллова вызывали восторг, захватывали дух. К тому же – выбросу классиков с парохода современности – призывал и Маяковский: «А Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы?», рифмуя в духе времени «Растрелли» с «расстрелян». Маяковский подарил тогда собрату в поэзии свою книгу с красноречивой надписью: «т. Кириллову. Однополчанин по битвам с Рафаэлями. Маяковский».

Можно ли говорить об историческом возмездии? Ведь сбылось то, к чему они, эти поэты, призывали, когда воспаленные их стихами новые хозяева жизни, вслед за разрушением музеев и растаптыванием цветов искусства, стали сжигать и своих, живых Рафаэлей.

«Литературных серебряковцев» подвергли тому же трагическому фарсу «суда», что и «литературных бухаринцев». Брызги крови на стенах расстрельного подвала в Лефортове – и крестьянских писателей, и пролетарских поэтов – перемешались, слились, как на знамени государства.

Главное преступление у всех – хотели убить Сталина. Есть и в этом какой-то скрытый смысл – ведь главным их убийцей стал именно он, Сталин.

Конечно, никакими террористами наши герои не были и даже не могли быть. И все же с точки зрения сталинской власти они – преступники. Потому что сопротивлялись этой власти как могли – мыслью и словом. Потому что без свободы мысли и слова – поэта нет. Как при свободе мысли и слова – нет тирана.

Сталин в Париже

В тот вечер, когда писателей-смертников в Лефортове вызывали по одному и приговаривали, в центре Москвы, в Большом театре, проходило торжественное заседание, посвященное открытию канала Москва – Волга.

Назавтра «Правда» захлебывалась:

«Провозглашена здравица в честь строителей канала, партии, Советского правительства, в честь тов. Сталина. В зале гремела овация. В этот момент на трибуне появляются товарищи Сталин, Молотов и Жданов. Они дружески поздоровались с членами президиума и, заняв свои места за столом, рукоплесканиями приветствовали строителей канала и трудящихся столицы, собравшихся в зале. Зал бушевал в восторге и радости.

Все встали. По всем ярусам театра перекатилось мощное “ура”. Едва овация немного стихала, как раздавался новый возглас в честь Сталина, и буря бушевала с новой силой».

Вот они перед нами, в президиуме, во всей красе, справа налево (фотография развернута на всю ширину газетной полосы): главные расстрельщики – Сталин, Молотов, Ежов и Жданов, рядом – будущий разоблачитель, а тогда соратник и соучастник – Хрущев и далее, в мундирах, руководящие чекисты – первый зам наркома Фриновский, начальник ГУЛАГа Берман. Сталин во френче, явно позирует, подставив профиль, одна рука уперта в бок, смотрит то ли на Молотова, то ли за его спину, за кулисы.

После торжественной части, как полагается, – прекрасный концерт с участием лучших артистов столицы.

До подлинных строителей канала этот триумф и овации могли доноситься разве что только из репродуктора. То, что канал прорыт руками и устан костями советских рабов, зэков – за пределами газет. Нет, это победа и заслуга чекистов, партии, правительства и больше всего лично товарища Сталина!

Так кто же, как спрашивал крестьянский сын, писатель Иван Макаров, – кто сочинил эту газету? Каким раздавленным ничтожеством должна была чувствовать себя горстка бывших писателей и уже бывших людей, которых тогда отправляли на тот свет!

Но что делается в мире в эти дни? Советский Союз, конечно, величина, но все же лишь одна шестая. Есть же, в конце концов, на земле и цивилизованные страны!

Минуем Германию, где примерно то же, где свой бесноватый фюрер. Перенесемся в Париж. Переведем дух. Ведь там-то уж совсем другое...

А там, в Париже, как раз завершается второй конгресс Международной ассоциации писателей, начавшийся в Испании и прокатившийся антифашистским митингом по трем ее городам – Валенсии, Мадриду и Барселоне. Собрались духовные авторитеты, мастера пера со всего мира, из двадцати

восьми стран. Они клянутся всеми силами бороться против мирового фашизма, где бы он ни был, утверждают, что в этой войне невозможен никакой нейтралитет, призывают не верить «в смехотворные обещания, под прикрытием которых фашизм прячет свое разрушительное и смертоносное дело».

Триумф гуманизма. Долой германских, долой испанских, долой итальянских фашистов! И ни слова – о советских!

Избирается почетный Президиум Ассоциации писателей для защиты культуры – цвет мировой литературы: Ромен Роллан и Андре Мальро, Жан-Ришар Блок и Луи Арагон, Бернард Шоу и Мартин Андерсен-Нексе, Томас Манн и Генрих Манн, Лион Фейхтвангер и Эрнест Хемингуэй, Алексей Толстой и Михаил Шолохов, Сельма Лагерлеф, Антонио Мачадо, Хосе Бергамин, и это еще не все. В Бюро и Генеральный секретариат Ассоциации входят фигуры поскромнее, в том числе из Советского Союза – Кольцов, Эренбург, Ставский, Вишневский, Лахути, Фадеев, Микитенко – свои люди, надежные товарищи, будет кому порулить мировой литературой!

Правда, не всем это удастся, и положение надежных товарищей окажется не так уж надежно. Михаил Кольцов, советский журналист номер один, будет расстрелян через два с половиной года. А Ивана Микитенко, украинского прозаика и драматурга, схватят почти сразу после возвращения из Парижа и казнят уже 4 октября.

Заключительное заседание проходит в переполненном театре «Порт сен Мартен». И что же мы слышим?

«...Сталин! Наш Сталин! В его жизни есть случай, который должен стать достоянием всей мировой литературы, – на трибуне посланец великого Советского Союза, пламенный комиссар-драматург Всеволод Вишневский. – Сталин водил под огнем первые рабочие демонстрации более тридцати лет тому назад... Сталин! В тюрьме он был центром духовного

сопротивления, примером предельной выдержки и волевой устремленности. Был день, когда администрация вызвала войска, чтобы устроить избиение непокорных политических заключенных. Их прогнали сквозь строй. Удары сыпались на плечи, грудь и голову. Или по глазам. Сталин взял книгу, зажал ее под руку, взглянул на отупелых, потных, тяжело дышащих палачей и пошел сквозь строй под сотни ударов. Сталин шел молча, ровным шагом. Так он прошел этот путь, не согнувшись, не крикнув...

Братский привет вам из Москвы! Мы сделаем наш XX век веком великой освободительной мировой революции!»

Буря аплодисментов. Где мы – в театре «Порт сен Мартен» или в Большом театре? Давайте представим себе это ослепление, этот всеобщий политический идиотизм – от Москвы до Парижа! А потом вспомним, что уже через два года в Европе будет идти мировая война, самая кошмарная в истории человечества, и тоже располыхается – от Парижа до Москвы.

А в театре «Порт сен Мартен», как и в Большом, после торжественной части – большой концерт, в котором приняли участие лучшие артистические силы, на этот раз – Парижа.

И это еще не все. Энтузиазм не угасал. Прежде чем разъехаться по своим странам и написать очередные тома своих сочинений, сообщают «Известия», «члены Конгресса дали коллективную клятву бороться против угнетения и тирании не только в своих произведениях, но и каждый день своей жизни. Клятва была принята перед гигантским портретом молодого испанского поэта Гарсиа Лорка, расстрелянного бандами Франко в Гранаде, в доме композитора Мануэля де Фалья, который в тот же день сошел с ума».

Оставим на совести газеты неправду о месте гибели поэта и безумии де Фальи – узнав об аресте Лорки, он тут

же бросился к военному коменданту Гранады с поручительством за поэта. А за неделю до этого осмелился отказаться от сочинения фалангистского гимна. И не считал себя героем, это для него было естественно. А потом в знак протеста против политики диктатора эмигрировал и умер в Аргентине в 1946-м.

Называвший себя «неизбежным арестантом» Федерико Гарсия Лорка в последней своей, оборванной драме от имени Поэта, двойника автора, скажет: «Я – смертник». И успеет спросить своего убийцу, человекообразное существо «без лица»: «Кто ты?» И услышит ответ: «Власть».

Правда о гибели Лорки была похоронена вместе с ним. Только в 1969 году в Испании напечатали черным по белому: Лорка убит. А до этого писали совсем как у нас: «Творческий путь поэта оборвался в 1936 году...» Гранадский архив был уничтожен, и не в гражданскую войну, а спустя десятилетия, когда замаячил шанс приоткрыть его. Оставили лишь бумажку: «Умер от огнестрельных ран», – мол, потомкам достаточно.

Как и у нас – о многих сотнях тысяч расстрелянных.
Так кто же, кто, кто сочинил эту газету?

Сдан заживо в архив

Впереди одна тревога,
И тревога позади...
Посиди со мной немного,
Ради Бога, посиди!
.....
Завтра, может быть, не вспыхнет
Над землей зари костер,
Сердце навсегда утихнет,
Смерть придет – полночный вор...

Так писал Сергей Клычков в одном из лучших своих стихотворений.

За ним пришли ровно в полночь, 31 июля 37-го. Случилось это на даче. Его жена Варвара Горбачева вспоминает: «Он зажег свечу, прочитал ордер на арест и обыск и так и остался сидеть в белом ночном белье, босой, опустив голову в раздумье. Смуглый, очень худой, высокий, с темными волосами, остриженными в кружок. В неровном, слабом свете оплывающей свечи было в нем самом что-то такое пронзительно-горькое, неизбывно-русское, непоправимое».

Обыск шел всю ночь – при свечах и фонариках. «Гостей» было трое. Дети спали...

И то же путешествие по тюрьмам, триоца, как все у нас: Лубянка – Бутырка – Лефортово. Почему-то непременно все должно случаться три раза, как в страшных русских сказках: уж если война, то непременно три – две мировых и между ними гражданская, три революции подряд, будто одной мало, и та тройная матрешка, которой должен был соответствовать советский человек: пионер – комсомолец – коммунист, и расстрельная тройка, и Русь-тройка, что мчится незнамо куда, и когда выпить хочется, тоже соображают на троих. Есть в этом какой-то тайный код судьбы, метафора истории – считаю, мол, до трех раз, даю шанс, а там уж не обессудь.

Вот и Сергей Клычков виноват, судя по обвинению, трижды: сначала являлся активным участником «Трудовой крестьянской партии»¹, затем имел связь с выдающимся врагом народа Львом Каменевым и, наконец, вошел в состав террористической группы, возглавляемой поэтом Кирилловым.

Почему Клычкова не арестовали раньше – загадка. Агентурное дело на него, заведенное с 29-го года, давно

¹ Разгромленная в 1931 г. мифическая организация, которая якобы занималась вредительством в народном хозяйстве и боролась за реставрацию капитализма. Будто бы входившие в нее экономисты и литераторы Н.Н. Суханов, Н.Д. Кондратьев и А.В. Чаянов были потом расстреляны.

С. С. С. Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОРДЕР № 3841

Июль 31 дня 1937 г.

Выдан *Сиб. Лейтенанту* *Ивану Вас*

Главного
Управления Государственной Безопасности НКВД
тов. *Ивану Васильеву* на производство

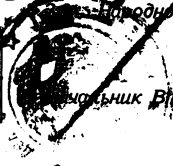
Ареста и обыска

Клычкова
Сергей Антоновича

адрес *Ст. Катмар*

И. В. Рымов
Народного Комиссара Внутренних Дел СССР

Место
для
печати



Заместник Второго Отдела ГУББ

Семин

справка: *86*

распухло, и справка на арест составлена в основном на богатейшем материале доносов.

Ныне можно говорить о чрезвычайной ценности творчества стукачей – как исторического источника: в нем запечатлелась не лживая пропаганда и не искажающий взгляд многознаек из будущего, а то, что на самом деле думали люди в свое время и в предложенных обстоятельствах. Если собрать все эти агентурные донесения, получится многогранная картина жизни. И станет ясно, что многие люди не только понимали, что происходит в стране, но и высказывали это вслух, то есть что было Соппротивление через Мысль и Слово, которые при тирании стали последним убежищем, бастионом и орудием свободы и личности.

Полное собрание доносов на Сергея Клычкова составилось большей частью из произведений его коллег-писателей. Вот его высказывания из агентурных донесений уже незадолго до ареста:

«Тяжело нашим управителям управлять в окружении недовольства. Того и жди неприятностей. Поэтому вся система управления крапленая и нам тоже нужно быть большими шулерами, чтобы понимать этот крап, не ошибиться, правильно ходить. Мы не зеваем – ни одного произведения нет без крапа.

Но смельчаки не перевелись. Не все бросают бомбы. Есть такие бомбы, которые действуют более сильно, чем взрывчатое вещество, и имеют более разительное значение и более широкий резонанс. Это – слово. Возьмем кого-либо из толпы – выступит и бросит десяток крылатых слов. Да таких, что весь мир услышит, все газеты напечатают. Человек с большой буквы. Скажет такой смельчак – и отправится в ГПУ как яркая иллюстрация новейшей советской конституции. И миссию свою выполнит, и сила ее значительней, чем оружие».

«Я думал раньше, что русская поэзия на нас троих кончилась. Один задавился – Есенин, второй ошибочно не сделал этого – Клычков, а третий сдан заживо в архив – Клюев, осужден. Пропечатан в черных списках.

Нет, поэзия – такая штука, которую ни Соловками, ни приказами не задушишь. Живы ростки, посеянные нами, – живы. Я знаю, что в народе ходят могучие, растущие...»

Среди пророческих озарений Николая Клюева, «сданного заживо в архив», – его сны, видения. Такой, к примеру, погибельный сон 23 февраля 1923 года:

«Взят я под стражу. В тюрьме сижу. Безвыходно мне и отчаянно... “Господи, думаю, за что меня?” А сторож тюремный говорит: “За то, что в дневнике царя Николая II ты обозначен! Теперь уж никакая бумага не поможет!” И подает мне черный, как грифельная доска, листик, а на листике белой прописью год рождения моего, имя и отчество назnamenованы. Вверху же листа слово “жив” белеет. Завтра казнь... Безысходна тюрьма, и не вылизать языком белых букв на черном аспиде...»

Тот же образ и у Сергея Клычкова: «Пропечатан в черных списках».

«Черные листики», «черный аспид» – это не что иное, как чекистские досье, на которых «белыми буквами» прописаны миллионы жизней. И, увы, никаким языком их уже оттуда не вылизать.

Сдался Клычков не сразу. 9 августа, после того как очнулся от первой серии пыток, пошел на страшный риск, обратился к Ежову с жалобой на следователей и отказом от своих показаний. И тут уж они взялись за него как следует! Следствие вели оперуполномоченный Вепринцев и сотрудник резерва назначения Шепелев, под кураторством все

того же Журбенко и с подключением в качестве главного специалиста по «физическому воздействию» – Павловского. И тогда поэт выдает наркомому другое, покаянное заявление, а жалобу следователи изымают из дела, пропустив только упоминание о ней.

А еще через неделю Клычков сочинил под видом собственноручных показаний целую автобиографическую брошюру. Что ж, если в вывихнутом сознании тех, в чьи руки он попал, существует «контрреволюционная дружба», почему бы там не быть и «контрреволюционной душе»? И пусть теперь этот Клычков вывернет нам ее!

...Старое крестьянство, в вершине которого стояло кулачество, перед своей смертью не могло не выслать в культуру своих певцов, апологетов. Такими «бардами» явились Есенин, Клюев и я. Уступая охотно пальму первенства в стихах Клюеву и Есенину, позволю себе мысль: я, пожалуй, как никто в русской литературе являюсь до последней неповторимой полноты выразителем старорусского кулачества, так называемой «мужицкой стихии». Коллективизация деревни внушила мне и Клюеву сначала страх, а затем растерянность, переплавляющуюся в острую злобу, которая выражалась у простого деревенского кулака в поджогах и убийствах. А у меня – в восхвалении его (кулака) и в надеждах на переворот, а пока в писании писем к «Астралу», складывавшихся в самый дальний и темный угол стола.

Таких писем, в которых я выражал несуществующему другу свою горечь, злобу, безысходное свое отчаяние и тоску по навсегда уходящему в небытие прошлому, я написал около сотни (и бумага даже почтовая была!). И очень жалею сейчас, что не могу приложить их при этом моем показании в качестве вещественных доказательств. Как-то вечером «доброжелатели» из комбеда сказали, что

у меня будет обыск. Я долго искал место, куда спрятать письма, и спрятал... в скворечнике (была Страстная, вот-вот прилетят скворцы). Обыска не было, но письма пропали. Они, очевидно, сильно не понравились этой птичке, и она их выкинула в мокропогодное утро в пруд, заменив почтовую бумагу первородным мхом.

Сергей Клычков был включен в расстрельный сталинский список от 3 октября 37-го под номером 23. Путевку в смерть подписали кроме Сталина Молотов и Каганович – такое поэту внимание, такие отличия и награды суждены!

А дальше – уже знакомая процедура. Справка из тюремного отдела КГБ сообщает, что 7 октября Клычкова привезли из Бутырок в Лефортово, что, находясь там в течение суток, он на допрос не вызывался и на следующий день «вместе с личным тюремным делом убыл на Военную коллегия, откуда обратно в тюрьму не возвращался». Другими словами, перешел из рук тюремщиков в руки расстрельщиков.

Суд пропустил его через свои жернова за двадцать пять минут (21.30–21.55). Клычков свои показания на следствии подтвердил лишь частично, а что назвал ложью – из протокола не видно.

Приговор приведен в исполнение в тот же день. Тело бросили в общую могилу на Донском кладбище. А затем уничтожили и труд – рукописи Клычкова, изъятые при обыске, были сожжены по акту через два года, 2 сентября 1939-го.

Я тебя дорисую!..

Пусть идет все к черту, летит трубой,
Если уж такая судьба слепая.
Лучшие мои девки пойдут на убой,
Золото волос на плечо осыпая...

Так оно и случилось, как предсказал в своей «Раненой песне» Павел Васильев. Жены расстрелянных писателей пошли вслед за ними в тюрьмы, а потом в лагеря – только за то, что были женами своих мужей. Вера, Глафира, Елена, Нина, Анна... Большинство из них, объявленные ЧСИР – членами семей изменников Родины – и осужденные ОСО – Особым совещанием при НКВД, стали узницами АЛЖИРа – Акмолинского лагеря жен изменников родины, в степях Казахстана.

Это была секретная операция государственного масштаба. Согласно оперативному приказу Ежова № 00486 от 15 августа 37-го, чекисты должны были немедленно приступить к «репрессированию жен изменников Родины, членов троцкистских, шпионско-диверсионных организаций», причем аресту подлежали не только, так сказать, «наличные» жены, но «также жены, хотя и состоящие с осужденным к моменту его ареста в разводе, но знавшие о контрреволюционной деятельности осужденного, но не сообщившие об этом соответствующим органам власти».

Участь детей тоже была предрешена. «Всех оставшихся после осуждения детей-сирот размещать... в возрасте от 3 полных лет и до 15 лет – в детских домах Наркомпросов д р у г и х республик, краев и областей... и в н е Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска, приморских и пограничных городов». И еще одна деталь этого приказа – только вдумайтесь! – направляемые в детдома группы детей должны были составляться «с таким расчетом, чтобы в один и тот же дом не попали дети, связанные между собой родством или знакомством». Развеять по свету, чтоб никогда уже не собрались.

ОСО при НКВД СССР... ЧСИР... АЛЖИР... Страшные символы изуродованного языка и нечеловеческого существования. Какая жуткая реальность – прожить жизнь

внутри этих аббревиатур! Ведь главное – следовать своему предназначению, отвечать Божьему замыслу о тебе. Если это невозможно – человеческий образ искажается, теряет первоуродство, превращается в социального манекена. Прожить не свою жизнь – это почти как умереть.

Вдова Михаила Герасимова – Нина, и сама писавшая стихи и прозу, уже после своего освобождения, в 1953-м, обращается с письмом к Берии. Это тоже трагический документ эпохи:

Дорогой товарищ Берия Лаврентий Павлович!

Обращаюсь к Вам, умоляю Вас о помощи...

Я склоняюсь перед Вами на колени – помогите мне вернуться к моему творческому труду. Клянусь Вам памятью нашего дорогого вождя товарища Сталина, клянусь жизнью своей единственной и любимой дочери, клянусь своей жизнью, отданной от всей души моей земле. Только Вы своей могущественной рукой можете вернуть меня к жизни. Выше искусства для меня нет жизни. А меня все боятся. И наши литературные столпы не решаются мне помочь. А я, находясь там, иногда себя чувствовала легче, находя разрядку в моих честных выступлениях при многочисленных аудиторях, начиная с серьезных, пронизательных чекистов.

Желаю Вам долгих, долгих здоровых лет. Желаю, чтобы Ваше назначение на пост Министра МВД еще больше укрепило и прославило наше гениальное отечество. И имя Ваше было прославлено и врезано золотыми буквами в историю всего счастливого человечества.

От всего сердца – Нина Герасимова

24 марта 53 г.

Невинномысск. Проездом.

Не хочется даже ничего говорить. Это письмо – пример социальной патологии, свидетельство нашей истории как истории болезни.

Есть особый феномен в нашей литературе, особая миссия и даже добровольная «должность» – «писательская вдова», спаситель, хранитель, публикатор и пропагандист сочинений своего мужа. Среди наиболее известных – Надежда Мандельштам, Елена Булгакова, Алла Андреева, но в этой череде замечательных женщин, судеб зачастую куда более трагических и героических, чем вошедшие в историю «декабристки», есть и другие, менее известные и не так ярко проявившие самих себя в слове, но не менее любящие и самоотверженные. Среди таких – и Елена Вялова-Васильева, собиравшая по крохам стихи Павла для первого, посмертного его сборника.

Похожая судьба – и у других вдов писателей, объявленных «врагами народа». Почти все они, после возвращения из лагерей и ссылок – кто через десять, кто через пятнадцать, кто через двадцать лет – поседевшие, битые неволей, невзгодами и непосильным трудом, с подорванным здоровьем, посвятили остаток жизни памяти мужей: собирали и пробивали в печать их сочинения, делали все, чтобы о них не забыли.

Гражданская реабилитация погубленных государством талантов так запоздала, что превратилась, по сути, в ненужную и пустую формальность. Книги «врагов народа», даже их журнальные публикации, были изъяты из обращения и на целые десятилетия запрещены, отняты у читателя. Горы погибших, уже изданных книг! «Мы покрыли рубероидом всю страну», – признался уже в годы перестройки, плотоядно улыбаясь, цензор Вадим Солодин. Он имел в виду судьбу запрещенных и изъятых книг, пущенных на переработку.

Почти все рукописи, захваченные при обысках, великое множество, безвозвратно пропали на Лубянке. И мы уже никогда не узнаем истинной степени дара их авторов. Уничтожение писательского труда – тоже казнь. Невозможно даже представить, сколько плодов вдохновения и шедевров исчезло

в этой бездне. Время от времени Лубянка, расщедрившись, передавала в государственные архивы отдельные бумаги, не распространяясь, откуда это взялось. Так, в Библиотеку Ленина, в отдел рукописей – туда, где схоронен «Статирь»! – попали изъятые где-то при обыске индийские древние рукописи на пальмовых листьях или письма Гавриила Державина... Но за редким исключением все кануло в Лету!

Павел Васильев обращался в стихах к своей молодой жене Елене – Елке, как он ее называл:

...Не добраться к тебе! На чужом берегу
Я останусь один, чтобы песня окрепла.
Все равно в этом гиблом, пропащем снегу
Я тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом...

«Я тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом». Даже дымом и пеплом своих сожженных рукописей.

Павел Васильев прожил на белом свете всего двадцать семь лет.

И все же имена, превращенные в номера: и его, Павла Васильева, и его друзей – не «Антисоветской террористической группы “правых” из среды писателей», не литературных бухаринцев или серебряковцев, а талантливых русских людей, шагнувших в литературу с деревенского проселка или из заводской проходной, все равно откуда, – должны воскреснуть, номера должны опять превратиться в имена и остаться в памяти народной.

Номера, номера, номера... Имена! Имена! Имена!

Россия тридцать лет живет в тюрьме,
На Соловках или на Колыме.
И лишь на Колыме и Соловках
Россия та, что будет жить в веках.

Эту парадоксальную формулу советской истории дал позднее поэт-эмигрант Георгий Иванов. Трагедия массового

истребления и ГУЛАГа – суть и главный исторический урок советского века, в котором нам выпало жить. В горнило тюрем и лагерей суждено было попасть не просто математическому числу, случайным процентам населения, а самой активной, лучшей его части. Именно она, ценой неисчислимых потерь и испытаний, вынесла самую горькую долю, приняла на себя основную тяжесть государственного ига и с перебитым хребтом все-таки выдержала почти непосильную ношу истории.

1937. 13 августа

«Воронщина». «Перевал». Слово и дело. Две жизни. «Авербаховщина». «Могила невестребованных прахов»

«Воронщина»

После расправы с литературными бухаринцами и серебряковцами пришел черед еще одного «контрреволюционного гнезда» – литературных троцкистов. Так партийные идеологи, а вслед за ними и чекисты, переиначили писательское объединение «Перевал», по-своему организуя творческий процесс.

Собственно, «перевальцев» собирались пересажать гораздо раньше, еще при Ягоде. 25 декабря 1935 года на стол наркомуположили спецсообщение Секретно-политического отдела о вскрытии «казэргруппы» писателей, сколоченной на базе литературно-политических установок троцкиста Александра Воронского, основателя «Перевала». И далее приведена подборка высказываний этих писателей на их собраниях – из многочисленных доносов, накопленных только за прошедший год. Нет сомнения, что это их истинные взгляды, которые они не доверяли бумаге и тем более печати.

Так они думали на самом деле. И имели неосторожность высказываться вслух.

Говорит литературный критик Абрам Лежнев (настоящая фамилия – Горелик) – ему ясна фашистская природа сталинского режима, который угробит больше своего народа, чем внешний враг.

Всякая диктатура губит искусство и особенно литературу. Примером могут служить Италия, Германия и СССР. Диктатура не допускает свободной мысли и протеста, а без них большое искусство невозможно. Надо писать не чернилами, а кровью сердца, кто на это решится при диктатуре?

Причем надо сказать, что немцы более правы, чем мы. Они спасаются от революции, а мы от чего спасаемся? Все на подозрении, как и у немцев. У нас в тюрьмах больше людей, чем у фашистов, – это общеизвестно, но из этого выводов не делают. Сейчас стали друг против друга два мира: десятки миллионов фашистов родились после нашей революции, и это является свидетельством нашей слабости. Пока что мы строим танки и эксплуатируем рабочих так же, как и другие. Это еще не победа.

Жизнь у нас делается настолько литературой, что писать правду о жизни уже невозможно. А писать правду – значит отрицать то, что пишут в газетах, говорят в речах и т.д.

Прозаик Николай Зарудин бьет по вождям:

Сейчас недаром вожди произносят речи. Сталин и Каганович поняли, что если еще немного так обращаться с людьми, как раньше, то вместо социалистического человека получится собрание запуганных гоголевских Акакиев Акакиевичей. Люди в угодничестве и подхалимстве дошли до того,

что готовы буквально предать родного брата, друга, лишь бы не трогали. В литературе это достигло предела...

В этом году предательство будет на первом плане, в особенности в политической среде. Если раньше человек, выдвигавшийся из мужиков, был ужасен, то сейчас многие еще хуже. Людей губит политиканство. Рабочие или колхозники, попадая в городе на положение руководителей, делаются более злостными бюрократами, чем старые чиновники.

Мы начинаем жить так напоказ, что настоящие души людей перестаем видеть, а я утверждаю, что люди живут темно и непонятно. Из писателей мы все мало-помалу превращаемся в сочинителей. И в этом основная беда.

О какой слепой вере этого поколения можно говорить? Мы слышим голоса, разоблачающие фальшивый кошмар реального социализма. Все в своей жизни они, эти люди, чувствовали, видели, знали лучше, чем мы теперь, задним числом.

И даже в будущее заглядывали, как Борис Губер:

Мы оторваны от мира, мы не знаем людей Европы и Америки. У нас движение идет по замкнутому кругу. Люди жили неважно, а официально процветали. У нас человек подыхал с голоду, во всем нуждался, сидел в тюрьме, и энтузиазм от этого, конечно, был только на страницах газет, а на самом деле люди были глубоко недовольны. Сейчас, когда война на носу, Сталин, читающий такие сводки о настроениях, какие мы с вами не читаем, понял, что с миллионами неврастеников, озлобленных нуждой и безобразным отношением к себе, воевать нельзя, даже имея хорошие машины.

Короче говоря, нам покажут хорошую жизнь, а потом мы умрем на сопках Маньчжурии или в Пинских болотах. Все сделанное разрушат, строителей социализма отравят газами, и все начнется сначала.

Начинается самое страшное – застой мысли и казенное благополучие.

Не в бровь, а в глаз! И этого человека «Литературная энциклопедия» того времени называла «беспочвенным интеллигентом».

Только теперь мы с вами и смогли прочитать те «сводки о настроениях», которые читал Сталин.

Вмуровано в донос, как в вечную мерзлоту, и живое высказывание писателя, который, к счастью, уцелел в репрессиях и успел написать свою знаменитую «Жизнь и судьбу», но тогда тоже был включен в карательный конвейер, – слово еще молодого, начинающего Василия Гроссмана:

Я только сейчас понял, почему так борются с теорией Воронского. Ведь она требует писать непосредственно, а непосредственные писания – это бомба. Мы защищаем примат сознания, потому что сознание можно навязать извне. Сознание – это программа, чужие мысли, которые люди думали до нас, а Воронский говорит о жизни. Надо, чтобы художники творили, а критики потом рассуждали. У нас не творят, а пишут. А это не одно и то же. Причем пишут все хуже и хуже. Мы скоро будем все частными ремесленниками и по плану начнем поставлять товар для журналов, кино, театров.

Докладная о «каэргруппе» писателей-«перевальцев» тогда, в 35-м, не имела последствий – время для воронщины, литературного троцкизма наступило через год.

Начали с головы, арестовали вожака, а вслед за ним начали раскручивать и других членов группы – одного за другим.

Писательский комиссар, Иван Калита советской литературы, старик, подпольный человек – как его только не называ-

ли! – Александр Константинович Воронский – фигура видная, и по биографии, и по месту в культурной жизни, особенно в 20-е годы, и по собственному творчеству – талантливый прозаик, острый публицист, блестящий редактор и критик.

До революции он прошел высшую школу профессионального революционера, с полным набором нелегалщины, тюрем и ссылок. Выдвинулся как партийный журналист, сблизился с вождями большевиков, которые его высоко ценили, именно он стал инициатором издания газеты, получившей название «Правда». После Октября Александр Воронский – один из ведущих марксистских теоретиков, собиратель талантов, организатор литературного процесса. Создатель и редактор первого «толстого» журнала «Красная новь», издательской артели «Круг». Мало кто из большевистских деятелей столько сделал для того, чтобы дать художникам слова и в условиях диктатуры с максимальной свободой выразить свои способности и видение жизни, сблизить писателей разных направлений и поколений: стариков и молодых, интеллектуалов и самородков – выдвиженцев из рабочих и крестьян. Основным мерилom ценности для него была не партийность, а дар, будь перед ним Есенин или Пастернак, Булгаков или Замятин или вовсе никому не известный сочинитель из глубинки, – скольким он помог встать на ноги и обрести известность!

Но вот беда: этот литературный комиссар, с точки зрения прямолинейных, одномерных партийцев, постоянно уклонялся и заблуждался – и когда отстаивал приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми, и когда призывал учиться у мировой культуры, и когда стоял за союз со старой интеллигенцией, признавая художественный потенциал пролетарских писателей ниже, чем у попутчиков. П о п у т ч и к и – удобное словечко придумали, в это

резиновое понятие можно было вместить всех уже не белых, но и не вполне еще покрасневших рыцарей пера.

Члены Российской ассоциации пролетарских писателей, рапповцы, неистовые ревнители идеи, придумали и другой химерический ярлык – «воронщина», постепенно меняя его окраску от чуждого к враждебному. Автобиографическая книга Воронского, «воспоминания с выдумкой», называлась «За живой и мертвой водой». И если определить миссию ее автора одной короткой фразой, то можно сказать так: боролся с мертвечиной в литературе, за живое слово.

Какая кипела драка, какие страсти! Теперь некоторые исследователи утверждают, что все эти споры под нависшим мечом идеологии были заведомо ущербны и неразрешимы, оказались по ту сторону литературы, которая развивалась вне и помимо их. Вряд ли справедливо говорить так о борце за правдивость и искренность, который пытался сеять разумное, доброе, вечное даже в условиях режима безумного, злого и хоть и долгого, но, к счастью, все же не вечного. Нужна была немалая отвага – заявлять в те времена, что идеология должна не диктовать искусству, а считаться, согласовываться с его суверенными законами. Об этом он писал, а в узком кругу и прямо говорил: «Не писатели учатся у партии, а, наоборот, партия учится у них».

Это уж слишком! Такое искусство в «прохвостово ложе» нашей идеологии не укладывалось. Совместить эти две «вещи несовместные» еще никому не удавалось. И конфликт с линией партии, оппозиция – стали неизбежны. Сначала Воронский был отстранен от работы в «Красной нови», а в 29-м, в год «великого перелома», посажен за решетку.

Сталин специально посылал к нему в тюрьму Емельяна Ярославского – для обработки. Потом тот написал генсеку и Орджоникидзе письмо об этой встрече, изложение которого

сохранилось в следственном деле. Беседа, в присутствии чекиста Агранова, длилась полтора часа, смутьян заверил, что не входил ни в какой враждебный политический центр и, хотя и встречался с троцкистами, сам никакого участия в подпольной жизни не принимал. Он разделяет некоторые их взгляды, но по ряду вопросов расходится с ними. Воронский не лжет и не производит впечатления озлобленного человека, непримиримо враждебного к партии, заключил Ярославский. Так что в строгой изоляции его нет необходимости, достаточно сослать в какой-нибудь непромышленный центр, например в Липецк.

Так и сделали: выслали в Липецк, а уже через год, по состоянию здоровья, разрешили вернуться. На первый раз помиловали – слишком ценный работник, может пригодиться партии. И сам Воронский, казалось бы, перестроился: вслед за другими оппозиционерами смягчил позицию и был восстановлен в партийных рядах. Но прежнего доверия к нему уже не осталось, от участия в важных делах его отстранили и посадили на смирное место, в Гослитиздат, редактором изданий классики.

Конечно, некое раздвоение в Воронском, в его взглядах было: с одной стороны, свободная интуиция художника, право видеть мир во всех его противоречиях, с другой – идеологическая установка, пусть и гибкая, растянутая до предела, а все равно стесняющая, ограничивающая свободу. Поэтому его призывы к писателям смотреть на жизнь как в первый раз, глазами ребенка, хоть и верны по сути, но только в нормальной человеческой жизни, в условиях же тотального террора звучат прекраснотушно. Все эти искания для большинства кончились одним. Мертвечина победила, и «перевальцы», идущие за своим учителем – Воронским, и беспощадные их противники, рапповцы, – все успокоились в одной яме.

Впрочем, что проповедовал Александр Константинович, мы узнаем со страниц следственного дела, где часто и отчетливо слышна его собственная речь.

«Перевал»

Арестовали Воронского 1 февраля 37-го, в Доме правительства, где он жил, на улице Серафимовича. «Старик» – ему уже стукнуло пятьдесят три, рядом со своими молодыми учениками он казался стариком, отсюда и прозвище, – заранее подготовился, с предусмотрительностью матерого подпольщика и арестанта: взял с собой подушку и одеяло, шерстяной шарф и джемпер, дорожные ремни, белье, даже книги и журналы прихватил. Все это было принято у него в комендатуре, но донес ли он что-нибудь до камеры?

За полгода следствия досье распухло в толстый том: доносы и допросы, показания, собственноручные и чужие, очные ставки, перлюстрированные письма – материала хватило бы на несколько дел. Распахали биографию – вдоль и поперек. Еще до начала следствия, в справке на арест, начертанной капитаном Журбенко, Воронский объявлен опаснейшим, неразоружившимся врагом, ведавшим в нелегальном центре агитпропом и изобличением сексотов ОГПУ, главным вождем литературного троцкизма.

Пригодились чекистам показания писателя Николая Смирнова, уже загнанного в концлагерь за антисоветскую агитацию и распространение контрреволюционной литературы, – тот живыми красками нарисовал портрет опального лидера.

...Вспоминаю еще один разговор с Воронским, в его служебном кабинете, в издательстве. Он сказал тогда: «Говорите осторожней, рядом в комнате сидит специальный человек, записывает каждое мое слово. Живем, знаете,

в такую эпоху, когда можно разговаривать только с самим собой. Я, во всяком случае, разговариваю только в своей записной книжке».

«Живем в такую эпоху, когда можно разговаривать только с самим собой»!

Совсем иначе рисовали Воронского другие арестованные троцкисты – не как отстраненного от политики отшельника, а как хитроумного контрреволюционера, который лишь прикрывается литературой для борьбы с партией, – такая версия, конечно, больше устраивала следствие.

Весь февраль и март шли почти непрерывные допросы и ему удавалось искусно отбиваться от обвинений. Да, был когда-то троцкистом, но с 30-го года, после возвращения из ссылки, с этим покончил, и если сохранил прежние взгляды, то лишь в области литературы. С некоторыми старыми друзьями-оппозиционерами изредка встречался, но не по политическим делам, а на почве личных отношений.

Несколько раз писал Воронский по требованию следователя и собственноручные показания – получился целый трактат, важный для истории литературы. В нем – правдивый рассказ о «Перевале» устами его создателя и вожака.

Само название объединения разумело переход от убогой современной литературщины к будущему «расцвету всех цветов». Это была отчаянная и безнадежная попытка доказать на деле возможность для искусства свободно жить и развиваться в условиях советского строя, противоречивая идейная программа, передающая пульс времени, искренний художественный поиск Воронского и его единомышленников-друзей.

Литературная группа «Перевал» организовалась вокруг журнала «Красная новь» в конце 1924-го и в начале 1925 г. В нее вошли коммунисты-писатели и беспартийные...

Основные положения, которые она отстаивала, сводились к следующим пунктам:

1) Специфика искусства заключается в эстетическом познании жизни;

2) Искусство тем совершеннее, чем оно непосредственнее и конкретнее;

3) Искусство и революция должны сочетаться органически, а не механически;

4) Классовость искусства не исключает, а сплошь и рядом включает объективность;

5) Голая тенденциозность и преднамеренность вредят искусству;

6) Изучение классиков – не есть только изучение памятников прошлого, они, классики, до сих пор и еще долго будут иметь живое, действующее значение;

7) Надо изображать живого человека со всеми его достоинствами и недостатками, избегать штампов, агитплакатности и т.п.;

8) Надо учитывать, что Страна Советов все еще является по преимуществу страной крестьянской и потому удельный вес попутчиков и крестьянствующих писателей продолжительное время будет весьма значительным, а пока и определяющим. Пролетарское искусство пока слабее искусства попутчиков;

9) Классовость в искусстве отнюдь не противоречит гуманизму.

К этим и другим подобным положениям, которые развивались мною, я присоединил еще один важный пункт, под влиянием статей Троцкого – о том, что в переходный период диктатуры пролетариата невозможно пролетарское искусство, как в момент, когда преобладают чисто боевые задачи; в период же социалистического строительства речь будет идти уже не о пролетарском классовом искусстве, а

об искусстве бесклассовом, социалистическом. Этот тезис разделялся, однако, не всеми перевальцами.

В 1925–26 гг. «Перевал» быстро разрастался и креп, включив в себя до 60–65 писателей и поэтов серьезной литературной квалификации...

«Перевал» осенью 1932 г. ликвидировал себя как организация...

19–25 февраля 1937 г.

А. Воронский

Воронский пытается отделить от троцкизма свою систему взглядов, «воронщину». Но эта кличка, вороньим граем прокатившаяся в печати, уже существует независимо от него. Пропагандистская и карательная машины работают синхронно, а тюремный его трактат дано прочесть лишь потомкам.

В тот самый момент, когда он на Лубянке мучается над своим сочинением, совсем недалеко, в Союзе писателей, проходит Пушкинский пленум. Утром 25 февраля на нем выступает с обширным докладом ответственный секретарь Союза Владимир Ставский. Речь его мало похожа на юбилейную.

«Товарищ Ставский, – сообщают “Известия”, – на конкретных примерах показывает, как пытался использовать враг в своих гнусных целях высокое звание советского писателя. Воронский был знаменем контрреволюционного троцкизма в литературе... От советских писателей требуется...» Что же требуется от советских писателей? Талант? Мастерство? Нет – «максимальное повышение революционной бдительности, умение распознавать врага, какой бы маской он ни прикрывался» – вот что требуется от писателей! Послушали бы это наши классики, которые мечтали увидеть небо в алмазах, и сам Александр Сергеевич, под портретом которого все собрались.

Инопланетным существом смотрится здесь Пушкин. Его поминают в основном многочисленные представители братских советских республик.

– Каждый народ в нашей стране чувствует Пушкина своим родным поэтом! – восклицает туркмен Таш-Назаров. – И не только родным, но и нашим современником, воспеваящим нашу свободу и счастье.

А вот поэт Николай Тихонов, предлагавший когда-то «гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей», – он неизменно суров, он упрекает русских поэтов в необычайной пассивности и безразличии. Ряд поэтов – товарищи Пастернак, Сельвинский, Асеев и другие не только не выступили, но и не приходят на пленум!

– Я объясняю это отсутствием исторического понимания момента, – сказал товарищ Тихонов под аплодисменты всего зала.

Девятым марта помечен обширный протокол допроса Воронского – по сути это те же самые его «собственноручные показания», но упрощенные, «выпрямленные» в интересах следствия и расписанные следователем Шулишовым по форме – в виде диалога: вопрос – ответ. Программа «Перевала» сведена до грубой пропаганды «воронщины» как литературного троцкизма.

Из того же протокола мы узнаем о сгнувшем навсегда сочинении Воронского.

В о п р о с. ...В рукописи «Литературный дневник», отобранной у вас при обыске, на стр. 69 есть запись под заголовком «Исповедь одного писателя». Кем эта запись сделана?

О т в е т. Это моя собственноручная запись.

В. Для какой цели эта запись вами сделана и кого вы в ней имеете в виду?

О. Я записывал так иногда все, что мне приходило в голову, в этой записи я имел в виду писателей вообще, которые неискренне относятся к своей литературной работе. Основная цель и мысль этой записи – обличение двурушничества в среде писателей, что я неоднократно делал раньше в ряде статей.

Сколько литературы украла у нас Лубянка! Еще об одной пропавшей рукописи «перевальцев» мы узнаем из доноса на Андрея Платонова, вокруг которого тоже затягивалась петля.

«22 июня 1937 г. литератор Андрей Платонов на вопрос, был ли он в “Перевале”, ответил, что никогда членом этой группы не был, что его путают с Алексеем Платоновым, действительно состоявшим в “Перевале”».

– Откуда вы так близко знаете «перевальцев»? – допытывался сексот.

Платонов объяснил, что встречался с ними у Пильняка, когда тот, вместе с Иваном Катаевым, учреждал общество «Тридцатые годы».

Платонов рассказывал о тетради, в которую перевальцы записывали свои мысли, и сказал, что даже для 1929 г. эти записи звучали совершенно явно контрреволюционно. Точнее он ни про состав людей, ни про содержание записей не сказал, ссылаясь на то, что многое забыл: «Они с тех пор много новой чепухи придумали». Он думает, что если этой тетради не оказалось у Ивана Катаева при аресте, то она, вероятно, осталась у Пильняка. «Если она попадетя чекистам, многим из этой шпаны достанется».

Сам Платонов в тетрадь ничего не написал, хотя ему, по его словам, ее подсовывали несколько раз. Он спросил Пильняка: «Что же это за чертовщина?» Пильняк ответил: «Пусть ребяташки побалуются».

Допросы Воронского продолжались весь март месяц. Следователь даже пробовал выжать из него показания на дочь Галину, якобы сообщницу отца-контрреволюционера, но получил гневный отпор. Это был обычный чекистский прием – сталкивать друг с другом даже самых близких людей. В деле есть заявление арестованного троцкиста Сергея Кавтардзе, где он рассказывает о последней, случайной встрече с Воронским на Каменном мосту. Александр Константинович был тогда с дочкой и, крайне возмущенный, рассказал, что ей, комсомолке, райком предложил шпионить за ним, собственным отцом!

Сам Воронский пока держится последовательно и твердо, не дает ни на кого компромата, говоря только о творческой и личной дружбе, литературных вечеринках, а не о подпольных собраниях заговорщиков.

Слово и дело

Тогда же, в марте, 18-го числа, был арестован другой «перевалец» – Иван Катаев. Основание – все те же агентурные данные, в просторечии – доносы. В одном из своих рассказов этот писатель рискнул сказать о системе охранного доносительства, в основе которой – страх человека перед государственной машиной, в любую минуту готовой его раздавить. Теперь автор и сам попал под эту обезличенную, безжалостную машину.

На допросах в марте и апреле Катаев еще держался, вину свою отрицал. А потом сдался, в Бутырской тюрьме написал заявление, в котором «признался», что является участником антисоветской организации, и решил дать чистосердечные признания.

И вот в показаниях от 9 июня его рука вывела под диктовку следователей Павловского и Щавелева роковое слово

«террор», после чего высшая мера наказания «перевальцам» была predetermined.

Осенью 1932 г. у меня на квартире собрались Воронский, Зарудин, Губер. Воронский информировал нас о новых формах антипартийной, контрреволюционной борьбы троцкистов или, как он выражался, «большевиков-ленинцев». Основной формой борьбы с ВКП(б), говорил Воронский, должен быть террор. В этой беседе Воронский, а вслед за ним все мы характеризовали положение в стране следующим образом:

1. О внутрипартийном положении

В нарушение всех норм партийной демократии – образование узкой партийной олигархии в руководстве ВКП(б). Бюрократическое окостенение партийного аппарата, инертность и чиновничество.

2. О положении в деревне

Нарастает хозяйственный развал в колхозах на основе непригодности для мелкобуржуазной крестьянской массы методов коллективного хозяйствования и управления. Бюрократизм в руководстве колхозами, несостоятельность колхозной системы в деле снабжения городов и развал всех торговых связей между городом и деревней.

3. Об индустриализации

Неспособность сталинского государственного руководства организовать и освоить мощную индустрию (в качестве иллюстрации приводился пример безуспешности попытки наладить нормальное производство на Сталинградском тракторном заводе).

4. О материальном положении населения городов

Население городов голодает. Царит беспримерная эксплуатация, потогонная система прогрессивки и т. д. Утеряна радость жизни.

5. Об искусстве и литературе

Узость и казенщина в тематике. Безнадёжно низкий качественный уровень искусства и безысходность создавшегося положения в силу того, что создание единого ССП не меняет бюрократической системы руководства, господствовавшего при РАПП...

Точная, пристальная оценка положения. Нет, не так уж слепы и безропотны были советские писатели! Но здесь и кончается правда, а рядом – навязанные следствием преступные замыслы, со всеми детективными подробностями, пародийные по своей нелепости.

Друзья договариваются убить самого Сталина. Это должно произойти на приеме литераторов, исполнить теракт готовы они все – и Катаев, и Зарудин, и Губер. Прием отменили. Отпал и план.

И вот уже созрел новый заговор. Как-то на квартире у Багрицкого Катаев познакомился с женой Ежова Евгенией Соломоновной – она постоянно была окружена писателями: работала заместителем главного редактора журнала «СССР на стройке» и собирала у себя «литературный салон». Катаев сблизился с ней и, бывая у нее дома, познакомился и с самим Ежовым, тогда еще не наркомом, а членом Оргбюро ЦК и замом председателя Комиссии партийного контроля. И конечно же, сразу возникает коварный замысел убийства важного сталинского аппаратчика.

Конкретный план у «перевальцев» готов к октябрю 34-го. Теперь уже прием литераторов переносится на квартиру Ежова, предполагается, что заговорщики соберутся попозднее, поскольку сам хозяин обычно появляется дома после своих титанических трудов не раньше часа ночи. Кроме участников тергруппы туда будут приглашены и «соучастники», не имеющие к ней прямого отношения, например Василий Гроссман. И вот что произойдет:

После того как Ежов вернется домой, все будут сидеть за столом, кто-либо из нас либо в данный момент, либо заранее должен будет открыть двери в доме и таким образом предоставить возможность быстро вошедшему боевику совершить теракт против Ежова при помощи револьвера. Мы рассчитывали также, что боевику удастся скрыться либо через заранее открытый черный ход, либо через парадную дверь, с учетом того, что в силу позднего времени он на заранее подготовленном автомобиле успеет скрыться, не будучи никем замечен. Для того, чтобы его не опознали, боевик должен будет надеть полумаску. Кроме того, имелся в запасе другой вариант теракта – совершение его лично мною.

Полумаска! Невольно подсказанный образ. Попытка попытка изо всех сил совместить в себе большевика и художника. Двойственность, с которой Иван Катаев прожил свою оборванную полужизнь.

И что же помешало заговорщикам? Волна репрессий после убийства Кирова – вот что спасло жизнь высоко вознесенного карлика и заставило террористов затаиться на время.

Получив показания от Катаева, торжествующие следователи уже на следующий день предъявили их Воронскому вместе с новым, смертельным обвинением – террор.

Итак, в июне в следствии наступил перелом. Павловский и Щавелев «раскалывают» теперь и вождя «перевальцев». В обстоятельных «личных показаниях» на 67 страницах он уже начинает признаваться в мыслимых и немыслимых грехах. Меняется и почерк: если в феврале–марте он писал четко и аккуратно, то теперь – с помарками и исправлениями, неровными строчками.

Сержанты дожимают, требуют прямого ответа на вопрос о терроре. А узник еще не расстался с собой прежним,

то вдруг выпрямляется, то поддается, и тогда опять – о своих идеях, но уже так, как им надо: «Выражением троцкизма в литературе являлась система взглядов, известная под именем воронщины». Это уже говорит другой, надломленный человек.

И, наконец, выдавливают из себя то, чего больше всего ждут от него следователи: «Установку на террор получил от Тэра в 1932-м», – эту фразу они жирно и победно подчеркивают! Партийный деятель и публицист Тер-Ваганян уже был расстрелян по делу «Антисоветского троцкистско-зиновьевского центра», так что ссылка на него ничем ему не грозила. Но слово вылетело, и следователи его поймали.

«Все, что вышло из-под моего пера более или менее доброкачественно, связано с моей жизнью в рядах партии, – заканчивает Воронский нетвердой рукой, – все же, что в этой моей работе было гнило, ничтожно, вредно, связано с моим пребыванием в рядах троцкистов».

Ударный труд Павловского и Щавелева был достойно отмечен начальством: через месяц сержанты стали младшими лейтенантами – не иначе как за разгром литературного троцкизма.

Теперь можно было брать и других «перевальцев», еще гулявших на воле.

Николая Зарудина и Бориса Губера арестовали в один день – 20 июня. Им оставалось жить меньше двух месяцев.

«Не нам ли, молодой Спарте героической эпохи, принадлежит право первыми услышать “подземное пламя”, опалившее лицо Данту?» – вопрошал Николай Зарудин, поэт, прозаик и публицист, стремившийся совместить верность факту и романтическую окрыленность.

Увы, вам, хотя и не первым, и не последним. Вам дано будет спуститься в Дантов ад, в его «подземное пламя». Такова будет кара вам за то, что не захотели даже в интересах

горячо любимой революции поступиться своей душой и даром художника, за то, что искали гармонии социального и природного в человеке, что пытались соединить в словах «революционная совесть» две вещи несовместные.

28 июня в Бутырках Зарудин, «разоружаясь», напишет заявление на имя Ежова: что и он заговорщик из группы Воронского. И он тоже предполагал убить великого вождя на приеме писателей в Кремле, а потом замышлял прикончить и своего адресата, Ежова, прямо на его квартире. Зарудин считал необходимым сообщить еще и о другой тергруппе писателей, в составе троцкистов Голодного, Уткина и Светлова, и что с последним тесно связан и Артем Веселый...

Эту преступную цепочку следователи могли плести сколько угодно, в конце концов она могла бы включить в себя весь писательский цех. Как чекисты по-своему организовывали литературу, раскроет сам Зарудин, в показаниях на единственном допросе 9 июля, а переутомленные оперы опрометчиво пропускают это разоблачительное признание:

...Следователь, когда мы вместе писали письмо наркомун НКВД Н.И. Ежову, спрашивал меня попутно о различных участках литературы и, в частности, назвал террористическую группу поэтов М. Голодного, И. Уткина, М. Светлова. Сначала мне показалось неправильным сказать, что я знаю такую группу, ибо такая мне не известна. Но поскольку я помню о настроениях М. Голодного, Н. Дементаева в 1927–1928 гг., я написал, что могу дать показания и, считаю, поступил правильно. Следователи НКВД поразили меня прежде всего тем, что они делали со всеми фактами как раз противоположное тому, что привыкли мы делать с этими же фактами в «Перевале».

«СЛОВО И ДЕЛО!» – этот крик проходит через все века русской истории. Так кричали, когда хотели сообщить влас-

тям о каком-нибудь преступлении. Но о чем кричит Слово, заключенное в тюремную клетку следственного дела?

Может быть, Зарудин пытался как-то дать знать, что протоколам допросов верить нельзя? Был же случай, когда один из хитроумных узников Лубянки, подписываясь под протоколами, хвостом своей подписи зачеркивал ее.

Ведь это он, Николай Зарудин, еще совсем недавно говорил своим друзьям, которые сидели сейчас в соседних камерах: «Если еще немного так обращаться с людьми, как раньше, то вместо социалистического человека получится собрание запуганных гоголевских Акакиев Акакиевичей. Люди в угодничестве и подхалимстве дошли до того, что готовы буквально предать родного брата, друга, лишь бы не трогали. В литературе это достигло предела. В этом году предательство будет на первом плане... Из писателей мы все мало-помалу превращаемся в сочинителей».

Что же надо было сделать с людьми, чтобы превратить их в собственную противоположность? Чтобы они зачеркивали свое доброе имя подписями под лживыми, униженными мольбами о жизни?

Таковы были последние сочинения «перевальцев», сочинения литературные, если иметь в виду, что в них много плодов воображения.

И все же, вчитываясь в них, вдруг натыкаешься, как на живой нерв, на острую мысль, гордое, непокорное слово и ясно видишь, что писатели на самом-то деле видели жизнь зорким взглядом, оценивали ситуацию трезво, хотя и печально. Особенно обострялось это зрение во время поездок по стране, «хождения в народ». И все они дорого заплатили за Мысль и Слово, одни – жизнью, другие – свободой.

Зарудин в своих показаниях признается: «Сталинского чиновника, работника аппарата, Воронский рассматривал как абсолютного противника гуманитарной культуры,

лирики и романтики, действовавшего формально и слепо выполняющего волю одного, в данном случае “генсека”, как он любил выражаться о Сталине. “Положение в стране настолько серьезное, что пришло время защищаться, иначе будет поздно, – говорил Воронский. – Все честное в партии и в стране загнано и будет уничтожено, вместо демократии будет формальный социализм с чиновником и подхалимом. Пора от ни к чему не обязывающих разговоров перейти к делам”».

Но вот перейти от слов к делам они оказались неспособны, потому что были гуманитарии, а не террористы, и им противостояли террористы, а не гуманитарии. Их Делом было Слово, дела же за них выдумывали их мучители, низводя писателей до сочинителей, быть – до абсурда.

«Я сломал перо критика» – такой итог подвел Александр Воронский в собственноручных показаниях.

Две жизни

Вождь «Перевала» держался упорнее и мужественнее всех. Он был поставлен на конвейер непрерывных ночных допросов. В то же время следователи начали сводить его с учениками, друзьями-соратниками на очных ставках. Сначала, 20 июля – с Губером, 21-го – с Зарудиным и 23-го – с Катаевым. Словно не казенный каратель – автор этого изуверского замысла, этих душераздирающих сцен, а невидимый, изощренный трагик-драматург!

Впрочем, как они проходили на самом деле, очные ставки, как вели себя их участники и что в точности говорили, мы можем только представить. Перед глазами же – протоколы, протоколы и протоколы, составленные Щавелевым и Павловским и лишь подписанные их жертвами, документы, созданные специально с целью исказить правду. Тут мысль изреченная есть ложь, мысль записанная – ложь вдвойне.

Вот истина лубянского следственного дела, и надо помнить об этом каждую минуту, хотя у нас нет другой возможности восстановить события, как только по этим казенным поделкам. И кровь проступает сквозь бумажные бинты...

А иногда арестанты делают программные заявления, и в деле появляются беспощадные документы, раскрывающие правдивую картину нарастания террора в стране, картину, далекую от той показухи, которой прельщали Запад.

Конечно, было и слепое увлечение коммунистической идеей, однако сталинщина – не только массовый психоз «обожания» вождя. Многие все видели и понимали, но хоронили правду в себе, ценой разрушения своего внутреннего мира, а выходя за его пределы, сразу же оказывались без защиты на пронизывающем ветру истории, тоже вынужденные, чтобы уцелеть, подчиниться, стать как все. А кто не хотел, был обречен. Если человек не поддавался идеологическому гипнозу, действие переносилось в кабинет следователя.

Странный жанр – следственное дело. В нем два сюжета, два политических детектива развиваются одновременно: один – выдуманный, халтурный, где писателей сделали террористами, другой – настоящий, трагический, где действительные террористы играют роль судей. Совпадает лишь то, что в любом случае финал – смертелен.

На очных ставках, перед лицом учеников и товарищей, к Воронскому вернулась стойкость и он отверг обвинения в терроре. Но ничего изменить было уже нельзя: от личного мужества ничто не зависело. Следователи спешили скорее разделаться с этим делом, сверху торопили, и 1 августа появилось обвинительное заключение, составленное Щавелевым и Журбенко и утвержденное Литвиным, – итог следствия. Враг народа Воронский, завербованный лично Троцким и связанный с Каменевым, Серебряковым и Тер-Ваганяном, организовал тергруппу писателей, в чем полностью сознал-

ся, в дальнейшем от этих показаний отказался, но, будучи уличен на очных ставках, признал, что давал задания убить Сталина и Ежова.

Последние слова – откровенная ложь, но кого это интересовало?

И уже на следующий день, 2 августа, вся четверка «перевальцев» попала в сталинский расстрельный список:

...12. Воронский Александр Константинович...

16. Губер Борис Андреевич...

28. Зарудин Николай Николаевич...

35. Катаев Иван Иванович...

Резолюция не замедлила себя ждать: «За» – Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов.

А совсем рядом та же страна жила совсем по-другому, в ином мире.

Накануне суда над «перевальцами», 12 августа, с подмосковного аэродрома отправился в беспосадочный перелет через Северный полюс в Америку красавец-самолет «Н-209» под командованием Сигизмунда Леваневского. Газеты сплошь заполнены материалами об этом полете, фотографиями и шапками: «Счастливого пути!» Пишут они и об очередном триумфе советского искусства в Париже – спектакле МХАТа «Анна Каренина». На нем побывал Ромен Роллан, испытавший большое удовольствие от «блестящей постановки, передающей атмосферу толстовского романа». Статья в газете «Эр нувель» по этому поводу называется пространно – «Русское искусство показывает нам, что драма целиком основана на действии». Если бы догадались просвещенные французы, почитающие русское искусство, какие «блестящие постановки» проходят за кулисами советской жизни, какие там ставятся драмы и на каких действиях они основаны!

Летят тревожные сводки с фронтов Испании. Лыдина со станцией «СП-1», с четверкой отважных папанинцев благополучно дрейфует. В это же время подошел к концу дрейф по тюрмам другой четверки – Александра Воронского.

Он предстал перед Военной коллегией (председатель – В.В. Ульрих, члены – Л.Я. Плавнек и Ф.А. Климин) в пятницу, 13 августа, в 17.20. В 17.40 его вывели. А в 17.53 радиостанция мыса Шмидта на далекой Чукотке приняла сообщение с самолета Леваневского: «Как меня слышите? Ждите». На этом связь прервалась. Навсегда. До сих пор в точности неизвестно, где в просторах Арктики, когда и как погиб самолет.

Как погибли «перевальцы», стало известно лишь теперь. В последнем, самом последнем своем слове Воронский заявил, что не подготавливал терактов, но вот доказать свою невиновность никак не может, так как на него есть ряд свидетельских показаний. Другие «перевальцы» виновными себя признали, показания подтвердили. Зарудин просил дать ему возможность работой искупить «тягчайшую вину». Губер оправдываться и приводить смягчающие обстоятельства не стал.

Их расстреляли в тот же вечер, 13 августа.

Ивана Катаева придержали, отправили вслед за его друзьями через шесть дней – 19 августа. В последнем слове он заявил, что его контрреволюционная деятельность не имеет никаких оправданий. На следствии он разоблачил себя и своих соучастников. Просит сохранить ему жизнь.

Еще один «перевалец» – ведущий литературный критик этого содружества Абрам Захарович Лежнев (Горелик) – почему-то был арестован лишь осенью и прошел свой путь на Голгофу особняком. Проповедовавший «моцартианство», искреннее творчество – в противоположность «сальеризму», рассудочности, ратовавший за большое, «трагедийное искус-

ство», выступавший против теории «социального заказа», Абрам Захарович в конце концов никуда не ушел от него – был вынужден писать саморазоблачающее заявление на имя Ежова: и он тоже, оказывается, троцкист-террорист.

На суде Лежнев бросил вызов своим мучителям: виновным себя не признал, показания, данные на предварительном следствии, отверг и заявил, что они были даны им ложно. В последнем слове ничего сказать не пожелал. Исход тот же – «вышка», высшая мера наказания, приговор приведен в исполнение 8 февраля 38-го.

Вожак «перевальцев» Александр Константинович Воронский, призывавший писателей быть верными правде, до конца старался не изменить ей и ушел из жизни, не склонив головы.

«Есть две жизни. Они не сливаются друг с другом, – писал он в своей книге «За живой и мертвой водой». – Одна рассыпается по улицам и площадям суетливо бегущими, шагающими, гуляющими людьми. Эта жизнь – на виду, на глазах. Она никуда не прячется, не таится.

Есть другая жизнь... Такая жизнь никнет матерью, сестрой, мужем, женой у праха, у последнего дыхания любимых, единственных, неповторимых, у могил, уже ненужных, уже забытых всем миром. Тщетно иногда она напоминает, зовет к себе истошным криком, воплями, звериным, нечеловеческим воем, напрасно она молит, жалуется, говорит последними смертными словами – обычная, нормальная жизнь, жизнь-победительница, умеет заглушить ее».

Рядом с «перевальской» четверкой в сталинском расстрельном списке от 2 августа 37-го есть еще два литературных имени:

...23. Есенин Георгий Сергеевич...

61. Приблудный Иван Петрович...

Вина – та же: контрреволюционная фашистско-террористическая группа, замыслили убить товарища Сталина.

Военная коллегия судила их в тот же день, что и «перевальцев», только утром, отмерив каждому стандартные двадцать минут. И расстреляли их тоже вечером 13 августа те же умельцы 12-го отделения 1-го спецотдела НКВД под командой лейтенанта Шевелева. Место погребения – Донское кладбище.

Георгию Есенину, сыну знаменитого поэта, в момент ареста было только двадцать два года. Иван Приблудный прожил на десять лет больше. Перед расстрелом он оставил на стене камеры надпись: «Меня приговорили к вышке». Спустя полвека на его родине, в Харьковской области, встал памятник – первый памятник репрессированному при сталинском режиме поэту.

«Авербаховщина»

Была в советской литературе «воронщина», была и «авербаховщина». 14 августа, на следующий день после коллективной казни литературных троцкистов – «перевальцев», расстреляли их главного врага – неистового ревнителя коммунистической идеи, критика и публициста Леопольда Авербаха.

Он уничтожен во внесудебном, «в особом порядке», за свою близость с Ягодой, которого арестовали на несколько дней раньше его.

Родственные связи – ключ к биографии Авербаха. Мать – родная сестра Якова Свердлова, сестра – жена Генриха Ягоды, жена – дочь Владимира Бонч-Бруевича, на кремлевской квартире которого, бок о бок с вождями, ему потрафило жить. Он и сам стал вождем – в литературе. За что же такая честь, за какие такие достоинства?

Только не за образованность. «Самообразование – высшее» – так оценил себя в лубянской анкете.

Уже с четырнадцати лет Леопольд Авербах с головой погружен в комсомольскую и партийную активность. Организатор Российского союза учащихся-коммунистов, председатель его съезда, на котором в незабываемом 1919-м выступил сам Ильич! Можно представить себе гордость, которая переполняла мальчишку. Быстро привык он командовать, руководить, манипулировать людьми, дергать их за тайные ниточки и нервочки, при внешнем братском хлопанье по плечу и товарищеской демократичности. На всех фотографиях рапповцев – непременно в центре, прицельный взгляд сквозь пенсне, открытая, стриженная наголо голова или модное огромное кепи, облепленный друзьями, в обнимку с ними. Но при видимости «своего в доску» парня сразу ясно, кто здесь главный.

Малограмотный политический выскочка, Авербах шесть лет, с 1926-го до 32-го, командовал писателями, был генеральным секретарем РАПП и редактором журнала «На литературном посту». Но не это, не то, кем он был по отношению к тем, кем руководил, а то, как близко стоял к тем, кто выше, – вот что на деле определяло его истинное положение. Впрочем, и тут он проявлял творческую гибкость, пластичность: последовательно отрекался от покровителей – вождей, когда они попадали в опалу, сначала от своего кумира Льва Троцкого, теперь вот – от Ягоды. Так же неумолимо отворачивался и от закадычных друзей, едва они становились помехой его карьере. В конце концов фигура Авербаха, отличника в школе политической подлости, стала вызывать общую ненависть писателей.

Этого ловкого пройдоху можно с полным основанием назвать литературным Швондером. Ему, Авербаху, принадлежит знаменитый призыв «Ударников – в литературу!»

Слово «ударник» имеет, как известно, и другое значение – деталь огнестрельного оружия, что придавало лозунгу боевитость. Устанавливались нормы ударничества, и объявлялось соцсоревнование в городе и деревне: кто быстрее напишет стихи, пьесы, рассказы и прочую литпродукцию. Неистовый Леопольд хвалил смоленских членов РАПП за то, что они в несколько дней создали сборник художественных произведений, и ратовал за повсеместное распространение опыта смоленцев.

Потом он носился с новым лозунгом – «одемянивания», равнения на баснописца Демьяна Бедного в нашей словесности, что на деле означало ее «обеднение». Яркий пример того, что враги языка, уродуя его, в конечном счете всегда проигрывают, ибо язык разоблачает, выводит их на чистую воду.

Это он, Авербах, еще до изобретения соцреализма придумал «диалектико-материалистический творческий метод», как единственно правильный метод советского искусства, и доказывал, что пролетарская литература может и должна завоевать гегемонию, идейно-художественное превосходство над всеми лучшими образцами мировой классики в течение весьма короткого периода, еще до построения социалистического общества. Так держать!

Эта идейная установка породила массу бездарностей и проходимцев, швондеров помельче и шариковых в литературе, покрывавших нехватку таланта и образования политическим рвением, дельцов, занявших командные посты, заслонявших дорогу истинным творцам. «Авербаховщина» – еще одна грань трагедии нашей культуры.

Победное шествие неудержимого Леопольда остановил сам Сталин – ликвидацией РАПП, заодно с роспуском и других литературных организаций. Ишь ведь распрыгался – тоже мне блоха! Дать метод советскому искусству, командовать им мог только один человек в мире.

Но и тут Авербах, в очередной раз перелицевавшись, удержался на поверхности: он деятельно участвует в подготовке Первого съезда писателей, в издании задуманной Горьким серии книг «История фабрик и заводов», знаменитого сборника о Беломорско-Балтийском канале, восславившего чекистов и лагерное рабство. Яркий пример «важности» этого человека: когда умер сын Горького Максим, Леопольда, направленного в то время на партийную работу на Урал, экстренно разыскали и самолетом доставили в Москву, ибо главный советский писатель хотел, чтобы друг семьи в тяжелую минуту был с ним.

Перед Леопольдом робел даже руководитель Союза писателей Владимир Ставский. Капитан Журбенко предложил ему после ареста Авербаха дать характеристику своему многолетнему товарищу и вожаку в РАПП, которому он много лет в рот смотрел. Ставский, конечно, бросился изо всех сил топить его, стараясь при этом, чтобы тот не утянул и его за собой. А почему он, Ставский, своевременно не проявил должной бдительности – вот почему: враг-то он враг, конечно, но –

...Авербах рассказывал, что часто встречается с товарищем Сталиным, рассказывал с таинственным видом и кавказским акцентом, что он был на пятом этаже, что там его линию и практику работы одобряют и т.д. Все это производило впечатление правдоподобия на многих, в том числе и на меня. Многим также было известно, что Авербах был совсем своим в ВЧК – ОГПУ. Все это я привожу к тому, чтобы была понятна обстановка того времени.

Если вспомню еще что-нибудь, сообщу дополнительно. С коммунистическим приветом.

8 апреля 1937 г.

Ставский

Близость к Кремлю и Ягоде – вот в чем секрет могущества Авербаха.

Журбенко принял 7 апреля донесение сексота «Алтайского», служившего в секретариате РАПП, а фактически, как он сам признается, литературным секретарем Леопольда. Тот ему полностью доверял – и напрасно! «Больше всего о политике я разговаривал с Авербахом в 1937 году, потому, что я имел задание», – рапортует «Алтайский».

Авербах очень часто ездил пьянствовать в «Озера»¹. Как-то в 1936 г. Авербах сказал: «Неприятное впечатление после Уралмаша – пьянство чекистов». Помню, году в 1931 или 1932 разговор Авербаха по телефону с Ягодой. Вечером должно было быть заседание Политбюро, где стояли вопросы РАПП. Авербах говорит: «Гена, а вы на Политбюро будете сидеть совершенно безучастно, как будто бы вас это и не касается».

Авербах году в 29-м сказал мне, что надеется лет через пять быть избранным в ЦК ВКП(б). Он рассказывал о своих разговорах с Орджоникидзе и Кржижановским, которые, по его словам, смотрели на него как на скорого наркома по просвещению. Вообще некоторая хлестаковщина, склонность обещать гораздо больше, чем он может сделать, пустить пыль в глаза всегда была свойственна Авербаху. О Молотове, Кагановиче Авербах говорил пренебрежительно, как об ограниченных людях. Как-то раз году в 1929–30 Авербах говорил об «азиатских методах И.В. Сталина» (в смысле жестокости, хитрости). В 1936 г. у Авербаха как-то вырвалось: «Как наша группа недооценивала Сталина!»

На всех уровнях власти у Леопольда были свои люди. Семен Фирин, заместитель начальника ГУЛАГа, тоже будучи арестован, рассказал о дружбе с Авербахом и о том, как они поссорились. На одном из заседаний Фирин неосторожно

¹ Одна из дач Ягоды.

сказал о «местечковом вождизме» своего друга, на что тот навсегда страшно обиделся.

Арестовали Авербаха 4 апреля 37-го как «участника антисоветского заговора, организованного Ягодой», «ягодку» Ягоды – политического советника и доверенное лицо. Содержался он в Лефортове, следствие прокрутили рекордно быстро – за два месяца. Обвиняли его и в том, чем он больше всего гордился, – генеральным секретарством в РАПП, теперь оказалось, что он всего-навсего «недоразоружившийся троцкист» и вел контрреволюционную борьбу против линии партии в советской литературе.

«Я все расскажу, все, соответственно для того, чтобы был до конца разоблачен Ягода», – Леопольд целиком и полностью отдал себя в руки следствия.

Эти люди чувствовали себя хозяевами жизни и готовы были на все в своей преданности власти, возле которой кормились. Жена Леопольда Елена, попав на Лубянку, жаловалась Ежову: «Мне невероятно обидно и непонятно, почему меня ставят на одну доску с такими чуждыми людьми, как Серебрякова, Эйдеман¹. За что?» А отец ее, старый большевик, участник трех революций, близкий соратник Ленина Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич 15 июня 37-го просил Сталина в письме простить его дочь, заверяя, что у него «не дрогнет рука привести в НКВД и дочь, и сына, и внука – если они хоть одним словом были бы настроены против партии и правительства». Уверял, что его дочь твердая и последовательная большевичка и не виновата в грехах арестованного мужа.

¹ Серебрякова Г.И. (1905–1980) – писательница, жена партийного и государственного деятеля Л.П. Серебрякова. Вслед за мужем в 1936 г. была репрессирована и вернулась в Москву только через 20 лет, после реабилитации.

Эйдеман – видимо, имеется в виду жена Р.П. Эйдемана (род. 1895), военачальника, комкора, расстрелянного 12 июня 1937 г. за участие в «военном заговоре». Эйдеман тоже был писателем, председателем латышской секции ССП.

Теперь, попав в немилость, эти люди потеряли все.

Но, уж будучи у власти, они попиrowали всласть! Свидетельств тому в лубяньском архиве – тьма.

Красочно живописал свои привилегии и Леопольд в собственноручных показаниях, чтобы увести следователей от политики в бытовую сферу, от преступлений – к злоупотреблениям:

Уже в свете того сообщения о Ягоде, которое я прочел в газетах в день своего ареста, старался я произвести переоценку ценностей. Я действительно причастен к делу Ягоды в том отношении и потому, что на протяжении нескольких лет я, не работая в НКВД, жил на дачах НКВД, получал продукты от соответствующих органов НКВД, часто ездил на машинах НКВД. Моя квартира ремонтировалась какой-то организацией НКВД, и органами НКВД старая была обменяна на новую. Мебель из моей квартиры ремонтировалась на мебельной фабрике НКВД. По отношению ко мне проводилась линия такого своеобразного иждивенчества, услужливого и многостороннего. Я понимал, что это делается не по праву, а как родственнику Ягоды, как вообще близкому ему человеку... Создавалась атмосфера вседозволенности и вседозволенности. В таких вопросах только поскользнься, и начинает действовать какая-то злая логика, из тисков которой вырваться отнюдь не легко. На примере отношения к себе я, по сути, видел, как стирается грань между своим карманом и карманом государственным, как проявляется буржуазно-перерожденческое отношение к собственному материальному жизнеустройению. Я не могу ссылаться на то, что все это делалось по секрету, тайком. Нет, это происходило открыто и на глазах у всех, так делалось не только по отношению ко мне, но и по отношению к товарищу Киришону, что строилось что-то специально для художника

Корина, что Крючков¹ во всех этих смыслах чувствовал себя в НКВД своим человеком, что Афиногенову обменяли квартиру, бывшую у него, на квартиру в доме НКВД. Я обязан был понимать, что такая «доброта» за счет государства есть объективно политическая компрометация НКВД. Я обязан был подумать не только о том, что в «Озерах» становилось все скучнее, душнее от барски-помещичьей сытости, но что там всем бытом демонстрировалось хищническое пользование государственными средствами.

Журбенко добавляет к этому самобичеванию Авербаха, вписывает: «ездил в санатории НКВД», возможно, вместе и отдыхали.

Отчеты Хозяйственного управления НКВД, приоткрытые ныне, поражают воображение. Астрономические суммы государственных денег шли не только на содержание самого Ягоды, его квартир, включая кремлевскую, нескольких дач со штатом прислуги, на расходы продовольственные, снабжение одеждой и обувью, удовлетворение роскошеств и забав, но и на обеспечение бесчисленных «ягодок» Ягоды, прежде всего родни: родителей, трех сестер, семейства Авербахов – во всех поколениях, с *их* квартирами, дачами, всевозможными нуждами и прихотями. И это когда миллионы трудяг в стране жили впроголодь, еле сводя концы с концами.

Таков всегда был реальный социализм: кому плоды его, а кому – только лозунги. И кто-то еще удивлялся, почему самая большая по территории и самая обильная по природным ресурсам страна – такая нищая!

Специальный раздел в отчете ХОЗУ НКВД – «Писатели». Начиная с Горького. Особняк на Малой Никитской,

¹ Крючков П.П. (род. 1889) – секретарь А.М. Горького, в момент ареста – директор музея Горького. Расстрелян 15 марта 1938 г. по делу «Антисоветского правотроцкистского блока».

дома отдыха Горки-36 и в Крыму, в Тессели – и везде каждый год большие ремонты, благоустройство парков, садов, посадка цветов, множество слуг, смена мебели и посуды. «Что касается снабжения продуктами, то всё давалось без ограничения», – фиксирует отчет. А еще дача в деревне Жуковка (Горки-10) для Надежды Алексеевны Пешковой, невестки Горького, и дача в Гильтищеве, по Ленинградскому шоссе – специально для свиданий Ягоды с ней...

И еще из раздела «Писатели» в отчете ХОЗУ НКВД: «Киршон пользовался пайками. Снабжался мебелью, сделанной в Бутырском изоляторе, и расход на банкеты по поводу постановки новых пьес. Ремонты на квартире. Афиногенов получил много мебели из Бутырского изолятора, за счет НКВД – банкет. Шолохову купили разных предметов из ширпотреба на сумму около 3000 руб.»

«Могила невостребованных прахов»

Тем временем в Лефортове Авербах все строчил и строчил, зарабатывая себе право на жизнь. Почти все писатели, чьи имена он называл, расстреляны в 37-м. Как раз в РАПП-то, среди писателей «из народа», «врагов народа» оказалось больше всего! Вслед за вождем пересадили и «авербаховцев», объявленных троцкистскими диверсантами в литературе.

Сюда же привязали и потом расстреляли прозаика, поэта и драматурга, члена правления Союза писателей Бруно Ясенского. Коминтерновец оказался «польским националистом», да еще и «шпионом». На суде он от своих показаний отказался, заявил, что оговорил себя в результате избиений, длительных непрерывных допросов и других мер принуждения. Об этом он писал и в многочисленных жалобах. Последнее его слово: «Если суд считает доказательства моей виновности достаточными, прошу меня расстрелять, но

не как польского шпиона, которым я никогда не был, а как человека, не заслуживающего доверия Советской власти».

В преступной связи с Авербахом был обвинен и князь-коммунист Дмитрий Святополк-Мирский. Его судьба тоже плачевна. Князь, «последний Рюрикович», воевал в Белой армии, после ее разгрома эмигрировал. Преподавал в Лондонском университете, стал известным критиком, авторитетным историком русской литературы. Потом с ним произошла метаморфоза: вдруг сделался коммунистом и с помощью Горького вернулся в Советский Союз. Здесь прослыл партийным ортодоксом, участвовал в постыдном сборнике о Беломорско-Балтийском канале, писал хвалебно о чекистах. Это не помогло – все равно посадили за решетку. Оказалось, князь-коммунист завербован «авербаховцами» для контрреволюционной троцкистской работы в советской литературе.

Умер он на Колыме в лагере «Инвалидный» 6 июня 1939-го. В акте о погребении значится, что «заключенный Мирский Дмитрий Петрович, личное дело № 136848, зарыт на глубине 1,5 метра головой на запад».

Вот и все, и кончилась жизнь человеческая. Рассказывают, что там, на Колыме, «последний Рюрикович» по памяти, не пользуясь никакими источниками, написал историю русской поэзии – «От Пушкина до Блока» – и передал лагерному врачу. Рукопись пропала.

В тюремных коридорах и следовательских кабинетах сменяли друг друга и иногда узнавали по голосу и душераздирающим крикам вчерашние политические и творческие враги, ныне уравненные в бесправном унижении, превращенные в полулюдей. Литература – свалка проходимцев, которых не жалко столкнуть в кровавую пропасть, – такую картину навязывали обществу Кремль и Лубянка устами самих же литераторов.

Авербах вводит термин «интеллигентские писатели», с отрицательной окраской, как будто бы могут быть писатели – не интеллигенты. Но больше перемалывает литературные дразги, выдавая за творческое рвение борьбу за место у кормушки и за славу – близость к вождям. И вдруг снова, без перехода, впадает в лирические отступления, психологический обморок, выпуская из себя фразы, длиной не уступающие Толстому и Достоевскому:

Я понял, что самовлюбленность, вождизм, неприязнь к самокритике, неврастеничная неустойчивость, легкомыслие, пустое острословие – эти мои качества – есть черты определенного и отнюдь не пролетарского социального типа. За 18 лет пребывания в партии из меня мог выработаться настоящий большевик, а я, не прошедший вначале пролетарской школы, все время работая наверху, долгое время сам себя переоценивал, привык и в области политической работы, и дисциплины тоже жить в атмосфере вседозволенности.

Вот тут Леопольд приблизился к истине – определенный социальный тип, правящий класс! «От вождизма... формула перехода пришла сама – я в тюрьме, а не дома, – торопливо, будто задыхаясь, строчит он, зная, что в любую минуту его могут прервать и увести на казнь, тогда эти слова будут последними, – и бумага у меня не для того, чтобы по частой привычке разговаривать с собой, ночью, письменно. Бумага у меня для того, чтобы я понял, почему я арестован».

Неужели в самом деле – понял?

Сталин не мог не заметить имя Авербаха в расстрельном списке от 14 августа – оно, это имя, стоит там первым. Что он подумал, когда черкал свое убийственное «За»? В этот же день кипучего ревнителя его идей поторопились казнить. В списке вместе с Авербахом – одни чекисты, закадычные дружки, и на тот свет он отправился с ними.

А расстрелянных писателей будут хоронить на Донском кладбище до самого конца года. Приговоры – стандартные: участие в антисоветской или контрреволюционной организации, с добавлением шпионажа, если человек имел несчастье пожить за границей или водил знакомство с иностранцами.

Несколько бюрократических бумажек, которыми государство сопровождало человека в смерть. Пропуска на тот свет.

Вот напечатанное на машинке, осененное росчерком армвоенюриста Ульриха предписание на расстрел, в котором поименованы приговоренные: «С получением настоящего предлагается вам расстрелять...»

И на обороте, уже от руки – актоприведении приговора в исполнении, здесь имена исчезают и остается только цифра, общее число расстрелянных: «Приговор в отношении поименованных на обороте сего [стольких-то] человек приведен в исполнение». Подпись – коменданта Военной коллегии, капитана ГБ Игнатъева, начальника спецгруппы расстрельщиков. Часто рядом – подпись другого маститого палача, коменданта НКВД Блохина¹.

Вот направление на захоронение / кремацию на Донском кладбище, с указанием немедленно захоронить/кремировать энное число

¹ И.Г. Игнатъев набил руку на расстрелах еще с 20-х годов и к этому времени дослужился до звания капитана. Однако в августе 1937 г. это имя исчезает из документов, по всей видимости, его постигла та же участь, что и его жертв.

В.М. Блохин (1895–1955) руководил расстрелами с 1924 г., но, в отличие от Игнатъева, стал должжителем. Только после смерти Сталина он был уволен со службы и лишен генеральского звания. Ядро спецгруппы расстрельщиков, подчиненных Блохину, в 37-м составляли: его заместитель П.А. Яковлев, а также Д.Э. Семенихин, И.И. Антонов, А.Д. Дмитриев, Э.А. Мач, П.И. Магго, братья В.И. и И.И. Шигалевы, И.И. Фельдман. Никто из них от сталинских репрессий не пострадал, все дослужились до высоких чинов.

тел: «Примите для немедленного захоронения/кремации [столько-то] трупов».

И на обороте этого направления – расписка или а к т о з а х о р о н е н и и / к р е м а ц и и, тоже от руки – «принято» или «[столько-то] трупов принял».

Хоронили или кремировали? Кого как: к тому времени число жертв столь возросло, что с ними уже едва справлялись, – иногда сжигали, иногда закапывали, исходя исключительно из пропускной способности печей крематория.

Не заглядывай сюда, в эту преисподнюю, слишком глубоко, если хочешь сохранить разум и способность улыбаться. Здесь царит тупая казёнщина – казнёнщина, обрывающая трепетную ниточку жизни, когда душа, неповторимая и одинокая, покидает землю и улетает в неведомый космос, а внизу, над никому не нужным телом еще продолжает суетиться стая человеческого воронья, похоронная команда.

А потом и тело или то, что от него осталось, – кучку пепла – сбросят в гигантскую яму. В центре Москвы, на Донском кладбище, возле крематория, появится могила № 1, на которой будет торчать покосившаяся табличка: «Могила не востребовавшихся прахов». Прахи эти были не востребованы полвека, вплоть до перестройки, когда начали открываться секретные архивы.

«Могила не востребовавшихся прахов». Бездонная черная дыра нашей истории.

1938. 21 апреля

Декабристы из Переделкина. Всю Расею не заберут. «Кустование». Причины происхождения туманностей. Неустрашимый Правдухин. Весенняя охота на людей

Декабристы из Переделкина

«В Московской области установилась хорошая весенняя погода, – писала 21 апреля 1938 года газета «Правда». – Москвичи выезжают за город, в леса и на озера охотиться на вальдшнепов, уток и тетеревов...»

В этот апрельский день шел отстрел не только пернатой дичи, но и владеющих пером.

Третья коллективная казнь собрала и уравнила уровнем погребальной ямы семерых писателей. И скандальную знаменитость – Бориса Пильняка, и футуриста Константина Большакова, и крестьянского баснописца Ивана Батрака-Козловского, и пролетарского критика Алексея Селивановского, и маститого народного бытописателя Ивана Касаткина, и горячего революционного романтика Виктора Кина, и обличителя кулаков и попов, драматурга Александра Завалишина.

А началось с ареста Большакова, от него и пошло – кругами.

Поэт и прозаик Константин Аристархович Большаков имел уязвимую биографию: из дворян и бывший офицер, «гусар», как его заглазно называли.

Еще гимназистом он выпустил два сборника стихов, объявил себя «поэтом-лучистом» и был одобрительно отмечен самим Гумилевым. «Сердце в перчатке» – характерное для денди-футуриста название одной из его книг. Равнялся на Маяковского, шокировал публику «безнравственностью».

Революционером не был, но как поэт-авангардист принял Октябрьский переворот – событие невиданное и грандиозное. И как офицер принял – пошел в Красную армию, закончил Гражданскую войну комендантом Севастополя.

Вернулся в литературу Большаков уже прозаиком, писал исторические романы, затеял эпопею «Маршал сто пятого дня». И острых ощущений, к которым он привык в юности, у него уже не было, вплоть до ареста – 15 сентября 37-го. Оборвалась и эпопея – успел напечатать только первый том, второй изъяли при обыске, а третий погиб в зародыше в голове автора.

Под прицел чекистов этот писатель попал из-за своей близости к более крупной литературной птице – Борису Пильняку. Охота на того уже вступила в решающую стадию, благодаря наводчикам-доносчикам вышли на ближайшее окружение¹. В следствие по делу Большакова впряглась резвая тройка оперов – Райзман, Матусов, Поташник². Пяти дней им хватило, чтобы домчать своего арестанта до намеченной цели.

В заявлении Ежову Большаков послушно излагал суть своих «преступлений»: да, он враг советской власти, был связан с еще более непримиримым врагом – Борисом Пильняком, вокруг которого группировались антисоветски настроенные писатели. Мало того – он, Большаков, еще и шпион по кличке «Кабул», агент германской разведки, по заданию которой готовился убить товарища Ежова.

¹ Подробно о последних днях Б. Пильняка рассказано в моей книге: Рабы свободы. М.: Парус, 1995.

² Райзман Д.А. (род. 1901) – пом. нач. 9-го отделения 4-го отдела ГУГБ НКВД, ст. лейтенант ГБ. Уволен из органов МВД после XX съезда КПСС, когда КГБ очищали от «нарушений законности».

Поташник М.М. (род. 1908) – оперуполномоченный 4-го отдела ГУГБ НКВД, лейтенант ГБ. Уволен из МГБ в звании генерал-майора за использование служебного положения в личных целях (отстроил во время войны особняк). В 1955 г. исключен из партии за «нарушения соцзаконности».

Единственной причиной назвать Большакова немецким разведчиком было его шапочное знакомство с австрийским журналистом Басехесом. Спрашивается, зачем делать из писателя еще и шпиона? Или уж совсем слаба версия террора, недостает улик? Впрочем, в те времена шпионаж могли «пришить» всякому, кто имел неосторожность познакомиться с иностранцем.

На допросе 8 октября Большаков подробно рассказал о том, какая вражья рать собиралась вокруг Пильняка. Так писатели по заказу чекистов, под пытками и страхом смерти, тискали на Лубянке уголовные р'оманы¹ о террористах, где персонажами были они сами.

В детективе Большакова за месяц до его ареста события приняли стремительный оборот. Жизнь сталинского сокола Николая Ивановича Ежова повисла на волоске.

Заехав к Большакову, Пильняк будто бы пообещал, что скоро сведет его с людьми, которые помогут осуществить убийство. Через несколько дней он появился вновь.

– Где же те люди? – нетерпеливо спросил Большаков.

– Нужно немножко повременить.

– Провал?

Пильняк рассердился:

– Какой провал, если я с тобой сейчас разговариваю!

«Преследовала одна мысль: месть, месть и месть», – твердит в протоколе допроса Большаков. Он настойчиво убеждал Пильняка:

– Все главари массового террора, все в конечном счете гибнут от насильственной смерти. Так учит история. Нужно убить Ежова!

– Кто же на это решится? Ты? – спросил Пильняк.

¹ Тискать р'оман (жарг.) – вид тюремно-лагерного фольклора, сочинять или пересказывать что-нибудь для развлечения заключенных.

И услышал бесстрашный ответ:

– Я! Но у меня нет ни людей, ни связей, нет даже оружия. Я одиночка...

Пильняк усмехнулся:

– Я тебя сведу с людьми и дам оружие.

Прощаясь, он пообещал заехать на днях и как бы случайно бросил:

– А ты знаешь, где Ежов живет? В Большом Кисельном...

Понятно, что Большаков, не откладывая дела в долгий ящик, отправился в Большой Кисельный переулок и, гуляя по нему, обнаружил на правой стороне, через два здания от училища НКВД, двухэтажный особняк, довольно потрепанный с виду. Ясно было, судя по охране, что здесь и живет Ежов. Теперь нужно было все снайперски рассчитать. Дежурить у входных дверей, не зная часов приезда и отъезда наркома, слишком рискованно, подстергать на углу переулка, не зная, с какой стороны он ездит, – тоже не годится. Нет, одному такое не под силу.

И Большаков якобы опять обратился к Пильняку: где же обещанные люди, позарез нужны! Скоро будут, снова заверил тот. Между тем Большаков времени зря не терял: в ожидании сообщников сам неоднократно фланировал по Большому Кисельному или дежурил на углу Рождественки. И вот однажды, днем, уже возвращаясь из засады, увидел вдруг, как мимо него просквозило, мелькнуло в окне машины ненавистное лицо Ежова. Увы, стрелять было поздно.

А вскоре Пильняк сообщил: Ежов переехал жить в Кремль. Нужен другой вариант покушения. Тут-то и пришел конец коварным замыслам, Большакова арестовали. Чекисты оказались проворнее.

«Воронщина», та уже обезврежена, теперь черед «пильняковщине» – личной террористической банде литературного мэтра.

Его взяли 28 октября, к полуночи, под покровом темноты, в Переделкине, дачном поселке писателей под Москвой. Следственная бригада действовала с ним в том же темпе и с тем же успехом, что и с Большаковым: расколола за пять дней, то есть уложилась в рабочую неделю. И он написал покаянное письмо Ежову, а потом – подробнейшие саморазоблачительные показания.

Пильняк признался и в своей дружбе с троцкистами, и в организации антисоветского писательского кружка «30-е годы», и в шпионаже в пользу Японии, и в террористических замыслах, в которые он втягивал коллег. Наряду с молодежью из «Перевала» обрабатывал он и более маститых сверстников из группы «Московские мастера» – Алексеева, Большакова и особенно – наиболее близкого себе Пастернака. Все сходились на том, что политическое положение нестерпимо, гнет государства над личностью, над творчеством создает атмосферу не дружества, но разъединения и одиночества и уничтожает понятие социализма. Все упирается в две самые ненавистные фигуры – Сталина и Ежова, без устранения их ничто не изменится.

На какие только ухищрения не пускался Пильняк, чтобы собрать под свои знамена враждебные силы: пытался объединить «ортодоксальных перевальцев» с так называемыми «западниками», вовлекал в «30-е годы» не только литераторов, но и художников, и артистов, сколачивал «фракцию недовольных» в монолитном Союзе писателей, соблазнял стойкую Лидию Сейфуллину, которая упиралась, никак не хотела быть во «фракции обиженных». И все напрасно, все напрасно. Советская литература, благодаря неусыпной бдительности чекистов, устояла!

Может создаться впечатление, что в тихом, укромном Переделкине и впрямь назревало организованное, даже вооруженное сопротивление интеллектуальной элиты против сталинской верхушки. Иные из писателей прошли через

горнило революции и Гражданской войны, так или иначе опалились огнем событий, белели или краснели от политических баталий. Воины, офицеры, горячие головы! Прямо декабристы какие-то...

Если бы это было правдой, а не чекистским блефом! Но представить себе террористом Пастернака – на такой бред была способна только Лубянка.

Всю Расею не заберут

Под именем Артем Веселый прославился в литературе Николай Иванович Кочкуров, сын волжского грузчика, пробившийся к свету знаний из большой нужды и черной работы, первый грамотный в своем семейном роду. Вот уж кто был подлинным писателем из народа!

Посвящение его в большевики в 17-м совпало с пробой пера. Боец Красной гвардии, политработник, публицист, студент Литературно-художественного института имени Брюсова и Московского университета, яркий, набирающий мастерство и славу прозаик, Артем Веселый прошел через многие литературные тусовки того времени: «Молодая гвардия», «Октябрь», «Перевал», РАПП – в чем-то всем близкий и чем-то всем чужой. Мало кто умел так передать музыку народной речи, биение «дикого сердца» России, гул ветра и истории, хмель и удаль русской вольницы. Главная книга Веселого, прекрасное и жуткое эпическое полотно, карнавал революции, называется «Россия, кровью умытая». Еще один роман, «Гуляй, Волга», – поход казацкой дружины Ермака, завоевание Сибири. Не скажешь, что автор восторженно упивается исторической судьбой Родины, он и сам в смятении, не понимает, куда мчится эта бешеная Русь-тройка, – когда народная воля, сметая гнет, переходит в произвол и в конце концов с заведенностью шарманки сменяется новым, еще большим рабством.

Веселый писал новый роман – «Запорожцы», который погиб в лубянской бездне со множеством других его рукописей. До самого ареста работал над поэтическим циклом «Домыслы». Последнее, что успел опубликовать, – стихотворение в прозе «Пушкин», дань памяти любимого поэта.

Конечно же, он был предан советской власти. Но вот в чем дело – не казенно, а искренне, горячо, не хотел, не мог слепо служить серой партийной идеологии! Критики сломали множество копий вокруг этого возмутителя спокойствия, упреки переходили в нападки, нападки – в травлю. «Комсомольская правда» напечатала статью «Клеветническая книга: о романе Артема Веселого “Россия, кровью умытая”» – публичный политический донос, предвестник ареста. В этой книге автор устами простого крестьянина говорит: «Всю Расею не заберут... Расея, она обротать себя не даст...»

Артем Веселый еще до ареста «уличен агентурными и следственными данными» – активный троцкист и террорист. Как только земля советская носит такого оголтелого врага! Подумать только, что осмелился заявить: «Я бы поставил пушку на Кремлевской площади и стрелял бы в упор по Кремлю!» – об этом сообщил на допросе уже уничтоженный враг – Павел Васильев.

И в писанине своей Веселый протаскивает враждебные идейки, сеет ядовитые зерна. По заданию троцкистского центра намарал контрреволюционный рассказ «Босая правда» – одно название чего стоит, как и «Россия, кровью умытая»! Агентура докладывает о новой идеологической диверсии: Веселый в связке со своим дружкой – поэтом Багровым из Куйбышева¹ – сочиняет поэму «Гибель славных»,

¹ Багров В.А. (род. 1912) – поэт, член Союза писателей, автор поэмы «Пугачев», был вскоре арестован в Куйбышеве и расстрелян 15 марта 1938 г.

восхваляющую расстрелянных участников троцкистско-зиновьевского центра...

Ежов запрашивает у Сталина санкцию на арест. И тут же получает «За». Завертелось!

«АРЕСТ. ОБЫСК», – пишет большими буквами в справке на арест и еще подчеркивает жирно начальник 9-го отделения Журбенко. И целый хор начальственных резолюций поддакивает: арестовать, арестовать, арестовать!

Домой к Веселому чекисты заявили в четыре утра, 29 августа. Шестилетняя дочурка Волга, проснувшись и увидев гостей, поначалу обрадовалась и радостно закричала: «Заходите, заходите!..» Вломились целым отрядом – боялись, должно быть, что хозяин будет отстреливаться до последнего патрона. Как же, такой отчаянный – на Кремль пушку нацелил! Накинулись, вывернули карманы, пока обыскивали квартиру, приставили к писателю солдата с винтовкой – чтоб глаз не спускал.

Изъяли главное оружие – пишущую машинку. А рукописи – «Печаль земли», «Глубокое дыхание», «На высокой волне», «Притон страстей», сценарий «Мир будет наш» – Веселый сам попросил взять с собой, рассчитывал, видимо, еще поработать...

Следователь, оперуполномоченный Семеньков, сразу усадил его сочинять заявление Ежову: хотите жить – пишите, это единственный для вас шанс. Заявление это от 3 ноября – акт капитуляции. «Вас, Народный Комиссар, прошу об одном: не выбивать у меня из рук пера, если пролетарский суд, несмотря на всю тяжесть моих преступлений, найдет возможность сохранить мне жизнь».

В ходе авральнo-упрoщенного следствия писателя заставили признаться в участии сразу в трех террористических группах. В «перевальской» – она уже обезврежена, в «пильняковской» – ликвидируется сейчас, и в третьей, которую

ненасытные чекисты только создают, специально под него, Артема Веселого.

Секрет признаний прост: «Бить морды при первом допросе». Цель – сделать из человека его убогого двойника, из человека, который совсем недавно – позавчера, вчера, еще сегодня утром – жил полнокровной, полноценной жизнью.

Этот процесс превращения начинался гораздо раньше, задолго до ареста. Литературные смертники еще до хрипоты спорили в писательском клубе, кто из них гений, а кто жалкий поденщик и кому дано будет пережить свое время и оставить после себя «нетленку». Но уже плющились под государственным прессом, растравленные злобой дня, сбитые с толку. И это прорывалось, особенно в стихах.

Молодой поэт и прозаик, рапповец Алексей Кондаков, автор популярной книги «Записки фабзайца», высланный в 34-м за антисоветскую пропаганду в пермскую глушь, предсказывал себе – как в воду глядел! – в неопубликованных до сих пор стихах:

Когда я буду умирать,
Я, может, так всех озадачу,
Что даже над могилой мать
Не посидит и не поплачет.

Я самого себя боюсь!
Я не пойму, что это значит?
И, может быть, родная Русь
Меня совсем переиначит...

До конца 37-го Лубянка приняла новое пополнение писателей: были арестованы прозаики Виктор Кин и Давид Егорашвили и критик Алексей Селивановский. А вслед за ними, в январе нового, 38-го, в лубянские камеры вселили еще одну литературную тройку: Ивана Батрака, Александра Завалишина и Ивана Касаткина. Карательный конвейер уже штамповал преступников.

Егорашвили расстреляли раньше других – 14 марта, он сразу же послушно подписал все, что от него требовали, и больше не был нужен. С другими следователи повозились чуть дольше.

Почти все в лубяньских протоколах рассуждают похоже: нас, писателей, затирают, преследуют, но мы испытанные бойцы, прошли войны и революции, так просто не дадимся! Вооруженная борьба! Единение серпа и молота – союз возмущенных «крестьян» с разгневанной «Кузницей». Захват редакций и издательств. И, конечно же, вождеденный теракт – «против одного из руководителей ВКП(б)» – вписывай любую фамилию. Поскольку кого точно – еще не решили. Кто подвернется под руку в президиуме съезда...

Но тут – хлоп! – щелкнула запором Лубянка, и заговорщикам конец.

Конечно, весь этот бред высосан писателями из пальца, из пальца чекистского, тычущего и грозящего, а чекисты, в свою очередь, все высосали из пальца им указующего, державного – с кремлевского пьедестала, где высился живой памятник, изваянный страхом и восторгом миллионов, подменивший Бога на одной шестой части земли.

Если бы это был только бред! Из него в лубяньских кабинетах выплывает на свет убийственный документ – обвинительное заключение и решает судьбу вполне реального человека, во плоти, второго такого никогда не будет. И уже не отдельные писатели, а вся литература по указке сверху постепенно делается врагом народа. Да что литература, и сам народ становится врагом народа, все население заповедника всемирного коммунизма. Одна половина народа пожирает другую, как чудовище, заглатывающее собственный хвост.

«Кустование»

Тем временем продолжается обработка Артема Веселого. Его собственноручные показания от 1 февраля – плод не столько его руки, сколько кулаков следователей: пишите, пишите подробно о положении на литературном фронте, какие там у вас группировки, группы и группочки существуют, как писатели связаны между собой, дайте характеристику каждому...

И получается гротеск. Такое впечатление, что автор иногда нарочно выворачивает здравый смысл наизнанку, чтобы ясно стало: того, о чем он рассказывает, не только не было, но и не бывает, и даже никак не может быть.

«К у с т о в а н и е» – такое словечко придумал Артем Веселый для этого процесса собирания, сложения, слипания, срастания рыцарей пера в коллективы. Когда-то «кустование» шло по линиям естественных идеологических и творческих сближений, после же суть процесса – интуитивное сбивание в стаи, чтоб легче выжить.

Перечитывая это сюрреалистическое сочинение, попадаешь в сомнение: да Веселый ли, пламенный, острый художник, сочинил распадающийся на глазах текст? Вроде бы да – его рука, его почерк, его вычеркивания, его подпись. И в то же время он то и дело начинает говорить о себе в третьем лице, как бы отрекаясь от себя – это не я! А через несколько страниц снова появляется его «я»: я знаю, я ездил, я считал, чтобы потом опять смениться на он: «он», Артем Веселый. Будто меняется местами с каким-то своим двойником. Или – что тут мудрить – перед нами просто болезнь сознания, измученный пытками человек?

Сидевший в одной камере с Веселым старый большевик Емельянов после реабилитации рассказал дочерям писателя, что с ночных допросов их отца приносили на носилках, он

даже не мог есть сам. Но, один из немногих, ясно понимал, что происходит, и не питал никаких иллюзий: «Не для того нас посадили, чтобы выпустить». Его волновало больше всего, что будут знать и думать о нем его дети – а их у Артема Веселого было пятеро.

Как происходило это химерическое «кустование»? Вот, положим, «Перевал» – мало того, что «перевальцы» группировались вокруг идейного вождя – Воронского, возле каждого из них тоже, в свою очередь, клубилось свое окружение, создавалось некое человеческое уплотнение из родных, друзей и знакомых. Еще больший круг людей объединился вокруг попутчиков, и прежде всего вокруг Пильняка.

«Характерная особенность попутчиков, – пишет Веселый, – это работа на три этажа: первое – “для души”, то, чего никто не видит и не слышит; второе – “базарная работа”, то, что предназначается для широкого обнародования, и третье – откровенная и беспардонная халтура ради денег и дешевой славы».

От попутчиков он переходит к «Кузнице», от нее – к футуристам. И замечает, что в репрессиях они не пострадали, их ядро осталось неприкосновенным. Тут Веселый прав, если не считать уже расстрелянного 10 сентября 37-го как «японского шпиона» вождя Левого фронта искусств Сергея Третьякова, которого Бертольд Брехт называл своим учителем. Не распалась, говорит Веселый, и когорта конструктивистов. Зато вот кулацкие, крестьянские и крестьянствующие перебиты почти сплошь. Есть еще в литературе изгои и отшельники, есть сочувствующие и скептики, дирижеры и подпевалы, матерые волки и трухлявые богатыри, да и кого только нет! И все они, помимо прямых связей друг с другом, объединяются еще и при редакциях, издательствах, Литфонде...

Вот тебе и «кустование» – с одной стороны, бред, а с другой – нормальная человеческая жизнь!

И заключительная, многозначительная фраза Артема Веселого: «О причинах, порождающих в писательской среде нездоровые настроения, а равно и о деятельности ССП многое можно было бы сказать, но судить обо всем этом как арестант и враг народа я не могу».

Но в чем фокус – все эти группы и группочки потом, под уродливой лупой Лубянки, становились вражескими бандами, подлежащими уничтожению.

Из уродливых схем и рассуждений, нагроможденных в лубянских следственных досье, выходит, что вся, абсолютно вся советская литература только тем и занимается, что борется с партией, поскольку все писатели так или иначе связаны со всеми, и все они маскируются, двурушничают и клокочут ненавистью, и под видом творчества и приятельских встреч замышляют убить дорогого вождя, родного товарища Сталина. Больше того, не только писатели, но и все люди в СССР, да и все человечество – потенциальные враги, одержимые манией – добраться до усатого человека в Кремле и прикончить его. Параноидальное сознание усача, засевшего в Кремле, заразило страну массовым психозом страха и злобы.

Произошла мутация сознания, навязывались новые понятия и представления о человеке и человечестве, выраженные особым, языкоборческим, извращенным жаргоном. На нем у людей – «каэрлица», они не просто встречаются друг с другом, а «устанавливают связь», и встреча превращается в «сборище», на котором укрепляется «каэрдружба» и, стало быть, может вспыхнуть и «каэрлюбовь», в результате которой возникают ЧСИРы – члены семей изменников родины, то бишь нормальным языком – жены и дети, родня...

Это и есть на практике большевистская мечта о «переделке человека».

Каждый из писателей дал в руки следователей свой список, перечень коллег, на Лубянке литературные имена без конца перетасовывались, пока, наконец, не застывали в окончательном виде – в сталинском расстрельном списке.

То же превращение имени в номер, те же штампы, тот же портрет преступника – по его же собственному описанию. И маниакальная идея у всех: средоточие зла – Сталин, и его надо убрать. Мысль, в общем-то, правильная, но дальше ее, мысли, дело и не идет.

Если раньше писатели жили под контролем, то теперь – под конвоем. И всех вели – под конвоем – к одному концу. Все так или иначе оказывались в длинной, нескончаемой очереди – к сталинскому расстрельному списку и расстрельному рву.

15 марта 38-го этот ров принял еще двух крестьянских поэтов, друзей Есенина – Петра Орешина и Василия Наседкина. Вместе с ними был казнен литератор Николай Федосеевич Рождественский, подробности жизни которого, к сожалению, узнать не удалось.

Но неужели все писатели – такие пропащие? Нет, есть и среди них светлые исключения, правда, и те с какими-то пятнышками, с червоточинкой. Загадкой предстал перед Наседкиным Андрей Платонов.

У Андрея Платонова я бывал тоже два-три раза. По-моему, он молчаливым был со всеми. Политических разговоров он никак не поддерживал, беседы проходили только в рамках литературных дел. А когда я жаловался на трудности жизни вообще, он отмалчивался. Во время одной беседы я как-то задал ему вопрос – откуда у него такой пессимизм и страдания, которые чувствуются почти в каждом его рассказе? Вместо ответа Андрей Платонов лишь улыбнулся. В общем, А. Платонов представляется

мне и психологически, и политически человеком больным и ни во что не верующим.

Платонов лишь улыбнулся... Он уже давно написал свое «письмо Ежову», акт капитуляции, как бы пережив возможную казнь в будущем, письмо по стилю и смыслу – абсолютно такое же, как те, что напишут братья-писатели через несколько лет на Лубянке. А может быть, и кошмарнее – потому чудовищному хаосу, какой внесло Советское государство в души своих подданных.

Письмо это, от 9 июня 1931-го, в официальные печатные органы, «Литературную газету» и «Правду» – открытое обращение к власти, вернее, к ее воплощению – Сталину. Дело было после разноса вождем, а вслед за ним и советской печатью повести Платонова «Впрок».

«Нижеподписавшийся отрекается от всей своей прошлой литературно-художественной деятельности, выраженной как в напечатанных произведениях, так и в ненапечатанных. Автор этих произведений в результате воздействия на него социалистической действительности, собственных усилий навстречу этой действительности и пролетарской критики пришел к убеждению, что его прозаическая работа, несмотря на положительные субъективные намерения, приносит сплошной контрреволюционный вред сознанию пролетарского общества...»

Донос на самого себя. Да он прямо в тюрьму просится!

«Нижеподписавшийся не понимал, что начавшийся социализм требует от него не только изображения, но и некоторого идеологического опережения действительности – специфической особенности пролетарской литературы, делающей ее помощницей партии...»

Каждому критику, который будет заниматься произведениями Платонова, рекомендуется иметь в виду это письмо».

К счастью для Платонова, сочинение сие, которое писал словно не он, а один из его фантазмагорических героев, тогда не было опубликовано.

Место Наседкина лубянские шулера несколько раз меняли в контрреволюционных колодах, в которых все карты были краплеными. Начали с компании Карпова – Макарова, потом он был переброшен к Клычкову, затем – к Воронскому, и, наконец, попал к «сибирякам», где главным козырем был Валериан Правдухин.

Под занавес Наседкин выкинул номер: представ перед судом Военной коллегии, он отверг свою вину. От своих показаний отказался, назвав их ложными, выжатыми под воздействием следствия.

Но траекторию его судьбы это не изменило.

Причины происхождения туманностей

Прошло полмесяца после казни Орешина, Наседкина и Рождественского. И 2 апреля расстрельный ров поглотил еще одного писателя. № 97 в сталинском списке на 168 человек от 28 марта – Никифоров Георгий Константинович.

Задержал ли на этом имени свой прищур кремлевский орел-стервятник? Какой Никифоров? А, это тот самый, который в 32-м году на квартире Горького во время застолья писателей с вождями захмелел настолько, что осмелился оспорить тост за здоровье товарища Сталина, закричал на весь зал:

– Надоело! Миллион сто сорок семь тысяч раз пили за здоровье товарища Сталина! Небось это даже ему надоело слышать...

На что в наступившей жуткой тишине поднявшийся товарищ Сталин протянул через стол руку товарищу Никифорову и очень мягко так сказал, пожав ему кончики пальцев:

– Спасибо, Никифоров, правильно. Надоело это уже...
Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме! Теперь, через пять с половиной лет, пришла пора ответить за свои слова.

Дело Никифорова лубянская машина прокрутила меньше, чем за три месяца. За что посажен? Да мало ли за что!

Однажды этот Никифоров показывал гостям кусок хлеба, какого-то серо-бурого цвета, изготовленного из жмыха и травы, – смотрите, мол, чем питается сейчас деревня, до чего ее довели!

Разве этот поступок – не преступление?

В одной камере с Никифоровым и Веселым сидел еще один писатель – Герман Жидков. Он уцелел и донес до нас последнюю весть о человеке, который не захотел пить за здоровье товарища Сталина. Следователи выбили Никифорову зубы, и все равно он твердил: «Ничего не подпишу, мне не в чем сознаваться!»

Сатирик Андрей Никитич Новиков, «попутчик второго призыва», переживет расстрелянного Никифорова, к которому его привязали, ненадолго. Он был арестован 12 января 40-го, после того как провозгласил пьяный тост: «За гибель Сталина!» – в дни юбилея вождя, в компании писателей – Андрея Платонова и Николая Кауричева.

Квитанция, составленная во внутренней тюрьме ГУГБ, на Лубянке, гласит: «В отделении по приему арестованных. Принято от арестованного Новикова 2 корпуса трехдюймовых снарядов. Дежурный 10 отделения». Что бы это могло значить? Не иначе как изъяли при обыске какие-то военные сувениры и притащили на Лубянку. Улика! Недаром предлагал Артем Веселый: поставить пушку на Красной площади и прямой наводкой – по Кремлю!

Другую улику изъяли при аресте у Николая Кауричева.

– В какой связи находятся ваши тернастроения с тем, что у вас при обыске обнаружили в кармане фотографию с изображением Кагановича, изорванную, измятую? – спрашивает на допросе следователь.

– Нет, в этих обстоятельствах нет никакой связи.

– А почему все же у вас в кармане пальто обнаружено фото Кагановича в таком виде?

– Эту фотографию я увидел впервые в момент обыска...

Не иначе сами чекисты и подсунули! Не гнушались такими провокациями, хотя в них и нужды-то не было. Не благими намерениями, а мелкими подлостями вымощена дорога в ад.

К делу Новикова привлечен в качестве эксперта литературный критик А. Гурвич, он дал заключение на повесть «Причины происхождения туманностей», рецензия приобщена к делу, тоже как улика, как своеобразное показание:

«Любительское исследование беспокойного человека» – назвал свое произведение Андрей Новиков. Это памфлет на советскую жизнь, бюрократию, государство.

Огромное количество людей сосредоточенно, серьезно, кропотливо переливают из пустого в порожнее. Они увязывают, согласовывают, рационализируют, централизуют, заседают, прорабатывают, дискусируют, пишут инструкции, заполняют анкеты, составляют сметы, схемы, планы, организуют отделы, подотделы, секции, подсекции, комиссии, подкомиссии, отменяют, восстанавливают и, наконец, создают такие же, годами работающие, ликвидационные комиссии. Словом, бесконечный бумажный круговорот, в котором обезличивается и гибнет все истинно человеческое. Ценными являются только те виды труда, которые производят вещи, предметы, все остальное – паразитизм и бюрократизм. Меняется обстановка, не меняется громадное

большинство людей: они только изворачиваются, – такова философия вещи (автора)... Произведение Новикова написано в подражание Салтыкову-Щедрину, Сухово-Кобылину и отчасти напоминает произведение Андрея Платонова «Город Градов», также написанное под влиянием щедринского стиля.

Нанятый Лубянской критик справедлив: рецензируемое сочинение – острая характеристика бесчеловечной советской бюрократии, рядом с которой герои Салтыкова-Щедрина смотрятся вполне терпимо. И что вы прикажете делать власти с таким сочинителем?

И все же не «Причины происхождения туманностей» станут главным преступлением Андрея Новикова, а пьяный восторг «За гибель Сталина!». Его расстреляют как террориста, уже когда начнется война – 28 июля 41-го, вместе с еще двумя писателями – Николаем Сергеевичем Кауричевым и Михаилом Петровичем Лоскутовым. Их и арестовали в один день, и казнят тоже в один день. Еще одна коллективная казнь в мартиролог русской литературы.

Неустрашимый Правдухин

«Каэрбанда» Валериана Правдухина возникла, еще когда ее главарь о ней не подозревал. Формировали ее привычно: взяли одного, уже арестованного писателя и привязали к нему несколько гуляющих на воле. Писателя, с которого повели легенду, звали Владимир Зазубрин. Этого, очередного террориста с переделкинской дачи привезли на Лубянку 28 июня 37-го и расстреляли 28 сентября, ровно через три месяца, день в день. Такой темп стал уже своеобразной трудовой традицией для чекистов: расколоть подследственного за пять дней (рабочая неделя) и за три месяца кончить зачистку, довести до расстрельного рва.

Новой «каэрватаге» Лубянка, соревнуясь в выдумке с писателями, придала свежую окраску – эсеры, эсеровские, эсерствующие – и собрала ее по географическому признаку: появились в Москве из Сибири – будут «сибиряки».

Зазубрин, Зубцов, Минин.

Это одно и то же лицо. Мальчик Володя Зубцов из города Сызрани и писатель Владимир Яковлевич Зазубрин. Но был между ними еще и некто Минин, сыгравший в этой тройце роковую роль. Володя Зубцов, еще учась в шестом классе реального училища, вступил в революционный кружок, и когда с друзьями был арестован, пошел на хитрый шаг: с ведома сызраньского комитета РСДРП(б) предложил себя жандармам в качестве тайного агента среди социал-демократов. Так появился на белый свет агент «Минин», который на самом деле выявлял провокаторов в рядах партии, а заработанные в жандармском отделении деньги отдавал в кассу своего подпольного кружка.

Теперь, в 37-м, упор в следствии сделан на пятнах в прошлом – службе в царской охранке. Зазубрин вначале отрицал свою вину, доказывал, что агентом охранки стал по заданию революционеров. Потом начал уступать следствию. Дальше – больше, сознался: да, я – участник каэргруппы «сибиряков», подтвердил подсказанные фамилии. Группа стояла на правых кулацких позициях, за буржуазно-демократическую республику и делала ставку на обработку Горького, чтобы он выступил против Сталина. Однако обвинение в терроре Зазубрин отверг.

В заявлении Ежову 20 августа он еще пытается сохранить достоинство.

...Генрих Гейне рассказал в одном из своих очерков о негритянском короле, который, позируя художнику, писавшему с него портрет, долго волновался и наконец смущенно

попросил написать его белым. В своем заявлении Вам я не хочу походить на того негритянского короля, однако беру на себя смелость утверждать, что я не столь уж черен, как это может показаться по протоколу допроса. Я писатель, книги которого получили хорошие отзывы Владимира Ильича Ленина и Алексея Максимовича Горького, признаны массовым читателем.

Могли вспомнить следователи и давний очерк Зазубрина «Настоящие люди» в журнале «Сибирские огни», написанный по следам XVI съезда партии:

«Сталин всегда спокоен. Ходит по президиуму с трубочкой, улыбается. Остановится, положит руку кому-нибудь на плечо и слегка покачает, точно пробует – крепок ли. Возьмет за талии или за плечи двоих и толкает их друг друга. Сталин тащит на своей спине тягчайший груз. Он генсек. Но съезд видит только его спокойное, улыбающееся, рябоватое, серое лицо под низким лбом с негнущимся ершом черных волос».

«Рябоватое серое лицо под низким лбом» – вряд ли понравился бы носителю этого лица такой портрет!

А вот прямо из триллера: «Набальзамированный труп лежит под стенами Кремля. Ногти на руках у него чернеют. Неправильная или не к месту приведенная цитата из книг Ленина кажется мне его мертвой рукой с почерневшими ногтями».

Да, зазубринские портреты не делали черных королей белыми. И другие кремлевские вожди написаны без всякого пиетета. «Бухарин, как маленький рыжий попик, с петушиным легким хохолком... Рудзутак дурашливо ерошит волосы Ворошилову... Менжинский почти не изменился, только угрей стало больше на лице... У Томского неправильная голова. Две головы на короткой шее... Литвинов... круглолиц,

лыс, толст... Один из лучших хозяйственников Ленинграда Михайлов говорит “зерькало”. Эта обмолвка выдает социальные корни наших ответработников... Молотов – человек с необычайно сильным лицом. У Молотова коротка верхняя губа. Он заикается».

Читая эти зарисовки, вспоминаешь позднего Гойю. Сон разума порождает чудовищ.

На той памятной встрече вождей с писателями 26 октября 32-го на квартире Горького, когда захмелевший Никифоров предложил не пить за драгоценное здоровье товарища Сталина, Зазубрин тоже отличился. Он осмелился выступить против цензуры, да как – опять с переходом на личность Генерального секретаря. Советская цензура, дескать, мешает правдиво изображать его!

– Вот, например, один мой товарищ захотел описать Сталина, – сказал Зазубрин. – Что же заметил в Сталине мой товарищ, произведение которого не пропустила цензура? Он заметил прежде всего простоту речи и поведения, рябину на лице. Когда академик Иван Павлов сидел с Муссолини на конгрессе в Риме, он заметил о его подбородке: «Вот условный рефлекс на величие». А тут ничего величественного и никакого рефлекса на величие...

Зазубрин продолжал сравнивать Сталина с Муссолини и критиковать тех, кто рисует Сталина и членов Политбюро – как членов царской фамилии, «с поднятыми плечами». Сталина все это явно задело, он насупился.

– Вот и позови нашего брата. Бред... – шепнул Петр Павленко Корнелию Зелинскому, который и сохранил все это в памяти.

Как они все расхрабрились в тот вечер, как веселились – вместе песни пели!

Судьбу Зазубрина принесли Сталину в списке от 31 августа 37-го, за № 3. Среди подписавших путевку на тот свет

были кроме генсека и другие герои зарисовок писателя – и заика Молотов, и взъерошенный Ворошилов.

Загадка, каких в нашей истории – тьма: Зазубрин, как раньше и Михаил Герасимов, почему-то фигурирует в списке по второй, лагерной категории, хотя был расстрелян. Значит, кто-то подправил его участь или распорядился устно. Впрочем, известно: Сталин иногда менял категорию.

В последнем слове на пятнадцатиминутном суде Зазубрин просил учесть, что он вреда не принес.

Известность к нему пришла с книгой «Два мира», вошедшей в историю как первый советский роман. И все же этот писатель во многом остался непрочитанным, неоткрытым. Через два года после романа из-под его пера вышла повесть «Щепка», которую ожидала совсем другая судьба – она увидела свет лишь через шестьдесят с лишним лет, в пору перестройки. Но и в это время громких разоблачений шокировала своим беспощадным ужасом – здесь изображены будни ЧК, когда «кровью кровь смывали», помрачение рассудка палачей, ставших в конце концов жертвами друг друга. Зазубрин-художник взял верх над Зазубриным-политработником, задел главный нерв русской революции.

Герой повести мечтает о машине, мясорубке, которая могла бы анонимно, без человека вершить кровавую работу ассенизаторов революции: рассудок твердит ее нехитрую азбуку, а душа заболевает. Подвал сибирской ЧК, где ставят к стенке, шлепают, пускают в расход – по пять человек из наганов в затылок. Не человек, а классовый враг передо мной! – вдалбливает себе в голову чекист. Но дается это только избавлением от собственной человечности, нарастанием душевной болезни. И вот результат: революция не столько повивальная бабка истории, сколько крах человека.

Художник слова Зазубрин приходит к такому же открытию, что и академик Павлов, только своим путем: большевизм – это политическое безумие.

В наши дни «Щепка» всплыла, обнаружилась среди рукописей Библиотеки имени Ленина – там же, где до сих пор томится еще не напечатанный «Статирь». Она была опубликована вместе с написанным в том же далеком 23-м и тоже впервые увидевшим свет предисловием Валериана Правдухина «Повесть о революции и личности».

Друг и будущий подельник Зазубрина рассуждает о том, что ради коммунизма придется, видимо, пожертвовать «никчемной кантовской идеей о самодовлеющей ценности каждого человека». Да, но как согласиться с этим, если «каждый человек» – ты сам? Какой итог подвели они в 37-м, в тюремной камере, перед расстрелом, став на место своих героев?

Об этом архивы молчат.

Справка на арест Валериана Павловича Правдухина была заготовлена уже 2 августа, в тот день, когда Зазубрин подписал нужную легенду о нем.

Адресок известен – писательский дом № 2 в проезде Художественного театра. Там, в квартире 31, и живет-поживает неразлучная супружеская чета – Правдухин и Сейфуллина. Дали Валериану Павловичу погулять еще полмесяца, пока оформили, перепечатали и подписали все бумаги – и 16 августа – извольте познакомиться. Не ждали? Пожалуйте к нам, к нашим лубянским законникам, вернее, зверям в законе – Павловскому и Иосилевичу.

Надо думать, следователи употребили весь арсенал средств, чтобы сломить арестанта. И вдруг наткнулись на что-то непонятное. Из какого материала, какой породы был этот человек?

Сентябрь, уже расстрелян Зазубрин. Октябрь, ноябрь. Никаких показаний и признаний Правдухина в деле нет – сплошная дыра, только упоминания о каких-то его

заявлениях, видимо, уничтоженных следствием. 25 ноября упорного «сибиряка» сводят в очной ставке с его поделщиком Наседкиным, который дал на него показания, – бесполезно, Правдухин их отрицает.

И в новом, 38-м, допросы продолжают с тем же результатом. Расстрелян в марте Наседкин. Правдухин не признает обвинения. Наверно, следователи ходили на него смотреть – откуда такой взялся? Вся сталинская карательная машина буксует на одном человеке!

И вот уже май, число в протоколе почему-то не указано: «На протяжении девяти месяцев, несмотря на уличение вас очными ставками, вы запирались. В поданном вами заявлении вы показываете, что намерены прекратить заперательство и дать показания о деятельности эсеровской организации, участником которой вы состояли».

И дальше – ответ, выхолощенные, казенные слова, без единой живой детали и факта: что он, Правдухин, до 18-го – активный эсер, был антисоветски настроен, связан с «Перевалом» и вот, наконец, вот – вовлек в контрреволюционную деятельность Наседкина, Зазубрина, Пермитина и свою жену Сейфуллину...

Вот только когда – через девять месяцев допросов, очных ставок и пыток – он «признался», подписал весь следственный бред – чтобы уж скорее все кончилось!

Сталинский расстрельный список от 20 августа на 313 человек.

№ 215 – Правдухин Валериан Павлович...

Только два росчерка – Сталин и Молотов, остальные, наверно, отдыхают на Черноморском побережье, собираются с силами.

Казнен Правдухин через год после ареста, 28 августа, редкий для того времени коротких дистанций и дыханий марафон.

И все-таки мы не можем сказать уверенно, чем кончился поединок Правдухина с Лубянской. И никогда не узнаем всю правду. Конечно, когда подпись узника под признанием вымогалась пытками, у неумолимого человека, ее нельзя считать подлинной. Но очень может быть, как не раз случилось, что она, эта подпись, просто-напросто подделка.

Весенняя охота на людей

Тюрьма, тюрьма...
Крепость тиранов,
Твердыня земных владык,
Дом задушенных страданий,
Могила для живых –

писал Артем Веселый в стихотворении «Тюрьма» с посвящением «Пленникам фашизма».

Горела огнями в самом центре Москвы бессонная Лубянка. Кипела работа в кабинетах следователей. Уводили одних арестантов, вводили других, вызывали третьих. Да разве только писателей? Они были лишь крохотной частью предназначенного для уничтожения человеческого материала.

Среди пыльниковцев Артема Веселого прокрутили в карательной машине первым, видимо, как самого опасного террориста. В сталинском расстрельном списке от 28 марта на 168 человек он проходит под номером 67 – «Кочкуров Николай Иванович (Веселый А.)». Путевку на тот свет подписал почти весь ареопаг палачей-распорядителей: Сталин, Молотов, Каганович, Жданов, Ворошилов.

Суд – 8 апреля, 13.15–13.30. В приговоре сказано – «бывший писатель», как будто писатель бывает бывшим. В тот же день приговор привели в исполнение.

А через десять дней, в очередном расстрельном списке, который лег на стол Сталину, значились:

...32. *Большаков Константин Аристархович...*

95. *Завалишин Александр Иванович...*

118. *Касаткин Иван Михайлович...*

124. *Кин-Суровикин Виктор Павлович...*

131. *Козловский-Батрак Иван Андреевич...*

224. *Пильняк (Вогау) Борис Андреевич...*

252. *Селивановский Алексей Павлович...*

Между Завалишиным и Касаткиным, под номером 106, помещен Ингулов Сергей Борисович – начальник Главлита, главный цензор страны.

Подписали список: Сталин, Ворошилов, Каганович, Жданов.

Еще через два дня, в четверг 21 апреля, все писатели из этого списка предстали перед судом Военной коллегии. Всем им отпустили на формальности по 15 минут. Повели они себя по-разному. Половина из них вину свою признала и показания подтвердила, другая половина – нет. Кто-то напоминал о своих революционных заслугах, кто-то взывал к гуманности.

Конвейер смерти не имел обратного хода.

Прошло пять дней после расстрельной ночи 21 апреля, и чекисты, словно спохватившись, арестовали еще двух пильняковцев – прозаиков Глеба Алексева и Сергея Буданцева.

Алексеев попал в ловушку гораздо раньше, когда он, эмигрировавший после революции, под влиянием советской пропаганды вернулся в Москву. Сначала все шло гладко, печаталось пятитомное собрание его сочинений. Потом начались нападки: писателя обвинили в том, что он «вместо коллективиста рисует человека, спасающего свою душу», поставили его в строй – «на правом фланге литературных попутчиков». И вот финал – расстрельная яма.

Буданцев Родину не покидал. Начиная он со стихов, но потом, как это часто бывает, перешел на прозу, не скрывая, что продолжает традиции Достоевского. Критики клеймили его как соглядатая и чужака в мире советской романтики. Один из героев Буданцева, с дворянской фамилией Вяземский, заключенный в концлагерь, не сломился там и сохранил личность, но не из-за «перековки», а из-за верности вечным человеческим ценностям. Так случилось, что теперь и автор последовал по пути своего героя: был осужден на восемь лет лагерей. Еще на предварительном следствии он нашел мужество отказаться от своих показаний, как от вымышленных. Умер Буданцев на Колыме 6 февраля 1940-го.

Голгофа одна, но путь на нее у каждого свой.

Что было на Земле 21 апреля 38-го, когда каратели уравнивали уровнем погребальной ямы столь разных служителей пера и несхожих людей – одним ударом семерых!

Шла гражданская война в Испании. «Правда» писала: «Враг ошибся, полагая, что, прервав связь между Каталонией и остальной республиканской Испанией, он нанесет удар боевому духу республиканцев. Вера антифашистских масс Испании в победу непоколебима. Сегодня Барселона – опорный пункт бойцов, которые стекаются сюда со всех концов республиканской Испании».

На странице пятой – перепечатка из французской газеты «Нувель литэре»: в Аргентине умер от голода в возрасте 64 лет писатель и поэт Леопольдо Лугонес, наиболее крупный представитель современной аргентинской литературы. «Говорят, что поэты, как правило, должны умирать от голода», – саркастично или меланхолично пишут французы.

Что уж там говорить, быт и нравы за рубежом – дальше некуда. Погоня за сенсацией. Вот в Лондоне, к примеру,

существует «Клуб освистанных авторов». Туда принимают только тех писателей, которые потерпели полную и бесповоротную неудачу. Если все-таки им повезет и их постигнет успех, таких авторов гонят прочь из клуба.

«Вообще Англия еще со времен мистера Пиквика бьет все рекорды по количеству действующих в ней нелепых клубов, – продолжает обличать “Правда”. – В городе Галифаксе организован “Клуб мужей-мучеников”. Наплыв членов в этот клуб столь велик, что его учредители решили ограничить прием новых членов. Каждый кандидат в члены клуба обязан предъявлять при вступлении синяки и ссадины, нанесенные ему побоями жены».

То ли дело у нас! Истинная благодать ждет измученное человечество в Стране Советов!

«В Московской области установилась хорошая весенняя погода, – пишет 21 апреля газета “Правда”. – Москвичи выезжают за город, в леса и на озера, охотиться на вальдшнепов, уток и тетеревов. Много уток и гусей прилетело нынешней весной на “Московское море”. Охотоведы полагают, что гуси облюбуют этот водоем и будут там гнездиться. На “Московском море” впервые появились белые лебеди. Успешно проходит охота в подмосковных хозяйствах Всеармейского военно-охотничьего общества».

Кто услышит за охотничьей пальбой револьверные залпы на расстрельном полигоне «Коммунарка»? Весеннюю охоту на людей...

«Дачу Ягоды – чекистам» – такую запись обнаружили после ареста Ежова в его записной книжке, среди других указаний Сталина. С этой записи и началась история «Коммунарки». Получается, что премудрый, многозаботливый вождь наш не только самолично приказывал, кого и когда убить, но и выбирал место для убиения и погребения.

Когда-то, до революции, здесь было дворянское имение – господский дом, липовая аллея, пруд. В конце 20-х бывшее имение забрал себе под дачу Ягода, сюда глава ОГПУ приезжал изредка отвлекаться и развлекаться после государственных забот. Когда Сталин заменил его Ежовым, место сие некоторое время пустовало, числилось просто подсобным хозяйством НКВД.

В августе 37-го, в самый пик террора, видимо, и появилась заметка в записной книжке Ежова. Московский крематорий уже давно захлебывался от трупов, не справлялся. Стало тесно на Донском кладбище. И тогда за городом появились специальные полигоны смерти – места захоронений и расстрелов.

Один – в Бутове, подведомственный Московскому управлению НКВД, там зарыли в землю около двадцати одной тысячи человек. Другой, неподалеку, в ведении Центрального аппарата НКВД – спецобъект «Коммунарка», названный так по имени близлежащего совхоза. По данным историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», на территории бывшей дачи Ягоды захоронено около шестнадцати тысяч человек.

Большой частью это тела уже уничтоженных в московских тюрьмах врагов народа, но производились здесь и расстрелы. Кого убили здесь, а кого в тюрьмах – этого не знает никто, все улеглись рядом. Элитное место – в «Коммунарке» покоятся люди, приговоренные Военной коллегией по важнейшим делам: известные государственные и партийные деятели, наркомы, красные маршалы, легендарные разведчики, дипломаты, хозяйственники, чекистская верхушка, профессора, врачи, священнослужители, деятели культуры.

Здесь нашли вечный покой и герои этой главы книги.

Последние захоронения и расстрелы на полигоне смерти производились 16 октября 41-го, когда немцы осадили Москву...

Отгремела война. Минули десятилетия. Проклятое место это, обнесенное высоким деревянным забором с колючей проволокой, тщательно охраняемое, оглашаемое лишь лаем сторожевых собак, пустовало, пугало местных жителей. Мальчишки шепотом рассказывали друг другу ужасы о призраках и скелетах, взрослые предпочитали помалкивать.

Разразилась перестройка. Лубянка продолжала хранить молчание, сжав зубы намертво, как лютый пес. Однако отдельные энтузиасты-исследователи, историки докопались-таки до истины – и она открылась взору, во всем своем неохватном ужасе, и никто не знал, что с ней делать...

Время шло, полное злобы дня, смуты и суматохи. Полигон молчал, пустовал, лишь ветер шумел, пели и кричали птицы. Весной 99-го, последнего года XX века, на пороге нового тысячелетия, Госбезопасность передала «Коммунарку» в ведение Русской православной церкви. Потомки погибших – дети и внуки – могли наконец принести цветы на место гибели своих родных.

Что же они увидели? Обветшалый, длинный одноэтажный дом – бывшую дачу наркома. Кругом – заброшенный, неухоженный, исковерканный лес, весь в буграх и ямах. Земля словно бы пребывает в каком-то оцепенении, не в силах опомниться от того, что случилось.

Каждую осень здесь собирается небольшая толпа – акция поминовения жертв политических репрессий. Теперь здесь – подворье Свято-Екатерининского мужского монастыря. На пожертвование некоего частного лица – не государства! – братией сооружен Крест-Голгофа, простой деревянный крест на кирпичной пирамидке. На даче Ягоды,

куда заводили приговоренных перед расстрелом, сверяли имя со списком и лицо с фотографией – и потом уводили в лес, к вырытому заранее рву, устроена домовая церковь: теплятся свечи, звучит тихая нестройная молитва, смотрят со стен святые лики.

А снаружи, у ворот в «зону» – простая металлическая доска: «В этой земле лежат тысячи жертв политического террора 1930 – 1950-х годов. Вечная им память!»

Гробница нашей исторической памяти. Номера, имена, лица... Никто не может представить себе всего масштаба этого праздника смерти. Никуда не вмещается эта человеческая масса погубленных – ни в расстрельные списки, ни в расстрельные ночи. И прежде всего не вмещается в сознание.

Мартиролог репрессированных писателей все время растет – так в черной бездонности неба проблескивают все новые звезды, открываются целые миры. Была идея повесить мемориальную доску в Центральном доме литераторов, рядом с доской, где имена убитых на войне. Скоро сообразили: стен не хватит!

На сегодня можно лишь сказать, что за годы советской власти репрессиям подверглись более трех тысяч литераторов, примерно две тысячи из них были расстреляны, погибли в тюрьмах и лагерях, так и не дождавшись свободы. Не только русские. Потери были глобальные: истребили почти всех армянских писателей, всю интеллигенцию маленького народа мари, всех писателей удмуртских, алтайских, башкирских, коми... Не было народа и языка на пространстве советской империи, которые избежали бы этой трагедии.

«И увидел я... души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели», – изрек в «Апокалипсисе» Иоанн Богослов. «И судимы были мертвые по написанному в книгах, согласно с делами своими».

Слово – не только искусство, способ явить свое лицо, реализовать свой дар. Это еще и попытка спасти человека. Человека, который живет не в одном лишь своем узком, личном времени, в той черточке между датами рождения и смерти на надгробной плите, щели, в которую утекает жизнь, а в большом историческом времени, вместе с предками и потомками, в о в с е м времени, которое еще называют бессмертием. И нет у человека лучшего инструмента для постижения его, чем Слово, связующее дух с плотью.

Право на такую миссию русская литература доказала своим нескончаемым мартирологом, жертвенным служением Богу-Слову. Как сказала одна американская журналистка, «Россия – это страна, которая убивает своих поэтов и рождает людей, готовых умирать за свои стихи».

Они убиты ночью. И тьма этой ночи до сих пор не рассеялась. И не только потому, что свидетели вымерли, подробности стерлись, документы уничтожены или сфальсифицированы, но и потому, что юридической оценки преступных деяний, суда над убийцами – от Сталина до Блохина, от заказчика до киллера – не было.

Мы проворонили «момент истины», когда можно было повернуть ход истории и не на словах только, а законом признать советский государственный террор преступлением против человека и человечности без срока давности. Наш Нюрнберг не состоялся.

И те, кто сегодня пытаются закрыть эту тему, может быть, самую важную и трагическую для нас, правду спрятать, тем самым, вольно или невольно, становятся соучастниками преступления. Ни понимания, ни покаяния, ни очищения не произошло, трагический урок прошлого не усвоен. Мы только задали проклятые вопросы и ни на один из них не ответили. К извечным русским – «Кто виноват?»,

«Что делать?» – прибавились новые. За что? За что погибли миллионы невинных? Почему наш народ в XX веке оказался способен на такое рабское послушание, такое стукачество и палачество?

Зверские репрессии против миллионов людей, наказанных без преступления, стали преступлением без наказания. Мы не победили болезнь исторического беспамятства, хроническую отечественную болезнь, усталость сознания, тот сон разума, что порождает чудовищ. И прошлое, как ящер, вползает в настоящее. А раз это так, мы можем опять стать второгодниками в школе истории. И преступление неизбежно повторится.

«Тьма упорствует, стоит и питается сама собою», – записал перед расстрелом в одиночке Петроградской ЧК поэт Леонид Каннегисер. Но есть и спасение от тьмы, его назвал автор боговдохновенной книги отец Потап из пермского Орла-городка: «О человек, познай свое достоинство!»

Над бездной можно только лететь.

Мартиролог расстрелянных писателей

На заброшенных гробницах
Высекаю письма.
Запишу на память птицам
Даты, сроки, имена...

Варлам Шаламов

МОСКВА

ДОНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

1937

- 9 марта Филиппченко Иван Гурьевич (Григорьевич) (1887)
29 мая Островский Юрий Григорьевич (1905)
3 июня Кушнер Борис Анисимович (1888)
6 июня Жигульский Николай Иванович (1906)
Могиланская Лидия Михайловна (1899)
12 июня Эйдеман Роберт Петрович (1895)
16 июля Васильев Иван Михайлович (1902)
Васильев Павел Николаевич (1909)
Герасимов Михаил Прокофьевич (1889)
Карпов Михаил Яковлевич (1898)
Кириллов Владимир Тимофеевич (1889)
Макаров Иван Иванович (1900)
Мещеряков Тимофей Степанович (1901)
29 июля Парфенов Петр Семенович (1894)
Шамарин Дмитрий Кузьмич (1912)
3 августа Лайценс Линард Петрович (1883)
13 августа Воронский Александр Константинович (1884)
Губер Борис Андреевич (1903)
Есенин Георгий Сергеевич (1914)
Зарудин Николай Николаевич (1899)
Овчаренко Яков Петрович (Иван Приблудный) (1905)
19 августа Катаев Иван Иванович (1902)
2 сентября Бубель-Яроцкая Бронислава Васильевна (1902)
4 сентября Подоляков Евгений Михайлович (1907)
10 сентября Третьяков Сергей Михайлович (1892)
20 сентября Теодорович Иван Адольфович (1875)

- 28 сентября Зубцов (Зазубрин) Владимир Яковлевич (1895)
7 октября Бухов Аркадий Сергеевич (1889)
8 октября Клычков Сергей Антонович (1889)
26 октября Домский Генрих Германович (1883)
1 ноября Станде Станислав Ричардович (Рышард) (1897)
5 ноября Нитобург Лев Владимирович (1898)
26 ноября Беспалов Иван Михайлович (1899)
25 декабря Жуховицкий Эммануил Львович (1881)

БУТОВО

1937

- 27 сентября Жадановский Арсений Иванович
(епископ Арсений) (1871)
3 декабря Денисов Георгий Николаевич (1893)
10 декабря Добронравов Николай Павлович
(архиепископ Николай) (1861)
11 декабря Ауслендер Сергей Абрамович (1888)
Громов Алексей Матвеевич (1888)
Мартынов Евгений Иванович (1864)
Чичагов Леонид Михайлович
(митрополит Серафим) (1856)
15 декабря Захарьяш Юргис (Георгий) Матвеевич (1887)

1938

- 3 февраля Блумфельд Петр Вилисович (1891)
Цельмс Арвид Яковлевич (1900)
26 февраля Джунковский Владимир Федорович (1865)
28 февраля Могилянский Дмитрий Михайлович (1901)
14 марта Олсуфьев Юрий Александрович (1869)
Шмюкле Карл Карлович (1898)
20 марта Страуян Ян Яковлевич (1884)
26 мая Бэк Борис Давыдович (1898)
28 мая Бройде Соломон Аскаревич (1892)
Дорохов Павел Николаевич (1886)
10 июля Глотов Яков Александрович (1877)

КОММУНАРКА

1938

- 4 января Рустам-Бек-Тагеев Борис Леонидович (1871)
8 января Брискин Александр Михайлович (1894)
Комиссаржевский Николай Федорович (1879)
8 февраля Иокум Конрад Иванович (1894)
Лежнев-Горелик Абрам Захарович (1893)
10 февраля Аросев Александр Яковлевич (1890)
15 февраля Виксне (Викснэ) Павел Яковлевич (1894)
14 марта Егорашвили Давид Дмитриевич
15 марта Наседкин Василий Федорович (1894)
Орешин Петр Васильевич (1887)
Рождественский Николай Федосеевич (1883)
19 марта Халме Карл Ялмарович (1899)
2 апреля Никифоров Георгий Константинович (1884)
8 апреля Кочкуров Николай Иванович (Артем Веселый) (1899)
21 апреля Большаков Константин Аристархович (1895)
Завалишин Александр Иванович (1891)
Касаткин Иван Михайлович (1880)
Кин-Суровикин Виктор Павлович (1903)
Козловский-Батрак Иван Андреевич (1892)
Пильняк-Вогау (Пильняк) Борис Андреевич (1894)
Селивановский Алексей Павлович (1900)
14 июня Василевский-Небуква Илья Маркович (1882)
Витязев-Седенко Ферапонт Иванович (1886)
16 июня Шиллер Эдуард Адамович (1890)
28 июля Киришон Владимир Михайлович (1902)
29 июля Кнорин Вильгельм Георгиевич (1890)
28 августа Правдухин Валериан Павлович (1892)
1 сентября Алексеев Глеб Васильевич (1892)
3 сентября Тарасов-Родионов Александр Игнатъевич (1885)
10 сентября Хохлов Герман Дмитриевич (1908)
16 сентября Хашин (Авербух) Александр Борисович (1888)
17 сентября Каррик-Иркутов Андрей Дмитриевич (1897)
Ялкаев Яныш Ялкаевич (1906)
Ясенский Бруно (Виктор Яковлевич) (1901)
27 сентября Люткевич-Фенингштейн Станислав Станиславович (1897)

ЛЕНИНГРАД

1937

- 20 мая Старчаков Александр Осипович (1893)
9 октября Камегулов Анатолий Дмитриевич (1900)
27 октября Бобрищев-Пушкин Александр Владимирович (1875)
30 октября Колбасьев Сергей Адамович (1898)
2 ноября Бескина Анна Абрамовна (1903)
Грабарь (Шполянский) Леонид Юрьевич (1896)
4 ноября Майзель Михаил Гаврилович (1899)
Мустангова (Рабинович) Евгения Яковлевна (1905)
5 ноября Глезель Самуил Маркович (1910)
15 ноября Саволайнен Георгий Израилевич (1899)
21 ноября Пиотровский Адриан Иванович (1898)
24 ноября Безбородов Сергей Константинович (1899)
Боголюбов Константин Николаевич (1905)
Олейников Николай Макарович (1898)
Эрлих Вольф Иосифович (1902)

1938

- 11 января Корецкий Николай Владимирович (1869)
15 января Кикутс Петр Рудольфович (1907)
18 января Калнынь Ян Анотонович (1902)
25 января Эйдук Ян Юрьевич (1897)
27 января Аалто Вяйне Иванович (1899)
20 февраля Корнилов Борис Петрович (1907)
Свирин Николай Григорьевич (1900)
14 апреля Спиридонов Николай Иванович (Одулок Текки)
(1906)
18 мая Белицкий Георгий Еремеевич (1905)
18 июня Медведев Павел Николаевич (1891)
21 сентября Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882)
Лившиц Бенедикт Константинович (1887)
Сметанич-Стенич Валентин Осипович (1897)
Юркун Юрий Иванович (1895)
21 октября Бубинас Иосиф Матвеевич (1910)
22 октября Дьяконов Михаил Алексеевич (1885)

СУДИМЫЕ ПОВТОРНО И РАССТРЕЛЯННЫЕ В ЛАГЕРЕ И В ССЫЛКЕ

1937

- 23–25
октября Клюев Николай Алексеевич (1884),
Томск
- 29 октября Мазнин Дмитрий Михайлович (1902),
Магаданская обл.
- 2 ноября Зуккау Герберт Августович (1883),
Томск
- 3 ноября Чайнов Александр Васильевич (1888),
Алма-Ата
- 8 декабря Флоренский Павел Александрович (1882),
Соловки – Ленинград
- 10 декабря Калмансон Лабори Гилелевич (Лелевич Г.) (1901),
Челябинская обл.
Горбачев Георгий Ефимович (1897),
Челябинская обл.
- 31 декабря Соловьев Алексей Артамонович (Тверяк) (1900),
Карагандинская обл.

1938

- 3 февраля Зубакин Борис Михайлович (1894),
Архангельская обл.
- 5 февраля Фоняков Олег Антонович (1902),
Читинская обл.
- 14 апреля Нарбут Владимир Иванович (1888),
Магаданская обл.
- 13 августа Сандомирский Герман Борисович (1882),
Бамлаг.

...Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

Осип Мандельштам

Краткая библиография

- Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора: 1929–1953.** СПб.: Академический проект, 2000.
- Бутовский полигон, 1937–1938 гг.:** Книга Памяти жертв политических репрессий. М.: Альзо, 1997–2004. Вып. 1–8.
- Доднесь тяготееет:** В 2 т. / Сост. С.С. Виленский. М.: Возвращение, 2004.
- Власть и художественная интеллигенция:** Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953 / Под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. А. Артизов, О. Наумов. М.: МФД, 1999 (Россия. XX век. Документы). Международный фонд «Демократия».
- Возвращение:** Сборник / Сост. Е.И. Осетров, О.А. Салынский. М.: Советский писатель, 1991.
- В тисках идеологии:** Антология литературно-политических документов / Сост. К. Аймермахер. М.: Книжная палата, 1992.
- Геллер М. Концентрационный мир и советская литература.** London, 1974.
- Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе /** Сост. С.С. Виленский. М.: Возвращение, 2000.
- За что? Проза, поэзия, документы /** Сост. В. Шенталинский, В. Леонович. М.: Новый ключ, 1999.
- Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Тюрмы и ссылки.** М.: Новое литературное обозрение, 2000.

- История советской политической цензуры: Документы и комментарии** / Сост. З.К. Водопьянова и др. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997.
- Китеж: Сборник** / Сост. В.Б. Муравьев. М.: Возвращение, 2006.
- Конквест Роберт. Большой террор.** Firenze: Edizioni Aurora, 1974.
- «Литературный Фронт». История политической цензуры 1932–1946 гг.:** Сборник документов / Сост. Д.Л. Бабиченко. М.: Энциклопедия российских деревень, 1994.
- Мозохин О.Б. Право на репрессии: Москва–Жуковский, Кучково поле, 2006.**
- Написано в тюрьме. XX век. Россия: Сборник** / Сост. В. Корнилов. М.: Издание Русского ПЕНЦентра, 1998.
- Обречены по рождению... По документам фондов: Политического Красного Креста. 1918–1922. Помощь политзаключенным. 1922–1937** / Сост. Л. Должанская, И. Осипова. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2004.
- Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 1934–1941: Справочник** / Общество «Мемориал», РГАСПИ, ГАРФ. М.: Звенья, 1999.
- Поэзия узников ГУЛАГа: Антология** / Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. С.С. Виленский. М.: Материк, 2005 (Россия. XX век. Документы). Международный фонд «Демократия».
- Распяты. Писатели – жертвы политических репрессий.** Вып. 1–6 / Сост. З.Л. Дичаров. СПб., 1993–2000.
- Расстрельные списки. Москва, 1937–1941. «Коммунарка», Бутово: Книга Памяти жертв политических репрессий.** М.: Звенья, 2000.
- Расстрельные списки. Москва, 1937–1953. Донское кладбище: Книга Памяти жертв политических репрессий.** М.: Звенья, 2005.
- Росси Жак. Справочник по ГУЛАГу: В 2 ч.** М.: Просвет, 1991.

- Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960:** Справочник / Общество «Мемориал», ГАРФ. Сост. М.Б. Смирнов. М.: Звенья, 1998.
- Солженицын А.** Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956: Опыт художественного исследования. I–VII. Paris: YMKA-Press, 1973–1975.
- Средь других имен:** Сборник / Сост. В.Б. Муравьев. М.: Московский рабочий, 1990.
- «Счастье литературы». Государство и писатели. 1925–1938:** Документы / Сост. Д.Л. Бабиченко. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997.
- Шенталинский В.** Донос на Сократа. М.: Формика-С, 2001.
- Шенталинский В.** Рабы свободы: В литературных архивах КГБ. М.: Парус, 1995.

Указатель имен

А

- Абакумов В.С. 369, 384, 387–389
Абрамов И.П. 284
Аввакум 9, 39
Авербах Е.В. 509
Авербах Л.Л. 504–514
Авербахи 511
Агранов Я.С. (Сорензон Я.Ш.)
195, 208–215, 228, 234, 236,
241, 242, 264, 266, 268, 271,
274, 294, 296, 433, 484
Адамович Г.В. 115
Аджубей А.И. 283
Аксельрод 306
Акума, см. Ахматова А.А.
Алданов (Ландау) М.А. 115, 128,
146, 165, 168, 169, 176, 188
Алейников М.С. 128, 129, 131,
183, 184
Александр II 3
Александр Македонский 344
Алексеев Г.В. 521, 543
Алексеев П.Т. 23, 24, 27, 54, 56,
58, 61, 75–77
Алексеева Е.Т. 77
Алексей Михайлович, царь 39
Алексий (Ставровский А.А.) 150
Алтаузен Д. (Я.М.) 438
Аль (Альшиц) Д.Н. 422
Амфитеатров А.В. 233, 250
Амфитеатров В.А. 169
Амфитеатров-Кадашев В.А., см.
Амфитеатров В.А.
Андерсен-Нексе М. 465
Андреев Л.Н. 316
Андреева А.А. 476
Андреева М.Ф. 266
Андропов Ю.В. 69
Аникеева В.Н. 292–294, 298,
309
Анненков Ю.П. 216, 223, 224,
238
Анненский И.Ф. 3
Аннушка 305
Анов (Иванов) Н.Н. 444, 445,
448
Антипов Н.К. 112, 114, 123, 129,
131, 147, 175, 179, 182–184,
192
Антипова Е.Ф. 279
Антонов И.И. 515
Анцелович Н.М. 206
Арагон Л. 465
Аренс А.Е. 305–306
Аристотель 5, 79

- Артамонов М.И. 393, 396
Арцыбашев М.П. 169
Асеев Н.Н. 489
Астафьева Н.Г. 14
Афанасий Великий 37
Афанасьев Н.П. 456
Афиногенов А.Н. 511, 512
Ахматова (Горенко) А.А. 3, 5,
16, 116, 132, 160, 170, 191,
213, 220, 221, 223, 226, 227,
240–242, 244, 246–250, 275–
277, 283, 288, 289, 291, 292,
294, 296, 297, 300–309, 311–
315, 321–327, 329–331, 334,
341–343, 346–360, 363–371,
377–389, 391–398, 400–404,
417, 438
Ахматовы 371
- Б
- Бабаев Э.Г. 402
Бабель И.Э. 4, 6, 7, 12
Багрицкий Э. (Дзюбин Э.Г.) 493
Багров В.А. 523
Байрон Дж. Г. 355
Балакирев 274
Балмашев С.В. 160
Бальзак О. де 6
Бальмонт Н.К. 115
Баркова А.А. 14
Бархударьян 332, 333, 335, 338,
348
Басехес 519
Батеньков Г.С. 67
Батрак-Козловский И.А., см.
Козловский-Батрак И.А.
Башкиров Б.Н. 251
Бедный Д. (Придворов Е.А.) 145,
506
Безыменский А.И. 416, 438
Бекман 322
Белинский В.Г. 72
Белый А. (Бугаев Б.Н.) 5, 119
Бёлль Г. 18
Бенкендорф А.Х. 68, 69
Беранже П.Ж. 126, 145, 192
Берберова Н.Н. 231, 237
Бердяев Н.А. 5
Бергамин Х. 465
Берия Л.П. 7, 69, 341, 392, 475
Берлин И. 351–354, 356, 360
Берман Л.В. 214, 464
Бернштам А.Н. 368
Бисмарк О. 295
Блок А.А. 10, 119, 143, 154, 206,
222, 238, 239, 244, 249, 281,
347, 513
Блок Ж.-Р. 465
Бломквист Г.К. 260
Блохин В.М. 515, 549
Богданова-Бельская П.О. 119–
121, 191
Бозе А.А. 274
Бойцов 274
Бокий Г.И. 103, 128, 129, 131,
138, 149, 179, 182, 192
Большаков К.А. 517–521, 543
Бондаренко 274
Бонч-Бруевич В.Д. 174, 504, 509
Борин А. 292–294, 298–300, 310,
320, 322, 326
Борис Годунов, царь 41
Борисевич 104

Брехт Б. 528
Брик Л.Ю. 213, 241, 425
Брик О.М. 240, 241, 361
Брики 363
Бродский И.А. 170, 401
Брюс Я.В. 65
Брюсов В.Я. 522
Буданцев С.Ф. 543, 544
Булгаков М.А. 4, 5, 11, 71, 82,
83, 325, 349, 427, 482
Булгакова Е.С. 325, 476
Булгарин Ф.В. 17
Бурдин 369, 370, 375–377
Бутлеров Б. 153
Бухарин Н.И. 80, 81, 212, 431,
432, 434, 436, 439, 442, 537
Бушмаков 338
Быховская И.М. 197

В

Вавилов Н.И. 10
Вавилов С.И. 346
Валуев 162
Валюжанич А. 241
Василенко В.М. 424
Василий Великий 37
Василий III 44
Васильев И.М. 435, 453, 455
Васильев П.Н. 435–439, 444–451,
453, 455, 474, 476, 477, 523
Васильев Ф. 95, 96
Введенский А.А. 77
Введенский А.И. 409
Вейцман 163, 164
Векк А.С. 279
Вепринцев 471

Верин Б. (Башкиров Б.Н.) 251
Вернадский В.И. 10, 211, 234,
399
Веселая Волга 524
Веселый А. (Кочкуров Н.И.) 448,
522–525, 527–529, 533, 542
Винавер М.Л. 303
Виршер Т.С. 274
Вишневский В.В. 465
Владимир (Лобанов В.Н.) 77
Владимиров 183
Войтинская О.С. 423
Вознесенский А.А. 368
Волков 322
Волковысский Н.М. 256
Володарский В. (Гольдштейн
М.М.) 103, 160, 177
Волошин М.А. 5, 281
Волынский (Флексер) А.Л. 222,
256
Вольтер (Аруэ М.Ф.) 144
Волянский П. 153
Воронов П. 61
Воронская Г.А. 491
Воронский А.К. 478, 481–486,
488, 489, 491, 492, 494–503,
528, 532
Ворошилов К.Е. 392–395, 454,
501, 537, 539, 542, 543
Восторгов И.И. 142
Высотская О.Н. 246, 330
Высотский О.Н. 246, 330, 335,
337
Высоцкий В.С. 9
Вышинский А.Я. 451
Вялова-Васильева Е.А. 448, 476,
477
Вячеславский, см. Шведов

Г

- Гаген-Торн Н.И. 10, 15
Галевский 179, 183
Галилей Г. 79
Гарсия Лорка Ф. 466, 467
Гаршин В.Г. 330, 350
Гафиз (Шамседдин М.) 220
Гегель Г.В.Ф. 264
Гейне Г. 192, 536
Геллер С.Л. 99, 107, 117, 137
Герасимов М.П. 458–462, 475, 539
Герасимова Н.П. 475
Герман Ю.П. 205, 207, 214, 237, 238, 243, 259, 262, 263
Герцен А.И. 3, 71
Герцфельд 209
Герштейн Э.Г. 297, 318, 320, 325, 348, 402
Гиляровский В.А. 408
Гинзбург В. 111
Гинзбург Л.Я. 309, 321
Гиппиус В.В. 119
Гиппиус З.Н. 136, 143
Гитлер А. 411
Глазунов А.К. 80
Гнедич Н.И. 240
Гнедов В. (В.И.) 462
Гоголь Н.В. 73, 264
Гоя Ф.Х. 538
Голенищев-Кутузов В.В. 245, 279
Голенищева-Кутузова О.В. 279
Голодный М. (Эпштейн М.С.) 438, 497
Голубева М.А. 364
Гольцев В.П. 283
Гомер 233
Горбачева В.Н. 468
Горбов А.И. 211
Гордон М.Л. 370
Горенко Аня, см. Ахматова А.А.
Горький М. (Пешков А.М.) 4, 12, 13, 80, 81, 167, 197, 236, 244, 250, 266–269, 271, 272, 421, 437, 507, 511–513, 536–538
Грек Максим (Триволис Михаил) 44, 45, 47
Григорий Богослов 37
Григорьев А.А. 72
Григорьев П. 95, 174
Грин Г. 18
Грин Ф. 18
Грозный Иван, см. Иван IV Васильевич
Громов М.М. 407
Гронский И.М. 448
Гроссман В.С. 481, 493
Губер Б.А. 480, 492, 493, 495, 499, 501, 502
Губин 207, 208
Гумелев А.В. 228, 229
Гумилев Д.С. 228, 229
Гумилев Л.Н. 5, 170, 246, 289, 292, 293, 296–298, 300, 301, 305–333, 335–348, 351, 353, 364–371, 374–382, 385–387, 389–404
Гумилев Н.С. 5, 17, 89, 116, 154, 170, 197–202, 209, 213, 215–217, 219, 221–273, 275–289, 292, 296, 298, 306, 313–315, 328, 330, 334–336, 368, 371, 380, 381, 383, 384, 391, 402, 404, 418, 429, 517

Гумилева А.И. 276, 305, 312
Гумилевы 395
Гурвич А.С. 534
Гусев И. 232
Гутенберг И. 43
Гюго В. 393

Д

Давыдов В.Н. 80
Даниил Заточник 46
Д'Аннунцио Г. 218
Данте Алигьери 47, 495
Дашкова Е.Р. 66
Дедков И.А. 18, 20
Дементьев Н.И. 497
Демидов Г.Г. 10
Державин Г.Р. 477
Джугашвили, см. Сталин И.В.
Дзержинский Ф.Э. 103, 114, 117,
121, 123, 124, 188, 203, 206,
207, 212, 213, 234, 258, 266–
268, 419
Дилецкий Н.П. 33
Димитров Г. 347
Дмитриев А.Д. 515
Достоевский Ф.М. 13, 16, 19, 72,
282, 329, 336, 390, 514, 544
Дубельт Л.В. 69, 70
Дулов А.А. 14
Дыбенко П.Е. 280

Е

Егорашвили Д.Д. 525
Егоров 146, 147, 149

Ежов Н.И. 12, 42, 64, 69, 341,
434, 448, 449, 451, 452, 456,
461, 464, 471, 474, 493, 494,
497, 501, 503, 509, 519–521,
524, 531, 536, 545, 546

Ежова Е.С., см. Хаютина Е.С.

Екатерина II (Великая) 42, 63,
64, 66, 408

Елагин И. (Матвеев И.В.) 419

Елеонская А.С. 77

Емельянов А.Г. 527

Епифаний 39

Ерехович Н.П. 331, 332, 335,
337, 339, 345

Ермак Тимофеевич 27, 74

Ермолова М.Н. 80

Есенин Г.С. 503, 504

Есенин С.А. 114–116, 119, 132,
437, 471, 472, 482, 530

Ефим 231

Ефрем Сирин 37

Ж

Жданов А.А. 295, 335, 339, 341,
349, 358, 423, 454, 463, 464,
542, 543

Железняков (Железняк) А.Г.
173

Жигулин А.В. 14

Жидков Г.В. 533

Жорж, см. Иванов Г.В.

Жуковский В.А. 158, 231

Журбенко А.С. 433, 451, 454,
459, 472, 485, 500, 507, 508,
511, 524

З

- Забелин Е. (Савкин Л.Н.) 444
 Завадовский М.М. 413
 Завалишин А.И. 517, 525, 543
 Зазубрин (Зубцов) В.С. 535–541
 Заковский Л. (Штубис Г.Э.) 295, 323, 324, 441
 Зальмансон 76, 410
 Замятин Е.И. 143, 363, 381, 482
 Зарудин Н.Н. 479, 492, 493, 495, 497–499, 501, 502
 Захаров 107
 Зелинский К.Л. 538
 Зиновьев (Радомысльский) Г.Е. 103, 126, 136, 138, 139, 160, 173, 176–179, 191, 192, 206, 212, 257, 258, 267, 268, 431
 Зощенко М.М. 358, 387
 Зубцов В.С., см. Зазубрин

И

- Иван III 45
 Иван IV Васильевич 41, 43, 63, 64
 Иванов 234
 Иванов В.П. 98
 Иванов В.И. 238
 Иванов Г.В. 221, 222, 247, 275, 477
 Иванов-Разумник (Иванов Р.В.) 143
 Иванов Ф. 39
 Иванова Е. 97
 Ивнев Р. (Ковалев М.А.) 115
 Игнатъев В.И. 185–187

- Игнатъев И.Г. 515
 Игольнишников А.П. 29
 Игольнишников И.П. 33
 Игольнишников П.П. (Павлин Потапович) 33
 Игольнишников П.П. (Потап Прокофьевич), в монашестве Стефан 5, 18, 21, 25, 29, 30, 32–41, 46–52, 54–62, 66, 74, 77, 78, 81, 89, 90, 411, 550
 Игольнишников П.С. 29, 30, 35
 Игольнишников С. 30
 Игольнишниковы 30
 Изяслав, князь 47
 Икрамов А.И. 442
 Иловайский Д.И. 142
 Ильина А.И. 108
 Илька (Илейка)-атаман, он же Иванов Илька, Илья (Пономарев, Попов, Долгополов) 21, 56–58, 77
 Илюшенко И.И. 446, 447
 Ингулов С.Б. 543
 Иннокентий, папа римский 37
 Иоанн, Иван V Алексеевич, царь 26
 Иоанн Богослов, евангелист 48, 49, 88, 429, 548
 Иоанн Дамаскин 37
 Иоанн Златоуст 37, 47, 60
 Иоанн Лествичник 37
 Иосилевич 540
 Иосилевич А.С. 100, 106, 128, 129, 131, 134, 138, 147, 170, 182, 192
 Исая, пророк 16

К

- Кавтарадзе С.И. 491
Каганович Л.М. 454, 473, 479,
501, 508, 534, 542, 543
Кадьян А.Ю. 250
Калита Иван (Иван I) 481
Калугин О.Д. 305, 342, 354, 355,
359, 397
Каменев (Розенфельд) Л.Б. 212,
431, 500
Каннегисер Е.И., Лулу 197, 111,
117, 118, 142, 190
Каннегисер Е.С. 135
Каннегисер И.С. (А.С.) 95, 104,
105, 111, 116, 184
Каннегисер Л.И., Леонид 17, 95,
99, 101, 102, 104–108, 110–
120, 123–137, 143, 146–155,
157–170, 173, 175–181, 183–
194, 271, 295, 550
Каннегисер О.Н. 133, 134, 137,
138, 184
Каннегисер Р.Л. 107–109
Каннегисер С.И. 105, 111, 116
Каннегисер С.С. 148
Каннегисеры 104, 108, 110, 111,
115, 116, 119, 126, 146, 160,
170, 184
Капица П.Л. 79, 411
Каплан Ф.Х. 145, 169, 178
Каплун Б.Г. 223, 224
Карамзин Н.М. 73, 144
Карпов 234
Карпов М.Я. 430, 434, 435, 446,
447, 453, 455, 532
Карсавин Л.П. 5
Касаткин И.М. 517, 525, 543
Катаев И.И. 490, 491, 493, 494,
499, 501, 502
Кауричев Н.С. 533, 535
Кедров М.С. 168
Кельсон З.С. 221
Керенский А.Ф. 144, 161
Кибальчич В.Л. (Серж В.) 266,
275
Кин (Суровикин) В.П. 517, 525,
543
Кирилл Туровский 37
Кириллов В.Т. 457–460, 462, 468
Киров С.М. 78, 212, 294, 295,
300, 311, 317, 322, 335, 386,
454, 494
Киршон В.М. 510, 512
Кленовский Д. (Крачковский
Д.И.) 282
Климин Ф.А. 502
Климова Н.С. 155–157
Клычков (Лешенков) С.А. 315,
448, 467–473, 532
Клюев Н.А. 4, 8, 9, 132, 448, 471,
472
Князев В.В. 13, 126, 127, 139,
145, 151, 192
Коба, см. Сталин И.В.
Ковалев 365
Козин С.А. 367, 368
Козловский В.М. 279
Козловский-Батрак И.А. 517,
525, 543
Кокорев 274
Колбановский А.Э. 266
Колосков В.И. 454
Колычевы 391
Кольцов (Фридлянд) М.Е. 5, 213,
465

- Кондаков А.В. 525
Кондратьев Н.Д. 468
Кононович С.С. 11
Конрад Н.И. 396
Коняев Н.М. 137
Корец М.А. 411
Корин П.Д. 511
Коркин П.А. 308, 309
Корнилов Б.П. 432, 438
Корнилов Л.Г. 112, 136
Короленко В.Г. 4, 10, 16, 17, 80
Коротков А.В. 304
Короткова З. 304
Краевский Б. 201
Красин Л.Б. 204, 206
Крачковский И.Ю. 332, 346
Краюшкин А.А. 5
Кржижановский Г.М. 508
Крупин Д.В. 349
Крылов А.Н. 80
Крылов И.А. 145
Крючков П.П. 511
Кузмин М.А. 115, 116, 150, 152,
165, 222, 244
Кузнецов К. 153
Кузьмин Н.Н. 206
Куняев С.С. 435
Куняев С.Ю. 435
Курбский А.М. 42
Курицын Ф.В. 45
Курский В.М. 433
Кюнер Н.В. 393
- Л
- Лагерлеф С. 465
Ладыжников И.П. 269
Лазаревский И.И. 250, 279, 280
Лазарь ЗР
Лазуркин М.С. 329
Ландау Л.Д. 411, 412
Лапин 301, 320
Лахути А. 465
Лацис М.И. (Судрабс Я.Ф.) 140,
141
Лебедев В.И. 321
Леваневский С.А. 501, 502
Левит 178
Лежнев (Горелик) А.З. 479, 502,
503
Ленин (Ульянов) В.И. 63, 80, 94,
103, 122, 136, 140, 142, 145,
163, 165, 171, 172, 174–178,
192, 203–206, 208, 209, 212–
214, 216, 234, 250, 258, 260,
266–268, 505, 509, 537, 540
Леонович В.Н. 20
Лермонтов М.Ю. 144
Лесман М.С. 244
Липскеров К.А. 115
Лесневский С.С. 18, 432
Литвин М.И. 433, 446, 447, 451,
500
Литвинов (Валлах) М.М. 336,
339, 537
Лозинский М.Л. 221, 247, 269,
391
Лондон Д. 461
Лопатин Г.А. 160, 161, 169
Лоскутов М.П. 535
Лотман Ю.М. 47
Луговской В.А. 438
Лугонес Л. 544
Лука, евангелист 48
Лукницкая В.К. 201

Лукницкий П.Н. 248, 283
Лукницкий С.П. 201
Лулу, см. Каннегисер Е.И.
Луначарский А.В. 80, 171, 172,
240, 266
Лунин М.С. 67
Ляндау К.Ю. 115

М

Магго П.И. 515
Макаров И.И. 435, 439, 440, 443,
444, 446, 447, 450, 453, 455,
457, 464, 532
Макарова В. 439
Малеванный 183
Маленберг 153
Мальро А. 465
Мандельштам И.Б. 146, 147, 184,
191
Мандельштам Н.Я. 320, 476
Мандельштам О.Э. 4, 8, 12, 115,
132, 215, 221, 297, 300, 306,
309, 314, 317–321, 347, 349,
363, 364, 379, 381, 424, 425,
438, 445
Манн Г. 465
Манн Т. 465
Мао Цзэдун 429
Марков С.Н. 444
Маркс К. 160, 178, 295
Мартынов Л.Н. 65, 444, 445
Матов 228, 229
Матусов 518
Матфей, евангелист 48
Махаев В. 310, 311, 322, 326
Мач Э. А. 515
Мачадо А. 465
Маширов (Самобытник) А.И.
269
Маяковский В.В. 213, 240, 241,
361, 363, 421, 425, 462, 517
Медведев С. (С.А.) 40
Медведь Ф.Д. 295
Мейерхольд В.Э. 222, 362
Меликов П.Л. 97, 135
Мельгунов С.П. 150, 274
Менжинский В.Р. 211, 280, 537
Меньшиков М.О. 142
Меркадер Р. 418
Меркулов 377, 379, 389
Метнер Н.К. 80
Мещеряков Т.С. 457–459
Микеланджело Б. 7
Микитенко И.К. 465
Микоян А.И. 454
Милицын С.В. 173
Михайлов 538
Михоэлс (Вовси) С.М. 14
Молотов В.М. 463, 464, 473, 501,
508, 538, 539, 541, 542
Монтвилло 231, 232
Морковский З. 97
Мстиславец П.Т. 42
Мудрова Н.А. 59, 77
Муравьев-Апостол С.И. 67, 154
Муравьев Н. М. 73
Муссолини Б. 411, 538
Мухина В.И. 407

Н

Нагродская Е.А. 115
Назарьев 209

Наполеон I (Наполеон Бонапарт) 429
Наруми Кандзо 315
Наседка И. 37
Наседкин В.Ф. 448, 530, 532, 541
Некрасов Н.А. 3, 11
Нелидов Н.Д. 188
Немитц А.В. 220
Никифоров Г.К. 532, 533, 538
Николаев Е.Н. 417
Николаев-Журид Н.Г. 308
Николаев Л.В. 300
Николай I 68
Николай II 331
Никольский Б.В. 143
Никон 47
Ницше Ф. 306, 307
Новиков А.Н. 533–535

О

Овидий (Публий Овидий Назон) 47
Одоевский В.Ф. 70
Одоевцева И.В. (Гейнике И.Г.) 209, 222, 231, 283
Окладников А.П. 396
Оксман Ю.Г. 244
Олеша Ю.К. 444
Ольденбург С.Ф. 205, 256
Оранжевеева А.М. 352
Орджоникидзе Г.К. (Серго) 483, 508
Орешин П.В. 530, 532
Орлов В.Н. 352
Орнатский Ф.Н. 142

Островская С.К. 352, 354, 355
Отто Э.М. 109, 114, 127, 129–132, 147, 176, 179, 182–185, 189
Оцуп Н.А. 250, 256

П

Павленко П.А. 538
Павлов В.А. 220
Павлов В.И. 79
Павлов И.П. 5, 79–89, 411, 413, 415, 538, 539
Павловский С.Г. 440, 441, 443, 447, 448, 451, 454, 459, 472, 491, 494, 495, 499, 540
Палей В.П. 142
Пастернак Б.Л. 5, 10, 157, 213, 324–326, 348, 357, 363, 417, 427, 438, 482, 489, 521, 522
Пафнутий 60
Перельдвейг В.Б. 129, 130, 170, 176, 177, 181
Пермитин Е.Н. 541
Перцов В.О. 302
Петр, апостол 18, 25
Петр I (Великий) 26, 32, 62, 63, 73
Петрашева Л.В. 23, 24, 54, 77
Петровский Г.И. 138
Петровых М.С. 307, 321
Пешков М.А. 507
Пешкова Е.П. 304
Пешкова Н.А. 512
Пильняк (Воган) Б.А. 4, 213, 325, 349, 362, 379–381, 490, 517–521, 528, 543
Плавнек Л.Я. 502

- Платон 233
Платонов Алексей (Романов П.А.) 490
Платонов А.П. 4, 5, 193, 425, 490, 530–533, 535
Плеве В.К. 121, 160, 162
Плевицкая Н.В. 191
Подольский А. 41
Полетаев Е.А. 383
Поляков И. 300, 301, 320, 322, 326
Поморский 180
Помпер А.Р. 146, 147, 183, 184
Попов 207, 208
Попов Г. 147, 153, 184
Поскребышев А.Н. 325, 326
Потап, см. Игольнишников П.П. (Потап Прокофьевич)
Поташник М. М. 518
Потресо́ва С. С. 417, 418
Правдухин В.П. 517, 532, 535, 540–542
Приблудный И.П. 503, 504
Пришвин М.М. 143
Прокофьев А.А. 357
Пронин Б.К. 223
Пу 274
Пугачев Е.И. 65
Пумпянский Л.В. 328, 329
Пунин Н.Н. 226, 239–241, 292–294, 299, 300, 305–311, 314, 317, 321–327, 329, 330, 343, 348, 360–365, 380–383, 385–387
Пунина И.Н. 305, 351, 365, 392
Пучковский Я. 367
Пушкин А.С. 10, 16, 42, 69, 73, 193, 240, 246, 259, 268, 282, 315, 323, 415–417, 422, 432, 458, 488, 489, 513
Пяст В.А. 222
Пятаков Г.Л. 416, 439
- Р
- Рабинович Л.Г. 111, 146
Рабинович Я.Б. 170, 187
Радек (Собельсон) К.Б. 439
Радищев А.Н. 51, 65
Разин С.Т. 56, 57
Райзман Д.А. 518
Раскин И.Г. 164
Растрелли В.В. 462
Рафаэль С. 462
Рейснер Л.М. 220
Ремизов А.М. 143
Ренев 396
Рикс А.Ю. 109, 114, 127, 129, 130, 132, 147, 179, 182, 183, 185, 189
Рильке Р.М. 88
Рождественский Н.Ф. 530, 532
Рожков Н.Н. 429
Розалия Эдуардовна (Каннегисер) 110
Розенберг Б. 112–114, 131
Роллан Р. 465, 501
Романов Н.М. 142
Романов П.А. 142
Романова Р.М. 427
Романовы 142
Роптин И.Н. 274
Рудзутак Я.Э. 537
Руденко Р.А. 393
Руднев Л.В. 392
Румянцев Н.П. 70

Рыгдылон Р.Э. 367
Рыков А.И. 212, 431, 439

С

- Савинков Б.В. 5, 108, 136, 190
Сазонов Е.С. 121, 160, 162
Салтанов 366
Салтыков-Щедрин М.Е. 47, 315, 370, 535
Сальери А. 13
Сангайло В. 98, 99
Сапфо (Сафо) 302
Сахаров А.Д. 13, 51
Свердлов Я.М. 103, 504
Светлов М.А. 497
Святополк-Мирский Д.П. (Мирский Д.) 513
Северянин И. (Лотарев И.В.) 119, 251
Седакин И. 224
Сейфуллина Л.Н. 325, 521, 540, 541
Селивановский А.П. 517, 525, 543
Сельвинский И.Л. 423, 489
Семенихин Д.Э. 515
Семенов Б.А. 232, 236, 240, 256–258, 271, 278
Семенов М.И. 441
Семеньков 524
Серафимович (Попов) А.С. 485
Сервантес Сааведра М. де 47
Серебряков Л.П. 416, 439, 458, 459, 500, 509
Серебрякова Г.И. 509
Серж В., см. Кибальчич В.Л.
Серов 274
Серов В.А. 362
Серов П. 232, 271
Серпин Я.И. 414
Сеченов И.М. 81
Сидорова Т. 97
Сильверсван Б.П. 210, 212, 268, 272
Симеон Полоцкий 37, 39, 40
Симонович-Ефимова Н.Я. 8
Сипягин Д.С. 160
Скуратов М.М. 42, 64
Слозберг 209
Смирнов Валя 403
Смирнов Н.П. 485
Смирновы 443
Соболевский Е. 423
Соколов 395
Сокольников (Бриллиант) Г.Я. 439
Сократ 4, 47
Солженицын А.И. 18, 51
Сологуб (Тетерников) Ф.К. 316
Солодин В. А. 476
Сосновский 274
Сохацкий Е. 14
Спиридонов М. 127, 132–134
Срезневская В.С. 304
Ставский (Кирпичников) В.П. 465, 488, 507
Сталин И.В. 12, 42, 63, 172, 212, 213, 289, 293, 294, 297, 299, 300, 308, 309, 311, 317, 318, 322–327, 338, 341, 342, 346, 356–358, 361, 378, 379, 382, 384, 386, 388, 392, 397, 402, 410, 411, 414–416, 419, 421, 425, 427–433, 439, 441, 444, 445, 447, 452–454, 458, 459,

- 463–466, 473, 475, 479–481,
483, 493, 499, 501, 504, 506–
509, 515, 521, 524, 530–533,
535–539, 541–543, 545, 546,
549
- Стемпковский А.М. 425
- Стендаль (Бейль А.) 17
- Степанов 377
- Степун Ф. А. 133, 191
- Стефан 59
- Стефан, см. Игольнишников
П.П.
- Столыпин П.А. 155
- Стратановский Г.А. 261
- Строганов А. 60
- Строганов Г.Д. 26, 31–33, 37, 59,
60, 62
- Строганов Н.Г. 32
- Строганова А.И. 32
- Строганова М.Я. 32
- Строгановы 27, 28, 30, 50, 62
- Струве В. 153
- Струве В.В. 346, 367, 396
- Суханов (Гиммер) Н.Н. 468
- Сухово-Кобылин А.В. 535
- Тер-Арутюнянц 164
- Тер-Ваганян В.А. 495, 500
- Тименчик Р.Д. 402
- Тиняков А.И. 226, 227, 280
- Тирзбанурт 137
- Тихвинский М.М. 267, 279, 280
- Тихонов А.Н. 363
- Тихонов Н.С. 489
- Толстая С.А. 294, 300, 311, 321
- Толстой А.Н. 348, 439, 465
- Толстой Л.Н. 4, 10, 75, 154, 294,
315, 411, 514
- Томский (Ефремов) М.П. 537
- Транквиллион-Ставровецкий К.
37, 39
- Третьяков С.М. 213, 528
- Тришатов А. (Добровольский
А.А.) 423
- Троицкий А. 43, 44
- Троцкий (Бронштейн) Л.Д. 171,
172, 177, 418, 428, 431, 487,
500, 505
- Тургенев И.С. 315
- Тухачевский М.Н. 212
- Тэффи (Лохвицкая) Н.А. 115
- Тютчев Ф.И. 154, 158, 315

Т

- Таганцев В.Н. 201, 205–211,
213–215, 237, 238, 250,
252, 258–264, 268, 280,
281, 284
- Таганцев Н.С. 205, 206
- Таганцева Н.Ф. 206, 279
- Таш-Назаров 489
- Твардовский А.Т. 426, 427
- Твардовский И.Т. 427
- Твардовский Т.Г. 427

У

- Ульрих В.В. 455, 502, 515
- Уншлихт И.С. 204, 240
- Уралов (Кисляков) С.Г. 176
- Урицкий М.С. 17, 91–94, 96,
99–101, 103, 104, 106, 107,
121–124, 126, 128, 130, 138,
140, 142, 146–150, 160, 169–
172, 174–179, 181, 183–185,
187–194, 224, 271, 295

Уткин И.П. 497
Ухтомский С.А. 280

Ф

Фадеев А.А. 348, 391, 439, 465
Фалья М. де 466
Федоров И. 42, 47
Федотов Г.П. 168
Фейхтвангер Л. 439, 465
Фельдман И.И. 515
Феофилакт Симокатта 37
Фигнер В.Н. 156
Филимонов 332
Филоненко М. 135
Филоненко М.М. 108, 109, 129,
135, 136, 148, 149, 180, 186–
191
Фирин С.Г. 508
Флавий Иосиф 37
Флоренский П.А. 4, 7–10
Франко Б. 466
Франс А. 218
Фриновский М.П. 433, 464

Х

Харитон Б.О. 269
Харитонов 229
Хаятина Е.С. 493
Хворостинин И. 40, 41
Хемингуэй Э. 465
Хлебников О.Н. 201
Ходасевич В.Ф. 115, 132, 231
Христос Иисус 11, 25, 48, 55, 57,
59
Хрущев Н.С. 283, 464

Хусейн Саддам 429

Ц

Цветаева М.И. 5, 115, 116, 132,
154, 157, 158, 171, 179, 312,
349, 363
Цветков 209
Цесарский В.Е. 433
Цицерон М.Т. 47
Цыбульский Н.К. 165, 166
Цю-й-юань (Цюй Юань) 393

Ч

Чацкина С.И. 132–135, 160, 190
Чаянов А.В. 468
Чернов А. 67
Чернявский В.С. 119
Черчилль Р. 353, 354
Честертон Г.К. 218, 219
Чехов А.П. 156, 316
Чингисхан 289, 367, 371, 374
Чичибабин Б.А. 15–17
Чкалов В.П. 407
Чуковская Л.К. 3, 12, 15, 329,
341, 343, 347, 348, 363
Чуковские 325
Чуковский К.И. 222, 239

Ш

Шагинян М.С. 19, 230, 253
Шаламов В.Т. 15
Шалапин Ф.И. 80
Шатов В.С. 100, 129, 192
Шаховская З.А. 169

Шварцер 336

Шведов В.Г., он же Вячеславский 214, 237, 238, 243, 251–254, 258, 259, 262, 285, 286

Шевелев 504

Шекспир У. 9

Шенье А.М. 154

Шепелев Т.В. 454, 471

Шереметевы 291

Шершеневич В.Г. 226

Шестаков 272, 274

Шешковский С.И. 42, 64, 65, 69, 408

Шиваров Н.Х. 9

Шигалев В.И. 515

Шигалев И.И. 515

Шилейко В.К. 246, 305

Шолохов М.А. 5, 348, 391, 465, 512

Шоу Б. 465

Штейн С.В. 245

Штеренберг Д.П. 240

Штукатуров В.П. 298, 299, 301, 307–311, 317, 320–322, 326, 327

Шулишов Ф.И. 489

Шумовский Т.А. 331, 332, 335, 337, 339, 340, 345, 346

Щ

Щавелев А.В. 491, 494, 495, 499, 500

Щеголев П.Е. 363

Э

Эберман 301

Эйдеман 509

Эйдеман Р.П. 509

Эккерман И.П. 341

Энгельгардт А.Н. 229, 230, 233, 246, 276

Энгельс Ф. 160

Эрдман Н.Р. 5

Эренбург И.Г. 391, 422, 425, 428, 465

Эсхил 47

Ю

Юденич Н.Н. 257

Юркун Ю.И. 110, 111, 114, 150, 191

Я

Ягода Г.Г. 323, 324, 326, 438, 478, 504, 505, 507–512, 545–547

Якобсон 242, 243, 251, 253, 254, 258, 261, 263, 264, 274

Яковлев П.А. 515

Яня, Янечка, см. Агранов Я.С.

Ярославский Е.М. (Губельман М.И.) 483, 484

Ясенский Б. (В.Я.) 423, 512

Яхонтов И. 71

Содержание

<i>Владимир Леонович. Не исчислить и не избыть.....</i>	3
Статирь	21
Поэт-террорист	91
Святое безумье мое	195
Бог хранит все	289
Расстрельные ночи.....	405
<i>Мартиролог</i>	551
<i>Краткая библиография</i>	556
<i>Указатель имен</i>	559

Шенталинский Виталий Александрович

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

На фронтисписе:

В.А. Шенталинский. 2005

Редактор *Б.Н. Романов*

Художник *В.Н. Сергутин*

Корректор *Л.Н. Морозова*

Верстка – *Л.А. Шелкова*

Подготовка к печати суперобложки,
переплета, вклеек – *А.Б. Метелкин*

Подписано в печать 27.04.2007. Формат 60×90^{1/16}
Бумага офсетная. Гарнитура «SchoolBook». Печ. л. 36
Печать офсетная. Тираж 3000 экз.

Издательство «Прогресс-Плеяда»
Гл. редактор С.С. Лесневский
119874, Москва, Зубовский бульвар, 17
Тел.: 246-44-18. Факс: 246-06-55
E-mail: progressp@mtu-net.ru

ISBN 978-5-93006-033-1



9 785930 060331

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»»
105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

Издательство ПРОГРЕСС-ПЛЕЯДА

Вячеслав ИВАНОВ, Михаил ГЕРШЕНЗОН

Переписка из двух углов. Исследования и комментарии – Роберт Бёрд.
(Совместно с издательством «Водолей Publishers») 2006. 208 с., ил.

Александр БЛОК

Катилина. Исследования и комментарии – М.Л. Гаспаров,
Джудит Калб, Борис Романов. 2006. 304 с., ил.

Андрей БЕЛЫЙ

«Ваш рыцарь». Письма к М.К. Морозовой

Предисловие и комментарии – Джон Малмстад, А.В. Лавров. 2006. 288 с., ил.

Андрей БЕЛЫЙ

Стихотворения и поэмы. В 2 т. Составление, предисловие, комментарии –
Джон Малмстад и А.В. Лавров. (Новая Библиотека поэта). (Совместно
с Гуманитарным агентством «Академический проект»). 2006. 640 с.; 654 с.

Владислав ПОЛЯКОВ

Графика. Альбом. Составление и предисловие – В.В. Гришков. 2006. 128 с., ил.

Михаил КУЗМИН

Стихотворения. Из переписки

Составление и комментарии – Н.А. Богомолов. 2006. 492 с., ил.

Борис РОМАНОВ

Путешествие с Даниилом Андреевым

Книга о поэте-вестнике. 2006. 440 с., ил.

Лада ПАНОВА

Русский Египет. В 2 т.

(Совместно с издательством «Водолей Publishers»). 2006. 680 с.; 408 с., ил.

Александр КУШНЕР

В новом веке. Стихотворения. 2006. 336 с., ил.

Вячеслав ИВАНОВ

Человек. Поэма (*репринт*). Приложение: Статьи и материалы. В 2 кн.

Составитель – Андрей Шишкин. 2006. 120 с.; 120 с., ил.

А.В. ЛАВРОВ

Русские символисты. Этюды и разыскания. 2007. 632 с., ил.

Евгений ЕВТУШЕНКО

Окно выходит в белые деревья... Стихотворения.

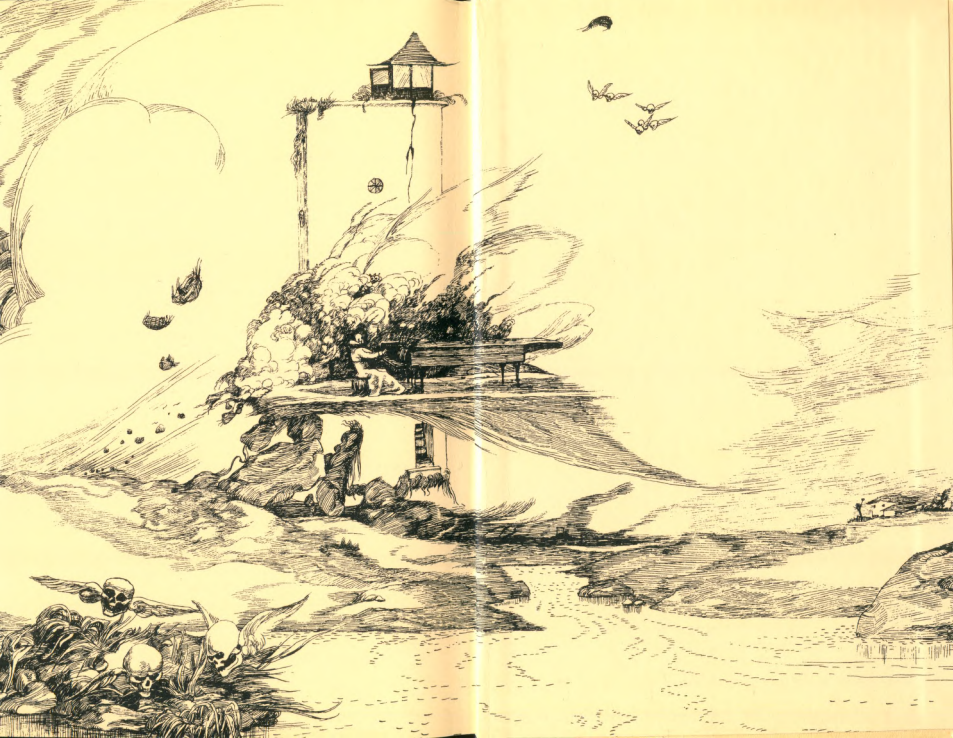
Составитель Мария Евтушенко. 2007. 512 с., ил.

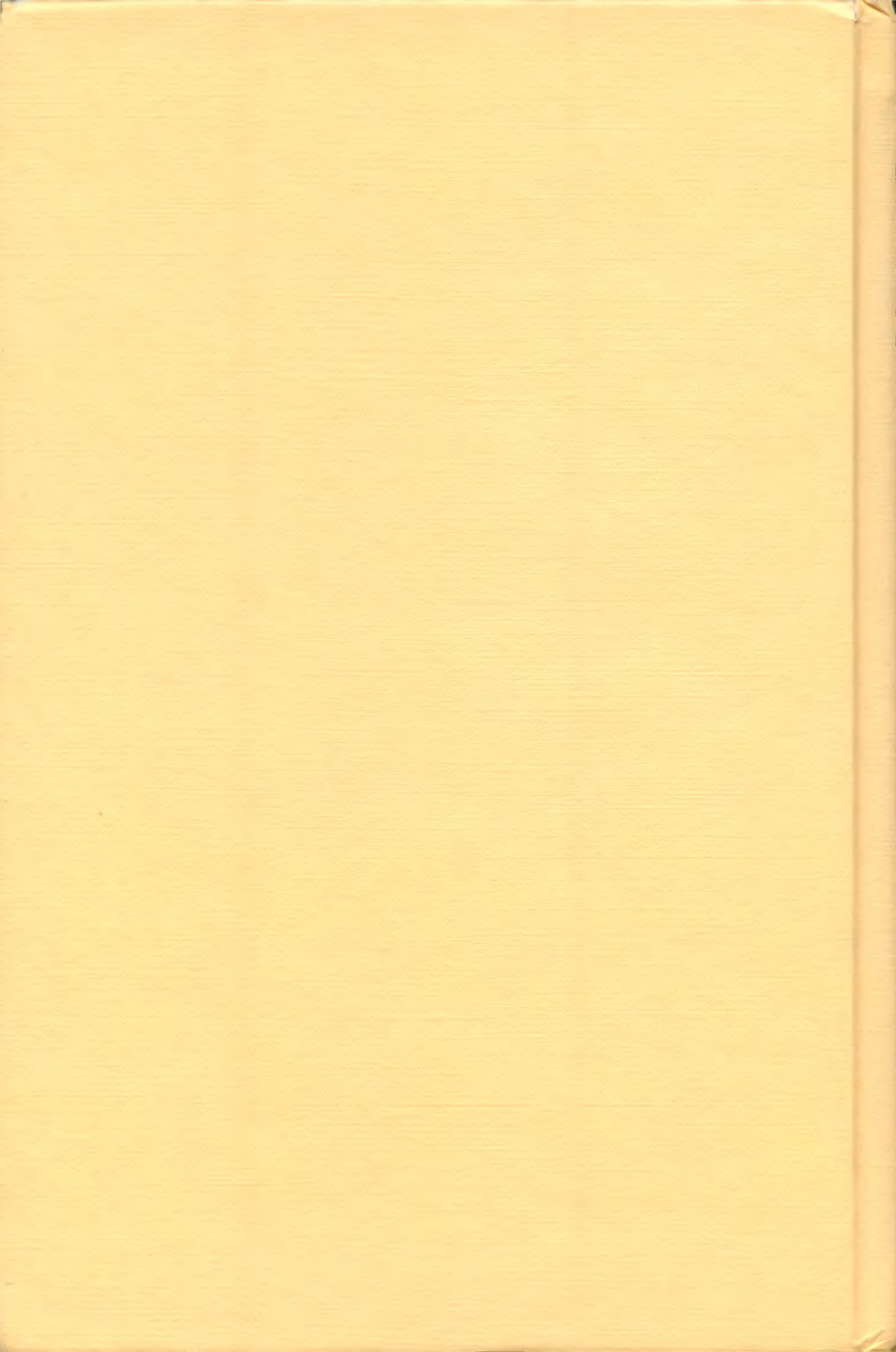
Гюстав ФЛОБЕР

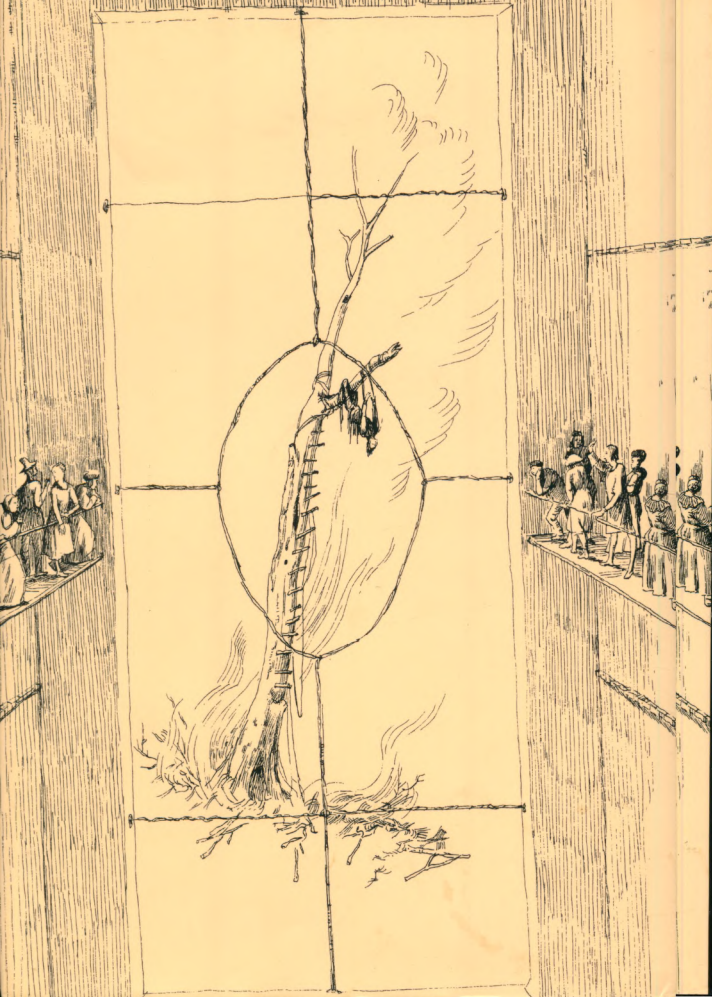
Легенда о Святом Юлиане Милостивом.

Перевод с фр. И.С. Тургенева, А.А. Блока, М.А. Волошина.

Составление и послесловие И.С. Приходько. 2007. 232 с., ил.







Виталий Шеналинский

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ



БЕЗ

НАКАЗАНИЯ

Виталий Шеналинский

ПРЕСТУПЛЕНИЕ